

БРАНИСЛАВ НУШИЧ

БРАНИСЛАВ
НУШИЧ

САТИРА
И ЮМОР





Автомобилисты

Дети
общины

Сказки
и
фелетоны

84. 4 Ю
Н 87

Составление, вступительная статья
и примечания
Д. А. Жукова

Н $\frac{4703000000-1267}{080(02)-87}$ 1267—87

© Издательство «Правда», 1987. Составление.
Вступительная статья. Примечания.

МАСТЕР СМЕХА

Замечательный югославский юморист, сатирик, комедиограф Бранислав Нушич (1864—1938) относится к тому очень редкому типу писателей, произведения которых действительно смешны. Смеялись современники, читая его книги и глядя представления его комедий, смеемся и мы, давно причислив Нушича к весьма небольшому клану классиков веселого жанра. Пересчитать их невеликий труд — Марк Твен, Гашек, Чапек, молодой Чехов, Джером К. Джером... Остальных каждый может добавить по собственному вкусу.

Природа смеха остается загадочной, несмотря на обширные исследования в этой области. Впрочем, сами исследователи признаются, что юмор тотчас исчезает, как только его начинают разбирать по косточкам. Поэтому затрагивать теорию смеха мы не станем и отметим лишь, что юмор Нушича, глубоко национальный, содержит не менее глубокие наблюдения над несовершенствами человеческой природы, государственных институтов и общественных отношений вообще. Именно это свойство таланта писателя и вывело его произведения на широкую международную арену.

В нашей стране Нушича знают уже более восьмидесяти лет. «Госпожа министерша», «Д-р» («Доктор философии»), «Обыкновенный человек», «Покойник», «Опечаленная семья» и другие его комедии в постановке самых разных театров делают полные сборы, а любая книга его прозы сразу же становится библиографической редкостью.

Бранислав Нушич был очень плодовитым писателем. Перу его принадлежат несколько романов, почти полсотни пьес, около полутысячи рассказов, фельетонов, памфлетов, очерков и великолепная «Автобиография», заслуженно считающаяся одним из лучших произведений мировой юмористической литературы. Еще при жизни Нушич стал отечественным классиком. До конца дней своих он был исполнен творческой энергии и создавал все новые комедии, высмеивал в них бюрократию, политические ухищрения, власть имущих, человеческие недостатки. Но никогда не опускался он до желчного издевательства над человеком, сохранял в своем смехе ту сердечность и доброжелательность, которая сулит произведениям писателя долгую жизнь и благодарность многих поколений.

В те дни, когда Народный театр в Белграде дает комедии Бранислава Нушича, билетов на спектакли не достать. Каким-то образом в зале неизменно оказывается больше зрителей, чем мест. Уже с первых реплик между актерами и зрителями рождается таинственная связь, которая пророчит успех спектаклю. Актеры играют с видимым удовольствием, вдохновенные энтузиазмом, непосредственностью зрителей, которые смеются до колик и дружно аплодируют. А ведь едва ли не каждая сцена и даже реплика знакомы им со школьной скамьи.

Художник Сташа Беложанский, оформлявший спектакли Нушича в последние годы жизни комедиографа, рассказывал мне, как он и другие югославские офицеры, оказавшись в первые дни войны в немецком плену, строчку за строчкой вспомнили комедию «Подозрительная личность», записали ее и сыграли в бараке. Комедии Нушича в оккупированном Белграде были запрещены, а в партизанских театрах они составляли более половины репертуара. Мне рассказывали о спектакле «Хаджи-Лойя» в партизанском лагере в Боснии. Патриотическая пьеса Нушича так воодушевила бойцов, что они устроили пальбу, заставив немецкие гарнизоны в ближайших городках занять круговую оборону.

Многое из произведений Нушича вошло в повседневную речь югославов, как в нашу — из комедии «Горе от ума», хотя современники комедиографа утверждают, что он не записал и сотой доли тех блестящих выдумок, которые они слышали от него. Нушич и о себе рассказывал так, что теперь уже трудно разобраться, где кончаются истинные события и начинается остроумная выдумка. Он каждодневно творил легенду о себе, эту лучшую из его комедий. В Белграде, да и в прочих городах Югославии, рассказывают о нем бесчисленные анекдоты, половину из которых придумал он сам.

Но нам нужно установить истину, а заодно и показать, в каких условиях развивался талант Нушича, который прожил большую жизнь — на глазах его и при самом его деятельном участии происходило становление сербской государственности, культуры, литературы...

Писатель родился 8 октября 1864 года в Белграде. При крещении его нарекли пышным греческим именем Алкивиад, потому что отец его, торговец Георгиес Нуша, был родом из села, где жили цинцары, древнее балканское племя скотоводов, почему-то считавших себя потомками древних греков. «Есть во мне и албанская кровь, и греческая, и сербская. Мать моя по происхождению сербка. Значит, скорее всего я серб!» — писал впоследствии Алкивиад Нуша, который перевел свое греческое имя на сербский язык и стал писателем Браниславом Нушичем.

В 1864 году в Белграде было всего семнадцать тысяч жителей. Но заштатный городок на окраине Османской империи постепенно становился подлинной столицей нового государства юж-

ных славян, успешно избавлявшихся от чужеземного господства. Пять веков считались славяне рабами, «райей» — скотом. Но все эти пять веков берегли они под турецким игом свою веру, хранили обычаи, носили национальную одежду. Преодолевая междоусобную рознь, повстанческие отряды превращались в обученную русскими офицерами регулярную армию, теснили турок. Когда Нушичу было три года, на башнях старинной крепости у слияния Савы с Дунаем турецких часовых сменили сербские солдаты. Он запомнил ликование жителей Белграда, водивших хороводы на большой площади перед крепостью, где впоследствии был разбит парк Калемегдан, запомнил и торжественную закладку в августе 1868 года здания Народного театра.

Отец писателя вскоре занялся спекуляцией землей, прогорел, потерял доверие торгового мира и переехал в небольшой городок Смедерево, где ученик реального училища Алквиад Нуша впервые познакомился с театром. Он не пропускал ни одного представления бродячей труппы, видел инсценировку героического сербского эпоса о гибели сербского царства в сражении с турками на Косовом поле, пьесу «Скупец» классика сербской драматургии Йована Стрин Поповича (1806—1856) и комедию «Любовное письмо» Косты Трифковича (1843—1875). Декорации, оставленные труппой под залог у его отца, толкнули Нушича на путь сочинительства. Созданный им ученический театр поставил его первые трагедии и даже несохранившуюся комедию «Рыжая борода». Пытаясь отвлечь мальчика от театра, отец отдал его в торговые ученики, но коммерсант из него не получился.

Возвращение семьи в Белград окунуло Нушича в самую гущу политических и литературных страстей. Еще на школьной скамье он публикует в журналах свои стихи и рассказы (весьма несовершенные), участвует в политических демонстрациях.

В 1882 году Сербия становится королевством. Управляемая взбалмошным королем Миланом, она имеет свой парламент — скупшину, в которой борются за влияние четыре политические партии: консерваторы, либералы во главе с Йованом Ристичем, придерживавшимся русской ориентации, напредняки (прогрессисты) — тянувшиеся к Западу богатые представители торгового и промышленного мира и, наконец, радикалы. Созданная по замыслу выдающегося революционного демократа Светозара Марковича (1846—1875) партия радикалов стала в оппозицию существовавшей государственной системе, и вскоре ее представители во главе с Саввой Груичем (1840—1913) и Николой Пашичем (1845—1926) потеснили на выборах все другие партии.

Король Милан и его правительство опирались на бюрократию, которая образовалась в свое время из членов разных партий, давно уже забывших о своей партийной принадлежности. Проблема сербской бюрократии особенно интересна. На ней, можно сказать, вскормлена сербская критическая и реалистическая литература, ей посвящены и многие произведения Нушича, так остро воспринимающиеся и по сей день.

Турки во время своего пятисотлетнего господства не допускали в Сербии формирования интеллигенции. Вся сербскую аристократию они либо вырезали, либо «потуречили». В новом государстве жили одни крестьяне, объединенные в общины и пользовавшиеся равноправием. Из их среды и формировалась национальная буржуазия.

Нехватка грамотных людей заставляла приглашать на административные посты сербов, живших в австро-венгерских владениях и проникнутых духом централизации и бюрократии. Под их руководством была создана чиновничья иерархия, смотревшая на народ с пренебрежением, как на нечто, требовавшее бдительного надзора и попечения со стороны правительства. По сути дела, вся страна управлялась полицейским аппаратом. Страна делилась на округа, а те, в свою очередь, на уезды. Во главе тех и других стояли кадровые офицеры полиции, наводившие порядок с помощью иерархии полицейских и судебных чиновников. В их распоряжении была армия жандармов, полицейских, стражников. Невежественные и преисполненные бюрократического чванства, они были подлинными царьками в своих уделах, чинили произвол, брали взятки.

Не случайно поэтому громадным успехом пользовался гоголевский «Ревизор», поставленный в Народном театре задолго до появления Бранислава Нушича в Белграде. Гоголь и другие русские писатели оказали самое решительное влияние на зарождающуюся реалистическую литературу молодого государства, и в первую очередь на самого Нушича.

В 1882 году Нушич поступил на юридический факультет. Однако, захваченный идеями Светозара Марковича, он после первого курса решает «пойти в народ», заняться изданием газеты в городе своего детства Смедереве. Начинаящий журналист раздобыл печатный станок и стал редактором «Смедеревского вестника». Через пять лет он напишет об этом юмористический рассказ «Политический противник».

В Смедереве Нушич получил и другой бесценный опыт. Летом 1883 года всю страну потрясла предвыборная лихорадка. Правительственная партия (напредняки), стремясь остаться у власти, прибегала к самым бессовестным махинациям. Девятнадцатилетний журналист приглядывается к происходящему и пишет комедию «Народный депутат». Вскоре, оставив на покрытие непоплаченных счетов печатный станок, он возвращается в Белград.

По величине и населению Белград был в те времена не больше уездного российского городка. Здесь все превосходно знали друг друга. Деятели культуры маленького южнославянского государства, на которое с надеждой смотрели миллионы славян из краев, еще не добившихся самостоятельности, почти все учились в одном университете, насчитывавшем несколько сотен студентов.

В молодой Сербии все, кроме быстро утвердившейся бюрократии, находилось в процессе становления. Молодые литерато-

ры занимались политикой. Безусые студенты-техники становились во главе политических течений. Гимназисты основывали газеты и литературно-художественные журналы. Вчерашние школьные товарищи оказывались в разных партиях, воевали друг с другом в газетах, а в кофейнях демонстративно расходились по разным углам. Политика нередко усаживала литераторов, друзей юности Нушича, в министерские и депутатские кресла. Политические превратности принуждали отставных министров и депутатов братья за перо. И все это варилось в маленьком котле, называвшемся Белградом.

Браниславу Нушичу повезло — он становится писателем в тот период, когда сербская литература пышно поднимается на дрожжах становления национального самосознания. Бранислав всюду ищет поддержки своим литературным начинаниям, и «эта поддержка пришла из дома Иличей, где начинали свой путь многие литературные дарования...»

Дом Иличей был своеобразным литературным клубом столицы. Хозяин дома Йован Илич (1824—1901), известный поэт и переводчик, воспитал своих детей в духе приверженности традициям русской литературы. Один из них, Воислав Илич, стал крупным сербским поэтом и неразлучным другом Бранислава Нушича. Здесь Нушич познакомился с цветом сербской литературы: Джурой Якшичем, Лазой Лазаревичем, Милованом Глишичем, Симой Матавулем, Йованом Скерlichem и многими, многими другими. Здесь он читал свою первую зрелую комедию «Народный депутат».

Она создана Браниславом Нушичем в девятнадцать лет. Свою последнюю комедию «Власть» он начал в семьдесят три года. Между этими двумя произведениями пролегла человеческая жизнь, полная тревог и событий. Пятьдесят три года — это целая историческая эпоха, насыщенная социальными потрясениями и кровавыми бойнями. Нушичем написаны за это время десятки пьес. Но удивительное дело: уже в первой комедии мы находим все самое характерное для дальнейшего творчества драматурга.

Молодой Нушич сразу цепко ухватился за свою главную тему — тему власти. С этой вершины, решил он, анатомия и психика общества просматриваются лучше всего. Деньги? Богатства в конечном счете тоже наживаются ради власти. Любовь? Как она немощна, каким испытаниям подвержена в могучей игре честолюбий... В лучшем случае это превосходная комедийная закуска, помогающая устроить веселую путаницу.

Для Нушича вся буржуазная демократия — комедия. Вряд ли молодой драматург был силен в социальных науках, но чутье художника подсказывает ему, что все это неспроста, что какая-то сила меняет людей, стараясь убить душу, принципы, творчество, превратить их в искателей материальных благ...

Когда дело касается власти, беспринципность фетишизируется. Бюрократы готовы задушить оппозицию собственными рука-

ми. Но попробуй та же оппозиция прийти к власти, и они тотчас станут ее верными псами. Партии приходят и уходят, а бюрократы остаются. Полицейский чиновник Секулич в комедии «Народный депутат» свою беспринципность даже считает достоинством.

«Говорят: «Секулич служит всякой партии». А что тут такого, брат? Я — солдат и воспитан по-солдатски. До сих пор служил в одной части, а теперь перехожу в другую. Я не спрашиваю, кто командир, мое дело: «Слушаюсь!»

Почти в одно время с чеховским унтером Пришибеевым (1885) бывший жандарм Секулич, чувствуя себя опорой режима и презирая даже партийных бонз, говорит: «Мы еще посмотрим, чего стоят эти образованные, когда начнется такая заваруха, как выборы. Все они в кусты, и тогда подавай им Секулича. Я выйду перед народом и скамандую: «Смирно! Народ, по порядку рассчитайсь!..»

Нушич смеется над газетами, общественным мнением, партиями, бюрократией, скупщиной..

Уже в самой экспозиции комедии содержатся все сюжетные завязки, позволяющие драматургу делать неожиданные повороты и легко сводить концы с концами.

Кандидат оппозиционной партии молодой адвокат Ивакович — квартирант кандидата правящей партии Еврема Прокича. Он влюблен в дочь Прокича Даницу и уже успел посвататься. Дом Еврема Прокича, штаб двух соперничающих партий, становится ареной трагикомической борьбы. Любовь молодых людей путает все карты, помогая Нушичу превратить выборы в открытый фарс.

Несмотря на все махинации правительственной партии, на выборах 1883 года победили радикалы, но скупщина была разогнана. В стране начались крестьянские выступления, однако лидеры радикалов трусили и предали народ. Восстание было подавлено. Сербия была «умиротворена».

В таких условиях ни комедия «Народный депутат», ни начатая после нее (явно под влиянием гоголевского «Ревизора») комедия «Подозрительная личность» не увидели сцены, хотя их с одобрением прочли многие маститые литераторы. Показаны они были зрителю лишь несколько десятков лет спустя.

В 1885 году Бранислава Нушича призвали в армию. Началась братоубийственная сербско-болгарская война. Пройдя горнило войны, Нушич пишет «Рассказы капрала», которые сразу сделали его знаменитым. Ему стали подражать. До Нушича о войне так правдиво и жестоко в Сербии не писал никто. Эта книга о трагедии двух народов — сербского и болгарского. Юморист на этот раз серьезен.

Вскоре в одной из газет появилось его сатирическое стихотворение «Два раба», подписанное псевдонимом «Пират». Прочитав его, король Милан пришел в бешенство и повелел «пирату» пощады не давать.

В 1887 году умирает от ран майор Катанич, человек фантастической храбрости, имевший множество наград, среди которых был и русский орден святого Станислава. Король и его свита, только что присутствовавшие на похоронах матери одного из придворных генералов, на похоронах героя не были. «Какой пример для армии!» — написал Нушич на другой день и сочинил на короля сатиру. Суд приговорил его в двухмесячному заключению, но по настоянию короля срок пребывания в тюрьме увеличили до двух лет: «за оскорбление Его величества путем печати».

В том же году к власти приходят радикалы. Недавние оппозиционеры — их лидер генерал Савва Груич в молодости посещал нигилистические собрания в Петербурге — вполне ладят с королем. Теперь никто и не думает вступаться за Нушича. Одиннадцатого января 1888 года Нушича препровождают в тюрьму, находящуюся в городе Пожаревац. Во всех исследованиях, посвященных жизни и творчеству писателя, утверждается, что он пробыл в тюрьме целый год. В действительности благодаря хлопотам друзей и родителей Нушич был освобожден 22 апреля 1888 года, пробыв в заключении три месяца и десять дней.

Тюремная жизнь, бедная событиями, но способствующая осмыслению того, что происходит за стенами темницы, оставила глубокий след и в сознании, и в творчестве Нушича. Писатель утверждал, что в тюрьме им созданы «Листки» и комедия «Протекция», но скорее всего они были там задуманы и начаты. «Листки» — лирический дневник, в котором иронические размышления перебиваются великолепной сатирой (сперва Нушич делал записи «для себя» и поэтому писал раскованно). Опубликованные через два года после выхода из тюрьмы, «Листки» имели шумный и заслуженный успех. Именно здесь прорезался стиль Нушича — вся его юмористическая проза вышла из непринужденных, лукавых «Листков».

Недолгое пребывание в тюрьме словно подхлестнуло Бранислава Нушича. Замыслы рождались один за другим. В короткое время была завершена новая комедия «Протекция». В ней множество веселых недоразумений и гораздо меньше сатирической остроты, чем в предыдущей пьесе «Народный депутат». Потому она и оказалась первой пьесой Нушича, принятой к постановке Народным театром.

В день премьеры, 30 марта 1889 года, Нушич очень волнуется. Он прячется от публики, ходит по коридору, нервно трет лицо. И только когда в зале раздаются аплодисменты, приоткрывает дверь и заглядывает в зрительный зал.

Комедию играли лучшие актеры театра. Играли с удовольствием. Герои были знакомы им до тонкости. Актеры удивлялись Нушичу: как этот мальчик столь быстро ухватил секрет сценичности? В каждой реплике уже виден жест.

А сам автор... «В сущности, я не видел представления, так

как все время смотрел на публику, чувствуя себя как на скамье подсудимых». Он имеет право на это сравнение.

Когда Нушич закончил и принес в театр свою «гоголиаду в двух действиях», которой дал название «Подозрительная личность», директор театра и драматург Милорад Шапчанин посоветовал ее сжечь — так едко высмеивались в ней бюрократы, принявшие невинного аптекаря за революционера.

По окончании университета в 1888 году Нушичу долго отказывали в получении места на государственной службе, и только после отречения Милана I он стал служить в дипломатическом ведомстве. Около десяти лет (с 1889 года) он выполняет различные обязанности в Македонии, еще не освобожденной от турок. Эта служба вполне отвечала патриотическим убеждениям Бранислава Нушича, который вел пропагандистскую работу среди славянского населения и в качестве консула защищал его от произвола турецких наместников.

На юге Балкан его зачаровала сербская и мусульманская старина, мудрые дервиши, теснота слепых улиц, диковинный мир адатов, таинственная красота женщин Востока... Он написал серию сентиментально-идиллических рассказов «Рамазанские вечера», несколько этнографических и фольклорных книг, драмы и комедии, рассказы о сербском чиновничестве, среди них «Тринадцатый» и «Максим».

Еще в «Листках» Нушич писал о своем неприятии жизни канцелярской крысы, бездумного, бездушного существования сереньких людишек, давно смирившихся с жалкой участью. Он прекрасно знал жизнь чиновничества. С одной стороны, это самодурство начальников, унижение достоинства мелких служащих; с другой — монотонность служебных дел, безграмотность, стремление выслужить хотя бы пенсию... В рассказе «Тринадцатый» Петроние Евремович терпеливо сносит все издевательства канцеляристов, он робок и забит. И дело совсем не в том, что героя преследует несчастливое число. Дело в служебных порядках и в характере Петроние, который, на свою беду, «умрет не скоро». Совсем иной Максим в одноименном рассказе Нушича. Тупой, угодливый перед начальством, важный с подчиненными, он успешно делает карьеру.

Тема чиновничества будет занимать Нушича всю жизнь. Позже он напишет рассказы «Незванный опекун», «Жертва науки» и другие, где с едким остроумием, сквозь которое проглядывает сочувствие, будет повествовать о людях, превращенных службой едва ли не в механизмы.

В чужих краях был задуман и начат юмористический роман «Дитя общины». Сюжет его, возможно, подсказан действительным случаем, отмеченным в воспоминаниях учителя Капетановича. Запись этих воспоминаний найдена мною в архиве югославского города Приштина, где Нушич служил консулом. Капетанович, в то время секретарь церковно-школьной общины тамошних

сербов, обязан был докладывать консулу о ее делах. Однажды он пришел на доклад и сказал, что на очередном заседании совета общины ничего не случилось. «Как ничего,— возразил Нушич,— так и сидели, молча попивая кофе? О чем-то, наверно, разговаривали!» Секретарь стал рассказывать то, что, по его мнению, не заслуживало никакого внимания, и среди прочего следующее. В зал заседания совета общины вошла женщина со спеленутым младенцем на руках и стала плакать и говорить, что она бедная вдова, а «бог дал этого бедняжку, но молока нет, кормить нечем, кричит, помирает». Денег у нее нет, чтобы заплатить кормилице, так она просит общину принять ребенка и дать какой-нибудь женщине, чтоб кормила.

«— А откуда он у тебя? — спрашивает член совета Степа Хаджи-Арсич, такой же шутник, как и Нушич.

— Бог дал, сударь.

— Ты в такие дела бога не вмешивай. Скажи правду, от кого ребенок? Мы от отца потребуем, чтоб содержал его.

— Один бог знает, сударь. От нищеты это, сударь».

Наконец община приняла решение, чтоб казначей нашел кормилицу, и таким образом младенец был усыновлен.

« — И для тебя, Капетанович, в этом нет ничего интересного? — спросил Нушич. — А мне так очень интересно, и вот увидишь, что я из этого сделаю».

Буйное воображение писателя переносит события в сербское село. Развеселая вдова родила ребенка, отцом которого с полным правом могли считать себя и местный староста, и поп, и общинный писарь, и лавочник... Вдова вскоре скрывается в неизвестном направлении, оставив ребенка многочисленным «отцам». С этого и начинается роман, который впоследствии все называли не иначе, как «сумасшедшей симфонией смеха».

И вот уже в дело с младенцем вовлечены уездные власти, а вскоре перед нами предстает как бы в разрезе вся Сербия. Нушич превосходно знает народную речь, народный юмор. Он рисует великое множество портретов. Тут и полицейские, и пройдоха-адвокат, и жадные мещане, и хитрая баба-гадалка, и высокопоставленный белградский чиновник... И нет, кажется, ни одного отрицательного человеческого качества, над которым не заставил бы смеяться замечательный юморист.

Возвращение Бранислава Нушича в Белград ознаменовалось тем, что он буквально штурмом взял Народный театр. Был объявлен конкурс на лучшую пьесу, которая «целиком заняла бы вечернее представление». Не совсем уверенный в симпатии к нему жюри, Нушич представил не одну пьесу, а целых три — мистическую сказку «Лилиан и Оморика», социальную драму «Так надо было» и комедию «Обыкновенный человек».

Особые надежды он возлагает на первые две пьесы. В нем живет наивная зависть к «серьезным драматургам». Что коме-

дня? Комедия — пустячок, публика посмеется и вскоре предаст забвению. А злонамеренное жюри по стилю сразу определит, что «Обыкновенного человека» написал Нушич, и обратит на комедию весь свой гнев. Это и будет маневр, отвлекающий жюри от сказки и драмы.

Уже сам стратегический замысел Нушича, отдавшего на растерзание комедию, говорит о твердом убеждении, что собственный стиль выработан, что комедиографа Нушича не спутаешь ни с кем другим.

Однако жюри конкурса посрамило «тонкого стратега». Из представленных пьес лучшими были признаны... все три произведения Нушича.

«Пустячок» — комедия «Обыкновенный человек», за последние семьдесят лет ставилась на сцене чаще, чем какая-либо другая пьеса драматурга. Идет она и в нашей стране.

1900 год принес Нушичу небывалый «урожай». В Народном театре состоялось пять премьер его пьес: исторической трагедии «Князь Семберийский», комедии «Обыкновенный человек», драмы «Так надо было», юморески «Шопенгауэр» и сказки «Лилиан и Оморика». Судя по списку пьес, который был сделан самим Нушичем и найден среди бумаг, любезно предоставленных мне для ознакомления дочерью драматурга Гитой Предич-Нушич (ныне уже покойной), только пьесы «Так надо было» и «Шопенгауэр» написаны уже по приезде в Белград, все остальное — плоды консульского досуга. Там же найдена такая запись:

«Толстой прочел «Князя Семберийского» и сказал, что это лучшая и самая сильная драма у славян за то десятилетие, когда она была обнаружена».

Действительно, трагедия тогда же была переведена на словенский, итальянский, чешский, польский, немецкий и русский языки, а мнение о ней Л. Н. Толстого могло быть сообщено Нушичу хотя бы великим русским актером А. И. Сумбатовым-Южниным, который приехал в Белград на гастроли, был превосходно принят сербской публикой и подружился с драматургом, ставшим к тому времени уже директором Народного театра.

Дворцовый переворот 1903 года, при котором офицерами был убит часто компрометировавший себя король Александр Обренович, отразился на судьбе Нушича. Он был вынужден уйти в отставку, так как начались гонения на всех, кто до переворота занимал высокие посты.

Однако вскоре братья Рибникары стали издавать газету «Политика», существующую и в настоящее время, и 1 декабря 1905 года в ней появился фельетон «Все это уже было когда-то». Подписан он был псевдонимом Бен-Акиба — по имени одного из персонажей пьесы Карла Гуцкова «Уриэль Акоста», который на все лады повторял мысль, содержащуюся в названии фельетона. Еще до его появления в своем дневном выпуске «Политика» известила читателей: «Один из самых даровитых и известных писателей-юмористов с нынешнего дня начинает постоянно сотруд-

ничать в «Политике» и вести рубрику «Из белградской жизни», Из скромности он будет подписываться псевдонимом Бен-Акиба, но каждый читатель уже по сегодняшнему номеру догадается, кто скрывается за этим псевдонимом. Белградская жизнь настолько разнообразна, что в ней каждый день может находиться что-нибудь достойное быть взятым на заметку. А поскольку это будет делать такой талантливый человек, как наш Бен-Акиба, то от его веселых и остроумных рассказов получит удовольствие любой читатель».

За очень короткое время рубрика «Из белградской жизни», где печатались фельетоны Бен-Акибы, приобрела необыкновенную популярность, тираж газеты стремительно вырос.

Так Нушич вернулся в лоно журналистики. Фельетоны, юморески, притчи сыпались как из рога изобилия. За пять последующих лет он написал их свыше четырехсот. Рубрика должна была заполняться регулярно. И заполнялась. Сейчас трудно представить себе, чтобы с такой задачей мог справиться один человек. Журналистская поденщина выматывала писателя. Большинство его поделок не претендовало на бессмертие и вызывало вполне обоснованные нарекания серьезных критиков. Бен-Акиба посещал заседания совета министров, скупщину, литературные клубы, лавки торговцев, жилища бедняков. И всюду водил за собой читателя, заставляя его смеяться и негодовать. Под личиной весельчака часто скрывался глубокий сатирик. В мировую классику фельетона вошел его «Министерский поросенок».

Популярность Нушича была так велика, что в 1908 году, когда австро-венгерская монархия аннексировала Боснию и Герцеговину, он едва не взбунтовал весь Белград и не поставил Сербию на грань войны с Австрией. «Великое народное движение против аннексии Боснии и Герцеговины, которое раскало всю Сербию и всю Европу, возникло в отдельном кабинете «Театрального кафе», — писал он впоследствии. По его призыву на центральной площади Белграда собралось десять тысяч человек, зажигательные речи Нушича привели к тому, что он и его помощники в первый же день создали армию добровольцев из пяти тысяч человек, которую он предложил правительству. Но правительство, боявшееся Австрии, отвергло его услуги. Потерпев неудачу в роли вождя народного движения (которое, кстати, оставило глубокий след в последующих событиях на Балканах, ставших «пороховой бочкой Европы»), Бранислав Нушич снова взялся за перо и создал агитационную патристическую пьесу «Хаджи-Лойя», шедшую месяцами по несколько спектаклей в день.

В 1912 году войска Сербии, Болгарии и Черногории, в которых было много русских офицеров-добровольцев, перешли границы турецких владений и стали освобождать одну за другой те области, где жили славяне. Как бывший дипломат и знаток театра военных действий, Нушич присоединился к армии. Назначенный начальником военной полиции столицы Македонии Скопле, он вошел в город вместе с разведчиками, впереди войск, и стал ново-

дить порядок. Его сделали первым окружным начальником в городе Биголе, где он когда-то был дипломатическим представителем.

Администратором он оказался незадачливым, но зато создал в Скопле театр. Здесь его застала первая мировая война, которая в первые же дни отняла у него единственного сына, в семнадцать лет ушедшего добровольцем на фронт.

Сербия была захвачена австрийцами. Остатки ее армии уходили через горы к Адриатическому морю. Тысячи солдат и мирных жителей погибли во время этого похода от голода и болезней. Под проливным дождем изможденные люди спускались к морю, бормоча: «Хлеба, хлеба!». И с ними шла семья Нушича. Санитарный корабль союзников доставил ее во Францию. Здесь, в эмиграции, Нушич написал двухтомный очерк трагедии сербского народа, получивший название «Девятьсот пятнадцатый».

После войны писатель вернулся на родину, которая объединила некогда разрозненные области в государство сербов, хорватов и словенцев, чтобы стать впоследствии Югославией. Нушич занял крупный пост начальника отдела искусств в министерстве просвещения. Видный деятель культуры Югославии Милан Грол писал: «Он мечтал об открытии музеев, театров, Академии искусств, пантеона, об организации фестивалей, издании книг миллионными тиражами, мечтал покрыть всю Югославию памятниками...» Но планы оставались планами, кредитов Нушичу давали мало. И все же он возродил национальный театр.

В феврале 1924 года должны были состояться первые после войны выборы в Академию наук и искусств. Среди литераторов чаще других называлось имя Нушича, однако кандидатуру Нушича даже не выдвинули на том основании, что юморист — «фигура не слишком академическая». Нушич обиделся.

О своей обиде он написал дочери Гите 1 марта 1924 года, но письмо это стало известно только после его смерти.

«Не хочу скрывать от тебя, что это невнимание, это игнорирование современниками моего труда показалось мне тяжким оскорблением и вызвало глубокую боль. От друзей я эту боль скрываю и даже весело смеюсь — арлекин должен смеяться и с кровоточащим сердцем... Моя трагедия заключается главным образом в том, что я юморист. Во все времена и у всех народов юмористы расплачивались за сладость своих успехов горечью недооценки».

Прежде он никогда не отвечал на нападки критиков. В письме к дочери он позволил себе это сделать.

«Поколение импотентов ставит мне в грех плодовитость; это они-то, чьи сочинения похожи на натужный стон, упрекают меня в том, что я быстро пишу...»

И следует признание, которое подтверждает мнение его современников. Нушич творил с «буйной легкостью природы», как Моцарт или Байрон, он не знал мук Флобера и Горация.

«В то время, как я пишу какой-нибудь рассказ, мне не дают покоя еще пять или шесть других мотивов, а когда я пишу комедию, то замыслы пяти-шести готовых, совершенно разработанных сюжетов, толкаясь, обступают меня, теребят и торопят, чтобы я за них принял. Напротив, я очень мало дал по сравнению с тем, что мог бы дать, если бы в жизни моей условия были бы лучше».

В письме он спорит с оппонентами, обвинявшими его в несерьезности.

«Я признаю, что я юморист, а не сатирик. Но не признаю, что не подвергал осмеянию те явления нашего быта и общественной жизни, которые того заслуживают. Вот мои «Листки», «Народный депутат», «Подозрительная личность», «Протекция», «Свет», вот мои бесчисленные рассказы, в которых высмеяны человеческое тщеславие, фальшивая благотворительность, половичатость, подхалимство, в которых во всей красе изображена наша бюрократия и высмеяна необузданным смехом наша администрация. И все же этот смех не горек, не желчен, не ядовит. Я люблю людей...»

Пространно объясняя свое понимание сатиры и юмора, Нушич не обходит вниманием и псевдоученых:

«Академическая фигура» — это тот, кто тридцать лет роется в старых книгах и в результате столь упорного труда делает открытие, что Досифей (Досифей Обрадович — сербский просветитель XVIII века. — Д. Ж.) впервые посетил Хопово 27 марта, а не 14 апреля, как полагали до сих пор; «академическая фигура» — это тот, кто лет сорок читает лекции, что значит буква «о», когда она выступает как предлог; ...«академическая фигура» — это наконец тот, кто живет за счет других, которые действительно создали, а сам неспособен ничего создать. Словом, «академическая фигура» — это тот бессмертный, который умирает еще при жизни, тот бессмертный, чье имя забывают через неделю после панихиды».

В очень короткий срок, за полгода, Нушич создает «Автобиографию», одну из самых смешных книг в мировой литературе. Она была задумана как пародия на мемуары, которым престарелые академики обычно посвящают остаток своей жизни.

Но пародия — жанр несамостоятельный. Нушичу с его могучим творческим темпераментом и фантазией скучно было бы следовать канонам этого жанра, и потому он раздражается самой блестящей из своих импровизаций. Вот так, наверное, лились его рассказы за столиком кафе в кругу друзей, не устававших слушать его годами и всякий раз раздражавшихся гомерическим смехом, от которого осыпалась штукатурка с низких потолков.

Он низывает анекдот на анекдот, сопрягает самое высокое с самым низким, оглушает читателя парадоксами, подмечает тысячи смешных черточек в людях, в социальных явлениях и в быту.

В 1928 году Бранислав Нушич распрощался со всеми должностями и обязанностями. Ему было почти шестьдесят пять лет. Все прошлое казалось суетой сует. Теперь он мог уйти на покой, именно теперь ничто не мешало, не отрывало его от письменного стола. За оставшиеся девять лет жизни он написал семь комедий, и почти все они вырвались на широкий простор мировой сцены. Это «Госпожа министерша», «Белград прежде и теперь», «Мистер Доллар», «ОЮЭЖ» («Объединение югославских эмансипированных женщин»), «Д-р», «Покойник», «Власть».

Основная тема та же, что и в юности. Власть...

И первые его комедии были талантливо, но, что бы ни говорили исследователи, все-таки в какой-то мере подражательны. Надо было пройти весь путь, сложиться в особое явление, в Нушича, чтобы приступить к созданию собственной драматургии, заговорить языком самобытным и в то же время понятным и близким миллионам людей.

Теперь он знал жизнь со всех ее сторон, знал людей, знал, как никто другой, законы сцены. Замыслы по-прежнему обступали его плотной толпой, торопили, подталкивали под руку, только писать теперь было намного труднее, потому что относился к написанному он гораздо строже. Появилось стремление к недостижимому совершенству, стремление мучительное, но вкупе с поразительной способностью к выдумке, усидчивостью и, конечно же, непревзойденным чувством юмора оно давало блестящие результаты, порой неожиданные даже для самого драматурга.

В одной из своих речей Нушич попытался обосновать консервативность сатиры и юмора и, приводя в пример Аристофана, Мольера, Грибоедова, Гоголя, доказывал, что современное по сравнению с прошлым неизбежно выглядит несформировавшимся, оно еще не имеет своего облика, «еще течет», как сказали бы древние греки. При этом всякое социальное явление влечет за собой как неотступную тень извращение, искажение; всякая возвышенная идея имеет в истории своего развития свою пародию. За большими кораблями, надеясь чем-нибудь поживиться, всегда плывут акулы; за большими идеями, за большими движениями, которые не дают цивилизации стоять на месте, всегда следуют эпигоны, которым плевать на идеи, ибо ждут они от всего лишь выгоды. Игнорируя сущность движения и стремясь воспользоваться лишь его формой, они-то и порождают извращения. Из этих извращений испокон веков юмористы и сатирики черпали материалы для своих творений. Себя Нушич сравнивал с мойщиком окон, который оттирает мушинные следы, чтобы было больше света...

Теперь его признали и самые «серьезные» критики, его выбрали академики, он по-прежнему оставался самым популярным писателем в стране. Характерно, что славе Нушича не нанесли ущерба и последующие десятилетия. Югославский исследователь его творчества Милан Джокович, знавший писателя при жизни, с

каким-то даже удивлением заметил недавно: «Когда в 1964 году отмечался 100-летний юбилей Нушича, оказалось, что его комедия в настоящее время гораздо более популярны, чем у его современников».

Нушич — подлинно народный писатель. Национальная основа среды меняется медленно. Многие герои Нушича живы и поныне, не изменились их психология, манеры, лексикон, интонации. Не надо быть особенно наблюдательным, чтобы, скажем, уловить нушичевские интонации в речи современных белградских женщин, в их восклицаниях, жестах. Именно потому, что подлинно национальное достоверно для любого человека, произведения Нушича имеют неизменный успех в любом уголке земного шара.

В 1937 году врачи запретили писателю работать. Он отмахнулся: «Лучше умереть живым, чем жить мертвым». Нушичу мучительно больно оставаться в стороне. Несмотря на тяжелую болезнь, он не отказывается от публичных выступлений.

Было время, когда некоторые левые критики подвергали его произведения нападкам с догматических позиций.

В одном из последних писем Нушич писал:

«Странная у меня судьба, левые меня не признают как писателя, говорят, что я *буржуазный пустомеля* (подчеркнуто Нушичем.— Д. Ж.), развлекатель, а правые зачисляют в коммунисты, а я — ни правый, ни левый. Может быть, это мне и мешает».

Однако Нушич твердо знает, что с правыми ему не по пути. В новых условиях только левые могут сплотить народ перед лицом военной угрозы. Авторитет Нушича неоспорим. Его прочат в председатели Союза деятелей искусств, науки и литературы, создаваемого коммунистами, и он не отказывается от предложения коммунистов стать во главе союза интеллигентов.

Бранислав Нушич умер 19 января 1938 года, в разгар работы над комедией с многозначительным названием «Власть».

Хоронил его весь Белград.

А вскоре начались для мира серьезные испытания. Предчувствуя их, писатель оставил в своей тетради для записей, озаглавленной «Неоткорректированные мысли», строки, пронизанные болью, которую не могла вместить ни одна комедия, ни один рассказ. Может быть, они слишком категоричны, но иначе как провидческими их не назовешь.

«В многовековом развитии, прогрессе человечества ум человеческий далеко обгонял свое время, а душа человеческая оставалась первобытно-примитивной. В то время как ум возносится над видимыми сферами, спускается в недостижимые глубины, разгадывает все тайны, покоряет все силы и отнимает у природы небесный огонь, душа человечества остается такой, какой она была в незапамятные времена. И теперь еще, как и в первобытное время, инстинкт властвует над поведением человека. И теперь еще часто убийство отдельной личности называют преступлением, а

войну, коллективное убийство масс, славословят и кровавые победы отмечают как национальные праздники.

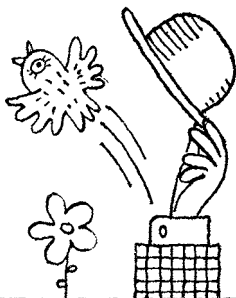
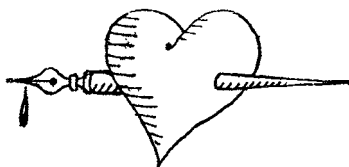
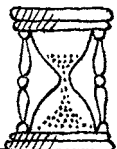
От позора, который искажает лик человечества, не могут спасти ни великие религиозные проповедники любви, ни могучие вожди духовной жизни человечества, ни гигантские преобразования, ни творческий дух науки и искусства; не могут спасти от этого позора мудрые Гималаи — Сократы, Спинозы, Толстые до тех пор, пока из-за этих светильников человеческого прогресса торчит кровавый меч, которым варварство размахивает над цивилизацией. Человечество должно стыдиться времени, в которое живет; человечеству должно быть стыдно перед собственным прогрессом, которому не удалось приручить в нем зверя и подавить примитивные инстинкты».

Однако подобные мрачные мысли посещали Бранислава Нушича не часто. Для нас он был и остается мастером смеха, который несет людям любовь и надежду на мир.

Дмитрий Жуков




Свободное падение





ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

 убежден, что вообще нет смысла писать предисловие к автобиографии. Если человеческая жизнь и имеет какое-либо предисловие, то оно настолько интимного характера, что о нем вообще не пишут. Но мне предисловие нужно для того, чтоб оправдаться перед вами и объяснить причины, побудившие меня написать автобиографию, то есть взяться за дело, которым обычно занимаются обанкротившиеся политические деятели, изгнанные государи, ничего не делающие пенсионеры, бывшие придворные дамы и члены Академии наук. Только ради своего оправдания решил я первую главу книги отвести для предисловия.

Одно время меня подвергли настоящей травле. Все, в ком пробуждался писательский зуд, считали своим долгом почесать об меня свои языки, так что я стал чем-то вроде домашнего задания для всех, кто начинал литературные упражнения на поприще критики. Все они в один голос твердили, что у меня нет ни души, ни таланта. Когда же, таким образом, мне была создана репутация человека без души и таланта, то начали шептать, что такая репутация может привести меня прямо в члены Академии наук и искусств и того и гляди я окажусь там. А поскольку каждый член Академии наук обязан написать автобиографию и поскольку нашим академикам обычно требуется для этого несколько лет, а есть и такие, которые так и скончались, не завершив столь великого и важного дела и оставив потомков в неведении о своей жизни

и научной деятельности, то я решил заблаговременно собрать материал для своей автобиографии.

Такова основная причина, побудившая меня написать эту книгу.

Автобиографию я начал с описания дня моего рождения, считая, что это самое естественное начало. Отталкиваясь от этого факта, я решил не касаться всего того, что предшествовало моему рождению, так как вряд ли об этом можно найти какие-либо сведения. Закончил автобиографию я описанием женитьбы, полагая, что после женитьбы у человека уже нет автобиографии.

Время от рождения до женитьбы можно считать одним периодом со многими подпериодами, подобно тому как в истории Сербии время от появления сербов на Балканском полуострове до гибели сербского царства на Косовом поле считается одним большим периодом со многими подпериодами. И тот и другой периоды можно было бы назвать периодами «от появления на свет до гибели», а последующий период как в жизни человека, так и в истории Сербии с полным правом можно определить как период «рабства и страданий».

Потому-то я и решил рассказать вам только о первом периоде своей жизни — от появления на свет до гибели, а дальнейшее описание доверил своему приятелю, очень талантливому и порядочному господину, который, насколько мне известно, ни о чем не говорит так, как было, а всегда дополнит, подкрасит, замажет, чтобы все представить в лучшем виде. Такие люди очень полезны для составления биографий писателей и деятелей искусств, именно они заботятся о том, чтобы великий покойник предстал перед потомками как можно величественнее и благороднее. Биографы писателей и деятелей искусств в этом отношении похожи на модисток и закройщиков, ибо они тоже придерживаются портновского принципа: «Это вам к лицу!» — и так кроют и подгоняют биографию, чтобы она была как можно больше к лицу тому, о ком они пишут. Если у дамы плохая фигура, модистка придумает тысячу бантиков и сборок, чтобы скрыть это. А если у писателя плохое прошлое, то биограф придумает тысячу анекдотов, чтобы замазать его. Если дама слегка горбата, то портниха придумает такой фасон платья,

что вы даже и не заметите этого. А если у деятеля искусств слегка горбатая нравственность, то биограф так прокомментирует ее, что самые отвратительные наклонности покойного будут выглядеть как достоинства.

Помню, например, один случай, свидетелем которого я был и о котором позднее мне довелось читать.

Однажды утром пьяный в доску поэт-лирик Н. Н. встретился со своим будущим биографом. При жизни великий покойник часто бывал свиньей, и на этот раз он так нализался, что не мог найти дорогу домой.

— Послушай, друг,— говорил он, стараясь сохранить равновесие и всей тушей наваливаясь на будущего биографа,— люди скоты: пили вместе, а теперь бросили меня одного, и домой отвести некому. А я, видишь ли, на небе могу найти Большую Медведицу, а вот дом свой, хоть убей, не найду.

Об этом же эпизоде в биографии («Воспоминание о покойном Н. Н.») говорилось так: «Однажды утром встретил я его печального и озабоченного; чело его было мрачно, а глаза, те самые глаза, которыми он так глубоко проникал в человеческую душу, были полны невыразимой печали и упрека. Я подошел к нему, и он, опираясь на мое плечо, сказал: «Уйдем, уйдем поскорее из этого мира. Все друзья покинули меня. Ах, мне легче найти путь на небо, чем отыскать дорогу в этом мире. Я чувствую себя одиноким. Уведи меня отсюда, уведи!»

Вслед за этим биограф предлагал читателю обширные комментарии, показывающие всю глубину мысли в словах покойного.

Из биографии одного художника я узнал, что в жизни у него было много творческих неудач. Его возвышенное искусство часто приходило в столкновение с устаревшими взглядами нашего общества, что повлияло даже на направление его творчества. Вначале он всемерно подражал Рембрандту, а затем вдруг перешел к пленерной живописи, полной солнца и света. Мне известно одно из таких столкновений его возвышенного искусства с устаревшими взглядами общества.

Художник жил у одного портного, который за сорок динаров в месяц предоставлял ему не только комнату, но и стакан кофе утром и, кроме того, бесплат-

но гладил его брюки. В благодарность за заботу художник написал портреты портного и его жены. Вероятно, в процессе работы они познакомились ближе, и с тех пор жена портного стала выполнять роль натурщицы. Портной ничуть не смущался, заставляя жену с театральным шлемом на голове и с копьём в руках в позе богини Афины, и устаревшие взгляды общества дали себя знать лишь тогда, когда он в один прекрасный день застал свою жену в позе спартанской королевы Леды, а художника в позе лебедя возле нее. В тот момент портной даже не подумал о том, что он вступает в столкновение с возвышенным искусством, и так разделал лебедя, как может это сделать только человек с устаревшими взглядами. Тем самым утюгом, которым он каждое утро гладил художнику брюки, он прогладил ему ребра, а швейной иглой системы «Зингер и К^о» так «прошил» его, что художник вынужден был шесть недель провести в больнице. С тех пор он раз и навсегда оставил портретную живопись и полностью перешел к плёнере, используя в качестве натуры коров, коз и жеребят, ибо таким образом он ограждал себя и от устаревших взглядов общества и от ревности портных.

Почти то же самое произошло с одним композитором. В его биографии отмечалось, что после первых сильных и эмоциональных произведений в его творчестве наступил известный застой, после которого он сочинял только музыку к литургиям. Биограф объяснял этот застой неудачами в семейной жизни. Бывшая супруга композитора не могла понять своего мужа. Композитор занимался с певицей, готовившей сольную партию в одном из его произведений. Подготовка очень затянулась, и в конце концов певица, кажется, поняла свои задачи, но жена композитора никак не могла понять и вместо оваций и венков, ожидавших певицу на концерте, на генеральной репетиции взяла и разбила о ее голову свой новый зонтик. Этот случай и послужил причиной застоя, после которого композитор, убедившись в том, что жена его не понимает, перешел к литургиям. Но сделал он это вовсе не из чувства набожности, а из-за того, что во время бракоразводного процесса перед лицом церковного суда обещал написать новое литургическое произведение, если дело будет решено в его пользу.

Вот так кроют одежду великих людей. Вот так пишут биографии великих людей в портновских мастерских по изготовлению биографий. И в этом их неоспоримое преимущество, широко используемое историей литературы. Но и в деятельности биографов есть один недостаток, который необходимо, если не изжить вовсе, то по крайней мере ослабить. У них сложилась привычка после смерти великого человека врываться в его квартиру, с полицейским рвением переворачивать ящики столов, копаться в бумагах и бумажках, которые только найдут в доме. Но и этого мало, они начинают форменное судебное следствие, собирают по всему свету письма покойного, школьные табели, расписки, всякие другие документы, а затем с упорством страстных исследователей расшифровывают, комментируют, объясняют, переставляют слова, заменяют предложения и в конце концов на основе новых данных так разукрашивают, так перевертывают ранее написанную биографию, что она становится похожей на перелицованное пальто с нагрудным карманом, переместившимся с левой стороны на правую, с новым бархатным воротником и новой шелковой подкладкой. Кстати, следует иметь в виду, что в мастерских по изготовлению биографий не только кроют новые биографии, но и производят все другие работы: переделывают старье, гладят, выводят пятна, перелицовывают, ставят заплатки, если вдруг в какой-нибудь биографии обнаруживается дыра.

Вот, к примеру, биография заслуженного человека, известного ученого, профессора Стояна Антича, написанная еще при жизни покойного и, как я слышал, не вызвавшая у него никаких возражений. В биографии говорится, что покойник родился в 1852 году в Петровце. Мать его звали Ангелина, а отца Миле. Отец Стояна торговал свиньями, а сын его окончил начальную школу в Петровце, гимназию в Пожаревце, а высшее образование получил в Белграде. Так как Стоян по специальности был преподавателем естественных наук, то его сразу же назначили преподавателем немецкого языка и гимнастики. На этом поприще он развил такую кипучую деятельность, что даже создал капитальный научный труд о следах сербского языка в санскритском языке.

Через двадцать лет в руки биографов попала частная переписка Стояна Антича. На основе новых данных ими была составлена совсем другая биография. В ней уже говорилось, что покойника звали вовсе не Стоян, а Спира, что он только по ошибке носил фамилию Антич, так как настоящая его фамилия Николич. Мать его звали не Ангелина, а Мария, хотя мачеху действительно звали Ангелина, имя отца не Миле, а Мият, и был он не свиноторговцем, а попом. Покойный Спира родился не в Петровце Пожаревацкого уезда, а в Рековце Ягодинского уезда, и учился он в гимназии не в Пожаревце, а в Ягодине, никакой высшей школы в Белграде не кончал, а окончил агрономическое училище в Кралеве. В школе Спира преподавал не немецкий язык и гимнастику, а закон божий и пение. Покойный действительно написал капитальный труд, но не о следах сербского языка в санскритском языке, а о влиянии лесов на изменение климата.

Уверяю вас, я бы не удивился, если бы на основе писем и других документов, собственноручно написанных в свое время великим человеком, биографы доказали бы, что его вообще не существовало. И, будьте уверены, в частных письмах покойного, а особенно в тех, которые он писал, еще не зная, что будет великим, они сумели бы найти все, что им нужно. Разумеется, если человек стал великим, то он уже и частные письма пишет так, чтобы их можно было сразу посылать в набор, то есть поступает, как женщина, которая, однажды услышав, что она красива, старается оправдать это мнение. Читал я, например, письмо одного великого человека, академика, в котором он требовал от своего квартиранта возвратить долг. Великий человек писал в нем, что жизнь поистине отвратительна своей материальной стороной, что житейские заботы оскверняют великие души, приводил другие афоризмы о жизни с явным расчетом на то, что письмо попадет в печать. После грустных раздумий над жизнью великий человек написал: «Но существует известный порядок, который никому не дано нарушать»,— и, опираясь на эту истину, потребовал от квартиранта квартирную плату за три месяца. Правда, причитавшиеся ему деньги он получил только тогда, когда лично встретился с квартирантом и, чтобы не попало в печать, в устной форме обругал его

последними словами, пригрозив переломать ему кости.

Другой великий человек, очевидно не желая, чтобы после его смерти письма, принадлежащие ему, были опубликованы, в конце каждого письма делал приписку: «По прочтении прошу возвратить автору». Он так привык к этому, что даже, расписываясь в получении гонорара, сделал однажды приписку: «По прочтении прошу возвратить автору...» Знал я и одного выдающегося ученого, у которого страх оставить после себя какие-либо письменные улики превратился в манию, и он вообще отказывался писать. Умер этот ученый признанным автором научных трудов, хотя за всю свою жизнь не написал ни строчки.

Таковы в основном положительные и отрицательные стороны той непростительной глупости, когда человек добровольно становится жертвой биографа. И разве не лучше самому написать свою биографию и таким образом оградить себя от всяких случайностей?

Однако с моей стороны было бы нескромно утверждать, что только вышеупомянутые причины заставили меня написать автобиографию. Прежде всего я твердо уверен, что мои частные письма скорее могут восполнить недостаток в оберточной бумаге для зеленщиков, чем недостаток в источниках информации для биографов, и это вовсе не потому, что я не считаю себя великим человеком,— в этом отношении я абсолютно спокоен.

Если я и пишу эту книгу, то только для того, чтобы отметить ею шестидесятую годовщину своего существования. Я пишу ее потому, что мне вдруг захотелось обернуться назад и снова пройти через вчерашний и позавчерашний день, снова увидеть далекую молодость — самую замечательную пору моей жизни. И хотя мне тоже известны мудрые слова французского писателя Ги де Мопассана о том, что «нет ничего страшнее тех минут, когда старый человек начинает вспоминать свою молодость», я, подобно утопающему, в последние мгновения жизни вызываю в своем воображении картины прошлого, картины далекой молодости.

Но я оглядываюсь назад совсем не для того, чтобы оплакивать безвозвратно ушедшие годы. Наоборот, я оглядываюсь назад для того, чтобы вволю по-

смеяться, так как именно теперь могу сказать: «Хорошо смеется тот, кто смеется последний!»

На свет божий я появился не один, нас было трое. Первый лишь только открыл глаза, заплакал и с тех пор не расстается со слезами: в слезах проходит его жизнь. Второй, встретившись с первой заботой, уже не смог освободиться от них: в заботах проходит его жизнь. А третий, впервые засмеявшись, сделал смех своим неразлучным спутником: смеясь проходит он по жизни.

Жили мы в одном сердце, но пути у нас были разные.

Первый тащился по жизни, заливаясь горькими слезами. В мире он видел только зло и горе. Все ему казалось мрачным и отвратительным. Небо над его головой всегда было затянуто серыми тучами, а земля залита слезами. Он чувствовал всякую несправедливость. Горе и людские несчастья терзали его. Горько плакал он над чужими неудачами и над чужими могилами...

Второй шел по жизни, сгибаясь под тяжким бременем забот. То ему казалось, что солнце всходит не с той стороны, то его мучило, что земля не может крутиться в другую сторону, что реки не текут прямо, что моря глубоки, а горы высоки. С глубокомысленным видом он задумывался над каждым загадочным явлением, стремился познать его, брался за разрешение каких угодно проблем, но останавливался перед каждой трудностью; так и брел по жизни, сгибаясь под тяжестью забот.

А третий всю жизнь не переставал смеяться. С улыбкой на устах, с легким сердцем шел он по жизни, глядя на мир широко открытыми глазами. Он смеялся и над недостатками и над достоинствами, так как люди очень часто считают достоинствами самые отвратительные из своих недостатков. Он смеялся и над высокопоставленными и над униженными, так как высокопоставленные часто гораздо ничтожнее тех, кого они унижают. Он смеялся и над глупостью и над мудростью, так как человеческая мудрость очень часто представляет собой коллекцию людских глупостей. Он смеялся и над ложью и над правдой, так как для большинства людей сладкая ложь приятнее горькой правды. Он смеялся и над истиной и над за-

блуждением, так как истины в наш век обновляются чаще, чем заблуждения. Он смеялся и над любовью и над ненавистью, так как любовь очень часто эгоистичнее ненависти. Он смеялся и над печалью и над радостью, так как радость редко бывает без причины, тогда как печаль очень и очень часто беспричинна. Он смеялся и над счастьем и над несчастьем, так как счастье почти всегда изменчиво, а несчастье почти всегда постоянно. Он смеялся и над свободой и над тиранией, так как свобода часто просто фраза, а тирания всегда истина. Он смеялся и над знанием и над незнанием, так как всякое знание ограничено, а незнание не имеет границ. Одним словом, он смеялся над всем, смеялся... смеялся... смеялся...

И когда прошло полных шестьдесят лет (говорят, что это средняя продолжительность человеческой жизни), встретились все три путника в той самой душе, из которой вышли, и подвели итоги тому, что видели в мире.

Первым заговорил тот, что взвалил на свои плечи заботы всего мира:

— Утомился мой мозг, надломилась моя душа от забот о судьбах человечества.

— Но после твоих трудов, верно, меньше стало забот и легче стало жить людям?

— Нет, заботы неотделимы от человека. В них — условие развития человечества. Понял я, что отнять у человека заботы — значит совершить тяжкий грех перед человечеством.

— А познал ли ты жизнь, через которую прошел?

— Нет, придавили меня заботы, головы от них не мог поднять я...

Тогда заговорил тот, кто всю жизнь плакал:

— Мои глаза опухли от слез. Моя душа истерзана тоской и людскими страданиями.

— Ну и как, меньше теперь стало страданий и несчастья?

— Нет. По-прежнему страдают люди, недаром сказано: «Жизнь — это боль. Без боли нет жизни».

— А видел ли и познал ли ты эту жизнь?

— Нет, придавили меня заботы, головы от них не видел, ничего не мог познать.

Тогда взял слово тот, кто всю жизнь смеялся:

— Челюсти мне свело от смеха, так много на свете смешного. Чем больше я смотрел на жизнь, чем ближе узнавал людей, тем громче смеялся. И даже сейчас, стоя одной ногой в могиле, при взгляде на пройденный путь я не могу удержаться от смеха.

Тому, кто смеясь прошел по жизни, поручаю я заполнить своими воспоминаниями эти еще чистые листы моей юбилейной книги, потому что только он видел жизнь.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ПЕРВОГО ЗУБА

О смерти говорят, что она является самым достоверным фактом в жизни каждого человека, однако каждый пишущий автобиографию предпочитает начинать ее с менее точных данных о рождении. Поэтому и я вынужден примириться с этой давно установившейся традицией и начать повествование с описания дня рождения, хотя точно момент рождения очень часто определить почти невозможно. Долгое время не удавалось определить не только день, но даже год моего рождения. Только недавно было установлено, что я родился 8 октября 1864 года.

Прежние утверждения моих биографов, будто я родился в 1866 году, отпали благодаря тщательному исследованию, проведенному профессором Миленковичем. Предшественники Миленковича строили свои предположения на основе данных, согласно которым я перешел во второй класс гимназии в 1887 году. Предполагая, что я пошел в школу семи лет и, как они думали, к двенадцати годам окончил четыре класса начальной школы и один класс гимназии, они решили, что я родился в 1866 году.

Чтобы положить конец спору, профессор Миленкович предпринял исследование старых архивов, перевел все протоколы заседаний учительского совета и в конце концов доказал как неоспоримый факт, что в первом классе гимназии я учился не один, а целых три года и, следовательно, родился не в 1866, а в 1864 году. Приношу свою благодарность господину профессору за то, что он пролил свет на этот вопрос. Теперь нам все стало ясно, и никому больше не удастся ввести нас в заблуждение.

Между прочим, как раз в тот самый год, когда я родился, умер Вук Караджич. Конечно, это чистая случайность, так как я никогда не претендовал на то, чтобы какой-либо литератор умирал специально для того, чтобы освободить мне место в литературе. Однако эта случайная связь между мной и Вуком Караджичем наполняла меня гордостью, и я с ранних лет страстно мечтал, чтобы кто-нибудь переломил мне ногу, так как считал, что достаточно быть хромым, чтобы стать Вуком. Однажды мне чуть было не переломили обе ноги, но отнюдь не из-за стремления удовлетворить мое литературное тщеславие.

Почти в то же самое время, когда я собирался родиться, или даже несколько раньше, среди народов Балканского полуострова зародилась идея сближения и объединения, чтобы сообща подняться на борьбу за национальную независимость. Вероятно, я был первым опытом такого сближения, некоторым образом представляя живое воплощение идеи объединения балканских народов. Ведь если бы не сербами были те, кто вскормил и вспоил меня, за что я бесконечно признателен им, меня уже давно, наверное, застрелили бы как греческого министра, или мне пришлось бы в роли беспутного румынского князя скитаться по модным курортам Европы и транжирить деньги старых французских вдов. Обстоятельства могли бы сложиться и так, что, высланный из многих государств, я бродил бы по Балканским горам как главарь банды головорезов, оставляя за собой кровавый след и ожидая удобного момента, чтобы из своей разбойничьей шайки сформировать правительство.

Долгое время не могли установить не только время моего рождения, но и место. Одни биографы утверждали, что я родился в Белграде, а другие считали, что я уроженец Смедерево. И вся эта путаница произошла потому, что ни один из вышеупомянутых городов до сих пор не признает меня своим гражданином и каждый старается навязать меня другому. Я не могу, конечно, сослаться на свою память, но все же мне известны некоторые обстоятельства, проливающие свет на причины такой неразберихи. В нашей семье говорили, что отец был когда-то богатым торговцем в Белграде, но в тот самый день, когда я должен был родиться, он объявил себя банкротом, собрал

остатки своего имущества, в том числе и меня, и переехал на жительство в Смедерево. Я никогда не смогу простить ему этого. Посудите сами: еще не видя белого света, я предполагал, что буду сыном богатого человека, и вдруг в тот самый день, когда я уже не мог отказаться от появления на свет, отец объявил о своей несостоятельности, обрекая меня на нищенское существование. Я не могу простить ему этого еще и потому, что из всех своих многочисленных детей он выбрал именно меня, чтобы сыграть такую злую шутку.

И уж если я заговорил об отце как о шутнике, то должен упомянуть и о том, что, судя по всему, мои дальние предки тоже были в некотором роде шутники. Разумеется, это только предположение, так как о предках мне почти ничего не известно, и я даже не могу назвать свою настоящую фамилию, поскольку предки мои называли друг друга совсем иначе, а кому принадлежала фамилия, которую теперь ношу я, бог его знает. И вот возникает интересный вопрос: кто из моих предков и при каких обстоятельствах забыл свое имя? Я знаю, что один мой родственник, когда ему исполнилось двадцать лет и когда окружной начальник стал наводить о нем справки, тоже забыл, как его зовут. Причина тут вполне ясная. Но ведь такой причины не могло быть в те далекие времена, когда мой предок забыл свою фамилию. Для решения этой загадки остается предположить, что мой предок был вынужден скитаться за границей под чужим именем, то есть с подложным паспортом, и умер вдали от родины.

Когда я задумывался над этим фактом из своей биографии, мне всегда начинало казаться, что, должно быть, очень интересно умереть под чужим именем. Покойник, вероятно, испытывает особенное удовольствие от сознания того, что его смерть вызовет огромное количество уморительно веселых ситуаций.

Представляя себя в подобном положении, я заранее наслаждался растерянностью моих кредиторов, продолжавших меня и мертвого считать своим должником, хотя я и при жизни был для них все равно что мертвый. И, наконец, в каком положении оказалась бы моя жена, будучи самой настоящей вдовой и все же не имея права считаться вдовой. Я думаю и о том, какое разочарование постигнет профессора Симу

Митровича, который вот уже несколько лет, злорадно покашливая в кулак, готовит надгробную речь, которую намерен произнести перед церковью, и еще о многих и многих других запутанных и сложных ситуациях.

Я родился в старом домике недалеко от Белградского собора. Позднее этот домик был снесен с лица земли, и теперь на его месте возвышается огромное здание Народного банка, так что в настоящее время банковские несгораемые шкафы стоят как раз там, где была комната, в которой я родился. И если бы сейчас появилось такое благодарное поколение, которое, скажем, захотело бы отметить мемориальной доской место моего рождения, то доску с надписью: «Здесь родился...» и так далее нужно было бы повесить на здании Народного банка как раз над мрачными окнами с толстыми железными решётками, за которыми стоят несгораемые шкафы с банковским золотым фондом. И вы только представьте себе смущение моего будущего биографа, который на основе такого рода фактов начал бы вдруг доказывать, что я — внебрачный ребенок главного директора Народного банка, результат его преступной связи со вдовой швейцара. По указанию управленческого и контрольного совета, решившего скрыть позорную проделку главного директора банка, которая могла бы пагубно отразиться на банковском кредите за границей, вдова швейцара спряталась между несгораемыми шкафами с банковским золотом. Тут она родила меня и сунула в один из этих шкафов, где родила впоследствии обнаружила инспекторская комиссия, подсчитывавшая государственные ресурсы. Эта комиссия занесла меня в баланс в графу приходов. «Выйдя в жизнь из несгораемого шкафа Народного банка и имея на себе подпись главного директора, он, разумеется, легко мог держаться праведного пути», — так, наверно, закончил бы свое резонерство мой будущий биограф. Но, слава богу, у нас, кажется, не скоро еще появится такое благодарное поколение, а я могу быть вполне уверен, что с моей биографией никогда не произойдет подобного недоразумения.

Родился я в полночь, и поэтому в моей биографии нельзя писать: «Он увидел свет 8 октября 1864 года», а нужно: «Он увидел свет свечи 8 октября 1864 года».

Не по моей вине и без моего участия рождение мое произвело в нашем доме самый настоящий переполох. Бабка-повитуха, дежурившая у постели моей матери и подкреплявшаяся ромом, объявила, что родилась девочка. Услышав об этом, мой отец плюнул, почесал за ухом и выругался, чего я тогда, не будучи достаточно хорошо знаком с родным языком, не понял. Позднее я узнал, что мой отец был одним из передовых людей своего времени и всеми фибрами души ненавидел остаток варварского обычая — давать за невестой приданое.

Я никогда не пытался узнать, как могла повитуха так ошибиться, назвав меня девочкой, но думаю, что это результат рассеянности. Повитуха засиделась в девках, а у старых дев, говорят, подобная рассеянность не редкость: мужчину они считают женщиной и, наоборот, женщину мужчиной.

Можете себе представить, что творилось в нашем доме, когда под утро обнаружилось, что я мальчик. Бабка-повитуха оправдывалась тем, что в комнате было почти темно, а отец был безмерно счастлив оттого, что страшную ошибку удалось исправить скоро и безболезненно. Я же возненавидел бабку-повитуху за то, что она сунула свой нос туда, где ее не спрашивали. Зачем ей понадобилось уточнять, кто я и что я? Я убежден, что мне было бы гораздо лучше, если бы меня оставили в женской половине человечества. Теперь я плодовитый писатель, но никто не издает полного собрания моих произведений, а будь я плодовитой женщиной, все мои произведения давно бы увидели свет.

Между прочим, повитуха утверждала, что я опоздал с появлением на свет на целых семь дней. Я не знаю, по какому расписанию планировалось мое прибытие на семь дней раньше, но зато знаю, что в этом опоздании заключалась вся трагедия моей жизни. Вы только представьте себе: дебют, первое выступление на сцене, первое появление в жизни — и все это с опозданием на семь дней. И это в то время, когда у нас еще не было государственных железных дорог. Я, кажется, уже упоминал, что мой отец, всегда считавшийся богатым человеком, обанкротился как раз в день моего рождения, и, следовательно, если бы я не опоздал на семь дней, я мог бы еще родиться в бо-

гатов семье и был бы сыном богатого человека. Мне казалось, я был похож на человека, который, будучи приглашен на богатый и роскошный обед, пришел на целый час позже, когда все уже съедено, и ему предлагают сварить парочку яиц и при этом еще любезно спрашивают, как он желает — всмятку или вкрутую.

Это опоздание я считал самой тяжелой трагедией в своей жизни и всегда пытался узнать, нельзя ли от судьбы получить возмещение убытков, другими словами, могу ли я наверстать потерянные мною семь дней.

— Можете! Камфарой, — утешал меня мой домашний врач.

— Как камфарой?

— Очень просто. Как только вздумаете умирать, мы вам сделаем укол... и продлим вашу жизнь на те семь дней, которые вы потеряли при рождении.

С тех пор, как доктор сообщил мне столь утешительную новость, я, очарованный достижениями медицины, позволяющими ей доставлять людям такое огромное моральное удовлетворение, стал ее самым ревностным почитателем. Но все же меня никогда не покидала мысль о том, что мое семидневное опоздание, помешавшее мне родиться сыном богатого отца, — не просто опоздание, а слепой рок, который меня преследует; и я уже предчувствую, что, пожалуй, и слава моя опоздает и придет ко мне ровно через семь дней после моей смерти. А люди скажут: «Он не только опоздал родиться на семь дней, но и умер на семь дней раньше». И это была бы удивительно жестокая ирония судьбы.

Крещения я почти не помню. В моей памяти сохранились только отдельные отрывочные воспоминания. Помню, поп вылил на меня, совсем голого, целый таз ледяной воды, а я в душе обругал его такими нехристианскими словами, которые ни в коем случае нельзя считать моей первой речью по поводу принятия христианства.

Во время этого замечательного христианского обряда я получил насморк, с которым не расставался всю жизнь, а поэтому с полным правом могу сказать, что всю жизнь я чихал на религию.

Появившись на свет, я очень быстро свыкся с новой обстановкой. Мои ближайшие родственники — мать, отец, братья и сестра — показались мне очень

симпатичными, и я сразу же почувствовал себя среди них как дома. Прошло два-три дня, и, окончательно освоившись на новом месте, я начал коренным образом изменять существовавший до меня порядок. Так, например, пока меня не было, мать могла спать всю ночь спокойно, но мне это показалось негигиеничным, и я начал будить ее по пять-шесть раз в ночь. Отцу я разрешил до полуночи спать спокойно, зная, что ему необходимо отдохнуть от дневных забот. Но в полночь отец должен был хватать одеяло и бежать за две комнаты от моей, чтобы там, на диване, с головой укрывшись одеялом, досыпать остаток ночи.

Во всем остальном первый период моего детства был весьма однообразен, в нем нет ничего интересного, кроме разве нескольких мелких эпизодов. Так, например, однажды я упал под кровать, и меня целый час не могли найти. В другой раз я проглотил монету, и родители влили в меня граммов сто касторки, так что с того времени у меня болит желудок. А однажды у меня начались судороги, причем безо всякой особой причины, просто назло доктору, ровно через полчаса после того, как он, осмотрев и ощупав меня, сказал, что я здоров как бык.

Одним словом, дни моего детства были самыми безоблачными днями моей жизни, и только семейные советы выводили меня из себя. Каждый божий день родители и родственники собирались возле моей люльки и выясняли, на кого я похож. Лично я был глубоко убежден, что я ни на кого и ни на что не похож. В моем представлении я был похож на тесто, которое только еще начало бродить и которому только впоследствии великий пекарь — господь бог придаст какую-нибудь форму. Но те, кто собирался возле моей колыбели, всякий раз находили что-нибудь новое то на одной, то на другой части моего тела и вне себя от восторга восклицали: «Смотри-ка... лоб у него совсем как у отца, нос теткин, уши такие же, как у дяди Симы, рот как у дядиной жены», — и так далее.

Подобного рода обследования повторялись изо дня в день, из вечера в вечер, так что в конце концов я и сам поверил, что я какой-то урод, составленный из разных кусков, пожертвованных мне многочисленными родственниками.

Как раз к тому времени появились у меня первые зубы. Вот уж была настоящая комедия! Хохотали мы все до упаду. Лично я не горел желанием поскорее приобрести первый зуб, мне просто надоели постоянные домогательства отца, который то и дело засовывал мне в рот указательный палец и щупал мои десны.

Что же касается зубов, то только благодаря им я понял, что анатомия — наука неточная. Медицина утверждает, что у всякого человека тридцать два зуба, у меня же их не было до тех пор, пока я не уплатил зубному врачу 2 000 динаров. Но даже и после этого я до конца дней своих мучился от зубной боли. Вероятно, виноват в этом мой отец, который послал тысячу проклятий на мою голову, когда в знак признательности за его постоянную заботу я укусил его за палец своим первым зубом.

ОТ ПЕРВОГО ЗУБА ДО БРЮК

Конечно, я не остановился на первом зубе и довольно быстро украсил свои челюсти еще несколькими, что дало мне возможность произносить первые слова. Я и раньше издавал кое-какие нечленораздельные звуки, в которых мать находила известный смысл и объясняла его гостям. Это очень напоминает мне случай с зеленым попугаем аптекарши госпожи Милы, с которой я познакомился позднее. У госпожи Милы был зеленый попугай, который, как она утверждала, умел говорить. Когда попугай кричал: «Ла-ра-ро-ра-ро-ра!» — госпожа объясняла нам, что он сказал: «Добрый день!» Но мы, до предела напрягая внимание и слух, никак не могли этого разобрать. Так и мои первые нечленораздельные звуки «ду, му, гу, до, по...» и так далее моя мать переводила так, что получалось, будто я сказал «папа, мама...» и так далее.

Поэтому я и не считаю эти звуки своими первыми словами. Первым словом, которое я произнес, полностью сознавая его значение, было слово «дай!», и с тех пор, когда я говорю «дай!», я всегда знаю, что мне нужно.

Но еще важнее было то, что после первых зубов, в конце первого года моей жизни, я встал на ноги и начал ходить. Правда, я должен признаться, что вначале я ходил на четвереньках. Говорят, что прежде чем встать на ноги, надо сначала научиться ползать на четвереньках, или, другими словами, чтобы в будущем человек мог выпрямиться, ему сначала нужно поползать, подобно тому как прежде, чем прыгнуть, нужно присесть. Я не знаю, может быть, ползание, которым человек начинает свой жизненный путь, действительно представляет собой известную тренировку для будущей жизни, или, может быть, так уж определено судьбой, что человек в пору, когда он еще не умеет притворяться, когда он больше всего похож на человека, входит в жизнь на четвереньках?

Лишь только я начал ходить, как меня подвергли традиционному экзамену. Есть у нас такой замечательный обычай. Над головой ребенка, начинающего ходить, разламывают лепешку, но перед этим на нее кладут разные предметы и подсовывают ее ребенку, предоставляя ему полную свободу выбора. При этом считается так: за что схватится ребенок, в том и есть его призвание. На лепешке, которую положили передо мной, были книга, монета, перо и ключ, символизирующие науку, богатство, литературу и домашний очаг. Разумеется, я прежде всего бросил взгляд на монету и на́д вам сказать, что и до сих пор я не изменил своих вкусов. Но пока я ковылял к тарелке, чтобы взять монету, какая-то магическая сила унесла ее с лепешки. Искали ее, искали, да так и не нашли. И только позднее выяснилось, что в тот момент, когда я направился к лепешке и внимание всех было обращено на мои подвиги, мой старший брат стащил монету, хотя не имел на это никакого права, поскольку он давно научился ходить. Пришлось положить другую монету, ибо я поднял такой страшный визг, как будто кто-то опротестовал мой вексель. Предсказания, связанные с этой сценой, действительно сбылись в моей жизни: с раннего детства и до сих пор стоит мне протянуть руку к деньгам, как они бесследно исчезают.

Самый интересный период человеческой жизни начинается с момента, когда ребенок делает первый шаг, и кончается тогда, когда на него надевают шта-

ны. В этот период человек не принадлежит ни к мужскому, ни к женскому роду, и наша грамматика великодушно предоставляет ему убежище в особом, среднем, роде, чего не додумались сделать грамматики многих больших и культурных народов. Главные признаки этого грамматического рода следующие: а) существительные этого рода могут быть заменены местоимением «оно», б) существительные этого рода независимо от пола носят юбки и в) существительные этого рода называются обычно такими, боже спаси и помилуй, именами, что по ним невозможно определить, кто мальчик, а кто девочка. К таким именам относятся, например: Дуду, Биби, Лулу, Лили, Попо, Цоцо, Коко и тому подобные.

Не помню, как звали меня, когда я был в среднем роде, но могу вам сказать, что в юбочке я чувствовал себя прекрасно и так привык к ней, что позднее, когда я вырос, юбка уже не могла меня смутить. А главное, может быть, отчасти и под влиянием ошибки, допущенной повитухой, чтобы еще больше увеличить неразбериху, которую средний род вносит в вопрос различия полов, я и сам долгое время верил, что я — девочка. Из этого заблуждения меня вывело одно существо, которое звали Лулу. Как Лулу дошло до такого открытия, я и сейчас не могу сказать; помню только, что однажды Лулу шепнуло мне: «Ты мужчина!» — и мне вдруг стало так стыдно, что я готов был провалиться сквозь землю. И долго еще после этого, если мне приходилось встречаться с Лулу, я, сам не зная почему, стыдился того, что я мужчина.

Говорят, что в старости в человеке вновь просыпаются далекие ощущения детства и чем больше он стареет, тем чаще они к нему возвращаются. До некоторой степени я вижу это по себе, именно в отношении ощущений. Бывает, например, что и сейчас, как когда-то в детстве, меня вдруг охватывает жгучий стыд за то, что я мужчина.

Но спустя двадцать лет после того, как я расстался с юбочкой, я встретил маленькое создание Лулу, которое некогда было моим товарищем по среднему роду, и, увидев, что Лулу стала красивой и приятной дамой, я с восхищением воскликнул:

— Вам я должен принести благодарность, ибо вы первая мне открыли, что я мужчина.

Была у меня и еще одна такая же приятная встреча. Я познакомился с очень красивой и интересной молодой женщиной, и из довольно продолжительного разговора выяснилось, что мы ровесники, в детстве вместе принадлежали к среднему роду и дружили. Звали ее тогда Биби. От души смеялись мы, вспоминая все подробности нашей тогдашней жизни. Она призналась мне, что действительно была убеждена, что я девочка. И хотя теперь на мне были длинные отглаженные брюки и под носом редкие неприглаженные усики, так что в моей принадлежности к мужскому роду уже нельзя было усомниться, мне все же нелегко было заставить молодую женщину отказаться от нелепого заблуждения. А так как впечатления раннего детства обычно очень глубоко и надолго западают в душу, то мне пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить молодую госпожу, что я мужчина.

По своей привычке мне болтливости я отвел слишком много места юбкам молодых дам в то время, как эта глава автобиографии предназначена лишь для юбочек как форменной одежды существенных среднего рода. Вернемся же ко времени, когда на мне была короткая юбочка, когда я ощутил во рту первый зуб, произнес первое слово и сделал первые шаги в жизни.

В этот период у человека проявляются первые инстинкты, которые впоследствии ни жизнь, ни воспитание, ни образование уже не могут ни ослабить, ни уничтожить.

Один из основных инстинктов — это тщеславие, и это тем более очевидно, что проявляется оно в такой простосердечной, искренней форме, настолько привлекательной в детстве, что становится очень жаль, когда через некоторое время эта форма пропадает.

Вы все, конечно, знаете этого маленького тирана, который, как только вы пришли в гости и завели приятный разговор с его молодой матерью или старшей сестрой, становится у вас между колен, хватается за брюки липкими от варенья руками, задирает ногу вверх и кричит:

— А у меня новые ботинки!

Вы, разумеется, учтиво и как можно ласковее отвечаете:

— Ах, какие замечательные ботинки! — думая, что на этом вы закончили разговор с ним и можете про-

должать интересную беседу с его молодой матерью или старшей сестрой. Но вы ошиблись, так как маленький тиран только еще начинает свою атаку. Он хватается испачканной вареньем рукой за другую штанину ваших новых брюк и опять, подняв ногу вверх, кричит:

— А у меня новые ботинки!

Внутри у вас уже все переворачивается, но из уважения к молодой матери или к старшей сестре вы по-прежнему мило улыбаетесь, гладите свое наказание по головке и отвечаете:

— Да, да, мой маленький, я уже видел, очень хорошие ботинки... Прекрасные ботинки!

Но вы и на этот раз ошибаетесь, если считаете, что ваш ответ может удовлетворить его и что он позволит вам продолжать беседу со своей молодой матерью или старшей сестрой. Нет, нет, «оно» (средний род) не позволит вам вымолвить ни слова; забравшись к вам на колени, «оно» устроится поудобнее, акробатическим движением задерет ногу под самый ваш нос и потребует, чтобы вы говорили только о его ботинках и ни о чем другом, кроме как о его ботинках.

Но разве то же самое тщеславие, только без детского простосердечия и искренности, не проявляется у человека и позднее, разве оно не сопутствует ему всю жизнь? Молодая госпожа Ольга в день рождения получила в подарок бриллиантовые серьги и немедленно вдела их в розовые мочки ушей. Вы приходите, чтобы поздравить ее с днем рождения. В разговоре с вами она поворачивается к вам то одной, то другой стороной своего профиля: не заметите ли вы серьги и не выразите ли своего восхищения ее красотой. И если вы настолько невнимательны, что ничего не заметите, она сама постарается завести такой разговор, который заставит вас быть более внимательным к ее туалету. Разумеется, она не может поднять ногу вверх и сказать вам: «А у меня новые ботинки», — но она, скажем, может заговорить с вами о последней премьере, о глубине проблемы, которую поднимает пьеса, о блестящей игре ведущей актрисы, и как только ей удастся вовлечь вас в такой разговор, она сразу перейдет к туалетам знаменитой актрисы, и вы

увидите, как умно, лукаво, издалека проложит она дорогу, ведущую вас прямо к ее серьгам.

— И все же,— скажет она вам,— есть что-то такое, что не совсем гармонирует с тем, как актриса трактует образ. Я не сумела бы сказать, что именно, не смогла бы сразу найти, в чем несоответствие, но я чувствую эту дисгармонию. Может быть, дело в ее туалете. Актрисы очень часто одеты в костюм, который им к лицу, но всегда ли он отвечает тому психологическому состоянию, которое актриса должна передать? Представьте себе веселую распутницу в черном или разочарованную, больную, искалеченную жизнью женщину в каком-нибудь воздушном ярком платьице. Может быть, в этом и заключается несоответствие?

— Да, разумеется,— отвечаете вы как можно любезнее, не подозревая, что вы уже сунули нос в мышеловку и начали лизать смертоносную приманку.

— А кроме того, прическа; вы не находите, что во втором действии у нее была очень аккуратная, зализанная, слишком домашняя прическа. Разве не нужно было бы немножко больше свободы и беспорядка, несколько выбившихся локонов, между которыми, скажем, поблескивали бы бриллиантовые серьги в ушах? Разве это не сделало бы голову привлекательнее?

Если вы и при этих словах не заметите серьги в ее ушах и не выразите своего восхищения, ради чего и ведется этот разговор, тогда, разумеется, она продолжит:

— Может быть, я преувеличиваю, не знаю, я не компетентна. Есть еще среди нас люди, которые, например, считают, что серьги — это пережиток варварства... Может быть... Но все же следует признать, что серьги очень украшают голову. Вы не находите?

И разве после этих слов нам не кажется, что молодая госпожа подняла ногу к самому вашему носу и крикнула: «А у меня новые ботинки!»

Это молодая госпожа, но то же самое может проделывать и ее старая мать, которая всеми способами будет стремиться вытянуть из вас хотя бы такую фразу: «О сударыня, сколько молодых женщин могли бы вам позавидовать!» Того же ждет от вас и ее бабушка, которая рада была бы услышать хотя бы о том, что она еще прекрасно выглядит.

Но не подумайте, что эта человеческая слабость, появляющаяся в числе первых уже в раннем детстве и сопровождающая человека до самой смерти, а часто и после смерти, свойственна только женскому полу. Поэт, который читает свое произведение и просит у вас «беспристрастного суда», разумеется, предполагая, что решение будет в его пользу; государственный деятель, который в подкупленных им газетах пишет статьи о своих успехах; денди, любующийся своим отражением в зеркале и требующий, чтобы и вы смотрели на него с восхищением; солдат, выпячивающий грудь, чтобы вы заметили на ней медаль, которую он и сам не знает, за что получил, и прочие и прочие. Разве все они не задирают ногу вверх и не кричат: «А у меня новые ботинки!»

Что касается меня, то, по рассказам родителей и всех тех, кто помнит меня в раннем детстве, в этом отношении я был еще более агрессивен. Если в дом к нам приходил гость и я хвалился перед ним новыми ботинками, а он не обращал на это должного внимания, то, как рассказывают, я швырял в него туфлями, щеткой, совком для угля или еще чем-нибудь, что на полу попадало мне под руку. Часто у меня не хватало терпения ждать, когда придут гости, и я садился возле ворот на улице и, если кто-нибудь проходил мимо, высоко задираю ногу и кричал во все горло: «А у меня новые ботинки!»

Но это был не единственный мой подвиг в пору, когда я в юбке носился по дому и везде совал свой нос. Однажды я обнаружил несколько поколений кукол, принадлежавших моей сестре, которые сидели все вместе на подоконнике. Я хорошо помню эту отвратительную буржуазию. На голубой подушечке в левом углу подоконника сидела седоволосая пожилая дама в просторном ситцевом платье. В свое время она была совсем не такой седой, но я, будучи первый раз ей представлен, повыдергивал ее черные кудри, и, чтобы утешить сестру, старший брат нащипал ваты из подкладки отцовского зимнего пальто и наклеил даме на голову. Но хотя у этой старой дамы волосы были совсем седые, она была нарумянена так, как будто ей на щеки прилепили два кружка вареной свеклы. На груди у нее была брошь без камня, который выпал, а в волосах стеклянная жемчужина.

И своим туалетом и выражением лица она походила на жену богатого ростовщика, о котором ходили слухи, будто он нажил богатство темными путями, и о котором и без слухов известно, что он дважды сидел в тюрьме: один раз за то, что ложно объявил себя банкротом, а другой раз за злонамеренный поджог предварительно застрахованной мастерской.

У другой дамы, сидевшей рядом с ней, в редких волосах красовался бант, а брови были густо подведены. Когда ее купили, она закрывала глаза, то есть «умела спать», но после того, как я был ей представлен и вылил в ее глаза целую чашку воды, у нее, вероятно, там что-то испортилось, и с тех пор глаза у нее всегда были полуоткрыты, так что казалось, будто она вам подмигивает или даже кокетничает. Похожа она была на иностранку благородного происхождения, содержанку какого-нибудь директора банка, который однажды застал ее на месте преступления и выгнал из дома.

Третьей была фарфоровая девица с очень светлыми глазами и улыбкой на устах. Она всегда стояла прямо, прислонившись к стене. Фарфоровая девица хороша была тем, что, если она загрязнялась, ее всегда можно было оттереть или даже отмыть. И, вероятно, поэтому в жизни на таких фарфоровых куколках никогда не увидишь ни пятнышка. Но меня не привлекали ни ее светлые очи, ни тем более ее фарфоровая улыбка. Как-то все время чувствовалось, что эта девичья улыбка сделана на фабрике.

Четвертым в этом обществе был паяц с остроконечным колпаком на голове. Одна штанина у него была желтая, а другая красная. В растопыренных руках он держал маленькие металлические тарелочки, и хотя, презираемый всеми, он часто валялся на полу, только у него одного в этом обществе была душа. Помню, пока он был новым, стоило только слегка надавить ему на грудь, как из нее вырывался крик и он начинал быстро двигать руками и стучать тарелочками. Разумеется, мы, дети, впрочем, так поступают и взрослые, желая узнать, что скрыто в душе артиста, разорвали ему грудь и вытащили душу. Он лишился голоса. И с тех пор от него с презрением отвернулись и моя сестра, и ее подруги, и даже вся буржуазия, расположившаяся на подоконнике: жена ростовщика,

содержанка директора банка и фарфоровая девица.

Во мне проснулся какой-то революционный инстинкт, и я всей душой возненавидел праздную буржуазию, рассевающуюся на подоконнике. Мне хотелось отомстить ей за несчастного артиста. И однажды, когда никого, кроме меня, не было в комнате, я устроил настоящую Варфоломеевскую ночь. Я оторвал всем куклам головы, руки и ноги, повыдергал волосы, порвал платя и вообще учинил кровопролитие, достойное кровожадного пивовара Сантера или безжалостного Колло Д'Эрбуа, что, разумеется, в соответствующих размерах вызвало слезопротитие.

Конечно, это был не единственный мой подвиг, за который я заработал порку. Было очень много и других. Сколько раз, например, я связывал веревочкой совсем новые отцовские туфли, наполнял их водой и возил по двору, воображая, что это тележки. Однажды мать замесила тесто, накрыла полотенцем и поставила возле печки, чтобы оно поднялось. А я, играя у печки, сел в это тесто, придав ему форму, которую нельзя придать никакой моделью, но тесто пристало к форме и меня насилу отлепили. В другой раз я раздобыл где-то банку ваксы и за ужином намазал ею хлеб, после чего пять дней подряд мне очищали желудок. А однажды, когда меня одного оставили в комнате, я выбросил в открытое окно горшок с цветами, ножницы, вышитую подушечку и косу, которую мать вплетала себе в волосы. Желая узнать, куда упали эти предметы, я высунулся из окна и вывалился на улицу.

Пожалуй, можно было бы составить даже статистический отчет о моих подвигах. Известно, например, что шестнадцать раз я опрокидывал на свои колени тарелку с супом, три раза падал в корыто с водой, приготовленной для стирки белья, один раз вывалился из окна, один раз пальцем чуть не выдавил сестре глаз, два раза падал с лестницы и кубарем скатывался со второго этажа на первый.

Все эти подвиги помогли моим родителям увериться в том, что я «очень подвижной ребенок», и даже в разговоре с гостями моя мать горько жаловалась: «Не знаю, что мне с ним делать. За ним в четыре глаза надо смотреть. Этот мой младший — такой подвижной ребенок!»

Мне особенно нравилось то, что уже в самом начале жизни я приобрел известную репутацию, и, изо всех сил стараясь оправдать ее, я еще чаще стал ходить с разбитым носом, дергал сестру за волосы, однажды вывихнул палец на руке, а в другой раз ногу в суставе, пока, наконец, дело не дошло до того, что в один прекрасный день я достал из печки горящие угли и поджег сначала коврик на полу, затем скатерть на столе, а потом занавеску на окне, так что получилась грандиозная иллюминация, хотя в тот день и не было никакого государственного праздника.

Но не только подобные подвиги характеризуют ребенка в тот период, когда он носит юбочку. В это время дитя, будь оно мужского или женского пола, в равной степени любознательно и в равной степени несносно из-за этой своей любознательности.

Может быть, именно поэтому и мальчики и девочки в этом возрасте носят юбочки.

Я и в этом отношении не бросил тень на репутацию, которую успел приобрести, и засыпал вопросами и родителей, и всех домашних, и всех тех, кто приходил к нам в гости; я задавал им столько вопросов, что они не знали, куда от меня деваться. Я был не просто любознательным ребенком, я был настоящей машиной, способной с утра до вечера вырабатывать вопросы. Разумеется, меня не интересовали простые незначительные вопросы, я старался, чтобы они были потруднее, и испытывал тем большее удовольствие, чем больше мне удавалось запутать и смутить собеседника.

— Солнце и луна — это муж и жена?

— Почему у женщин нет усов?

— Учатся ли ослы в школе?

— Кто наставил быку рога?

— Почему у госпожи Станки раздутый живот?

И еще сотни таких же вопросов я мог задать в любую минуту, так что вполне понятно, почему один несчастный отец опубликовал в газетах объявление, гласившее: «Квартиру, питание и хорошее вознаграждение предлагаю тому, кто согласится отвечать на вопросы моего трехлетнего сына».

И хотя подобные детские вопросы кажутся бессмысленными и смешными, я все же считаю, что они

не лишены известной логики, которая для ребенка ясна, так как он смотрит на вещи и явления неиспорченными глазами, а для взрослых людей непонятна, так как чем глубже человек входит в жизнь, тем больше он теряет способность к логическому мышлению. Возьмем для примера хотя бы те четыре или пять случайных вопросов, которые я перед этим привел, и мы увидим, что они не только для меня, но и для любого другого ребенка вполне логичны.

Так, например, вопрос о том, являются ли солнце и луна мужем и женой, я, должно быть, поставил потому, что заметил, муж — солнце — ночью никогда не бывает дома, а жена — луна — никогда не бывает дома днем. Второй вопрос: почему у женщин нет усов, должно быть, возник в моем детском воображении потому, что я смутно предчувствовал появление движения за эмансипацию женщин, которое, без сомнения, развивалось бы значительно быстрее, а может быть, уже и победило бы, если бы женщины имели усы. О третьем вопросе много говорить не приходится. Не только тогда, но и сейчас столько ослов занимают высокие посты в государственном аппарате, что я не мог не спросить: учатся ли ослы в школе? Вопрос: кто наставил быку рога — это один из самых обычных вопросов, который задают все дети и на который они получают ответ, как только становятся взрослыми и ближе узнают жизнь.

Последний вопрос: почему у госпожи Станки раздутый живот — это вопрос более узкий, чисто семейного свойства. На него мне не только не ответили, но еще и отшлепали. Госпожа Станка, молодая, видная дама, была в дружеских отношениях с нашей семьей и очень часто приходила к нам в гости. Однажды, когда я заметил известную перемену в ее фигуре, я спросил у матери:

— Почему у госпожи Станки раздутый живот?

Мать смутилась и, чтобы не отвечать на мой вопрос по существу, сказала:

— Бог ее так наказал.

— Значит, она баловалась? — резонно спросил я, после чего мать выбежала из комнаты, чтобы не отвечать на мой следующий вопрос.

Так наш разговор на этом и кончился, и вопрос остался открытым. Но я всегда стараюсь применять

свои новые знания, и как только перед полуднем к нам пришла тетка, я объяснил ей, почему у нее не раздувается живот. А когда после полудня к нам пришла госпожа Савка, дочь приходского попа, я ей сказал:

— Смотри, не балуйся, а то и у тебя живот раздуется!

Разумеется, на это мое замечание ответила мать и, прибегнув к помощи домашней туфли, выгнала меня из комнаты, хотя я так и не понял, почему она это сделала.

Но это не единственный случай, когда моя любознательность вознаграждалась тумачами. Любознательность проявлялась не только в бесконечных вопросах, но и еще в одной особенности, которая также характерна для всех, кто носит юбки. За обедом и за ужином, да и во всякое другое время, я с особым вниманием следил за каждым словом, сказанным отцом или матерью, даже если они начинали шептаться, чтобы я их не слышал. В похвалу себе могу сказать, что у меня был очень тонкий слух, и, кроме того, каждое слово, которое я слышал, я всегда очень кстати тут же употреблял.

Так, например, когда однажды к нам в гости пришла госпожа Милэ, вдова, которая всегда очень красиво одевалась и всякий раз, прежде чем выйти из дому, выливала на себя чуть ли не полфлакона духов, я спросил ее:

— Правда ли, что ты родственница Прокиной кобылы?

— Что ты говоришь? — ахнула надушенная вдова.

— Это мама говорит, что ты стара, как Прокина кобыла.

Окружного начальника, который пришел к нам в день святого покровителя нашего дома, я спросил:

— Дядя, у тебя есть дырка на голове?

— Нет!

— А как же тогда у тебя мозги выветрились?

— Что?

— Папа говорит, что у тебя давно все мозги выветрились.

Разумеется, сразу же после подобных, по существу очень искренних, заявлений отец или мать задирали

мне юбку, причем они даже соревновались, кто быстрее это сделает. Столь частое задирание юбки компрометировало ее в моих глазах, что, впрочем, и в жизни бывает нередко. И вот однажды я сделал первый мужественный шаг в своей жизни, решительно заявив матери, что я не желаю больше носить юбку. Я и сейчас не могу сказать, какова была непосредственная причина, побудившая меня отказаться от юбки. Вероятно, она заключалась в том, что мне ее слишком часто задирали, а я заметил, что юбку задрать легче, чем снять штаны, и, следовательно, штаны гарантируют большую безопасность известной части тела, которую родители и учителя обычно используют как средство воспитания. А может быть, мое решение было продиктовано и другими мотивами. Так, например, одна из моих теток, та, которая со дня моего рождения уверяла, что я на нее похож, так измучила меня своими разговорами, что сходство с ней я стал считать величайшим несчастьем и, вероятно, хотел как можно скорее сбросить юбку, чтобы устранить хотя бы это минимальное сходство. А может быть, брюки привлекали меня и потому, что во мне проснулось естественное желание лазить по чужим садам. Это желание в жизни человека появляется только дважды. Один раз, когда он ощущает потребность красть чужие груши, орехи и яйца, а другой раз, когда он хочет украсть чужую честь.

Как вы сами понимаете, что если ради юбки можно перескакивать через чужие заборы, то в юбке этого никак нельзя делать.

Мать, разумеется, рассматривала мое желание расстаться с юбкой совсем с иной точки зрения. Моя сестра появилась на свет раньше, чем я, и я донашивал все те юбки, из которых она выросла. А если я от них откажусь, то донашивать их будет некому. Но, несмотря на эти материнские соображения, я решительно стоял на своем, кричал, плакал, визжал и валялся на полу до тех пор, пока, наконец, мать не разыскала где-то старые, поношенные брюки моего старшего брата и не надела их на меня, проклиная:

— Вот подожди, бог даст, еще пожалеешь о юбке! Так я и остался проклятым.

ЧЕЛОВЕК В БРЮКАХ

Это может показаться странным, но весь ход человеческой истории подтверждает ту неоспоримую истину, что стоит только человеку расстаться с юбкой, как он сразу становится мужественнее и решительнее. Юбка сковывает движения и не позволяет сделать ни одного серьезного шага, тогда как в брюках человек свободно и беспрепятственно шагает по жизни. Помню, мой приятель в молодости совершил один шаг в жизни без брюк, и это имело для него весьма плачевные последствия.

Брюки помогают определить не только пол, но и вид. Когда наденешь брюки, сразу видно, что ты двуногое. Брюки и в моральном отношении дают преимущество, но не потому, что их можно застегнуть, а потому, что если уж вы их надели, то будете ли вы стоять на ногах или на голове, все равно вы будете в брюках. Кроме того, брюки значительно выгоднее и надежнее, но не потому, что «юбка — символ податливости», а потому, что она делает человека слабым и безвольным. Это можно доказать и на исторических примерах. Все древние классические народы, носившие юбки, вымерли и исчезли с лица земли. Но трагедия состоит не столько в том, что они исчезли, сколько в том, что народы исчезли, а юбки остались. Есть тут и еще одно странное обстоятельство: если юбка действительно символ податливости и мягкотелости (из-за чего и погибли народы, носившие ее), то почему она и теперь еще сохранилась в одежде сильных мира сего: царей, попов, женщин?

Я расхваливаю брюки вовсе не потому, что я враг юбок, напротив, как истинный друг и поклонник юбок, я хотел бы сообщить о том, как много хорошего можно сказать о брюках. Но, подчеркивая особое значение брюк, я не собирался ни преуменьшить значение юбок, ни поссорить их с брюками и тем самым нарушить добрососедские отношения, существующие между юбками и брюками. Я хотел только оправдаться перед самим собой за гордость, охватившую меня, когда на меня впервые надели брюки.

Хотя особых причин для того, чтобы так гордиться брюками, которые на меня надели, у меня не было. Это были брюки старшего брата, на которых была

написана вся его краткая, но бурная биография. На коленях брюки блестели оттого, что в школе брату очень часто приходилось стоять на коленях, а сзади они были так исполосованы отцовским ремнем, что я постоянно ощущал самый настоящий сквозняк, от чего еще сильнее становился насморк, приобретенный мною при крещении.

Не знаю, были ли у брюк какие-нибудь традиции, которые я продолжил, или у меня у самого появились такие склонности, которым, чтобы проявиться, нужны были только брюки, но как только я их надел, я сразу же стал таким сорванцом и разбойником, что меня уж не пугали ни облавы, ни преследования, ни угрозы. Пока я носил юбку, вся моя деятельность протекала в комнате, теперь же я перенес всю активность во дворы нашего и всех соседних домов. Я считал, что брюки именно для того и придуманы, чтобы легче было перескакивать через заборы, и для меня уже не существовало границ между нашими и соседскими огородами.

Одним из первых моих занятий в брюках было лазанье по деревьям, что оказалось очень полезным, так как помогало мне добираться до соседских орехов, вишен и груш. Это занятие приносило мне и другую пользу. Как только мне угрожала какая-нибудь организованная семейная облава, я, как кошка, преследуемая собакой, взбирался на высокий орех, усаживался на сук и сверху швырял в своих преследователей орехами. Но все же власти додумались, каким образом причинить мне неприятность. Если, несмотря на все предложения моих преследователей сойти вниз и сдаться, я упорно оставался наверху, они выносили полную тарелку печенья, ставили ее под дерево, а сами уходили в дом и закрывали за собой дверь. Я, как всякая невинная пташка, думая, что никого нет, потихоньку спускался с дерева, чтобы полакомиться печеньем, но тут внезапно появлялись мои преследователи, окружали меня, обезоруживали и волокли в дом на экзекуцию. Тогда я понял, что люди, обладающие мелкими слабостями, не способны на большие подвиги.

Были у меня и другие невинные забавы. Так, например, однажды беленького, зализанного, чистенького, чуть ли не припудренного пуделя госпожи Вуйич-

ки, к которому я чувствовал особую неприязнь, я так измазал чернилами, что госпожа Вуйичка упала в обморок и целый год не могла отмыться своего любимца. В другой раз я налил дегтю в совсем новый ботинок старшего брата, так что пришлось разрезать ботинок, чтобы его можно было снять с ноги. А однажды во время ужина, в присутствии окружного протоиерея и всех моих теток, я зажег под столом бенгальский огонь, и получилась такая комедия, что нельзя было не заплакать от жалости. Стол перевернулся и придавил старшего брата, вся посуда съехала на колени старшей тетки, суп залил подол средней тетки (той, на которую я был похож), голубец влетел в глотку окружному протоиерею, у моей матери начался сердечный приступ, а младшая тетка проткнула вилкой язык и целых три недели после этого не могла вымолвить ни слова. Единственным, кто счастливо отделался, был мой средний брат (тот, который в свое время украл монету с лепешки). Схватив тарелку с пирогами, он исчез, и потом долго не могли отыскать ни его, ни пирогов. Разумеется, я был по заслугам вознагражден за такое веселое представление.

В число моих невинных забав входили и такие: я, например, пробирался на кухню, когда там никого не было, и бросал горстей пять-шесть соли в те блюда, которые я ненавидел, а потом за обедом наблюдал, как менялись лица у тех, кто их пробовал. А однажды я где-то нашел лисьи хвосты, приделал к ним булавки и несколько дней подряд утром и в полдень стоял за воротами, спрятав руки за спину и поджидая судебных и окружных чиновников, ходивших мимо нашего дома на службу, чтобы привесить им сзади хвост. Чиновники с хвостами шли в канцелярию, вызывая веселый смех у прохожих. Разумеется, очень скоро выяснилось, кто жалуется их такими наградами, и меня опять немилосердно избили, хотя я еще и теперь считаю, что многим и многим те хвосты были очень кстати.

Было у меня еще одно оригинальное развлечение. Если к нам на ужин собирались гости, я обшаривал все карманы их зимних пальто и перекладывал найденные в них вещи из одного в другое. И сколько раз господин судья уносил домой пудреницу госпожи на-

чальницы, а госпожа Стана, вдова, — футляр от трубки учителя сербской истории, госпожа попадья — табакерку окружного начальника, а уездный начальник — начатый чулок с четырьмя спицами и клубок пряжи, принадлежавшие госпоже Маре, жене сборщика налогов. Разумеется, на другое утро начиналась беготня и обмен вещами, возникали всевозможные подозрения и семейные скандалы, по традиции заканчивавшиеся на моей спине.

Очень любил я забираться под стол во время звонного ужина или обеда. Боже, если бы я только знал, чему я мог научиться во время этих экскурсий. Я знал, что сами за себя могут говорить цифры и цветы, но не знал, что ноги под столом тоже могут разговаривать. Я тогда не обращал внимания на ноги аптекарши и судьи, которые так ласково относились друг к другу, словно были родные брат и сестра. Я не понимал, почему нога протоиерея, которая выглядывала из-под рясы и которую я сначала считал ногой моей тетки, так жмет ногу учительницы третьего класса начальной школы, поскольку знал, что моя тетка и эта учительница были далеко не на дружеской ноге. Жаль, что я тогда не понимал всего, что происходило под столом, а позднее, спустя много лет, когда я понял, что к чему, я уже не мог залезть под стол.

Но все это были подвиги незначительных размеров, более значительные совершались на улице, вне дома. Там меня всегда поджидала ватага сорванцов, не признающих родительской власти, с которыми я совершал экскурсии по чужим огородам, чердакам и крышам и с которыми я играл во всевозможные игры, начиная с игры в камешки и кончая игрой в правительство.

Разумеется, больше всего нам нравилось играть в то, что мы видели вокруг. Если в город приезжал цирк, то уже на следующее утро мы все превращались в цирковых артистов, ломали стулья, обрезали бельевые веревки, выкатывали из подвалов бочки и причиняли тысячу других убытков во имя того, чтобы овладеть цирковым искусством. Если приезжал театр, страдали, разумеется, бумаги из отцовской конторы, исчезали ковры и подушки из дома, доски из сарая, мука из кухни, шерсть из подушек (для усов и бород), а кроме того, юбки, старые пальто и многие.

другие предметы, которые маленькие сорванцы собирали и уносили из дома. Если в городе шел набор в армию, мы играли в новобранцев. Если в горах появлялись гайдуки, мы играли в гайдуков.

Однажды мы играли в кризис. Кризис — это явление, которое тянется с первого дня существования государства и будет продолжаться, пока оно состарится, подобно тому как ребенок, родившийся с родимым пятном, не расстается с ним всю жизнь. И политические младенцы охотнее всего играли в эту игру, так почему бы и нам не играть в нее?

Разумеется, я всегда был тем, кто составляет кабинет. Моя миссия не опиралась на доверие какой-либо Скупщины, но это не такое уж необычное явление в нашей политической жизни. Так как мы играли на нашем дворе, то я с большим правом, чем Людовик XIV, мог заявить: «L'état c'est moi!»¹ — и на этом основании захватить всю власть в свои руки.

Все, сколько нас было, хотели быть министрами, — кстати, эта слабость присуща не только детям, — и, разумеется, поскольку у нас не было подданных, так как никто не хотел ими быть, то не могло быть и Скупщины.

Но даже если бы мы взяли под свое управление гусей, индюков, уток и других добронравных созданий, заполнявших двор и благодаря своей лояльности являвшихся очень подходящими подданными, то вряд ли бы мы чего-нибудь достигли, создав их в Скупщину. Они, конечно, объединились бы в клубы представителей, то есть в клуб индюков, клуб гусей и клуб уток. Но эти клубы ничуть не повлияли бы на те полномочия, которые мы, правительство, сами себе присвоили, поскольку, как известно, политические клубы существуют лишь для того, чтобы причать своих членов не жить своим умом и не терзать себя укорами совести. Гусак, индюк и утка, которые, скажем, оказались бы председателями клубов, получили бы от нас клятвенные заверения в том, что всем им (им лично) будет улучшено питание. Вот тебе и большинство, вот тебе и доверие.

Правда, на нашем дворе среди домашних животных жил и еж, который, судя по его внешности, мог

¹ Государство — это я! (франц.)

бы при случае представлять оппозицию. Но целыми днями он спал, а оппозиция, которая спит, совсем не опасна. Да и в конце концов этот его внешний вид представлял не бог весть какую опасность, ибо никогда не нужно бояться оппозиции, для которой иголки служат только украшением.

Благодаря этому мы имели все условия, позволявшие нам пользоваться неограниченной властью, а неограниченная власть, когда ее некому ограничить, кажется воплощением нашего традиционного довольства.

В таких благоприятных условиях я очень легко разрешил правительственный кризис и сформировал правительство. Себе я оставил портфель министра иностранных дел. Тогда еще никто из нас не имел представления о такой замечательной и доходной должности, как министр без портфеля. Мы, разумеется, знали о портфелях без министров, но министр без портфеля — это уже более позднее изобретение. Если бы в наше время была такая должность, то я бы, разумеется, взял на себя тяжкий труд управлять министерством без портфеля, без определенных обязанностей и без канцелярии. А так мне пришлось взять на себя иностранные дела, потому что я был «из хорошей семьи» и очень плохо знал иностранные языки, что также является одной из характерных особенностей наших дипломатов.

Кроме меня, в правительство входило еще четыре министра: полиции, финансов, просвещения и армии. В те далекие времена, когда мы играли в правительство, не было многих министерств. Так, например, не существовало министерство народного здравоохранения, так как тогда, по всей вероятности, вообще не существовало здоровье народа. Не было и министерства путей сообщения. Дороги, разумеется, были, но мы часто пели под гусли: «Дороги еще пожалеют о турках, так как некому теперь нас заставить чинить их!» Леса, разумеется, тоже были, но в них хозяйничали разбойники, и только совсем недавно разбойников сменили министры и образовано было лесное министерство. Руды, говорят, тоже были, но поскольку налог все платили исправно, то и не было никакой необходимости искать другие источники дохода. Водные пути тоже были и так же, как сейчас, являлись

причиной наводнений, только тогда не ощущалось никакой потребности в том, чтобы наводнениями управлял специальный министр.

Список моего правительства выглядел примерно так: министром иностранных дел стал я, а министром просвещения я назначил Чеду Матича за то, что он по два года сидел в первом и во втором классе гимназии и, следовательно, учился больше, чем мы. Кроме того, Чеду два раза исключали из школы, и, следовательно, он наперечет знал все школьные законы, и, наконец, грамотность он считал роскошью, а этого же мнения придерживались и тогдашние настоящие министры. Министром полиции мы назначили Симу Станковича, сына жандарма из окружного правления, считая, что служба в полиции является в их семье традицией и что воспитание, которое жандарм мог дать сыну, вполне достаточно, чтобы быть министром полиции в Сербии. Кроме того, у Симы были и другие достоинства. Он, например, мог грубо облаять, начав с господ бога и кончив самой маленькой блохой в одеяле, а кроме того, умел пригрозить ножом, а то и просто дать по морде. Все это так или иначе подтверждало, что он обладал всеми качествами настоящего министра полиции, и мы все считали, что удачно выбрали кандидата на этот пост. Министром финансов стал Перица из третьего класса начальной школы. Он был еще маленьким и носил штаны с разрезом сзади, сквозь который постоянно торчал кусок рубашки. Этот хвост только в воскресенье до полудня был более или менее чистым. Перица был ни к чему не способен, ни к той работе, за которую взялся, ни к какой-либо другой, но ведь это никогда не было препятствием при создании настоящих министерств. Тот грязный хвост, который он таскал за собой, не только не мешал ему, но, наоборот, был в некотором роде знаком отличия, и таким характерным, что мог бы послужить в качестве постоянного знака отличия для всех министров финансов.

Портфель военного министра мы отдали нашему другу еврейского вероисповедания Давиду Мешуламу. Сделано это было не без причины. Назначая его военным министром, мы хотели прежде всего оградить себя от возможности вступления в войну с каким-либо другим государством, а кроме того, предоставить на-

шему другу Давиду непосредственную возможность участвовать в поставках и подрядах, которые расписывает военное министерство, зная, что он и без того в них участвует.

Заседания таким образом составленного кабинета происходили иногда на крыше дровяного сарая, но чаще даже еще выше, на ореховом дереве, где каждый министр восседал на своем суку. Это второе место можно было бы рекомендовать любому правительству, так как только наверху, на суку орешника или на крыше четырехэтажного дома, оно могло бы оградить себя от любопытных журналистов.

Имея во главе своих войск Давида Мешулама, мы могли свободно заявлять о своем миролюбии независимо от того, какие планы вынашивал военный министр в глубине своей души. Но однажды, — как раз тогда, когда на повестке дня очередного заседания кабинета стоял вопрос о том, чтобы правительство в полном составе перескочило через забор Милоша-пекаря и покрало в его саду вишни, которые к тому времени были настолько спелы, сочны и румяны, что могли бы соблазнить любое правительство, — Давид Мешулам сообщил об одном инциденте международного значения, в результате которого один из наших подданных тяжело пострадал, вследствие чего мы должны были ради нашего престижа увеличить размеры компенсации. Случай, о котором сообщил Мешулам, вообще-то был всем нам уже известен и заключался в следующем: наш гусь несколько дней назад пролез под забором на соседний двор в тот момент, когда соседского гуся не было среди гусынь. Правительство не знало, с какими намерениями их гусь присоединился к чужим гусыням, но гусь-хозяин и его гусыни безжалостно набросились на нашего подданного и так избили и изувечили его, что он, оставив им половину хвоста и половину перьев, чуть живой вернулся на родину. Военный министр предлагал завтра, в четверг, после полудня объявить соседям войну. Время было выбрано не случайно: во-первых, в четверг после полудня у нас не было занятий в школе, а во-вторых, на основании сведений, полученных из достоверных источников, Мешуламу было известно, что завтра после полудня соседи отправятся на виноградник и дома никого не будет.

Свое предложение военный министр закончил словами из заповеди Моисея: «Зуб за зуб, око за око», — то есть потребовал за оторванную половину хвоста и за несколько перьев, выдранных из головы нашего гуся, догола ощипать всех соседских гусей. Он особенно настаивал на необходимости отомстить гусыням, так как в конце концов, говорил он, соседский гусь имел кое-какие основания для нападения на нашего гуся: он защищал честь своего домашнего очага, но кто просил гусынь вмешиваться в это дело?

После того как предложение было принято, Мешулам разработал стратегический план. По этому плану министр финансов, как самый маленький и слабый, не принимал активного участия в экспедиции, а должен был оставаться на заборе для охраны, чтобы вовремя сообщить нам о приближении посторонних. Я, министр просвещения и министр полиции должны были ощипать всех гусынь, а сам военный министр должен был собирать перья. План был принят, и на другой день в полдень военный министр прибыл в назначенное место с пустой наволочкой, представлявшей собой все военное снаряжение нашей экспедиции.

Точно в два часа семнадцать минут началось наступление. Я не знаю, столько ли было времени, но когда церковный колокол пробил два часа, повозка с семьей нашего соседа отбыла в направлении виноградников, и почти сразу же после этого мы перемахнули через забор. Министр финансов остался на заборе. Точное время — два часа семнадцать минут — я указал потому, что обычно так начинаются корреспонденции с поля боя. В два часа двадцать минут я уже щипал одну гусыню, министр полиции — другую, а министр просвещения — третью. Гусыни отчаянно пищали, но мы, придерживаясь заповеди: «Зуб за зуб, око за око и перо за перо!» — продолжали свое дело до тех пор, пока гусыни не остались совсем голыми, будто только что вылупились. Военный министр между тем старательно собирал перья в наволочку. В два часа тридцать две минуты мы предприняли нападение еще на трех гусынь. Сражение развивалось в соответствии с планом, и победа была уже близка. Но, как это обычно случается в стратегии, военный министр не учел, что неприятель может получить поддержку со стороны союзника. Вдруг совсем неожиданно на

фланге нашего растянутого фронта появился дворový пес, спавший до этого где-то на кухне. Такое внезапное нападение внесло некоторое замешательство в наши ряды, и министр полиции, которому пришлось первому столкнуться с псом, выпустил полуощипанную гусыню, схватил камень и вступил с ним в рукопашную схватку, прикрывая наш фланг. Если бы все так и осталось, то мы могли бы еще добиться окончательной победы, но нас ждала еще одна неожиданность. Собачий лай разбудил работника, спавшего на кухне, и он появился на поле боя с дубинкой в руках.

Оказавшись под таким сильным артиллерийским огнем, отступила бы и всякая другая, даже более опытная армия. Я не знаю, что было потом, помню только, как дубинка опустилась на спину министра просвещения и я услышал его отчаянное «ой!». Министр полиции, как кошка, вскарабкался на дерево и отважно спрыгнул с него на крышу сарая, так как работник стал швырять в него камнями. Мне тоже пришлось испытать на себе действие тяжелой артиллерии, но я сравнительно легко перемахнул через забор. Министр финансов поднял такой визг и плач, как будто Скупщина потребовала от него отчет, и попытался было покинуть свой пост, но хвост, волочившийся за ним, зацепился за какой-то гвоздь, и министр остался висеть на заборе. Я знал, что этот хвост помешает ему когда-нибудь в жизни, и вот теперь мои предсказания сбылись. Соседский работник, разумеется, подошел и снял министра финансов с забора с такой легкостью, будто сорвал спелую грушу, и устроил ему такую баню, которую не смог бы ему устроить даже самый крайний оппозиционер из левого крыла. Сделав свое дело, работник ловким пинком перебросил министра финансов через забор, как футбольный мяч. Военного министра никто не видел, и мы долго не могли узнать, что с ним.

Когда же, еле-еле оправившись от страха после такого тяжелого поражения, мы собрались у нас на чердаке, чтобы выяснить состояние наших войск, то оказалось: моральное состояние — подавленное, численный состав — все налицо, один тяжело ранен, один убит. Убитым мы считали военного министра. Я приказал похоронить его за государственный счет, что

нельзя было выполнить только потому, что труп министра нигде не могли найти.

Позднее мы узнали, что как только военный министр заметил работника, он благополучно спрятался за сараем, а когда все утихло, вылез и отнес домой полную наволочку гусиных перьев. Согласно достоверным сведениям, собранным впоследствии министром полиции, всю эту войну мы вели только из-за того, что матери Давида Мешулама нужно было набить подушку гусиными перьями. Так еще раз была подтверждена та старая истина, что мелкие причины часто влекут за собой великие последствия.

Разумеется, это были не единственные результаты поражения. Последствия больших мировых столкновений дают себя чувствовать и после войны. И хотя, если учесть способ формирования нашего кабинета, кажется, что он не встречает никакой оппозиции, все же могу вас уверить, что мы были единственным сербским правительством, которому пришлось в данном случае почувствовать всю тяжесть ответственности за свои поступки.

ПАРКИ

Разумеется, мои подвиги отражались не только на моей спине, но и на родителях и на всех домашних. Всех их охватило беспокойство о моем будущем, которое отец выражал часто повторяемым криком: «Ты кончишь на виселице!», а мать восклицанием: «Уж лучше бы я тебя, разбойника, собственными руками задушила, как ты только пискнул!»

Я не соглашался с мнением своих родителей, и мои тетки тоже их не поддерживали, а защищали меня, особенно та, которая вбила себе в голову, что я на нее похож, и твердили, что я очень смысленный и подвижной ребенок.

Известно, что смысленные и подвижные дети обычно доставляют своим родителям мучения, и поэтому неудивительно, что родители считали вопрос о моем будущем одной из самых тяжелых своих забот.

Эту заботу моя тетка попыталась облегчить, решив заглянуть в мое будущее. Однажды она отреза-

ла лоскут от моей рубашки и отнесла его к гадалке; та бросила его в тарелку с водой, помешала воду палкой и, глубоко задумавшись, стала читать мою судьбу:

— Найдет на него тяжелая болезнь, но спасется, постигнет его большое несчастье, но спасется, попадет в руки к злым людям, которые захотят его убить, но спасется, застигнет его в море сильная буря, но спасется, женится — и не будет ему спасения! — Эти пророческие слова гадалки действительно сбылись.

— Богат будет — и богатства его умножатся, счастлив будет — и весь свет будет ему завидовать. — Эти же слова гадалки так и не сбылись.

Но если мать такие предсказания успокоили, то отца они не могли успокоить, и поэтому в семье очень часто велись разговоры на эту тему. Все родители очень охотно занимаются определением судьбы своих детей. Мой кум, у которого было три сына, моих товарища, очень часто говорил:

— Старший у меня умница, пусть будет учителем, средний торговец, а младшего, мошенника, отдам в офицеры!

То ли судьба не слышала этих его желаний, то ли произошло какое-нибудь недоразумение в небесной канцелярии — не знаю, но мне известно, что старший сын — учитель — стал бакалейщиком, средний — торговец — унтером в военном оркестре, а младший действительно надел форму, только не офицерскую, а ту, с двадцатой буквой алфавита на спине.

Родители мечтают о будущем своих детей, и дети тоже мечтают, только желания детей гораздо скромнее, чем желания родителей. Так, например, девяносто из ста детей хотят стать пожарными, трубочистами, жандармами, булочниками, музыкантами, в то время как девяносто из ста родителей хотят, чтобы их дети стали министрами, генералами, митрополитами, директорами банков и тому подобное. И можете представить себе, как неудачно сталкиваются желания в семье: отец хочет, чтобы его сын стал митрополитом, а сын хочет быть трубочистом; отец хочет, чтобы его сын стал министром, а сын хочет быть жандармом; отец хочет, чтобы его сын стал генералом, а сын хочет быть булочником. Судьба между тем, придерживаясь золотой середины, редко удов-

летворяет желания родителей и очень часто — желания детей.

Бывает, разумеется, что в столкновении желаний детей и родителей судьба не знает, на чью сторону встать, и, исполняя иногда родительские желания, не упускает случая удовлетворить хотя бы до некоторой степени и желания детей. Поэтому часто и встречаются в жизни министры, очень похожие на жандармов, митрополиты, похожие на музыкантов, и генералы, похожие на булочников.

Если бы вопросом определения судьбы занимались только родители, то это еще куда бы ни шло. Но дело часто осложняется тем, что в него вмешиваются обычно и те, кого это меньше всего касается. Прежде всего все тетки по отцу и по матери, а затем и те бесплатные семейные советники, от которых страдает почти каждая семья. Разумеется, в случае со мной дело осложнялось и тем обстоятельством, что в детстве у меня было столько всевозможных склонностей, что это не могло не привести в замешательство не только моих родителей, но и всех тех, кто хотел помочь в этом вопросе своим советом.

Мое будущее было темой и одного особенно большого разговора, состоявшегося после того бурного дня, когда общинный жандарм за какую-то мелкую провинность приволок меня домой за ухо, а мать три раза отчаянно воскликнула: «Уж лучше бы я тебя, разбойника, задавила, когда ты только еще первый раз пискнул!»

Разумеется, вмешательство полиции в дело моего воспитания представляло страшный удар для всей нашей семьи, и, после того как я получил полагавшуюся мне взбучку и был отправлен без ужина в постель, все, как мои родственники, так и многие гости, собрались в другой комнате отпраздновать чей-то день рождения.

Они думали, что я заснул, утопая в слезах, но я не мог спокойно спать, не отомстив за то, что они лишили меня права присутствовать на ужине, на котором было все, вплоть до печенья. И пока господин протоиерей провозглашал здравицу, я, зная, что это обычно тянется очень долго, вылез из кровати, никем не замеченный пробрался в кухню и рукой смазал на торте все узоры и украшения, которые та

тетка, на которую я был похож, целый вечер терпеливо вырисовывала, а затем, сделав пальцем в торте четыре дырки, высыпав полкилограмма соли в мороженое, налив уксуса в приготовленный кофе и облив керосином из настольной лампы салат, я со спокойной совестью вернулся в кровать, как человек, совершивший какое-то важное дело, закрыл глаза и притворился, будто сплю глубоким сном.

Разумеется, я получил полное удовлетворение и был очень доволен, когда из соседней комнаты стали доноситься отчаянные вопли, объяснения и извинения и, наконец, возгласы, свидетельствующие о том, что упала в обморок та тетка, которая целый вечер разрисовывала торт.

Сразу же после этого, как я и ожидал, в моей комнате появилась целая комиссия, чтобы убедиться, сплю я или нет. И тут возле моей кровати началась бурная дискуссия по вопросу о том, стоит ли меня излупить сонного прямо в кровати или следует подождать до завтрашнего утра. Я был согласен с большинством комиссии, считавшим, что лучше излупить меня завтра утром, рассчитывая, разумеется, еще до рассвета исчезнуть из дома.

Таким образом, я сам поставил вопрос о себе на повестку дня перед судьями, и в той комнате, где они ужинали, все дальнейшие разговоры о предстоящей свадьбе моей двоюродной сестры прекратились.

Дискуссию открыл отец, закричав: «Он кончит свой век на виселице!», а мать снова повторила: «Уж лучше бы я его, разбойника, задушила собственными руками, как только он первый раз пискнул!»

Гости, разумеется, пытались утешить убитых горем родителей. Наш сосед, бакалейщик, сказал:

— Мальчишка, конечно, своевольный, но это ничего. Вот я, например, когда был маленький, крал все, что попадало под руку, а теперь я хозяин и все как должно быть. На все воля божья!

Протоиерей со своей стороны подтвердил это и привел в пример своего племянника.

— Ему еще и трех с половиной лет нет, а он так кроет бога, будто окончил школу подмастерьев. А я вот, ежели к примеру, ни разу не ругнул бога, пока не поступил в духовную семинарию. И подумать только, дитя из семьи священника, и поди ж ты. Та-

кие теперь дети пошли развитые да способные, и должно нам с тем примириться!

И после того как они согласились с тем, что все теперешние дети «развитые да способные», начали решать вопрос, кем же мне лучше всего стать. Заседанием руководил сам протоиерей, а сбоку от него, как три мифологические парки, которые прядут судьбу, сидели три тетки и всякий раз вмешивались в разговор. Клотой, паркой, которая держит пряжу, была моя старшая тетка, хотя в ней не было ничего мифологического, а под носом у нее росли усики, как у девятнадцатилетнего парня; на парку Хезис, которая выпраждает нить, была очень похожа моя средняя тетка, так как она и в жизни умела не только выпраждать, но и путать нитки; а Антропу, парку, которая держит ножницы, чтобы отсечь длину человеческого века, замещала моя младшая тетка, способная и без ножниц сократить человеку век.

Дебаты открыл мой отец, заявив:

— Я пошлю его к кузнецу в ученики, погнет спину — утихомирится!

Все три парки встретили такое заявление с явным неудовольствием и сразу же высказали каждая свое мнение.

— Я думаю, лучше всего ему идти в офицеры, — заявила Клота. — У офицера хорошее жалованье, денщик и офицерская честь. Он командует и марширует под музыку на парадах.

— А война? — воскликнул сосед бакалейщик, питавший врожденное отвращение к войнам.

— Ну, а если начнется война, то для чего же офицер, как не для того, чтобы сидеть в штабе и читать депеши с поля боя. А потом война — это возможность получить орден! — защищала свою точку зрения Клота.

— Я думаю, что было бы лучше, если бы он стал чиновником! — внесла свое предложение Хезис. — По крайней мере не нужно мучиться и кончать школу.

— Да, но смотря какой чиновник, чиновники бывают разные! — вмешался сосед бакалейщик. — Вот, например, таможенный чиновник — тут тебе и честь и уважение. Это я понимаю — специальность. Наблюдает за чужими делами, вылавливает контрабанду и задерживает у себя все, что ему понравится. А по-

том видишь: шляпа на нем из тех, что он у контрабандистов отобрал, а шелковое платье на жене тоже из тех, что у контрабандистов отобрал. Это я понимаю, это хорошая специальность, а то еще хорошо на почте служить.

— Ох, вот уж не сказала бы,— заметила Хезис.— Целый день только и знай, что марки лепи, так что язык становится как крахмальный воротничок.

— Это правильно, марки лепит и клей глодает,— защищал свое мнение бакалейщик,— но зато, брат, сколько писем денежных через его руки проходит.

— Да, но письма-то запечатанные,— вмешивается мой дядя,— а если письмо распечатаешь, так тебя самого тогда запечатают. Вот и выбирай: хочешь — письмо оставь закрытым, хочешь — тебя самого на замок закроют. Если хочешь, чтобы тебя на замок закрыли, пожалуйста! Нет, если уж человеку суждено с деньгами возиться, то пусть он лучше возится с незапечатанными, пусть, например, будет кассиром. В самом деле, почему бы ему не стать кассиром?

— Кассиром нельзя! — решительно возразил протоиерей.— Для такой должности родиться надо, у кассира особый дар. Целый день возишься с чужими деньгами, а взять не можешь. Это, прости меня боже, все равно, что кто-нибудь целый день с чужой женой возится, а не может...— Но тут протоиерей прервал свое удачное сравнение, так как все три парки — Клода, Хезис и Антропа — в один голос закричали: «Ах!» — не дав батюшке закончить мысль.

Третья парка, та, что сокращает человеческий век, высказалась за то, чтобы я стал учителем.

— Нет ничего лучше! — воскликнула она.

— Конечно! — ухмыльнулся протоиерей, по традиции, как представитель церкви, питавший отвращение к просвещению.— Конечно. Куда как хорошо. Ведь что главное — если ты учитель, тебе не нужно знать предмет, которому ты учишь. Я, допустим, не могу при венчании спеть за упокой, правда? А учитель может; придет на урок арифметики, а говорит о законе божьем, придет на урок черчения, а говорит о затмении солнца, и никакая власть не может ему этого запретить. Учителем быть, конечно, хорошо, признаю: дети перед ним шапки снимают, родители любезны с ним, а как какой-нибудь комитет выбирать, то не-

пременно и учитель будет членом комитета. А кроме того, еще каникулы; десять месяцев ни о чем не заботится, ни о чем не думает и два месяца отдыхает. Чего же еще лучше!

Матушка моя стояла за то, чтобы я стал или доктором или митрополитом.

— Доктор — это действительно стоящее дело, — поддержал дядя. — Покажешь ему язык — плати три динара, сунет тебе ложку в рот. — возьмет с тебя пять динаров, пощупает руку — возьмет десять динаров, да и то все время на часы поглядывает, чтобы, не дай бог, не передержать твою руку в своей больше, чем положено за десять динаров; если приложит ухо к спине, возьмет с тебя пятнадцать динаров, а уж если напишет два-три слова, которые никто на свете и прочесть не сможет, то возьмет с тебя двадцать динаров. И что главное, если выздоровеешь, он говорит: выздоровел от его лечения, а если умрешь, говорит: умер естественной смертью.

Но несмотря на эти заманчивые слова, в которых так расхваливалась профессия доктора, матушка все больше склонялась к тому, что мне следует стать митрополитом.

— Все люди его почитают, все ему руку целуют, — говорила она. — А, кроме того, ему и делать нечего, разве что пропоет «Аминь!», да и то по большим праздникам — вот и вся работа.

— Боюсь, уж очень он живой, а митрополиту надлежит быть степенным! — сказал протоиерей, которому более чем кому-либо другому следовало о том высказать свое мнение.

— Ну и что же с того! — успокаивала себя мать. — Уж если где и согрешит, мантия все прикроет!

Мой дядя, так лестно отзывавшийся о докторях, решительно высказывался за то, чтобы я стал министром.

— Нет ничего лучше, — твердил он. — Вся власть в твоих руках, что хочешь, то и делаешь, ни перед кем не отвечаешь. Легче быть министром, чем парикмахером. Парикмахер, во-первых, должен уметь брить, а во-вторых, ему все время приходится смотреть, как бы не порезать, а министру, брат, не нужно ни уметь брить, ни опасаться, как бы кого не по-

резать, так как он если и порежет, все равно не виноват.

Сосед бакалейщик, который до этого высказывался только о чужих предложениях, решил, наконец, высказать и свое мнение.

— Я бы определил его в торговцы, только не надо, чтобы он был бакалейщиком вроде меня. Это дело мелкое: кило риса стоит четыре гроша, ну, обвесишь покупателя на несколько граммов, а что с того — больше чем на десять — двадцать пара не обманешь. То же самое и с сахаром, и с мукой, и со всем остальным. Подсыплешь в муку немножко песку, подмешаешь в рис немножко овса, подбросишь в кофе немножко мелких камешков, подольешь в керосин немножко водички — и за целый день не зарабатываешь и нескольких динаров. И в галантерейном деле мало проку. Меришь метром, а покупатель за тобой вот такими глазами смотрит. Когда на безмене вешаешь, так там хоть иногда поживиться можно: или свинца припаяешь на ту чашку, куда товар кладешь, или мизинцем ударишь, или... а с метром ничего не сделаешь, его не укоротишь. Если идти в торговлю, то только в оптовую, уж если обманывать, так обманывать оптом. А, по-моему, самая лучшая торговля — это в аптеке. Правда, пусть он станет аптекарем!

— Ах, аптекарь! — вздохнула Антропа. — Это поистине чудесно! Вся жизнь на лоне духов и парфюмерии!

— Еще бы не чудесно! — продолжал бакалейщик, почувствовав, что его поддержали. — Продает пыль, сухие листья, паутину и все такое. Как он там вешает, никто не понимает, а дать он тебе может все, что хочет. Выпишет тебе доктор, не дай бог, сальватус пуртатус или поркалия омалия, ты идешь к аптекарю, и он тебе дает, что хочет, вешает, как хочет, и возьмет с тебя, сколько хочет.

А что ты с ним сделаешь! Не понимаешь, как он вешает, так мог бы хоть замечание какое-нибудь сделать, скажем: «Этот ваш сальватус пуртатус вроде немножко прокис», или, скажем: «Эта ваша поркалия омалия как будто подгорела». А то ведь и этого не можешь. И про цену не можешь ничего сказать: откуда ты знаешь, сколько стоит. Не можешь даже

и так сказать: «Слушайте, у вас слишком дорого. Ведь Мита-бакалейщик продает сальватус пуртатус гораздо дешевле!»

Тирада бакалейщика получила более или менее общее одобрение, и только мой отец качал головой, упорно придерживаясь своего прежнего мнения, согласно которому меня следовало пристроить к какому-нибудь такому занятию, которое бы меня утихомирило.

Я не знаю, до каких пор продолжались эти дебаты; утомленный бурными событиями дня, я заснул, и так сладко, как может спать только человек, которого не мучают угрызения совести, ибо он знает, что исполнил все, что ему надлежало исполнить.

Разумеется, в эту ночь я видел странные сны. Снилось мне, будто я министр и будто схватил я нашего окружного начальника, зажал ему голову между колен и начал брить. Он орет, как недорезанный ягненок, лицо от злости кровью налилось, а я знай брею, ведь министр ни за что не отвечает.

Потом снилось мне, будто я митрополит и будто схватил я протоиерея за бороду и давай его крыть, словно я кончил школу подмастерьев. А потом снилось мне, будто я сыплю песок в муку, а в керосин подливаю воду. И вообще в эту ночь мне снились такие странные сны, какие может видеть человек, заснувший под впечатлением самых радужных надежд на будущее, а проснувшийся под ударами отцовского ремня.

УЧЕБА

Когда мне пришло время идти в школу, все в доме приуныли, так как были уверены, что школа — это пекарня, где ребенка, чтобы придать ему форму, сажает на противень, как выкисшее тесто, и возвращают родителям в готовом виде.

Моя учеба — это настоящая борьба за существование и независимость. Первым, с кем мне пришлось столкнуться, был отец, который ужасно гордился тем, что его сын идет в школу, тогда как я, оценивая это событие более реалистически, считал, что никаких

особых причин для такой гордости у него не было. Затем я вступил в борьбу со школьным служителем, которому отец поручил доставить меня в школу и которого я по дороге укусил. Сторож сказал мне, что он точно так же доставлял в школу и других членов нашей семьи. Но главное сражение развернулось в самой школе, где с первого же дня столкнулись два непримиримых противоречия: отвращение отдельных учителей ко мне и мое отвращение к отдельным предметам.

Это была поистине непрерывная и длительная борьба, в которой участвовали с одной стороны учителя и наука, а с другой — я. Разумеется, борьба была неравной, и мне почти всегда приходилось уступать; утешение я находил в мудрой народной пословице: «Умный всегда уступает глупому». Но уступать я должен был еще и потому, что учителя, видя во мне своего противника, применяли один и тот же излюбленный, но вообще очень нечестный прием: и на уроках и на экзаменах они всегда спрашивали меня то, чего я не знал. Таким образом, они лишали меня всякой возможности добиться успеха в борьбе за независимость.

А борьба эта имела поистине богатейшие традиции: ее вели многие мои предки и особенно их потомки. Один мой родственник, например, как пошел в первый класс гимназии, так четыре года подряд и не расставался с ним. Место в этом классе он считал своей наследственной недвижимой собственностью, которую у него никто не имеет права отнять. Напрасно учителя убеждали его в том, что на основании школьных законов он должен расстаться с первым классом; он оставался при своем мнении и продолжал по-прежнему ходить все в тот же класс. Наконец учителя махнули на него рукой и стали терпеливо ждать, пока мой родственник дорастет до женитьбы, надеясь, что это, вероятно, заставит его покинуть школу.

Другой мой родственник до того любил гимназию, что даже остался в ней сторожем.

А нашелся и такой, который довел самих учителей до белой горячки. За три года обучения он не проронил ни слова. Одни учителя просто из любопытства хотели услышать его голос, другие теряли тер-

пение и буквально заклинали его сказать хоть слово. Учитель математики, например, попытался даже отодрать его за уши, чтоб хоть этим заставить его подать голос, подобно тому, как дергают звонок, чтобы он зазвонил. Но он по-прежнему молчал и смотрел на учителя дерзким взглядом, который вообще свойствен членам нашей семьи. Его молчание раздражало учителей еще и потому, что они не могли определить, к какой отрасли знания он имеет склонность; своим молчанием он очень искусно скрывал это.

Не нарушая столь светлых традиций, я окончил начальную школу благодаря не столько своему прилежанию, сколько отцовскому вниманию к учителям. На протяжении четырехлетнего пребывания в школе я старательно ловил мух, ставил в тетрадах огромные кляксы, резал парты перочинным ножом; каждый день к концу занятий руки мои были так испачканы чернилами, словно я провел это время не в школе, а в красильне.

В конце четвертого года обучения в начальной школе мать надела на меня новый костюм, застегнула на нем все пуговицы, сунула в карман чистый, аккуратно сложенный носовой платок, расчесала волосы на прямой пробор и сама отвела меня в школу, где я перед многочисленными гостями продекламировал какие-то патриотические стихи, после чего протоиерей поцеловал меня в лоб, окружной начальник погладил по голове, а отец заплакал от умиления. Вся эта церемония означала, что с этой минуты я стал гимназистом.

Но прежде чем я пошел в гимназию, отец прочел мне длинное наставление, убеждая меня, что я должен быть более серьезным и думать о своем будущем. Мать благословила меня, а тетки горько заплакали, очевидно, предчувствуя, какие мучения мне предстояло претерпеть в гимназии. В своей речи отец особенно подчеркивал, что я должен учиться так, чтобы ему не было за меня стыдно. Эти слова глубоко запали мне в сердце, и я, вероятно, выполнил бы отцовское желание, если бы только учителя согласились мне в этом помочь. Помню, один-единственный раз на уроке гимнастики я порадовал отца, разбив себе нос; на других уроках дело шло еще хуже. Протоиерей говорил об учителях, будто они на уроке ма-

тематики рассказывают о законе божьем, а на уроке черчения — о затмении солнца. Со мной было то же самое, но наоборот: когда меня спрашивали из закона божьего, я рассказывал о затмении солнца, а когда из математики, я отвечал из катехизиса. Именно потому, что я никогда не отвечал на задаваемые мне вопросы, учителя, если бы они были более внимательны ко мне, могли бы заметить у меня известный политический талант. Но они не заметили, и в этом заключалась основная причина всех недоразумений между учителями и мною. Само собой разумеется, что уже в конце первого года обучения я провалился на экзаменах по трем предметам и остался на второй год в первом классе.

Я очень хорошо помню этот свой первый жизненный успех. Когда я в то утро собирался на экзамен, мать опять нарядила меня в новый костюм с накрахмаленным кружевным воротничком, подстригла мне ногти, расчесала волосы на пробор, сунула в карман чистый носовой платок и, поцеловав в лоб, сказала:

— Порадуй меня, сынок.

А отец, когда я подошел, чтобы поцеловать ему руку, сказал мне:

— Сынок, это твой первый серьезный экзамен, первый серьезный шаг в жизни, и я хочу вознаградить тебя за него. Когда ты вернешься с экзамена и скажешь мне, что ты его выдержал, ты получишь вот это. — И он показал мне совсем новенький золотой дукат. — А если ты не выдержишь экзамен, то тогда лучше и домой не возвращайся, потому что я изобью тебя, как собаку.

И вот, блестяще провалившись на экзамене, я вышел за ворота гимназии и принялся размышлять:

«Взбучки мне все равно не миновать, а дуката я не получу. И это будет двойной ущерб. А хорошо бы свести все это к одному. Пусть я получу взбучку, раз уж ее нельзя миновать, но и дукат пусть достанется мне!»

Счастливая мысль пришла мне в голову, и я стремглав, подпрыгивая, бросился вдоль улицы. Веселый и довольный подлетел я к отцу с матерью, поцеловал им руки и закричал:

— Сдал экзамен! Сдал на отлично!

Слезы радости брызнули из глаз и у отца и у матери, потом отец полез в карман, достал новенький золотой дукат и вручил его мне, поцеловав меня в лоб.

Разумеется, спустя некоторое время меня заставили получить порцию березовой каши, но зато я получил и дукат. Вообще это, конечно, мелочь, я упомянул о ней мимоходом только для того, чтобы показать, что один раз я и таким образом получил гонорар.

В другой раз, уже в третьем классе, до которого я кое-как дополз, я заявил отцу, что мне необходим репетитор по арифметике, которая в течение всей моей жизни причиняла мне головную боль. Для этой цели я пригласил «самого лучшего» ученика нашего класса, отец платил ему тридцать грошей в месяц. Разумеется, этим учеником был мой товарищ, учившийся еще хуже меня; во время дополнительных уроков мы играли в ушки, а в конце месяца делили гонорар. Таким образом, даже при плохой учебе я сумел обеспечить себе ежемесячно пятнадцать грошей, которыми распорядился в свое удовольствие. Кто знает, сколько бы это могло продолжаться, если бы на экзамене не обнаружилось, что и я и мой учитель одинаково не можем ответить ни на один вопрос из того предмета, по которому он меня репетировал.

Так проходил год за годом, а я потихоньку поползал из класса в класс. Как мне это удавалось, я даже и сейчас не смогу объяснить. Пожалуй, правильнее будет сказать, что мы не переходили из класса в класс, а завоевывали класс за классом, словно мы были не гимназисты-одноклассники, а рота добровольцев, которой приказано отвоевывать у неприятеля траншею за траншеей. И действительно, пядь за пядью, не жалея сил и проявляя чудеса героизма, мы захватывали траншею за траншеей. Борьба была упорной, на своем пути мы оставляли раненых и убитых, но остальные, кого не задела смертоносная пуля, пробивались вперед и вперед, чувствуя, что чем ближе победа, тем опаснее становится наш путь. Не успели мы преодолеть несколько траншей прогимназии, как перед нами выросла крепость — гимназия, располагавшая самыми современными ору-

диями уничтожения гимназистов. Стены и башни этой крепости были сплошь покрыты всевозможными синусами, косинусами, гипотенузами, катетами, корнями, логарифмами, склонениями, спряжениями и другими смертоносными неизвестными величинами. Можете себе представить, сколько нужно было смелости и готовности к самопожертвованию, чтобы с голыми руками идти на штурм такой крепости, как гимназия.

Но мы не струсили: мы падали и поднимались, получали ранения, в продолжение каникул залечивали их и набирались сил для нового наступления, попадали в плен и по два года томились в рабстве в том же классе, но в конце концов наша долгая семилетняя война привела нас к решающей битве за аттестат зрелости.

Если вы спросите меня, каким образом мне удалось сдать экзамены на аттестат зрелости, то знайте, что вы поставите вопрос, на который я не смогу ответить, так же как если бы вы спросили меня: каким образом можно научить слона играть на мандолине? На такие вопросы обычно не отвечают. По здравому смыслу, по логике вещей, по моему глубокому убеждению, по всем законам, и божьим и людским, по всем правилам на выпускных экзаменах мне надлежало провалиться, а я не провалился. Значит, действительно из всякого правила есть исключения. Этим же мудрым изречением, как мне помнится, оправдалась и оправдалась передо мною одна девушка, которая в противоположность мне пала, хотя по всем правилам не должна была пасть. Разумеется, она пала не на экзамене на аттестат зрелости, а на том экзамене, который жизнь так часто ставит на пути молоденьких девушек, но и она в свое оправдание вспомнила вышеприведенные мудрые слова:

— Я знаю, что я не должна была допустить падения, знаю, что нужно было беречь свою репутацию и честь. Знаю, есть такое правило, но ведь «из всякого правила есть и исключения».

Получить аттестат зрелости не так просто и легко. Аттестат — это свидетельство, официальный документ, выданный соответствующими органами государственной власти в подтверждение того, что человек созрел.

В Белграде хорошо известен Драголюб Аврамович-Бертольд — человек, которого одни власти сажают в сумасшедший дом, а другие выпускают из сумасшедшего дома. Поскольку власти менялись очень часто и Бертольду приходилось то отправляться в сумасшедший дом, то выходить оттуда, ему это, наконец, надоело, он явился к властям и потребовал официальное свидетельство о том, что он не является сумасшедшим. С тех пор как Бертольд получил такое свидетельство, он бьет себя в грудь и твердит, что он единственный человек в Сербии, который официально признан не сумасшедшим. То же самое можно сказать и об аттестате зрелости, которым подтверждается зрелость человека. Когда я получил аттестат зрелости, мне казалось, что это документ, на основании которого я имею право совершать в жизни всевозможные легкомысленные поступки.

Радости моей, разумеется, не было предела. Прибежав домой, я обнял и расцеловал мать и сестру, а младшему брату, находясь в состоянии возбуждения, влепил пощечину; а еще до этого перед зданием школы я обнял и расцеловал школьного служителя, хотя он и не преподавал нам никакого предмета, и, следовательно, не был повинен в том, что я получил аттестат зрелости. Пребывая все в том же радостном возбуждении, я побежал дальше, обнял и поцеловал соседа бакалейщика, а затем обнял и поцеловал вдову, приятельницу матери, восклицая:

— Сударыня, я созрел, я созрел!

То же самое я доказывал после и нашей кухарке. Я обнял и поцеловал также парикмахера, так как уже после первых проявлений радости и возбуждения вспомнил, что первая обязанность зрелого человека состоит в необходимости бриться. Мне, собственно, не нужно было бриться, но сам процесс бритья в моих глазах, как и в глазах всех выпускников, был внешним проявлением зрелости.

— Молодой человек желает подстричься? — предупредил меня парикмахер с ехидством, свойственным этой профессии.

— Нет, побрейте меня! — гордо заявил я и сел в кресло, в душе проклиная себя за то, что ноги мои не достают до пола и болтаются в воздухе.

Слова «побрейте меня» казались мне чем-то очень

значительным, как будто этим совершался перелом в моей жизни, как будто после мучительных усилий я отворял массивные железные ворота, за которыми для меня должен был открыться новый, неведомый мир, как будто я переступал порог, за которым началась настоящая жизнь. В тот момент слова «побрейте меня» имели для меня гораздо больше значения и рокового смысла, чем слова Цезаря: «Jacta est alea!»¹

Но после того как парикмахер побрил меня и стер остатки мыла, ни на моем лице, ни в моей душе не произошло никаких изменений. То неожиданное, то неизвестное, что должно было мне открыться, та жизнь, в которую я должен был вступить, оказывается, была еще далеко, очень далеко. И единственным моим ощущением после того, как я покинул парикмахерскую, было то, что я побрит и в кармане у меня лежит документ о зрелости.

Но этим я еще не все сказал о своем обучении. Мне еще предстоял университет, хотя мы почему-то считали, что в университете не учатся, а только «слушают лекции», что казалось нам гораздо легче: мы были уверены, что справимся с этим. Даже если придется просидеть в университете больше, чем полагается, нам все равно не будет стыдно, потому что, поступив в университет, человек становится «гражданином», а быть «гражданином» на год больше или на год меньше совсем не трудно, а подчас лучше быть вечным студентом-гражданином, чем полицейским писарем в Ариле или младшим учителем в Брзой Паланке.

Но вернемся к рассказу об обучении в начальной школе, которой человек отдает свои самые лучшие годы. Школа и брак — это два самых важных этапа в человеческой жизни. Недаром говорят: «Кто благополучно окончил школу и счастливо женился, тот познал, что такое жизнь». Больше того, школа и брак имеют очень много общего. Например, в школе и в семейной жизни всю жизнь чему-то учатся, без всякой надежды чему-нибудь выучиться; и в семейной жизни и в школе есть строгие и добрые учителя, трудные и легкие предметы; и в семейной жизни

¹ Жребий брошен! (лат.).

и в школе можно получить и хорошую и плохую оценку; и там и здесь нельзя опаздывать ни на минуту, и там и здесь каждое твое отсутствие обязательно учитывается. И в семейной жизни и в школе оценивают твое поведение; и в семейной жизни и в школе можно провалиться на экзаменах; и в семейной жизни и в школе приятны каникулы. Разница только в том, что бракоразводный процесс с женой тянется очень долго, а бракоразводный процесс со школой — одна из самых коротких процедур на свете. Кроме того, если человек начинает представлять собой какую-то ценность к моменту окончания школы, то к моменту окончания брака он уже ничего не стоит.

Учитывая все эти обстоятельства, я должен отвести большое место в этой книге воспоминаниям о школе. Сначала мне казалось, что лучше всего это можно сделать, рассказав по порядку о каждом классе, но когда я вспомнил, сколько сил потрачено мною на то, чтоб пробраться сквозь эти классы, у меня пропало всякое желание еще раз возвращаться к этому. Уж лучше я напишу обзор того, чему нас учили. Тем самым я получу возможность отомстить нелюбимым мною предметам за те муки, которые они мне доставили в прошлом. Итак, начнем с начальной школы.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Ребенок переступает порог начальной школы, предчувствуя, что здесь ему не миновать быть битым. Напрасно родители пытаются разубедить его в этом. Убеждение это так глубоко укореняется в душе ребенка, что почти всегда оно становится действительностью, а родительские уверения оказываются заблуждением. Но учитель начальной школы, в лапы которого я попал, был добрым человеком, и поэтому палка, висевшая под иконой святого Саввы, скорее была своего рода педагогической декорацией и только иногда средством воспитания.

Когда мы вошли в класс, учитель построил нас по росту, а затем рассадил по партам. Самые ма-

ленькие заняли места на передних партах, а самые большие на последних. Позднее учитель применил другой принцип классификации — по знаниям: лучших учеников посадил на первые парты, за ними тех, кто похуже, а самых плохих — на последние, так называемые «ослиные» парты. В то время, когда я учился в начальной школе, «ослиные» парты тоже считались средством воспитания. Обычно учитель отсылал туда тех, которые действительно ничего не знали. Я считаю, что это был весьма разумный порядок, ибо таким образом те, кто ничего не знал, привыкали считать себя ослиами. А с тех пор как этот порядок отменили, те, кто ничего не знает, никак не соглашаются признавать себя ослиами и в жизни занимают всегда первые места.

Рассаженные за парты по росту, мы были похожи на зернышки в арбузе: все одинаковые, все безликие, все сопливые, и все же — кто бы тогда мог сказать! — здесь сидели рядом будущий министр и будущий разбойник, будущий епископ и будущий ростовщик, будущий каторжник и будущий биржевик-миллиардер. Насколько счастливее было бы человечество, если бы еще в детстве можно было определить, кто кем будет, и пока суд да дело, пока мы еще обыкновенные дети, можно было бы вдоволь колотить будущего министра, будущего епископа и будущего финансиста-миллиардера...

Сначала нас ничему не учили. Учитель только спросил каждого из нас, как его зовут и, самое главное, чем занимаются наши отцы:

— Кто твой отец?

— Извозчик.

— Ладно, садись... А твой?

— Колбасник.

— Вот как... колбасник? Передай привет своему отцу. А твой?

— Зеленщик.

— Зеленщик, говоришь? Передай и ты привет отцу.

Сначала мы не понимали, что означают эти приветствия. И только позднее, когда мы уже наизусть выучили притчу о хорошем и плохом сыне, все мы заметили, что учитель всякий раз менял род занятий родителей героя, в зависимости от того, как наши ро-

дители отвечали на его приветы. Так, например, когда сын колбасника принес учителю четыре колбасных круга, притча гласила: «Жили-были два мальчика, Сима и Ненад. Сима был сыном извозчика... Он был непослушным, глупым и негодным мальчишкой. А Ненад был сыном колбасника, очень почтенного, честного и примерного гражданина. Разумеется, и сын был в отца: примерный и хороший мальчик».

Если, скажем, сын зеленщика не знал урока, но принес учителю или в этот день, или накануне кочнов двадцать капусты и три связки лука, то учитель говорил ему так:

— Видишь, сын мой, отец у тебя такой почтенный, такой уважаемый человек. Тебе бы надо было с него пример брать. Сегодня, так уж и быть, я тебе прощаю. Но смотри, чтобы к завтрашнему дню все было выучено. А отцу передай привет!

А уж если сын могильщика не знал урока, то учитель выговаривал ему так:

— Из тебя, сын мой, никогда ничего не выйдет... И родному отцу твоему не придется копать для тебя могилу, ибо ты кончишь на виселице!

Одним словом, наши успехи в учении и поведении находились в прямой зависимости от того, какое положение занимали наши отцы. Так, например, самым лучшим учеником считался сын колбасника, следом за ним шел сын мясника, затем сын бакалейщика и, наконец, сын зеленщика (и то лишь после того, как его отец, помимо овощей, начал присылать учителю мясо для студня). На самых последних партах сидели сыновья могильщика, музыканта, извозчика и вообще дети, родители которых занимались непроизводительным трудом.

К этому разряду принадлежал сначала и мой отец — торговец, а потому и я был плохим учеником. Но после того как раза три подряд (к рождеству, к пасхе и к Новому году) я передал учителю небольшие белые пакеты, я был пересажен на первую парту, а старая притча теперь гласила:

«Жили-были два мальчика, Сима и Ненад. Сима был сыном извозчика, он был непослушным, глупым и негодным мальчишкой. А Ненад был сыном торговца...»

Окончив начальную школу, мы могли даже подсчитать, во что каждому из нас обошлось обучение чтению и письму. Так, например, Симе Янковичу это учение стоило 380 яиц, Пере Вуйичу — четыре гуся, десять цыплят и сто сорок яиц, Миленку Пуричу — сто кочнов капусты, семнадцать связок репчатого лука и десять пар телячьих ножек на студень, Янко Поповичу — двести девяносто четыре круга колбасы, четыре окорока, четыре жареных поросенка, два куска солонины, одиннадцать килограммов грудинки.

Вот в чем нашло свое материальное выражение наше обучение грамоте... Жаль, что в настоящее время уже не существует такой идиллии в отношениях между учителями и учениками: тем самым уже не существует и той меры, благодаря которой можно было оценить грамотность. Должно быть, именно поэтому и безграмотность приобрела такую высокую цену.

В начальной школе мы выучили «Отче наш», азбуку и цифры до ста.

«Отче наш» мы выучили наизусть и, отвечая, проносили таинственные слова, не задумываясь, как гадалка, говорящая тарабарщину, не имеющую никакого смысла. Но хоть мы и не понимали, о чем говорится в этой молитве, мы каждое утро хором читали ее, обращаясь к богу. И, право, это не такой уж большой грех, так как я уверен, что и сам господь бог, к которому мы обращались, не понимал ее. Если бы бог мог слышать эти вопли, которые мы все называли молитвой, то он давно бы запретил их полицейским циркуляром.

Что касается азбуки, то здесь произошло одно недоразумение. Когда я начинал учиться в школе, в сербском алфавите было тридцать две буквы, но вскоре после этого две буквы исчезли, и, помню, учитель долго и зло ругался по поводу исчезновения этих букв.

Мы не были уверены в том, что их не украд кто-нибудь или, скажем, не проглотил, или они, может быть, просто упали с учительского стола, а сторож вымел их и выбросил на помойку. Или, может, учитель спрятал их в свой стол и не хотел нам показывать.

Так или иначе, но с пропажей пришлось примириться. И примирение произошло довольно странным образом.

Однажды учитель объяснил нам, что у каждого человека тридцать два зуба. И поэтому в сербском алфавите тридцать две буквы. Нам, с нашей детской наивностью, казалось тогда, что на каждом зубе висит по букве, а зубы были чем-то вроде клавишей на рояле.

Когда же учитель сообщил нам, что в действительности у человека тридцать зубов, а два зуба «мудрости» появляются только у взрослых, мы окончательно уверились в том, что две буквы учитель спрятал в свой стол, так как для них не было зубов.

Но в целом с азбукой мы справлялись довольно легко благодаря методу, который применял наш учитель. Обычно он начинал так:

— Милан, видел ли ты когда-нибудь жабу?

— Да, господин учитель!

— Помнишь ли ты, как она выглядит?

— Да!

— А ты помнишь, что у нее вверху голова, внизу хвост, а по бокам четыре ноги, две протянуты вперед и две назад?

— Да.

— Похоже? — спрашивает учитель и пишет мелом на доске букву Ж, которая и в самом деле всем нам казалась жабой с головой, хвостом и четырьмя ногами. Благодаря такому методу мы очень быстро запомнили букву «Ж».

Точно так же учитель нашел сравнения и для всех других букв: Б, например, — колотушка, которой цыган ударяет в бубен, Г — виселица, О — дыра, Ш — забор вокруг фруктового сада, Т — вешалка, Х — козлы для распилки дров, У — вертел, Д — турецкий нужник, а Ф — тетка Перса, жена школьного сторожа, которая без конца кричала на нас, уперев руки в бедра, чем и напоминала букву Ф.

А когда мы все это запомнили, нам уже ничего не стоило написать на доске любое слово.

— Йован, напиши слово «бог».

Йован, конечно, смущается, а учитель подсказывает:

— Колотушка, дыра, виселица.

И тотчас слово появляется на доске.

— А теперь ты, Пера, напиши слово «дуд»¹.

¹ Шелковица, тутовое дерево (сербск.).

Пера, конечно, тоже смущается, а учитель подсказывает:

— Представь себе ягненка на вертеле между двух турецких нужников.

И Пера тотчас же вспоминает и пишет заданное слово.

Так мы учили и, наконец, выучили всю азбуку.

А цифры учить было тоже не очень трудно. Чтобы мы поняли, что такое *один*, *два* и так далее, учитель нам показал сначала один палец, потом два и так по порядку, пока не показал нам пять пальцев на одной руке и четыре на другой. Но цифра десять и самого учителя привела в немалое смущение. Он никак не мог объяснить нам значение ноля. Все его старания не приносили никакого результата: то ли мы его не понимали, то ли он сам чего-то не понимал.

— Ноль, дети,— это ничто, но это может быть и что-то. Сам по себе ноль — ничто, но если поставить впереди ноля единицу, то будет десять, а если поставить цифру два, будет двадцать. Бог его душу знает, почему, но это так! Это нелегко объяснить! Ну вот, например, моя жена... Пока, скажем, она не вышла за меня замуж, она была никто и ничто. Правильно? А когда она вышла за меня, то стала госпожой учительшей. Так ведь?

— Так! — хором отвечает весь класс.

И, разумеется, с тех пор всех женщин в городе мы стали считать нолями, а любой десяток казался нам супружеской парой. В нашем детском воображении все женщины в городе были нолями, а все цифры возле них — их мужьями. Даже отдельные люди казались похожими на какую-нибудь цифру. Так, например, окружной начальник и его жена напоминали нам цифру 90. И это не было просто игрой воображения. Мы взяли самую большую цифру совсем не потому, что господин начальник занимал высокое положение. Мы взяли ее только потому, что господин начальник действительно был похож на девятку. У него были короткие тонкие ноги, а над ними возвышались слившиеся в одно целое живот, грудь и голова, напоминавшие бочку, которая всей своей тяжестью навалилась на тонкие ножки.

Доктора и его жену мы обозначили цифрой 70. Доктор был хрупкого телосложения, а нос у него выдавался далеко вперед, словно верхняя палочка у семерки... Директор гимназии с женой были похожи на цифру 10, и не потому, что единицы были его любимыми оценками, которыми он щедрой рукой одаривал учеников, а потому, что был он сухой и тощий, как телеграфный столб. Директор банка и его жена были похожи на цифру 50. Живот у директора банка совсем ввалился, что еще больше подчеркивало его сходство с цифрой 5. Очень скоро мы нашли соответствие и всем другим супружеским парам в нашем городе, и только поп доставил нам немало хлопот. Облаченный в рясу, батюшка почти не отличался от попадьи, потому и казалось нам, что эта пара похожа на два ноля.

Такой метод запоминания цифр полностью оправдал себя. Когда учитель вызывал нас к доске и требовал написать, скажем, цифру 70, нам достаточно было вспомнить нос доктора, и мы тотчас выводили на доске заданную цифру.

Все шло хорошо до тех пор, пока однажды учитель не написал на доске цифру 100. Эта цифра привела нас в ужасное смущение. Мы никак не могли понять такую полигамию.

— Конечно, не понимаете,— сказал учитель, чувствуя всю трудность предстоящего объяснения.— Я знал, что вы этого не поймете. А что бы вы запели, если бы я вам сказал, что существует вот такая цифра! — И он взял мел и написал на доске цифру 7 000 000.

Мы были возмущены. Почти ничего не зная об удовольствиях и неудовольствиях, которые таит в себе жизнь, мы с отвращением думали о том, что будет делать грешный доктор с таким гаремом.

Зная, что каким-то образом все же придется объяснить нам цифру 100, которую мы должны были выучить, учитель начал объяснять так:

— Один — это... ну, скажем, муж... Так?

— Так! — отвечает класс хором.

— Первый ноль — это, скажем, его жена... Так?

— Так!

— А другой ноль — это... свояченица. Они ее иногда берут с собой на прогулку. Ну, теперь понятно?

— Понятно! — закричали мы все в один голос, хотя, честно говоря, ничего не поняли. Хорошо, если у жены одна сестра, ну а как выглядел бы, например, бедный директор банка, у которого и без того живот к спине прирос, если бы за ним, помимо жены, тащились еще пять ее сестер? Разве директор банка не был бы похож на маломощный буксир, который, прилагая нечеловеческие усилия, плывет против течения, еле-еле таща за собой полдюжины доверху нагруженных барж?

Все эти мысли тревожили наше детское воображение, и я должен признать, что они помогли нам выучить не только азбуку, но и цифры. На этом закончилось наше обучение в начальной школе.

Теперь нас ждала гимназия!

ЗАКОН БОЖИИ

По мере изучения закона божьего я все больше и больше склонялся к безбожию. Происходило это, вероятно, потому, что богослов, преподававший нам христианскую науку, так не по-христиански бил нас, что я и теперь, слушая в церкви проповедь о христианском милосердии, все время озираюсь по сторонам, ожидая, что вот-вот или митрополит треснет меня посохом, или дьякон кадилом. Это лишний раз доказывает, что впечатления раннего детства оставляют в душе неизгладимый след.

Я, например, до сих пор помню, как из-за семи тощих коров меня семь раз били такой толстой палкой, что я уже никогда не решался заговорить о тучных коровах. А кроме того, я никак не мог запомнить Марию и Магдалину, и из-за Магдалины мне пришлось однажды снять штаны перед всем классом, лечь на скамью и выдержать двенадцать ударов по голому телу. С тех пор, если мне случалось встретить женщину, которую звали Магдалина, я бежал от нее без оглядки.

Но были и легкие лекции. Мне, например, очень нравились Адам и Ева, вероятно своей наивностью, а может быть, и потому, что первородный грех вообще приятная вещь. Но если Адам и Ева были прият-

ные люди, то их дети доставили мне ужасные мучения. Из-за известной фирмы «Каин и Авель» меня били три раза. Первый раз меня били за то, что я сказал, будто Авель убил Каина. Во второй раз за то, что я сказал, будто Каин и Авель были апостолами. А в третий раз я уже и не помню точно, но, кажется, за то, что я сказал, будто Каин за тридцать сребреников продал Авеля египетским торговцам.

А на экзамене, разумеется, стоял непрерывный хохот. Председатель комиссии то и дело хватался за живот и вскрикивал:

— Давай, милый, давай! Давно я так не смеялся!

А экзаменатор, протоиерей, трижды замахивался на меня кулаком, но всякий раз сдерживался, вспоминая о торжественности момента, и только сквозь зубы вспоминал что-то о моих родителях.

Разумеется, стоило мне один раз запутаться, чтоб уж потом все пошло шиворот-навыворот. Напрасно протоиерей пытался спасти меня, задав самый легкий вопрос из самой приятной для меня лекции об Адаме и Еве.

— Адам и Ева,— начал я,— были первые люди... первые люди... Адам был первый мужчина, а Ева была первая женщина. И так как они были первые люди, они жили в раю. И они очень хорошо жили, но однажды Адам укусил Еву, укусил Еву... и за это господь бог переломил ему ребро...

Дальше, к великому удовольствию председателя комиссии, все шло в том же духе. Я перемешал Ветхий и Новый заветы с таким искусством, которому мог бы позавидовать профессиональный картежник, манипулирующий двумя колодами. Дважды протоиерей пытался остановить меня, но всякий раз председатель комиссии подбадривал и заставлял продолжать, обращаясь к протоиерею с такими словами:

— Не мешайте ему, прошу вас, дайте хоть посмеяться вволю.

Я посадил двенадцать апостолов в Ноев ковчег, о Содоме и Гоморре сказал, что это два святых храма, в которых Христос с успехом проповедовал свое учение; о Христе я сказал еще, что он сорок дней провел в утробе кита, готовясь к лекциям по закону божьему; а про десять божьих заповедей сказал, что

Иуда продал их на горе Арарат. И наконец, я закончил тем, что на вопрос о Пилате ответил, что Пилат — сын Моисея, что от него пошло великое племя и что, свершив это дело, он вымыл руки.

Словом, я даже сейчас не понимаю, что смешного было в моих ответах и почему так смеялся председатель комиссии. Для меня, как и для большинства теперешних христиан, наука о Христе была собранием странных и невероятных рассказов, и я не видел большого греха в том, чтоб их перемешать. Мне кажется, что даже тот, кто смог бы рассказать все эти притчи так, как они записаны в книге, знал бы о христианстве не больше меня.

Положа руку на сердце я должен сказать, что наш протоиерей рассказывал нам не только библейские притчи, он открывал перед нами самую суть христианской науки, и именно из-за этой самой сути все мы чуть было не погибли. Так, например, однажды батюшка долго и пространно говорил об основных заповедях христианства, а мы очень внимательно слушали его рассказ, то есть не отрываясь следили за каждым движением его рук, боясь, как бы он не двинул кого-нибудь.

Как всегда, на следующем уроке мы повторяли пройденное.

— Что является первой, основной заповедью христианства? — спрашивает батюшка того, кто первым попался ему на глаза.

Грешник поднимается с места и молчит, будто воды в рот набрал. Еле сдерживая гнев, батюшка повторяет вопрос. Но ученик упорно молчит, как молчали первые христиане перед судом тиранов-язычников.

— Так что же является первой заповедью христианства, нерадивец? — гневно повторяет батюшка, и пальцы его сжимаются в кулаки.

Грешник по-прежнему молчит.

— Милосердие! — орет поп и так немилосердно ударяет ученика по голове, что у того искры из глаз сыплются...

Затем богослов поворачивается к другому.

— Скажи-ка, что является второй основной заповедью христианства?

Грешник чешет за ухом и; бегая взглядом, пытается по движению батюшкиной руки угадать, с какой

стороны его ударит вторая основная заповедь христианства:

— Любовь к ближнему, ослиная твоя голова! — орет батюшка, так и не дождавшись ответа, а грешник долго еще ощупывает свой нос, выясняя, не в красный ли цвет окрашена любовь к ближнему.

Разумеется, третий ученик тоже отвечает молчанием на вопрос, в чем состоит третья основная заповедь христианства.

— Великодушие! — орет богослов, отдирая за уши своего лопоухого питомца.

А мы сидим ни живы, ни мертвы. Нас в классе 34 человека, и если бы в христианской науке оказалось 34 заповеди, то всем нам, пожалуй, пришлось бы побывать на месте первых мучеников-христиан, которых ради потехи язычники бросали на арену на растерзание диким зверям.

Вот в каких обстоятельствах я полюбил многобожие, и мне было очень жаль, что мы не остались в той вере.

Во-первых, чем больше богов, тем меньше основных заповедей.

Во-вторых, несколько богов никогда не могут быть так опасны, как один-единственный.

А в-третьих, если бы было многобожие, то в гимназиях не учили бы закон божий.

СЕРБСКИЙ ЯЗЫК

— Это ты тот самый осел, который прошлый раз не знал урока?

— Да, это я! — отвечаю я, довольный тем, что учитель так хорошо меня помнит.

— А не в твоей ли тетради видел я чернильное пятно, которое на вашем языке называется «кляксой»?

— Да, да, в моей! — твержу я, восхищаясь тем, что учитель так хорошо меня помнит.

— А не говорил ли я, что ежели ты и далее будешь таким неаккуратным и невнимательным, то я тебя накажу?

— Говорили...— подтверждаю я, но уже без всякого энтузиазма, а он берет перо, ставит мне единицу и с помощью одной грамматически правильно построенной фразы отправляет меня за классную доску, где я должен встать на колени.

— До конца этого урока ты будешь стоять на коленях и учить склонение возвратных местоимений. Ежели ты выучишь это склонение, то подойди ко мне, я исправлю тебе оценку и разрешу сесть на место.

Но до конца урока я так и не выучил проклятое склонение, и мне пришлось простоять на коленях до самого звонка.

Это склонение было для нас особенно трудным. Я и сейчас помню, как я мучился, пытаюсь выучить пятый падеж от существительного «пес». С остальными падежами я еще кое-как справлялся, но пятый падеж единственного числа, покойный звательный, никак не лез в голову, и я никак не мог его образовать. И не только у меня, но и у всех окружавших меня голова шла кругом при одном упоминании о пятом падеже.

Мой старший брат, который к этому времени был уже в старшем классе и, кажется, изучил все науки, тоже утверждал, что ни разу в жизни не имел дела с этим падежом. Младший брат сказал мне, что пятый падеж от существительного «пес» будет «песик». А отец вообще не мог ничего сказать, потому что грамматика не имеет никакого отношения к торговле, и тут даже, кажется, действует правило: чем меньше грамматики, тем больше прибыли.

Спрашивал я и у бакалейщика, нашего соседа, предварительно объяснив ему, что такое пятый падеж, но он мне ответил:

— Когда я зову собаку, то кричу ей: «Куц, куц, куц», а когда прогоняю, говорю: «Пошла прочь!» А бог его душу знает, какой это падеж!

Наконец однажды за ужином я спросил про пятый падеж и у самого господина протоиерея, перед ученостью которого преклонялся, но и его смутил этот вопрос.

— Пятый падеж... пятый падеж! — заикаясь, начал батюшка, беспokoясь лишь о том, чтобы в глазах моих родных не уронить свой авторитет ученого человека. — А сколько всего падежей вы учите?

— Семь.

— Семь? — удивился батюшка. — Это много. Это очень много.

— Много! — подтвердил я, тяжело вздохнув.

— Непонятно, — обращаясь к моим родителям, сказал батюшка, — зачем столько падежей. Это просто учительская блажь. Нет, вы подумайте только: Германия, уж на что обширное и сильное государство, а всего четыре падежа, или вот Франция, Англия — тоже огромные и мощные державы, и ни в одной нет больше четырех падежей. А что такое мы? Маленькая страна, всего несколько округов, и, скажите пожалуйста, — семь падежей. Ну разве это, я вас спрашиваю, не блажь? Разве мы по одежке протягиваем ножки?

Мысли протоиерея были для меня очень утешительны, но на уроках они мне не могли помочь. Учитель решительно требовал, чтобы я сказал ему пятый падеж от существительного «пес», на что я отвечал решительным молчанием, которым, кстати, отличался и на других уроках.

А что наш учитель действительно был помешан на падежах, видно из случая, который произошел со Станоем Стамболичем. Однажды, после полудня, во время великого поста, Станое Стамболич поднял руку и спрашивает:

— Господин учитель, можно ко двору?

— Скажи, Стамболич, эту фразу грамматически правильно, и я тебя отпущу, — отвечает ему учитель.

Стамболич смутился, покраснел и с отчаянием в голосе повторяет:

— Господин учитель, можно ко двору!

— Скажи правильно, тогда отпущу.

То ли из-за падежа, то ли по какой другой причине, заставившей его попросить разрешения выйти, на лице Стамболича выступил пот, и он завертелся на месте.

Соседи ему шепотом подсказывают, а он весь покраснел, переминается с ноги на ногу, а потом как заорет:

— На двор хочу!

— Вот так, теперь правильно, можешь идти! — говорит учитель.

— Теперь поздно! — отвечает Стамболич замогильным голосом.

А воевать нам приходилось не только с падежами. Немало в грамматике и других скользких мест, и, чуть зазевался, того и гляди поскользнешься и упадешь.

Есть, например, слова непостоянные и капризные, как истерички, они то и дело меняют свои туалеты. Сравнение это далеко не случайно. Изучая грамматику, я заметил, что эта наука имеет очень много чисто женских особенностей, или, если хотите, женщины имеют очень много грамматических особенностей. Я говорю здесь не о неопределенном и повелительном наклонениях — об этих чисто женских способах разговаривать, а о том, что у женщин, так же как и у существительных, есть отличительные признаки, по которым можно установить, какого они рода, а кроме того, и у женщин и у существительных всегда есть окончания, которые они очень охотно меняют при каждом новом падеже.

Среди сербских слов встречаются и такие, что не стыдятся появляться à la Fregoli во всех возможных видах. Подойдет учитель к доске и напишет слово «черное», а потом начинает выписывать какую-то математическую формулу, сопровождая ее непонятными объяснениями: «Старославянское «он» перед глухим «юс» превращается в новославянское...» — и так далее; или: «юс» превращается в «цис», «цис» превращается в «бис» — и так далее... и в конце концов «черное» превращается в «белое».

Я помню, как однажды, заканчивая лекцию по истории Сербии, учитель сказал:

— В битве при Вельбудже в 1330 году, во время которой погиб болгарский царь Михаил, особенно отличился молодой сербский король Душан. Город Вельбудж, возле которого происходила эта битва, в настоящее время называется Джустендил. История не может объяснить, каким образом слово «Вельбудж» превратилось в «Джустендил», но грамматика может сделать и это.

Преподаватели грамматики в этом отношении зашли уже так далеко, что гораздо раньше Воронова научились превращать петуха в курицу и обратно, так что нет ничего удивительного в том, что я, как и многие мои товарищи, возвращался от доски с твердой уверенностью, что получил «хорошо», но «юс» пере-

ходил в «он», «он» — в «еры», «еры» — в «ерь» и к концу четверти «хорошо» превращалось в «плохо».

Много крови перепортило нам это непостоянство сербских слов, но еще больше мучений принесли с собой знаки препинания, которые, вероятно, и придуманы-то только для того, чтобы окончательно все запутать. Точки, запятые, знаки вопросительные, восклицательные и еще целая куча всевозможных знаков, которые грешный ученик должен уметь расставлять, хотя после окончания гимназии никто не обязывает его пользоваться ими. Я знаю одного чиновника, который проходил грамматику в одно время со мной и который жаловался мне, что она ему только мешает в жизни.

— Возьми, к примеру, хотя бы знаки,— говорил он.— Раньше я писал, писал, писал, нанизывая слова, как бусы на женский тепелук. А теперь ты скажи мне, пожалуйста: разве украсили бы женский тепелук точки и запятые? Я еще понимаю, зачем нужен восклицательный знак, иногда его можно употребить. Когда я пишу кому-нибудь, кто старше меня по чину, я обязательно ставлю восклицательный знак. А наш секретарь дошел до того, что ставит восклицательный знак даже в конце такого, например, предложения: «Ты осел!» И это уже попытка скомпрометировать не только восклицательный знак, но и всю грамматику, так как, если уж кто-нибудь осел, то по крайней мере он не должен быть ослом в грамматике.

А еще известен случай, когда командир пограничного полка вернул командиру роты донесение потому, что в нем не было ни точек, ни запятых и невозможно было понять, то ли командир роты во время боя на границе убил главаря банды контрабандистов, то ли главарь банды убил командира роты, пославшего рапорт.

Приказ расставить точки и запятые произвел удручающее впечатление на командира роты, который никогда в жизни не знался с точками и запятыми и, можно сказать, был даже их противником: ему гораздо легче было целую ночь вести бой с двадцатью пятью контрабандистами, чем расставить в своем рапорте такое же количество точек и запятых. Чтобы выйти из тяжелого положения и выполнить приказ командира, он взял чистый лист бумаги, поставил на

нем десять точек и пятнадцать запятых, приложил этот лист к донесению и отослал командиру полка с просьбой расставить прилагаемые точки и запятые на соответствующие им места, а если окажутся лишние, то пусть командир и для них найдет надлежащее место.

Не могу понять, почему эти точки и запятые причиняли нам столько неприятностей, так как я прекрасно помню, что учитель очень хорошо объяснял нам правила их употребления.

— Пассажирский поезд,— говорил он,— должен пройти путь от Белграда до Ниша. Понятно? Когда он пройдет этот путь, то есть когда он прибудет в Ниш, он выполнит то, что было задумано, а именно: выехать из Белграда и прибыть в Ниш. А всякая законченная мысль есть предложение. Выполнил поезд то, что было задумано, остановился и дальше не идет, а это значит, что и в конце предложения следует сказать: «Остановись, хватит!» И вот это «остановись, хватит» обозначается точкой. Следовательно, в конце предложения нужно ставить точку. Ясно? Но расстояние от Белграда до Ниша поезд не может пройти без остановок. В одном месте нужно ждать встречного, в другом паровоз набирает воду, в третьем нужно остановиться, чтобы одни пассажиры могли сойти, а другие войти, и всякий раз поезд должен стоять, где долго, а где и совсем мало, так что человек едва успевает соскочить или вскочить на подножку вагона. И поэтому на железнодорожном пути много крупных и мелких станций, так называемых остановок. Каждая большая станция, где, скажем, разъезжаются поезда, где есть ресторан, в котором пассажир может подкрепиться,— это точка с запятой. А маленькие станции, где поезда стоят только одну минуту,— это запятые. Итак, каждое длинное предложение может быть составлено из ряда коротких предложений, каждое из которых отделяется от другого точкой с запятой, так же как внутри короткого предложения может быть одна или несколько запятых, чтобы можно было передохнуть. Теперь вам все ясно?

Разумеется, мы сказали, что нам все ясно, хотя, по всей вероятности, мы ничего не поняли, ибо после объяснений учителя вели между собой такие разговоры:

— А ведь, наверное, точка в Нише должна быть больше, чем в Младеновце или Чуприи? — спрашивал Живко Янич.

— А там, где точка с запятой, успеешь поесть суп, говядину и жаркое, или времени хватит только чтоб съесть крендель? — размышлял Степа Радойчич.

— Ну хорошо, допустим, там, где поезда разъезжаются, там — точка с запятой, но ведь если у каждого поезда есть своя точка с запятой и если встречаются два поезда, то, значит, встретятся две точки и две запяты! — рассуждал Йовица Станкович.

Употребление вопросительного и восклицательного знаков учитель объяснил еще проще, но позднее на собственном жизненном опыте мы убедились, что его объяснение было неточным. По словам учителя, знак вопроса, например, можно ставить только в конце вопросительного предложения, тогда как в жизни под вопрос ставится все, что угодно: почет, любовь, патриотизм, знатность, добродетель, верность, дружба и так далее, независимо от того, стоят ли эти слова в середине или в конце предложения. Вообще в жизни знак вопроса можно ставить везде, и, уверяю вас, он всегда будет на месте. Начиная с рождения и кончая смертью, всякое явление в жизни человека можно поставить под вопрос.

Что же касается восклицательного знака, то он чаще всего употребляется в лозунгах, на партийных собраниях и при объяснениях в любви, поэтому значение его мы поняли очень быстро.

Что такое двоеточие, мы поняли только тогда, когда стали изучать физику, которая, как известно, состоит из разных а, б, в. В каждом законе, в каждом определении есть свои а, б, в. Выйдет учитель на кафедру, объяснит закон: так и так, так и так, а потом добавляет: «Следовательно»:

- а) то-то и то-то,
- б) то-то и то-то,
- в) то-то и то-то.

Так мы и запомнили, что после «следовательно» нужно всегда ставить двоеточие.

Точка с запятой — это какой-то неопределенный знак: ни точка, ни запятая. Его можно поставить где угодно, и ничего от этого не изменится. Один мой приятель, некий Илья Сушич, расписываясь, ставил точку

с запятой после своей фамилии, и ничего... прекрасно стояла и тут.

Многоточие — это знак, который служит для обозначения незаконченного действия. Но мы никак не могли понять, как может быть действие незаконченным: начал, так закончи. Но если бы мы спросили у учителя, то он, вероятно, объяснил бы нам это так:

— Поезд идет из Белграда в Ниш, но около Ста-лача происходит крушение, в результате трое убитых, одиннадцать раненых, и поезд не может продолжать свой путь. Это вот и есть незаконченное действие, и здесь нужно поставить многоточие!

А таких неожиданных случаев, как крушение поезда, в жизни очень много, и поэтому многоточие — действительно очень полезный знак. Так, например, вор залез в чужой карман, но внезапно появилась полиция — это также незаконченное действие, после которого следует многоточие. Или, скажем, возле ворот юноша объясняется в любви своей подруге, студентке, но при первом поцелуе появляется ее отец. И тут действие не закончено, и тут следует многоточие. Или заявился молодой господин к молодой женщине, когда ее мужа не было дома, но только лишь молодая женщина садится на колени разнеженного любовника, как появляется ее муж. И тут действие не закончено. Такое предложение в жизни заканчивается несколькими точками, а иногда и несколькими восклицательными знаками.

Вот какие знания о знаках препинания мы получили в школе, пополнив их впоследствии в жизни.

Но для того чтобы эти знаки доставили нам как можно больше мучений, учителя не только требовали зазубривать правила их употребления, но еще и задавали на дом письменные упражнения, чтобы мы научились выражать свои мысли, пользуясь знаками препинания.

Эти стилистические упражнения часто служат для учителей развлечением. Собравшись во время перерыва в учительской, они могут от души посмеяться над ними. По форме эти упражнения напоминают любовные письма трубочистов к кухаркам, прощения, подаваемые зеленщиками в сельскую управу, донесения ночных полицейских патрулей. И учителя сербского

языка, видимо, для того задают так часто эти упражнения, чтобы еще больше пополнить свои коллекции ученических глупостей. А чтобы глупости были пошлее, чтобы можно было посмеяться над ними вволю, они обычно выбирают такие задания, которые многие из них и сами не смогли бы выполнить.

Помню, сколько горя доставило нам письменное задание: «Испеки и скажи!» Заканчивая урок, учитель сказал нам просто:

— Дети, к следующему разу приготовьте письменное задание на тему: «Испеки и скажи!»

Для нас это было так же ясно, как если бы нам сказали: «Дети, к следующему разу приготовьте письменное задание: «Бифуркация патагонцев на материале данных об оседлости эскимосов».

Я спросил старшего брата, который к тому времени уже заканчивал школу, что такое: «Испеки и скажи!»— но он мне не сумел объяснить.

— Слово,— сказал он,— может быть испечено, может быть сварено, может быть поджарено, а может быть и спрятано.

Можете себе представить, на что были похожи наши письменные задания. Живко Средојевич развил заданную тему всего в нескольких словах:

«Лучше всего,— писал он,— усваивается хорошо пропеченное слово, и только тот может считаться умным, кто говорит только хорошо пропеченными словами!»

А Сима Ягодич набрался где-то философии и написал сочинение так:

«Слово не следует произносить до тех пор, пока оно не будет хорошо пропечено. А испечь слово можно только дома и только на нагретом стуле. Так что сиди на стуле до тех пор, пока испечешь слово, и все это время учи сербскую грамматику как самый важный предмет, ибо без языка человек не может жить!»

Остоя Попович, сын сельского священника, объяснил все дело совсем просто:

«Все, что мы кладем в рот, должно быть пропечено: и пироги, и ракия, и жареная баранина. И потому все, что выходит изо рта, тоже должно быть пропечено. А так как изо рта, кроме всего прочего, выходят и слова, то и они должны быть пропечены!»

В другой раз учитель задал нам сочинение на тему: «Познай самого себя!» Из сочинений на эту тему я помню только одно:

«Если человеку не представляется возможности познать кого-либо другого, будет неплохо, если он воспользуется свободным временем и попытается познать самого себя. Легче всего человек может познать самого себя с помощью зеркала. Если зеркало хорошее, то человек увидит свои хорошие стороны, а если зеркало плохое, то человек увидит свои плохие стороны!»

На тему «Познай самого себя!» я не смог ничего написать, и до сих пор я не могу ничего сказать на эту тему.

ИСТОРИЯ

История, несомненно, полезна прежде всего потому, что на ее уроках гимназисты учатся выговаривать трудные слова, и тот, кто изломает свой язык на истории, может сравнительно легко произносить сложные определения из химии, физики и высшей математики. В самом деле, властители древнего мира носили такие труднопроизносимые имена, что нужно было обладать могуществом факира, чтобы их выговаривать. И эти имена были не только трудны, но, как мне кажется, они не были похожи на имена, достойные правителей. Ну что, скажите на милость, за король, если его зовут Успретезен, Чандрагупта или Кудурнагупта? Представьте себе воодушевление народа, приветствовавшего своего короля так: «Да здравствует его величество Успретезен Первый и ее величество Успретезеница!» Я думаю, что такие имена даже у фанатичных приверженцев монархии не могли вызвать ничего, кроме отвращения, особенно если принять во внимание, что это был не один, а целая династия Успретезенов, севшая на шею египетскому народу и управлявшая под этим страшным именем без малого двести лет.

И добро бы одна или две династии, а то ведь вся древняя история кишит такими страшными именами, что легче пройти через непроходимые американские джунгли, чем через древние века. Вы, может быть,

помните того несчастного Артаксеркса, на котором столько поколений гимназистов ломало язык? До тех пор, пока мы не услышали слово «Артаксеркс», мы ломали язык на народных скороговорках: «Поп посеял боб» или: «Туре буре валя, була туре гура, нити туре буре валя, нити була туре гура!» Но как только мы услышали имя Артаксеркс, мы забросили все народные считалочки и начали на нем ломать язык и биться об заклад. Сядёт пять-шесть человек в круг, положит каждый на банк по пуговице, и, кто выговорит слово «Артаксеркс», тот забирает выигрыш.

Разумеется, были у нас и другие способы запоминания имен, доставлявших нам столько мук.

В наше время не имели понятия ни о футболе, ни о теннисе, ни о каком-либо другом из современных видов спорта. Мы играли в мяч, в рабов и в чехарду. Про игру в мяч можно сказать, что это почти спортивная игра; в рабов мы играли с палками и почти всегда кому-нибудь разбивали голову; а третья игра — чехарда — досталась нам в наследство от турок вместе с халвой и мороженым и заключалась в том, что тот, кому выпадало водить, сгибался, а все остальные через него перепрыгивали, стараясь не задеть его ни ногами, ни какой-либо другой частью тела. Собирались мы человек пять-шесть, становились в круг и начинали считать, произнося бессмысленные слова: «игис, ипик, ушур, топидушур, сойле, манойле» — и так далее, или: «ендем, дину, саракатину, саракатика, така, елем, белем, буф!» Тот, на кого падало последнее слово «буф», принимал турецкую позу, а все остальные через него перескакивали, каждый раз выкрикивая какие-нибудь непонятные слова, которые, насколько мне помнится, звучали так: «ениджайес, манджебиргебирговац, бир мамузлари, бир капаклари, бир топузлари» — и так далее. И вот однажды мы напали на счастливую мысль — использовать в чехарде те страшные исторические имена, которые нам нужно было запомнить, и вместо бессмысленных слов стали употреблять в считалочке имена властителей прошлого: Клеомброт, Киаксар, Асаргаддон, Сенахериб, Сезострис, Тахарака, Каракалла, Артаксеркс! Тот, на кого падало последнее слово «Артаксеркс», сгибал спину, а все остальные через него перескакивали, выкрикивая при этом имена властителей: Ку-

дурнагупта, Чандрагупта, Ассурбанипал, Навуходоносор, Тиглатпаласар, Набопаласар, Агезилай, Аменемхет, Успретезен!

Таким образом мы сочетали приятное с полезным. Мы нашли способ заучивания имен властителей, заменили в игре старые бессмысленные слова новыми, очень благозвучными, и дали возможность этим могущественным властителям принести хоть какую-нибудь пользу.

Вывихнув таким образом языки, мы почувствовали себя способными приступить к изучению истории, которая, вообще говоря, является самым интересным из всех изучаемых в гимназии предметов.

История, как известно, делится на древнюю историю, историю средних веков и новую историю. Древнему миру предшествуют, как предисловие к истории, доисторические времена, а в конце, за новой историей, как послесловие или, может быть, как «исправление опечаток», которое обычно и помещают в конце книги, следует новейшая история. Новейшая история, начавшаяся с революции, и есть в действительности исправление типографских, или, вернее говоря, политических ошибок прошлых веков.

Если человек, избавленный от обязанности знать урок, окинет взглядом историю, то перед его глазами предстанет примерно такая картина:

Древняя история — возведение пирамид, продолжительные и красноречивые беседы, философствование, поклонение многим богам и многим женщинам.

Средние века — вера в одного бога и постоянные войны и кровопролития из-за этого единственного бога. Преклонение перед женщинами и постоянная борьба и убийства из-за них.

Новая история начинается исторической фальсификацией, а заканчивается фальсификацией истории.

Историки считают, что новая история начинается с великого события, то есть с открытия Америки. Однако, судя по всем последствиям этого события, кажется, не мы нашли Америку, а Америка — нас. Американцы стоят именно на этой точке зрения и твердят, что все разговоры об открытии Америки не что иное, как историческая фальсификация. Несколько лет назад я познакомился с одним очень симпатичным американцем, господином Марком Твенем, продавцом ли-

монада, которому, кроме этого, приходилось работать в красильне, брить бороды и изготавливать эссенцию для маринования огурцов. Разговор об открытии Америки зашел как раз тогда, когда Марк Твен предложил мне эту эссенцию как последнее американское достижение.

— Нет, сударь,— отвечал я ему.— Я не вижу никакой необходимости покупать эссенцию в Америке. Мы, европейцы, открыли способ маринования огурцов, и следовательно, мы обязаны открыть и эссенцию.

— Да? — удивляется он.— Сдается мне, вы точно так же открыли и Америку?

— Да, сударь, мы, европейцы, открыли способ маринования огурцов, и мы же открыли и Америку.

— Да, да, я помню это,— любезно отвечает господин Твен.— Ах, вы знаете, как мы, американцы, были приятно удивлены, когда вы нас открыли.

— Как?! — удивился я.

— Да. Мы, знаете ли, тысячелетиями ожидали, уже теряли терпение и все спрашивали друг у друга: «Когда же эти люди захотят, наконец, нас открыть?» Помню, когда в один прекрасный день к нам прибыл Христофор Колумб, мой дед встретил его словами: «Ну, знаете, долго же вы заставили себя ждать!»

— Помилуйте, как же ваш дед мог встречать Колумба?

— Я и сам себя все время об этом спрашиваю, но, видите ли, в истории приходится считаться с теми необъяснимыми явлениями, которым историки, вероятно, когда-нибудь все же найдут объяснение.

— Значит, вы не признаете великого открытия Колумба?

— Ах, как же не признаю! Недавно один мой приятель, господин Джон Бовтерс, попытался на лодке пройти из Америки в Европу, и ему это не удалось, что только возвеличивает славу Колумба.

— А каково ваше мнение относительно предприятия испанского короля Фердинанда, финансировавшего открытие Америки?

— О, я его очень ценю, тем более, что в этом предприятии участвовал и американский капитал. У меня и сейчас еще есть семь акций «Общества открытия

Америки», учрежденного королем Фердинандом; но могу вам сказать по секрету, у нас, в Америке, эти акции стоят очень дешево.

— Почему?

— Вероятно, потому, что мы, американцы, очень недовольны открытием Америки.

— Недовольны?

— Да, поскольку мы все больше убеждаемся, что Европа нашла Америку лишь для того, чтобы было откуда получать займы, и я начинаю верить, что марсиане, учитывая наш опыт, делают все возможное, чтобы Европа их не открыла.

Я считаю, что господин Марк Твен был абсолютно прав, поэтому я и сказал, что новая история началась исторической фальсификацией, то есть открытием света, который уже существовал, а закончилась фальсификацией истории. В конце последнего периода новой истории родился один странный историк. Звали его Наполеон Бонапарт. В отличие от всех других историков он не писал историю — он ее делал. Он сметал государственные границы, свергал монархии, выдумывал новые народы и создавал новые государства. Он был гениальным фальсификатором истории, чему мы, жители Балкан, можем дать самые убедительные доказательства. Он устроил такой исторический тарарам, что весь мир испугался, как бы ему не пришлось в голову изменить форму земного шара. И хотя вся деятельность Бонапарта протекала в эпоху новейшей истории, все же своим рождением он обязан предыдущему периоду.

Должен признать, что из всех периодов истории нам, гимназистам, больше всего нравились доисторические времена, так как в то время не было ни государств, ни царей, ни летосчислений, ни письменности, чтобы записывать то, что потом пришлось бы учить. Если бы история человечества и дальше развивалась в том же направлении, то она никогда не стала бы школьным предметом. Впрочем, она и без того не стала бы школьным предметом, если бы среди людей не появилась особая секта так называемых историков, которые, как вредоносные бактерии, стали быстро размножаться. Эти люди, слепленные из любопытства и терпения, как моль, расползлись по старым книгам и полуистлевшим пергаментам; они начали перевора-

чивать камни, лазить по крепостным стенам, бродить среди развалин, раскапывать фундаменты и могилы и из истории, которую когда-то так приятно было слушать под звуки гуслей, стали создавать школьный предмет, день за днем растягивая его, как гармошку. В древние времена и в средние века историков было меньше, и поэтому, слава богу, не все записано, что и делает заучивание уроков по истории древних и средних веков довольно приятным занятием. Как нам, например, милы были те уроки по древней истории, которые начинались словами: «История мало знает о событиях тех времен» или так: «Вторая половина античной эпохи, исчисляемой столетиями, покрыта мраком неизвестности, так как почти не сохранилось никаких памятников».

Фраза «покрыта мраком неизвестности» была такой приятной и удобной для учащихся, что, пожалуй, и для них и для древних народов было бы лучше, если бы многие события, вошедшие в историю, были покрыты мраком неизвестности.

Но фиксирование событий новой истории зашло уже слишком далеко. Каждый учитель истории считал своим долгом что-нибудь записать, а вы только представьте себе, сколько на свете учителей истории! И дело не только в том, что записывается каждое событие во всех подробностях, но и в том, что в водоворот истории втягиваются даже те части света, которые раньше вообще не принимались во внимание. В древние времена история развивалась только на востоке, но затем она начала все больше и больше распространяться по всем континентам, пока, наконец, не охватила весь свет, дотянувшись даже до самых заброшенных уголков мира. А теперь представьте себе будущие века, когда историки начнут записывать, как его высочество наследный принц Ньюканука, чтобы сесть на престол, заживо изжарил на вертеле своего отца, его величество короля Путафута, и проглотил его вместе со всем его королевским правительством, или как ее величество королева Папарука отрубила голову своему семнадцатому мужу и взяла себе восемнадцатого, провозгласив его королем под именем Сисогора I. Вообразите, на что будет похожа наша история лет через пятьсот. Сколько будет томов, сколько имен, сколько дат и событий, и каких событий!

Представьте тех несчастных гимназистов, которым придется учить историю через четыреста — пятьсот лет! Вспоминая об этих грешниках, я смеюсь над их судьбой так же злорадно, как цыган в сказке о правосудии Митад-паши.

Митад-паша — губернатор города Ниша — очень сурово расправлялся с ворами и грабителями. Даже за пару цыплят он вешал вора на базарной площади, а возле повешенного приказывал положить украденный им предмет, чтобы каждому было видно, за что казнен преступник. И вот однажды привели к Митад-паше трех цыган. Один из них крал ягоды, другой — яйца, а третий — арбузы. Паша построил их в ряд, дал первому ягоду, второму — яйцо, а третьему — арбуз и приказал проглотить, не разжевывая. Первый цыган легко проглотил ягоду и залился смехом.

— Ты что смеешься? — спрашивает паша.

— Смеюсь я, о всемилостивейший паша, над тем, третьим: как же он проглотит арбуз?

Точно так же смеюсь и я, когда думаю о тех гимназистах, которым придется учить историю через четыреста — пятьсот лет. Мы проглотили ягодку, а вот как они, грешники, будут глотать арбузы?

Помимо всемирной истории, мы учили еще и историю Сербии. Для нас эта история была важнее и учить ее было легче; вероятно, потому, что здесь мы чувствовали себя как дома, а кроме того, нам очень нравился наш учитель.

Тогда, не знаю как теперь, учитель сербской истории по долгу службы должен был быть большим патриотом. Он выступал с надгробными речами на всех похоронах, провозглашал здравицы на всех свадьбах, зачитывал поздравительные адреса на всех концертах, но, независимо от обстоятельств, все его речи начинались обычно так: «Вот уже целых пятьсот лет сербский народ стонет под иноземным игом...» Рассказывая о победе Душана при Вельбудже или о победах других Неманичей, он так бил себя в грудь, словно хотел вызвать нас на единоборство. А когда мы добрались до первого сербского восстания и его героев Синджелича, Раича, Зеки и Конды, он стал так стучать кулаком по столу, что если бы вдруг появились турецкие войска, они обязательно испугались бы и разбежались. Разумеется, этот раздел истории он ско-

рее пел, чем рассказывал. Незаметно добирался он до народных песен, которые читал так, словно на коленях у него были гусли, и так входил в свою роль, что даже с нами начинал разговаривать десетерцем:

Если ты герой, выдавший виды,
Ты, с четвертой парты, Живко, ну-ка!
Ты скажи мне, сизый храбрый сокол,
Кем был в жизни Лазаревич Лука.

Живко, бывший родом из Ужицкой нахии, не испытывал особого желания состязаться с учителем, но все же ударял смычком по сердечным струнам и отвечал тоже десетерцем:

Да, таких героев было мало,
Был каким наш Лазаревич Лука;
Вышел он из Шабачкого края,
Евросима мать, отец же Тодор
Его — гордость рода — породили
В восемнадцатом столетье славном
Да в году-то семьдесят четвертом.

— Молодец, Живко! — восхищался учитель и, поставив ему пятерку, добавлял:

И речь красивая его мудра,
И сабля верная в бою остра.

Но то, что мог Живко, не могли мы, остальные. Так однажды, когда меня спросили о воеводе Конде, я попытался изобразить ужичанина, но мне это не удалось. Я начал так:

Жил когда-то Конда-воевода,
В малой Македонии он жил,
В Македонии вблизи Поломля...
И когда бы ни входил он в воду,
Брод всегда хороший находил.

Разумеется, учитель не был восхищен этими дивными стихами.

Стихами нам разрешалось говорить только о восстании. Все остальные уроки мы должны были учить наизусть, слово в слово, как определения из физики или геометрии. И мы выzubривали их так, что если бы нас разбудили ночью и спросили, мы ответили бы без запинки. Даже теперь, спустя столько лет, я все еще помню слово в слово некоторые мудрые изречения нашего историка. Для примера приведу некоторые из них:

«Король Милутин женился четыре раза, но это не единственная его историческая заслуга. Помимо женитьбы, он еще расширил границы сербского государства» — и так далее.

«В настоящее время нет никакого сомнения в том, что царь Душан Всемогущий был отравлен. Тому есть очень много доказательств, одно из которых состоит в том, что он умер не своей смертью».

«Король Вукашин погиб в битве при Марице в тысяча триста семьдесят первом году, что привело к прекращению его влияния на государственные дела».

«Стеван Дечанский в молодости был ослеплен. Но с ним произошло нечто странное, так как с другими государями бывает наоборот: взойдя на престол, Стеван Дечанский сразу же прозрел».

«Стеван Первовенчанный умер двадцать четвертого сентября тысяча двести двадцать восьмого года. Но необходимо иметь в виду, что политическая деятельность этого царя протекала до его смерти».

Но, несмотря на то что и предмет и учитель всем нам очень нравились, несмотря на то что мы инстинктивно чувствовали свой гражданский долг по отношению к этому предмету, мне все же никак не удавалось поладить с ним. Наш учитель говорил: «Только тот, кто опирается на прошлое, может строить будущее». А у меня не было никакого прошлого, мне не на что было опираться, и, вероятно, поэтому я не сумел построить свое будущее. Именно из-за истории, «учительницы жизни», я остался на второй год, и произошло это при очень странных обстоятельствах. Я провалился на экзамене, заявив, что царь Урош умер после боя при Марице. Можете себе представить, как рвал на себе волосы учитель, который семь раз подряд читал нам стихи об Уроше и на каждом уроке на чем свет стоит проклинал Вукашина.

— Разве ты не знаешь, что Вукашин убил Уроша?

— Знаю!

— Как же он мертвый мог прийти с Марицы, где он погиб, и убить Уроша?

— Не знаю!

— Ах, не знаешь; ну, тогда поучи во время каникул, а осенью придешь сдавать экзамен.

И я действительно все лето учил историю, а когда пришел осенью на экзамен, то сказал не только о том,

что Вукашин убил Уроша, но сделал и еще один шаг, заявив, что он убил Уроша дважды: один раз до, а другой раз после битвы при Марице. В своем стремлении уступить учителю я пошел еще дальше, согласившись с Пантой Сречковичем, что «и третий раз король Вукашин убил царя Уроша», но мое миролюбие не помогло, и пришлось мне еще год сидеть в том же классе.

И вот теперь возникает один интересный и чисто юридический вопрос, который я не задавал до сегодняшнего дня, потому что на повестку дня не ставился вопрос о возмещении убытков, нанесенных войной.

Позднее, когда я уже окончил школу, историки доказали, что Вукашин не мог убить Уроша, так как Урош умер после битвы при Марице. А ведь именно об этом я и твердил на экзамене по истории, из-за чего и был оставлен на второй год. Теперь возникает вопрос: кто должен возместить мне 365 дней, потерянных мною из-за того, что государство до последнего времени не знало своей собственной истории?

ГЕОГРАФИЯ

При изучении географии большую помощь могут оказать путеводители и расписания поездов. Все те, кто не сумел овладеть географией в школе, пользуются этими замечательными книгами, из которых можно узнать не только границы государств, величину городов, гор и рек, но и получить многие другие весьма полезные сведения. Так, например, из этих книг вы можете узнать стоимость проезда в фиакре, стоимость номера в гостинице и даже местонахождение пограничных таможен, чтобы вы могли заблаговременно спрятать то, что хотите провезти контрабандой. Между прочим, все эти сведения отсутствуют в учебнике географии, по которому изучают этот предмет в гимназии.

Но для того чтобы вы могли пользоваться столь замечательными книгами, нужно получить в гимназии хотя бы элементарные, первоначальные сведения, необходимые для понимания отдельных явлений. К числу таких сведений относится, например, то, что реки

всегда текут от истока к устью, что Земля удалена от Луны настолько же, насколько Луна удалена от Земли, что горы всегда выше, чем равнины, что озера, как мелкие, так и глубокие, со всех сторон окружены землей, и многое другое.

К основным сведениям относится также и то, что Земля — шар, в чем наш учитель пытался убедить нас всеми возможными способами.

Дети ближе к богу, и поэтому они ближе и к религии. Дети и религия общими усилиями создали дивную легенду о бескрайности света. Разбить ее не смогла даже сказка о человеке, который дошел до края света, сел, спустил ноги в ничто и с удовольствием плюнул в это ничто. А теперь и представление о бескрайности мира и легенду о его крае мы должны были в один миг заменить верой в то, что Земля круглая, как мяч, что она вертится, как сумасшедшая, совершая в воздухе всевозможные акробатические сальто. Именно в этом и пытался уверить нас наш учитель, ссылаясь на многочисленные доказательства, ни одно из которых не казалось нам достаточно убедительным.

— Первое доказательство шарообразной формы Земли, — говорил учитель, — состоит в том, что Солнце, Луна и все остальные планеты — круглые, следовательно, и Земля должна быть круглой.

Нет никакого сомнения в том, что это доказательство не лишено неумолимой логики, но для нас, детей, это звучало так же, как если бы нам сказали:

— Поскольку пароход, лодка и арбузная корка имеют обтекаемую форму, то и ботинки тоже должны иметь обтекаемую форму.

Второе и третье доказательства шарообразной формы Земли были нам также понятны. Когда путешествуешь по морю на корабле, то, приближаясь к Земле, прежде всего видишь вершины гор, и наоборот, если с берега заметишь в море корабль, то прежде всего видишь мачту, а потом уже и весь корабль.

— Дети, — спрашивал учитель, — принимаясь за объяснение этих доказательств, — видели ли вы когда-нибудь море?

— Нет! — отвечаем мы все в один голос.

— Так, очень хорошо! В таком случае представьте себе море и там далеко-далеко корабль, которого еще не видно. Ну как, представили море?

— Да! — отвечаем, а как мы его себе представили — одному богу известно.

— А представляете ли вы пароход, которого еще не видно?

— Да! — отвечаем мы, хотя сами никак не можем представить себе пароход, которого еще не видно.

— Так, а теперь скажи мне ты, Милан, что ты прежде всего увидишь при приближении парохода?

— Дым, господин учитель! — уверенно отвечает Милан.

— Дым, хорошо... Скажем, увидишь дым, — продолжает учитель, явно озадаченный ответом ученика. — Ты, разумеется, увидишь дым, если пароход дымит; а вот что ты увидишь, если он не дымит? Допустим, к берегу приближается пароход, но он не дымит. Чем он даст о себе знать?

— Гудками, — еще более уверенно отвечает Милан.

С четвертым доказательством дело обстояло не лучше, хотя из всех доказательств оно, пожалуй, самое убедительное. Согласно этому доказательству, если бы некто пошел от какого-то места и все бы шел, шел и шел в одном и том же направлении, то в конце концов пришел бы опять на то место, с которого отправился в путь. Мы это доказательство представляли себе так: пошел я, например, в первый класс гимназии и все шел, шел, шел, а через несколько лет вернулся опять в первый класс, тогда как товарищи мои учились уже в четвертом. Слова: «если бы некто пошел» для нас означали: «если бы некто не пошел», то и не было бы доказательства шарообразной формы Земли.

Все другие премудрости мы постигли значительно быстрее благодаря тому, что наш учитель географии придерживался системы наглядного обучения.

В нашей гимназии имелся глобус, годами стоявший на книжном шкафу в кабинете директора. Этот глобус имел такой плачевный вид, что на него невозможно было смотреть без сострадания. Ось у него была так изогнута, что во время опытов он всегда вращался в сторону, противоположную той, в которую, если верить учителю, вращается Земля. Северную Америку на глобусе закрывало огромное чернильное пятно, поэтому мы были твердо убеждены, что именно

там находится Черное море, а на месте Африки зияла огромная дыра, и никто не знал, то ли это англичане перекопали всю Африку в поисках гробниц фараонов, то ли какая-нибудь американская экспедиция, следуя по пути, указанному Жюлем Верном, спустилась в недра Земли. Однако вероятнее всего причина заключалась в том, что в перерывах между уроками учителя, обсуждая вопросы текущей политики, использовали и глобус в качестве аргумента.

За неимением приличного глобуса учитель использовал голову нашего товарища Сретена Йовича, у которого была такая большая голова, что он и в самом деле был похож на ходячий глобус.

— Сретен, иди сюда! — этими словами начинался урок. На этот раз учитель намеревался объяснить нам причины чередования дня и ночи. — Иди и встань возле окна так, чтобы на тебя падало солнце.

«Глобус» выходит из-за парты и становится возле окна.

— Если ты повернешь к Солнцу правую щеку, вся правая половина головы будет освещена, а левая — в тени. Так ведь? Хорошо, теперь поверни левую щеку к Солнцу. Видишь, вся левая сторона освещена, а правая — в тени.

Точно так же на голове Сретена учитель объяснял нам, что такое полюса.

— Вот тут, — и указательный палец учителя упирался в темя Сретена, — тут Северный полюс. Здесь вечная зима. Одним словом, это еще неисследованные просторы.

В другой раз, опять на голове Сретена, учитель показал нам маршрут путешественника, который из любви к географии, чтобы подтвердить шарообразную форму Земли, пошел бы из одной точки и, двигаясь все время в одном направлении, пришел бы опять в ту же точку. Учитель пошел от носа Сретена, как от самой заметной точки. Его объяснение выглядело примерно так:

— Возьмем нос как исходную точку, — и он повел указательным пальцем от носа к левому уху, — и отправимся на Восток, то есть в ту сторону света, где восходит Солнце. Затем мы... Сретен, когда же ты, наконец, вымоешь уши? В них столько грязи, словно ты только что вылез из свинарника... Затем обогнем зем-

ней шар и выйдем на противоположную сторону... Я ведь тебе, Сретен, еще на прошлом уроке велел подстричься, я не хочу пачкать свой палец о такие грязные космы... Когда у нас день, на той стороне ночь, и, наоборот, когда у нас ночь, на той стороне день. Затем мы пойдем все дальше и дальше, перейдем через правое ухо и опять все дальше, дальше и дальше, и вот опять мы на носу, откуда мы и пошли.

Сретен нам всем очень нравился, нам казалось, что он настоящее школьное пособие, и мы так привыкли к этому, что голова его действительно казалась нам глобусом, представлявшим земной шар.

Его растрепанные волосы были для нас лесной чащей, населенной дикими зверями, лоб напоминал египетские равнины, нос — неприступную вершину Гималаев, а два ручья, вытекавшие из носа, — Тигр и Евфрат, которые перед своим впадением в рот сливались в одну реку.

Мы настолько глубоко были убеждены в том, что голова Сретена — это глобус, что Станко Милич, разбив однажды во время игры Сретену голову, на вопрос учителя, зачем он это сделал, ответил: «Я учил географию».

Разумеется, после этого учитель пустил в оборот голову Станко Милича, но не ради наглядности обучения, а чтобы раз и навсегда отбить у нас охоту портить школьные наглядные пособия.

Нужно сказать, что у нашего учителя географии была довольно тяжелая рука, и он очень часто прибегал к ее помощи. Пока он рассказывал о земле, о реках, о горах, озерах и морях, все было более или менее спокойно, но когда он добрался до неба и планет, то стал так размахивать руками и так бить нас по щекам, что нам начало казаться, будто на небе происходят катастрофические столкновения небесных тел.

Однажды, когда он объяснял нам затмение, он вызвал к доске сразу троих. Сначала вышел самый старший из нас, Живко, над верхней губой которого уже пробивались усики и которому все учителя советовали жениться. Учитель поставил его так, чтобы мы все его видели.

— Хотя ты, Живко, самый настоящий осел, но сейчас ты будешь представлять Солнце.

Затем, повернувшись к остальным, сказал:

— Следите внимательно! Голова Живко — это Солнце. Она освещает и Землю и Луну. Землей, как всегда, будет голова Сретена, а вместо Луны возьмем вот этого малыша со второй парты.

Этим малышом со второй парты был я.

— Так, теперь смотрите: когда Солнце находится там, где сейчас стоит Живко, Земля там, где Сретен, а Луна — где этот малыш, то Солнце, посылая свои лучи, освещает и Землю и Луну. Не так ли?

Все молчат, так как никто не может понять, как и чем Живко освещает.

— Но,— продолжает учитель,— Земля, вращаясь вокруг Солнца, на какое-то мгновение оказывается между Солнцем и Луной... Вот так! — И он выстраивает нас всех в одну линию.

— Теперь, как видите, головастый Сретен заслонил этого малыша, и лучи, исходящие от Живко, на него не попадают. Поэтому и наступает затмение Луны. Понятно?

— Я не понял,— пробурчал Живко, который должен был излучать свет.

И то, что Живко, который должен был излучать свет, не понял этого, так разозлило учителя, что он отвесил ему пощечину, вызвавшую у несчастного Живко, по всей вероятности, самое наглядное представление о затмении Луны, и он, хлопая глазами, поспешил добавить:

— Теперь понятно!

И не только Живко, но и всем нам сразу стало ясно, почему эта часть географии называется «физической».

Еще хуже было, когда учитель объяснял нам строение солнечной системы.

— Пусть выйдут к доске те планеты, что были на прошлом уроке,— сказал он.

Этими планетами были Живко, Сретен и я.

— Ты, Живко, как известно, Солнце. Стань вот сюда и тихо и спокойно вращайся вокруг себя. Ты, Сретен, также должен вращаться вокруг себя и в то же время вращаться вокруг Живко, который, как ты знаешь, представляет Солнце.

Затем он поставил на место и меня.

— Ты Луна. Ты будешь вращаться вокруг себя и в то же время вокруг Сретена, а вместе с ним кружись вокруг Солнца, то есть вокруг Живко.

Разъяснив нам все, он взял палку и стал в стороне, как укротитель, готовый в любую минуту стукнуть по голове того из нас, кто ошибется. И вот по его команде началось вращение. Живко вращался вокруг себя, бедный Сретен — вокруг себя и вокруг Живко, а я — вокруг себя и вокруг Сретена, вместе с ним кружась вокруг Живко. Но не успели мы сделать и одного полного круга, как в глазах у нас потемнело, и мы все трое рухнули на пол. Сначала упал я, Луна, на меня свалилась Земля, а на Землю рухнуло Солнце. Получилась такая свалка, что нельзя было разобрать, где Луна, где Солнце, а где Земля. Видно только, как торчит нога Солнца, нос Земли и зад Луны.

А учитель с гордым видом стоит над этой «кучей малою» и, не обращая внимания на наши стоны, объясняет строение планетной системы и движение небесных тел в мировом пространстве.

Можете себе представить, какая поднялась паника, когда учитель, покидая наш класс, сказал:

— В следующий раз я объясню вам, что такое вулкан.

Зная, как ревностно он придерживается системы наглядного обучения, мы с ужасом думали: кому из нас на следующем уроке придется извергать огненную лаву?

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

К естествознанию, или к естественным наукам, относятся минералогия, ботаника и зоология. Все остальные науки, как-то: математика, история, география, закон божий — по всей вероятности, неестественные науки.

Что касается минералогии, то всем нам очень нравились перегороженные ящички с разложенными в идеальном порядке и пронумерованными камешками. Эти ящички учитель приносил в класс, и всякий раз один-два камешка исчезали из них за время урока.

Ботаника, может быть, и могла бы быть приятным

предметом, если бы учителя не втиснули и сюда, без всякой на то надобности, латинский язык. Целыми днями зубришь: *Spinacia olagacea*, *Raphanus sativus*, *Cucubita mole*, и когда произносишь эти слова вслух, то кажется, будто ты по меньшей мере читаешь письма Горация, а на самом деле эти слова не обозначают ничего другого, кроме шпината, редьки, тыквы. Напрасно нам объясняли, что это научные названия этих растений: такое объяснение еще больше увеличивало путаницу. Окружного начальника и то зовут просто господин Яков Маркович, и нет у него никакого научного названия. А тут какая-то редька, оказывается, имеет еще и научное название, хотя всем известно, что окружной начальник — это не какая-нибудь редька.

Меня лично особенно смущал вопрос: какая польза от того, что я знаю, как называется редька по-латыни?

Я ведь не могу пойти на рынок и спросить у крестьянина: «Скажи, любезный, сколько ты хочешь за пучок *Raphanus sativus*?» — и в ресторане не могу попросить, чтобы принесли мне порцию *Raphanus sativus*, а попроси я так, хозяин ресторана потребовал бы за нее в четыре раза дороже, чем за простую редьку. Даже в политическом докладе я не мог бы употребить эти слова как цитату, хотя и существует такой порядок, что в политических докладах обязательно должны быть латинские цитаты. Ведь если бы я сказал, например: «Господа! Вам, которые твердо верят, что в демократии заключается моральная сила общества, *Raphanus sativus*...», — то это могло бы еще означать и следующее: «Господа! Вам, которые твердо верят, что в демократии заключается моральная сила общества, редьку вам в зубы!»

Но если эти латинские слова настолько неупотребительны, то я не понимаю, для чего их учить, разве только для того, чтобы ученики возненавидели такой интересный предмет, как ботаника.

Впрочем, и сам учитель, преподававший нам естествознание, не питал никакой склонности к ботанике, а еще меньше к минералогии. Он был страстно увлечен зоологией, поэтому мы учили этот предмет гораздо успешнее, и я могу смело сказать, что из зоологии почерпнул много полезных знаний.

Так, например, на уроках зоологии я приобрел твердую уверенность в том, что человек имеет две ноги, а животные — четыре, но это вовсе не означает, что индюк тоже человек. Кроме того, я узнал, что такое «толстокожие», но понял это гораздо позднее. И еще я узнал, что осел — терпелив, ягненок — ласков, конь — благороден, тигр — кровожаден, лисица — лукава, пес — верен, заяц — труслив, хорек — подл, обезьяна — смешлива, а в человеке все эти качества собраны воедино, потому он и считается высшим существом.

А уж если я столько полезного узнал из этого предмета, то несправедливо будет не вспомнить и не воздать должного учителю зоологии.

Замечали ли вы, что черты лица, поведение, манера держаться и осанка очень часто определяют призвание человека в жизни? И эти особенности, определяющие призвание человека, проявляются в раннем детстве. Так, например, если человеку суждено стать монахом, то его уже в детстве отличает хитрая физиономия, хороший аппетит и привычка считать деньги в чужом кармане; а если человеку суждено стать полицейским чиновником, то он уже с малолетства подслушивает чужие разговоры и доносит учителю на товарищей. Если же человеку суждено стать учителем, то он уже в детстве забывает принести в школу нужные книги, по рассеянности надевает чужую новую шапку вместо своей старой и обычно плохо учит предмет, который впоследствии будет преподавать.

Вот почему наиболее комичны ситуации, когда все случается наоборот, то есть если человеку на роду было написано стать поэтом, а он стал мясником, или (что встречается у нас гораздо чаще) человеку на роду было написано стать мясником, а он стал поэтом.

Подчас комизм заключается в том, что и призвание и дело, которому человек отдается, совпадают, а вот соответствующей физиономии, манеры держаться и осанки у него нет. Представьте себе, например, портного женского платья со всеми присущими этой профессии манерами, а вам говорят, что это бывший командир полка на пенсии. Или представьте себе человека с хорошим аппетитом, с соответствующим такому аппетиту животом, с мясистыми длинными уша-

ми, с заплывшей шеей и руками мясника, а вам говорят, что это композитор.

Нашему учителю зоологии самим богом было предназначено стать зоологом и никем другим; как будто в тот самый момент, когда он родился, бог опустил свою длань ему на голову и промолвил: «Быть тебе учителем зоологии!»

Он был высокий, сухой, узкоплечий и с такими длинными руками, что казалось, будто он ходил на четвереньках и только недавно встал на ноги. Когда он говорил, в горле у него что-то булькало, и было похоже, что он, — да простит меня бог, — ржет; а когда он смеялся, то смех его напоминал ослиный крик. Одним словом, не человек, а слюнявый конь в пенсне.

Когда он рассказывал нам о тех или иных животных и их особенностях — о благородстве коня, трудолюбии муравья, верности пса, остроумии лисицы, философском терпении осла, — то говорил с таким воодушевлением и так расписывал их высокие качества, что человек в самом деле начинал испытывать желание стать животным.

Впрочем, он и не считал нас людьми. Никого из нас он не звал именами, данными при крещении, но каждому придумал имя из области зоологии и так и звал нас этими прозвищами, как будто для него не существовало журнала с фамилиями. Правда, он заглядывал в журнал и водил карандашом по списку, но, остановившись на чьей-нибудь фамилии, говорил.

— Иди-ка ты, кабан, и прохрюкай, что ты знаешь о...!

«Кабан» поднимался из-за парты, «поджав хвост», выходил к доске и начинал «хрюкать» урок.

А другому говорил так:

— Я тебе, орангутанг мой, ставлю единицу; пусть у тебя хвост станет подлиннее, чтобы ты смог прикрыть им свой крамольный зад!

«Орангутанг» хлопал глазами, чесал за ухом и, состроив нам рожу, отправлялся на свое место.

Такой способ обхождения с учениками был хорош тем, что мы почти без труда многому научились. Так, например, мы запомнили, что свинья хрюкает, что у орангутанга — красный зад, что корова телится («Еле-еле отелился тройкой»), хорек смердит, кукушка кладет яйца в чужие гнезда и много других полезных сведений.

Однако этот способ обхождения с учениками оказывал на нас и другое влияние. Каждый из нас начал постепенно и незаметно привыкать к своему прозвищу, и не только к прозвищу, но и ко всем характерным особенностям данного животного. Вначале, разумеется, каждый возмущался, но затем привыкал, примирялся и в конце концов поддавался, а привычка становилась такой сильной, что начинала переходить в плоть и кровь.

Так, например, Люба-Слон, который в начале учебного года был живым, вертлявым мальчиком, начал незаметно, постепенно усваивать слоновьи манеры, перестал думать, начал ходить вразвалку, добродушно подмигивать, и даже кожа у него стала грубеть, а нос опустился до самой губы. Йовица-Орангутанг тоже начал приобретать некоторые странные манеры, которых у него раньше не было. То и дело он чесал под мышками, подмигивал, строил рожи товарищам и даже начал, особенно в драках, пользоваться ногами вместо рук, довольно легко перескакивать через парты и выпрыгивать в окно, а сидя на стуле, он вертелся так, что его, пожалуй, не мешало бы посадить на цепь. Средое-Хорьку не нужно было прилагать особых усилий, чтобы приноровиться к привычкам животного, имя которого он носил. А Йова-Осел, который еще до школы приобрел некоторые ослиные навыки, в школе особенно напрактиковался в терпении. Не только весь учительский коллегийум, но и весь класс бил его, и если вначале он еще кое-как реагировал на это, то потом окончательно примирился с судьбой и поистине стоически переносил все ее превратности.

Влияние данных нам зоологических прозвищ было всеобщим, так что мы все, вольно или невольно, подчинялись им и принаравливались к привычкам, соответствующим данному прозвищу.

Интересно, что позднее, уже вступив в жизнь, сколько мы ни старались сгладить их и уничтожить, мы все же сохранили кое-что из прежнего и выбрали себе в жизни пути и профессии, соответствующие нашим характерам и позволяющие нам воспользоваться навыками, приобретенными в детстве. Так, например, Сима-Индюк посвятил себя дипломатии и добился на этом поприще значительных успехов; Йова-Осел стал

министром просвещения и провел в этой области великое множество полезных реформ; Пера-Сом стал членом Академии наук, где и по сей день молчит как рыба; Спира-Пиявка стал окружным протоиереем и давно награжден красным поясом; Тоша-Хамелеон ударился в политику и занимается ею весьма успешно; Средое-Хорек влез в полицию, и, где бы он ни служил, везде видны следы его работы; Андра-Крокодил, став опекуном, проглотил большой двухэтажный дом и семь гектаров земли. Словом, каждый пошел по тому пути, который был предначертан ему еще в детстве.

Я был самым маленьким в классе, и поэтому учитель зоологии прозвал меня «мышью». Мышь — это маленькое домашнее животное, которое питается крошками с чужого стола и при виде которого женщины обычно визжат и подбирают юбки. В конце концов если бы по воле судьбы женщины при виде меня визжали и подбирали юбки, то это еще можно было бы терпеть, но, кажется, судьба использовала не эту, а другую особенность, присущую мышам. Основываясь на том, что мышь всю жизнь питается крошками с чужого стола, она сделала меня сербским писателем.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Как раз в то время, когда я учился, в наших средних школах на правах основного предмета был введен французский язык, а учителей, которые могли бы его преподавать, не хватало. Но это обстоятельство нисколько не беспокоило ни школьную управу, ни нас, учащихся. Школьная управа выделила одного грешника из числа преподавателей и обязала его вместе с нами учить французский язык. Это нам нравилось, поскольку таким образом предмет не представлял для нас никаких трудностей. Наоборот, уроки французского языка превратились в часы веселых развлечений и отдыха от других предметов.

Если учитель успевал выучить урок, то нам было над чем попотеть, а если же он приходил в класс неподготовленным, то все шло гладко, так как он сам заводил разговор о чем угодно, только не о француз-

ском языке. Рассказывал нам, например, о короле Понтийском Митридате VI, царствовавшем за целый век до рождения Христа и знавшем двадцать два языка, рассказывал нам и об одном знакомом ему черногорце, который много бродил по свету и разговаривал на пяти иностранных языках, но всегда с одним и тем же черногорским акцентом. А когда учитель знал урок, то лекция открывалась специальной беседой, которую он всякий раз начинал так:

— Дети, французскому языку вы должны уделять особое внимание. Он необходим тому из вас, кто, скажем, станет министром иностранных дел, а также тем, кто имеет надежду стать швейцаром в отеле; знайте, что без французского языка вам это не удастся.

Затем, после столь мудрого вступления, учитель ставил перед собой известную книгу Оллендорфа «Методика обучения французскому языку», которая была в то время единственным учебником и по которому и мы и учитель изучали французский язык, и между нами начинался такой диалог, слово в слово по методу Оллендорфа:

В о п р о с. Имеет ли брат вашей жены птицу, которая хорошо поет?

О т в е т. Да, брат моей жены имеет птицу, которая хорошо поет.

В о п р о с. Является ли ваша двоюродная сестра родственницей двоюродной сестры моего племянника?

О т в е т. Да, моя двоюродная сестра является родственницей двоюродной сестры вашего племянника.

В о п р о с. Видели ли вы нож моего дяди?

О т в е т. Да, я видел нож вашего дяди на скамейке в саду моей тетки, которая вчера съела одно яблоко.

В о п р о с. Говорит ли ваш старший брат по-французски?

О т в е т. Мой старший брат не говорит по-французски, но у него есть перочинный нож.

В о п р о с. Любит ли ваша сестра сыр?

О т в е т. Да, моя сестра любит сыр.

Из приведенных примеров можно видеть, что метод Оллендорфа весьма хорош для обучения французскому языку. Я даже помню одного нашего молодого дипломата, который выучил французский язык по

Оллендорфу и на одном официальном приеме вел такой разговор:

— Разве ваша страна не хочет быть в добрососедских отношениях с нашей страной? Почему же ваша страна не заявит нашей стране, что она, ваша страна, желает жить в добрососедских отношениях с нашей страной?

Разумеется, молодой дипломат использовал свои знания французского языка по Оллендорфу и на дипломатических ужинах. Так однажды он спросил у папского нунция, сидевшего справа от него:

— Любит ли ваша сестра сыр?

А когда маркиза Иннес де Херера, жена испанского посланника, спросила:

— Говорите ли вы по-английски?

Дипломат ответил по Оллендорфу:

— Нет, я не говорю по-английски, но я умею играть на флейте!

Немецкий язык давался нам гораздо труднее, и справились мы с ним только потому, что учитель умел очень доходчиво объяснять нам.

Только ради примера расскажу о том, как доходчиво и понятно он объяснил нам значение вспомогательного глагола.

— Вспомогательный глагол, дети, это такой глагол, который помогает главному. Например, я окапываю виноградник, и, значит, я есть глагол «graben». Следовательно: «ich grabe». Но если graben будет окапывать виноградник один, то ему до вечера не успеть. День короткий, и он не успеет. Что делать, как быть? И вот graben зовет своего соседа haben'a и говорит ему: «Будь настолько любезен, сосед haben, помоги мне окопать виноград!» Haben, как добрый сосед, соглашается, и они начинают работать вдвоем, и тогда получается: «ich habe gegraben»; «haben», конечно, в этом случае — вспомогательный глагол, то есть глагол, который пришел на помощь graben'у. Так, но ведь коротким был не только тот день, когда graben окапывал виноград: в году есть и другие короткие дни. И вот однажды понадобилось graben'у окопать кукурузу. Работал, работал, а видит — дотемна ему все равно не успеть. Короткий день, ничего не сделаешь! «Что делать? — думает он. — Нельзя же опять haben'a звать, ведь он уже и так однажды оказал мне любезность и

помог окопать виноград». И тогда graben решает позвать другого соседа — werden'a. А werden, добрейшей души человек, сразу отозвался на просьбу и пришел к своему соседу на помощь. Начали они работать вместе, и тогда получается: «ich werde graben». «Werden», конечно, в этом случае тоже вспомогательный глагол. Ну как, хорошо ли вы меня поняли, дети?

— Поняли! — отвечаем мы хором, и мы действительно прекрасно поняли все, что нам объяснил учитель.

Когда же на следующем уроке учитель спросил Сретена Йовича, что такое вспомогательный глагол в немецком языке, Сретен, убежденный, что он прекрасно все понимает, ответил:

— Вспомогательные глаголы — это соседи. Если кто-нибудь не может сам окопать виноград, то зовет соседа и просит его помочь; сосед соглашается, и они работают вместе. В другой раз, если он опять видит, что не успеет вовремя окопать кукурузу, то зовет на помощь другого соседа. А потому всякий вспомогательный глагол в немецком языке — это сосед.

— Так, хорошо, Сретен, — говорит учитель, — а скажи мне, кого ты зовешь на помощь, когда не знаешь урока?

— Соседа Живко! — отвечает Сретен.

— Того самого Живко, который сидит с тобой за одной партой?

— Да!

— А как же он тебе поможет?

— Он подсказывает.

— А что же он тебе подсказывает?

— То, чего я не знаю.

— Выходит, твой Живко вспомогательный глагол?

— Да.

— Ну что же, тогда ты, вспомогательный глагол, встань и подскажи, да так, чтобы мы все услышали, о чем самом главном Сретен забыл сказать?

— Он забыл, — говорит Живко, — он забыл сказать, что день был короткий, и поэтому тот человек не мог успеть окопать виноград.

Разумеется, мы учили не только вспомогательные глаголы. Много было и других и трудностей и мучений. Учитель, например, каждый раз задавал нам по двадцать слов, которые мы должны были выучить на

память. И если бы нам это удавалось, то каждый из нас превратился бы в ходячий карманный словарь. Можете себе представить, что творилось в нашем классе во время пятнадцатиминутной перемены перед уроком немецкого языка. Класс шумел, гудел, жужжал, пытаясь в течение нескольких минут выучить все заданные 20 слов, чтобы сразу же после урока забыть их. Среди общего шума, гудения и жужжания слышались мелодичные немецкие слова: Zerquetschen, entwurzeln, рикзихтслозигкайт, рикшритпартай, цвирнштрумпф, маркграфшафт и тому подобное.

Значение этих слов нас не интересовало, так как мы были глубоко убеждены, что они не могут выражать никакого значения и что учителя придумали их лишь для того, чтобы нам было труднее учить уроки. И все же я должен признать, что иногда попадались слова, заучивать которые было легко, потому что они были придуманы очень мудро и практично. Немцы, вероятно из экономических соображений, многим словам дали по два-три значения и, кроме того, должно быть для легкости запоминания, сделали так, что эти значения известным образом связаны между собой. Так, например, «зámок» по-немецки «Schloss», а замóк, на который запирают ворота этого зámка, тоже называется «Schloss». Или, например, гибель, разрушение по-немецки обозначается словом «Verfall», но точно так же по-немецки обозначается и «платежный взнос», который находится в тесной связи с гибелью. «Versetzen» означает «нанести удар», а «отнести вещи в ломбард» тоже будет «versetzen». «Unterhalten» означает «завлекаться» и в то же время «содержать», что также находится в очень тесной связи, так как тот, кто забавляется с девушками, естественно, должен нести расходы по содержанию детей.

Но больше всего мучений и страданий причиняли нам исключения из правил. Это была просто могила, в которой сложил свои кости весь наш класс, если не все наше поколение. И в других грамматиках тоже бывают исключения, но там они хоть не выходят за известные рамки, а в немецком языке исключений столько, что создается впечатление, будто немцы придумали их как одно из средств уничтожения неприятеля, или, если не так, то во всяком случае как колючую проволоку, которой окружили немецкий язык,

чтобы нелегко было пробраться к знанию его. Потеешь, потеешь и потеешь, пока не сломаешь язык и не выучишь какое-нибудь правило. Счастливый выйдешь к доске и, млея от удовольствия, отвечаешь заученное и ждешь, что вот сейчас учитель скажет тебе: «Хорошо, очень хорошо. Садись!» А он тебе вместо этого говорит: «Так, а теперь скажи мне, есть ли исключения из этого правила, и если есть, то какие?» Тут у тебя появляется такое чувство, словно ты только что с наслаждением выпил компот из персиков, а официант говорит тебе: «Так, а теперь съешьте вот эту зеленую рябину!»

Из-за исключений в немецком языке ученик с хорошей оценкой по этому предмету был в нашем классе весьма редким исключением.

МАТЕМАТИКА

— Я прошу вас, господин доктор, посмотрите ребенка получше, меня начинает беспокоить его состояние.

— А что такое? Что вас беспокоит? Какие вы заметили в нем перемены?

— Ребенок был раньше жизнерадостным, общительным и вдруг стал молчаливым и сумрачным. Рассеянный какой-то, не разговаривает, как прежде, не слышит, когда его спрашивают, и очень плохо спит. Видит страшные сны, а иногда ему такие кошмары снятся, что он даже соскакивает с кровати и его еле удается успокоить.

— Гм! Гм! — озабоченно говорит доктор и добавляет: — Ну, приведите ко мне молодого пациента. Я его сам посмотрю.

Входит бледный, заморенный гимназист; доктор ощупывает его, стучит в грудь, приказывает высунуть язык и выворачивает ему наизнанку веки.

— Плохо спишь, да?

Гимназист подтверждает.

— А ты мне не расскажешь, что тебе снится, какие такие страшные сны ты видишь?

Гимназист испуганно озирается по сторонам, а потом доверчиво начинает рассказывать:

— Вижу какое-то страшное чудовище с острыми железными зубами, со змеями вместо волос, с пушечным снарядом вместо сердца, с руками вроде железных вил и фосфорными глазами, горящими в темноте, как у кошки, и с животом из бычьей кожи, полным разных цифр, которые это чудовище выплевывает изо рта.

— Это же математика! Да, да это математика! — озабоченно кивает головой доктор, вспоминая свою молодость. — Знаю эту болезнь, очень хорошо знаю, сам переболел. А как ты себя чувствуешь, когда не спишь? Память у тебя хорошая? Знаешь ты, например, что-нибудь на память?

— Знал, да забыл.

— Может быть, знаешь какую-нибудь народную песню?

— Знал, да забыл.

— Или, может быть, что-нибудь другое, какие-нибудь стихи? Говори, что знаешь.

Гимназист думает, думает и вдруг начинает:

— Пифагоровы штаны во все стороны равны...

Доктор хмурит брови и обращается к родителям как человек, уже поставивший диагноз, с таким советом:

— Давайте ему компот из сухих слив, запишите его в какой-нибудь спортивный клуб и примиритесь с тем, что в этом году он провалится на экзаменах...

Вот такими пациентами были все, кто переболел этой болезнью, более опасной, чем грипп или воспаление легких. Все мы пили компот из сухих слив и мирились с тем, что провалимся на экзаменах. Для всех нас математика была чем-то вроде привидения, от которого ночью мы не могли заснуть, боясь темноты, а днем дрожали, если кто-нибудь нам напоминал о ней. Математика казалась нам бескрайним и бездонным морем, в которое нас бросили, чтобы мы утонули или, приложив нечеловеческие усилия, спаслись. Она напоминала нам запутанный лабиринт, в который нас втолкнули, чтобы мы бесцельно бродили по нему, натываясь то на одну, то на другую стену. Она похожа была на непроходимые джунгли — царство хищников, в котором мы заблудились и не знаем, как из него выбраться. Вероятно, поэтому мы и верили, что математика — это то наказание, которому господь бог под-

верг первых людей, когда изгонял их из рая, казнив женщину за первый грех родовыми муками, а мужчину — математикой.

И поэтому неудивительно, что ночью нас мучили страшные кошмары, что мы забывали народные песни и «Отче наш», а часто и свое собственное имя, и фамилию, и место рождения, и имена своих родителей.

— Где ты родился, Спира? — спрашивает учитель математики Спиру Найдановича.

Спира молчит, хлопает глазами и смотрит в потолок.

— Где ты родился, Спира? — повторяет учитель.

Спира молчит, хлопает глазами и смотрит в потолок.

— Бог ты мой, ты что, не знаешь, где ты родился?

— Я забыл.

— А что же ты тогда знаешь? Ну, скажи мне, что ты знаешь, если ты даже не знаешь, где ты родился?

— А плюс В в квадрате равно А в квадрате плюс два АВ плюс В в квадрате! — выпаливает Спира как из пулемета.

И пока учитель удивлялся тому, что Спира забыл, где он родился, мы удивлялись, что он так хорошо помнит формулу квадрата суммы двух чисел, так как мы и этого не знали.

А если и знали что-нибудь, так это было то, что предыдущие поколения (те, что до нас ломали голову над математикой) запечатлели в стихах. Дело в том, что мы вернулись к хорошему обычаю средневековья: к изложению научных истин стихами как единственному способу, который может помочь заучить наизусть отдельные теоремы, формулы и законы.

— Что будет со скобками, если перед ними поставить плюс? — спрашивает учитель.

Ученик сразу же вспоминает стихи: «Если перед скобкой поставить крест, то он эту скобку немедленно съест» — и поступает соответствующим образом.

Точно так же и теорема Пифагора в стихах гласила:

Квадрат гипотенузы —
Запомним без труда —
Равняется квадратам
Двух катетов. Да, да!

А несчастная теорема Карно звучала так:

Сторона в квадрате,
Как уверяет он,
Равна у треугольника
Квадратам двух сторон...

и так далее.

И если бы не было этих замечательных и чрезвычайно гладких стихов, то вряд ли кто-либо смог бы выучить наизусть теорему, которая в прозе читается так: «Квадрат одной стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение суммы этих двух сторон на косинус угла, заключенного между ними».

Но сколько бы мы ни помогали себе стихами, теоремы все же доставляли нам огромные муки.

Помню, например, гипотенузу из теоремы Пифагора, как она меня измучила, как я над ней бился и все равно так до сих пор и не знаю, что такое гипотенуза. Помнится лишь: это что-то такое, что равно сумме квадратов катетов. Мне всегда казалось, что гипотенуза — двоюродная сестра гиппопотама.

Помню, как однажды на уроке всеобщей истории задали мне вопрос:

— Ну-ка, назови имена девяти муз?

К богиням изящных искусств я питал особую склонность и старался как можно лучше выучить этот урок, но все же имя одной из них не запомнил, и мой ответ выглядел так:

— Эрато, Каллиопа, Клио, Мельпомена, Полигимния, Талия, Терпсихора, Урания и Гипотенуза.

Но гипотенуза и катеты замутили рассудок не только мне. Некоторые из нас, изучая математику, совсем тупели. Мой товарищ Ненад Протич назвал основателя французской династии Людовиком Катетом и упорно настаивал на том, что все французские Людовики — Катеты.

Гипотенуза стала мне настолько ненавистной, что казалось, если я это слово скажу кому-нибудь в глаза, то оно может означать только оскорбление и ничего больше. В таком значении я его однажды и употребил, за что имел большие неприятности в семье.

Как-то раз к нам зашла одна наша родственница, соколетняя дева, которая не вышла замуж потому,

что не могла решиться на такой шаг. Эта нерешительная тетка была очень противным созданием, засыпавшим вопросами, как метель снегом. Она интересовалась буквально всем, начиная с вопроса, кто раздевает митрополита, когда он собирается ложиться спать, и кончая тем, испытывает ли курица какие-либо приятные ощущения, когда снесет яйцо.

И надо же было, чтобы такая тетка, с такими привычками, появилась в нашем доме как раз тогда, когда я готовился к экзамену по математике и когда голова моя разламывалась от всевозможных синусов, косинусов, конусов, параллелепипедов, сегментов, тангенсов и так далее. Я терпел до тех пор, пока можно было терпеть, позволяя засыпать себя бесконечными вопросами, но когда нерешительная тетка перешла все границы, терпение мое лопнуло и, чтобы хоть как-нибудь досадить ей, я заорал:

— Вы — гипотенуза!

— Ах! — завизжала и без того чувствительная тетка, собираясь упасть в обморок.

На ее крик из другой комнаты прибежала мать, и тетка начала ей горько жаловаться:

— Я, я люблю твоих детей, как свои собственные глаза, и вот до чего дожила,— причитала тетка, и, разумеется, слезы градом катились по ее щекам.

— Гадкий мальчишка, что ты ей сказал? — отчаянным голосом закричала мать.

— Я сказал, что она — гипотенуза.

— Ну, а что это такое?

— Да что ты его спрашиваешь? Всем известно, что это какая-нибудь стоножка, если не хуже,— пищит тетка.

— Что это такое? Говори сейчас же! — напустилась на меня мать, чтобы хоть как-нибудь загладить неприятное впечатление.— Не смей молчать! Говори, что это такое!

— Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

— Ну вот, я же говорила, что это стоножка,— опять пищит тетка, которая после этого так на меня обиделась, что до самой своей смерти никогда больше со мной не разговаривала, пребывая в твердой уверенности, что гипотенуза — это какое-то отвратительное животное.

А ведь это только одно-единственное понятие из математики, и то оно показалось моей тетке стоножкой, а представьте себе, что бы она сказала обо всей математике, которая нам самим казалась кровожадным животным. И уж если подыскивать ей сравнение в животном мире, то скорее всего математика похожа на отвратительного осьминога, щупальца которого обвивают тела несчастных жертв и капля за каплей высасывают их кровь. Щупальца этого осьминога — арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, стереометрия, планиметрия, гониометрия и аналитическая геометрия. Извольте сами избрать, какому из этих щупальцев вы разрешите забраться вам в мозг, и извольте сами сказать, может ли человек избежать смерти, попав в лапы такого отвратительного чудовища.

Представьте себе, что этот осьминог протягивает к вам хотя бы только одно из своих щупальцев и впиивается вам в голову. Поверьте мне, вы заорете так, как будто в вас впились пятьдесят змеиных жал, а если спросите, кто вас так мучает, окажется, что это неизвестная величина.

Ах, эти неизвестные величины. Сколько они нам причинили страданий! И в школе и позднее в жизни неизвестные величины приносят людям только горе и заботы! В самом деле, в жизни — это все давно, конечно, заметили — неизвестные величины часто играют очень большую роль. В политике, например, неизвестным величинам иногда принадлежит решающее слово; в общественной жизни они порой достигают очень больших высот; в литературе им иногда удается высоко поднять голову; и, наконец, сам брак — основа человеческой жизни — есть не что иное, как соединение неизвестных величин.

Такова жизнь, и когда человек входит в жизнь, ему волей-неволей приходится мириться с этим обстоятельством, но в школе мы никак не хотели примириться с этими неизвестными величинами, а еще меньше с тем, что целая наука покоится на неизвестных величинах. Когда я однажды по своей наивности спросил, зачем нужны неизвестные величины, если существуют известные, учитель математики мне сказал:

— Если бы все величины были известными, то математика не была бы наукой.

Но если бы в математике были только неизвестные величины, то это можно было бы ей простить. Но тут такое сборище разнообразных и всевозможных величин, что легче охватить взглядом все планеты во вселенной, чем мысленно представить себе все величины в математике. Так, например, кроме известных и неизвестных величин, в математике есть еще положительные и отрицательные величины, бесконечные (бесконечно малые и бесконечно большие), имагинарные (мнимые) и, наконец, комплексные, которые не относятся ни к действительным, ни к мнимым и представляют собой что-то вроде полурыбы, полудевушки. И что еще хуже, все эти величины складываются, отнимаются, умножаются, делятся, возводятся в степень и вообще находятся в таких сердечных отношениях, что никогда не знаешь, кто из них родственники, а кто нет. И из этой мешанины рождаются такие отвратительные уроды, такие удивительные законы и принципы, что того, кто их выводит, при всяких других обстоятельствах следовало бы по меньшей мере отправлять в больницу на осмотр. Подобно тому как при смешивании воды, соды и жира получают мыльную пену, из мешанины отношений различных величин получают удивительные законы, на тысячи километров отстающие от здравого смысла: «Если ноль разделим на ноль, то получим ноль, а можем получить и один, и два, и три, и четыре, и пять, и вообще сколько угодно». «Если четыре разделим на ноль, то получим бесконечно большую величину» или: «Если воображаемую величину возведем в воображаемую степень, то получим вполне реальную величину».

Но если для этой науки нет ничего невозможного, если она способна из неизвестных величин получать известные, а из воображаемых — реальные, то почему бы с помощью математики не решить, например, такую задачу: «Если шоферу господина министра социального обеспечения сорок лет три месяца и двенадцать дней, а мост в городе Квебек в Канаде имеет длину пятьсот семьдесят семь метров, то на скольких желтках нужно замесить лапшу, чтобы накормить четырех человек различного возраста, если принять во внимание, что ширина полотна на железных дорогах Боснии 0,7 метра?» Или разве нельзя, скажем, решить и такую задачу из высшей математики, которую я сам

недавно прочел в какой-то газете: «Если взять корень квадратный от произведения даты моего рождения на номер моего телефона и отнять от него возраст моей тещи, то получится номер моего дома».

Вы, может быть, станете смеяться над этими задачами, считая их плодом досужей фантазии, порожденным стремлением дискредитировать математику как науку. Но по отношению к математике это вовсе не фантазия. Попробуйте обратиться к любому математику с просьбой объяснить задачу Зенона. Но только послушайте доброго совета и прежде, чем обращаться к математику, примите дозу брома для успокоения нервов, ибо он начнет вам доказывать такие вещи, что ваша рука инстинктивно потянется к какому-нибудь предмету — к стулу, пивной кружке или, на худой конец, просто к кирпичу, и в душе вашей вспыхнет желание раскроить математику череп.

Этот Зенон — якобы знаменитый греческий философ — был помешан на математике. Он жил за несколько столетий до рождения Христа и уже тогда, двадцать четыре века назад, придумал одну математическую задачу, над которой по сей день ломают голову все, кто знает математику, хотя те, кто математики не знает, давным-давно ее решили. Зенон математически доказал, что заяц никогда не догонит черепаху. Он утверждал: если черепаха двинется с места, а заяц подождет, пока она отойдет на 100 метров, и затем бросится за нею, то пока заяц пробежит пятьдесят метров, черепаха проползет несколько шагов и тем сохранит расстояние, а пока заяц преодолеет половину нового расстояния, черепаха опять проползет несколько шагов, и опять между ними сохранится расстояние. И так до бесконечности. В жизни, разумеется, ясно как день, хоть бейся об заклад, что заяц не только догонит, но перегонит и оставит черепаху далеко позади себя, но в математике это невозможно.

У меня есть один приятель математик. Во имя нашей дружбы, здравого смысла и человечности я умолял его признать, что заяц может догнать черепаху, но он упорно стоял на своем.

— В жизни может, а в математике не может!

Когда я уже впал в отчаяние, несмотря на то что перед этим принял две дозы брома, и стал заклинать

его внять голосу дружбы, он, наконец, согласился на некоторый компромисс:

— Оно, конечно, может быть! Вероятно, можно и математически доказать, что если заяц будет бежать за черепахой год или больше, он догонит ее. Но это бесконечно долгие и очень сложные расчеты, так что и заяц, и черепаха, и ученик, которому задали бы такую задачу, и учитель, задавший ее, умерли бы раньше, чем эти расчеты были бы закончены.

Но заяц и черепаха Зенона — это далеко не единственный случай, когда математика не признает того, что совершенно очевидно. Она берет, например, мяч и спрашивает вас:

— Этот мяч круглый?

— Абсолютно круглый! — уверенно отвечает вы.

— Э, нет! — говорит математика. — С математической точки зрения этот мяч не круглый.

Точно так же, показывая на линию, прямую как стрела, математика говорит вам, что она не совсем прямая; поверхность, гладкую как стекло, она не признает ровной, и, наконец, в своем безудержном стремлении отрицать она заходит так далеко, что сама начинает оспаривать то, чему вас учила. В то время, как на уроках геометрии вас учат, что параллельные линии — это линии, которые отстоят друг от друга на одинаковом расстоянии и никогда не пересекаются, высшая математика доказывает, что параллельные линии в бесконечности пересекаются.

Когда я спросил своего приятеля, почему математика не признает того, что можно видеть собственными глазами и щупать собственными руками, он мне ответил:

— Математика не верит чувствам!

Сначала я не мог примириться с тем, что наука не признает того, что человек видит своими глазами, но потом я вспомнил, что и в жизни это часто бывает. Помню, например, такую «математическую» любовь старшины белградской богемы, моего друга Чичи-Илья Станоевича. У Чичи была приятельница, которую, если принять во внимание его возраст и образ жизни, истощивший его измученное тело, можно было бы назвать даже молодой. Вероятно поэтому Чича-Илья, вернувшись однажды домой после полуночи, обнаружил возле дверей своей спальни пару фельд-

фелбельских сапог. Можете себе представить, до какой степени эти сапоги потрясли душу артиста. Вне себя от гнева он бросился в спальню и там, на своей собственной кровати, на своей собственной подушке увидел своими собственными глазами фельдфебеля без сапог. Артист затрясся всем телом, и перед глазами его заиграли кровавые круги. Какое-то мгновение, какую-то долю секунды размышлял он, как отомстить за обиду. В тот момент он видел только два способа: или пойти в коридор, принести сапоги и попросить фельдфебеля надеть их и освободить ему место, или, не беспокоя фельдфебеля, вернуться в кафану и там поискать утешения. Он избрал второй путь, надеясь, что это будет самая тяжелая, самая суровая кара для изменницы, и ушел, даже не бросив прощального взгляда на свою собственную подушку, на которой покоились их головы. Он пил три дня и три ночи, и все время его мучила неутолимая жажда. Он покидал одну кафану и шел в другую, но его не покидало желание пить. На четвертый день он получил открытку, адресованную: «Господину Илье Станоевичу, артисту. Белград. Кафана «Русский царь». Лично». Открытка была от нее. «Дорогой Чича,— писала она,— то, что ты видел, неправда», и так далее.

Как видите, математический принцип игнорирования чувств нашел в этой любви самое достойное применение.

А поскольку Чича-Илья глубоко уважал науку во всех ее проявлениях, то, получив столь убедительное математическое доказательство, он вернулся домой.

Но помимо известных и неизвестных величин, имеющих конец, и бесконечных, мнимых и комплексных, которые, как видите, окончательно замутили нам здравый рассудок, в математике были и другие чудовища: драконы, стоножки, псоглавцы, каракатицы, крокодилы, медузы, скорпионы, церберы, головастики, акулы и сверх того ректификация круга, как змей с семью головами, изрыгающими семь языков пламени. Ректификация круга возвышалась над ними, как неприступная вершина Гималаев, взойти на которую пытались разные экспедиции, но пропадали без вести, скатывались в пропасти, гибли во время обвалов и умирали от голода в сугробах, а вершина Гималай-

ских гор по-прежнему оставалась недоступной и неизвестной человечеству.

Можете себе представить, какие нечеловеческие усилия потребовались нам, чтобы преодолеть все эти препятствия и получить аттестат зрелости. И разве эти усилия, эти подвиги и этот труд не напоминают вам огромную беговую дорожку с финишной ленточкой на одном конце и с нами, грешными гимназистами, на другом, где нам дали старт, чтобы мы в течение нескольких лет бежали к финишу, задыхаясь, падая, кувыряясь, ломая ноги, руки и ребра, или, выбиваясь из сил и теряя сознание, застревали посреди пути. Представьте себе все труднопреодолимые препятствия, расставленные на этой дорожке и предназначенные специально для того, чтобы бегун мог свернуть шею.

Разве, например, извлечение корня не является первым из этих страшных препятствий? Нам, детям, процедура извлечения корня очень напоминала операцию, при которой вырывают коренной зуб, причем вырывают здоровый коренной зуб огромными кузнечными клещами. Если вы не верите, то попробуйте сами извлечь корень квадратный из минус четырех, и можно представить, как вы смутитесь, когда учитель вам объяснит, что корень квадратный из минуса четырех не положительное, не отрицательное и вообще не число. А ведь это только первое препятствие, а сколько их еще! Вообразите широкий и глубокий ров, из которого выглядывает целый лес остроконечных синусов, косинусов, логарифмов, радиусов, диаметров, сегментов, секторов, нормалей, пирамид, параллелепипедов, тангенсов, гипербол, парабол, дифференциалов, интегралов и так далее. И через этот ров со смертоносными копьями нужно во что бы то ни стало перескочить. А затем, если вам это удастся, вы столкнетесь с третьим препятствием: перед вами откроется широкое поле с разбросанными на нем огромными глыбами бесконечных и мнимых величин, а перескочить через бесконечную или мнимую величину еще труднее, чем через действительную. Но если вам удастся, приложив нечеловеческие усилия, преодолеть и это препятствие, тогда вы увидите перед собой огромную стену, которую нельзя ни обойти, ни перескочить, ни пробить головой. Эта сте-

на — ректификация круга — задача, которую можно решать всю жизнь, а перед смертью передать мел сыну, чтобы он продолжал и передал его своему сыну. И это бесконечное выписывание бесконечных величин не закончится и в седьмом колене.

Но если все обстоит действительно так, то возникает поистине интересный вопрос: как нам удалось преодолеть все эти препятствия и не только добраться до экзаменов на аттестат зрелости, но и получить его?

Этот вопрос тем более интересен, что я и теперь не смогу вам на него ответить и, вероятно, никто из нашего поколения, так же, как из предшествующего и из последующего, не сумеет этого сделать.

Есть еще в природе такие явления, которые, несмотря на все усилия науки, до сих пор не познаны человечеством. К таким относятся некоторые световые, психологические и многие другие явления. И, вероятно, к числу этих явлений, которые так и останутся загадкой для человечества, относится и то, каким образом я, несмотря на все преграды, преодолел математику и получил аттестат зрелости.

И все же математике как науке я бы хотел выразить здесь свою глубокую признательность. Ведь это она дала нашей молодой литературе много замечательных талантов, а нашему молодому театральному искусству — целый ряд знаменитых артистов, которыми оно гордится и по сей день. Если бы не было математики, все эти талантливые люди, теперешние поэты и артисты, продолжили бы свое учение и, может быть, стали бы большими и уважаемыми чиновниками.

Один из наших лирических поэтов в школе не мог решить даже такую простую арифметическую задачу: если зарабатываешь в день пять динаров, а тратишь двадцать, то какова будет разница к концу месяца?

И эту задачу ему не удалось решить на протяжении всей жизни.

А один знаменитый трагик, которому удалось добраться до выпускного класса гимназии и вкусить высшей математики, до сих пор еще ведет трагическую борьбу с неизвестными и мнимыми величинами.

Как видите, и математику есть за что хвалить.

ФИЗИКА И ХИМИЯ

Не знаю, можно ли считать физику и химию компаньонами и следует ли на фирменной вывеске их имена писать рядом, но я и сейчас помню некоторые определения, которые относят их к одной группе естественных наук, целью которых является изучение законов природы. Эти два предмета всегда были для меня одинаково непонятны и причиняли мне такие мучения, что я уже тогда считал их сестрами — старыми девами, ненавидящими все, что хочет жить, и созданными специально для того, чтобы отравлять молодость.

Мне казалось, что физика — это наука, задача которой состоит в том, чтобы здравые суждения о самых известных и простых явлениях, с которыми ученик приходит в школу, так запутать и усложнить, чтоб ученик, до этого вполне здраво рассуждавший о них и понимавший их, после изучения физики перестал понимать эти явления.

Я, например, как и все мои товарищи, очень хорошо знал, что такое свирель: деревянная дудка, которая издает звуки, если в нее дуешь. Такое объяснение просто, хорошо и ясно. Однако с точки зрения физики это не так. Физика утверждает, что «при введении воздуха в какую-либо длинную или короткую пустотелую трубку воздушная струя попадает в узкий канал в верхней части свирели и, ударяясь об острые края отверстия, делится на две части. Одна часть воздушной струи выходит из свирели сквозь малое отверстие, а другая возвращается в трубку и производит сгущение воздуха. Этот сгущенный воздух препятствует проникновению новой струи в трубку. Когда же этот воздух расходится по всей трубке, в ней наступает разрежение воздуха, после чего путем непрерывного введения воздуха опять создается сгущение. Полученная таким образом длинная звуковая волна вместе с новыми, образующимися в результате непрерывного введения воздуха в свирель, создает именно те звуковые комплексы, которые мы слышим.

Эти волны имеют известную длину и скорость распространения, по которым можно определить высоту тона».

Ну, а теперь положи руку на сердце признайтесь сами, разве после такого объяснения найдется хоть один человек, который сможет сказать, что такое свирель?

Но, говорят, перед наукой следует преклоняться, каждое ее слово считать мудростью, поскольку именно науку должно благодарить человечество за свои большие успехи, а особенно ту науку, которая, будучи примененной на практике, принесла людям много пользы. Науку нужно не только уважать, но и популяризировать, чтобы она проникала в самые широкие массы народа и уничтожала невежество. Все это хорошо и правильно, но представьте себе учителя физики, который, сгорая от желания популяризировать науку в самых широких кругах, приедет в село и застанет там, скажем, в воскресенье в полдень хоровод вокруг парня, играющего на свирели. Учитель, скажем, подходит к парню, который знает свою самодельную дудку вдоль и поперек и даже чувствует ее душу, подходит он к нему и говорит:

— Слушай, на твоей свирели длинная звуковая волна отражается недостаточно!

— Ты о чем это? — спрашивает парень.

— Да вот кажется мне, что волны, образованные в результате интерференции, не имеют достаточной длины.

Я не знаю, что бы ответил на это сельский музыкант и те, кто собрался вокруг него, но знаю, что староста непременно вызвал бы двух жандармов, чтобы они связали этого несчастного, сбежавшего из желтого дома.

Но не думайте, что только свирель получила такое объяснение. Боже сохрани! В учебнике физики точно так же объясняются и все другие предметы и явления, о которых каждый из нас до школы имел вполне ясное и четкое представление. Вот, например, юла, с которой мы, дети, так весело забавлялись; ведь и она, после того как я услышал о ней на уроке физики, настолько мне опротивела, что я не мог больше на нее смотреть. Раньше я знал, что юла — это деревяшка, заостренная книзу и расширяющаяся кверху. Под ударами кнута она забавно вращается вокруг своей оси, а стоит только пропустить один удар, как она валится набок, как пьяная. И вот это простое

и ясное представление о юле физика окончательно запутала, заставив меня выучить на память, что «такого рода тела находятся в равновесии, если момент конусного объема равен моменту полукруга. Оба момента рассчитываются от точки соприкосновения с поверхностью».

И помню, позднее, когда я видел мальчишек, играющих с юлой, я, как человек уже знакомый с физикой, очень жалел их.

«Ах, ребятки,—мысленно повторял я,—как мне вас жаль! Как мне вас жаль!»

И меня так и подмывало сказать им:

— Милые мальчишки, как опротивела бы вам эта невинная игра, если бы вы знали, что в равновесии юла бывает только тогда, когда момент конусного объема равен моменту полукруга!

Или, скажем, разве есть на свете что-нибудь проще маятника? Дети получают представление о нем еще с пеленок, когда над колыбелью им подвешивают на веревочке какую-нибудь игрушку. Игрушка качается, а ребенок следит за ней глазами и забавляется. Когда он немножко подрастет, он этим приспособлением забавляет кошку: привяжет клочок бумаги на веревке к дверной ручке, а кошка его лапой раскачивает туда, сюда. А как мы, дети, в доброе старое время любили смотреть на маятник старых стенных часов, а сколько раз мы играли с тряпкой, подвешенной возле школьной доски. Я уж не говорю о том времени, когда мы забирались на церковную колокольню, цеплялись за веревку и целыми днями раскачивали церковный колокол. Все это мы вкладывали в понятие маятника. Конечно, это было очень элементарное понятие: маятник — это то, что висит и качается, но для нас все в нем было ясно и понятно.

И вот, чтоб запутать это ясное представление, появляется физика и заставляет вас выучить следующее:

1. Период колебаний маятника обратно пропорционален квадратному корню ускорения земного притяжения;

2. Ускорение в различных точках равно длине секундных колебаний;

3. Для одного и того же маятника в различных точках произведение корня квадратного из периода

колебания на ускорение есть величина постоянная, и она равна произведению периода колебания на корень квадратный из ускорения;

4. Частота колебания во всякой точке на пути маятника есть величина постоянная;

5. Число колебаний возрастает в арифметической прогрессии, в то время как амплитуда колебаний уменьшается в геометрической прогрессии.

Ну, вот, пожалуйста, прошу вас, скажите сами: разве после такого объяснения вам не опротивеет не только маятник, но и вообще все, что качается?

Однако если вы думаете, что это все, то вы опять ошибаетесь. Чтоб окончательно все запутать, физика делит маятники на несколько видов. Если бы вас спросили, какие бывают маятники, вы не задумываясь ответили бы:

— Маятники бывают у стенных часов, на пасхальных колокольчиках, на церковных колоколах и так далее.

Но физика говорит:

— Нет, ничего подобного! Маятники прежде всего делятся на математические и физические маятники, кроме того существуют: возвратные маятники, затухающие, бифелерные, торсионные, дифференциальные и, наконец, периодические маятники.

А самой главной причиной, заставившей нас возненавидеть физику, было то, что вся она состоит из а, b, с. Нет ни одного закона, ни одного правила, в котором не было бы а, b, с; нельзя выучить ни одного правила без того, чтоб тебе на шею не сели эти а, b, с. И уж, разумеется, если ты и выучишь основное правило, то обязательно срежешься или на а, или на b, или на с, так что эти а, b и с были своего рода засадой, мимо которой нельзя пройти.

— Что такое клин? — спрашивает учитель.

— Кли́н — это трехсторонняя призма, которая одним своим концом вставляется между двумя поверхностями, чтобы их разъединить! — отвечаешь слово в слово по учебнику. Но это еще не все, учитель лишь заманивает тебя в засаду и теперь ставит вопрос:

— А какие могут быть случаи при действии поверхностей на клин?

— Могут быть такие случаи, — отвечаешь ты, если знаешь: — а) поверхности одинаково действуют на обе стороны клина; в) поверхности действуют только на верхнюю часть клина, и с) поверхности действуют в любом направлении.

Эти а, в и с тянутся через всю физику, и учитель до того измучил нас этими тремя латинскими буквами, что мы так и прозвали его: учитель Абеце. Настолько вошли они ему в привычку, что если, скажем, я не знал урока, он выговаривал мне так:

— Ты, братец: а) не знаешь сегодняшнего урока; б) не знал ни одного урока в прошлом и с) судя по всему, не будешь знать ни одного урока и в будущем. Из всего этого следует вывод: тебе нужно поставить двойку, и ты можешь садиться на место.

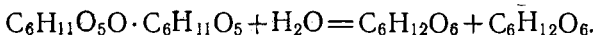
Что же касается родственницы физики — химии, которая в средние века называлась иначе, но, скомпрометировав себя, переменила имя, то и для нее у меня нет хвалебных слов, хотя я и далек от желания ругать ее. Из всей химии вот приблизительно все, что человек может выучить и с пользой применить в жизнь.

Гексозы — это многоатомные спирты, которые при восстановлении дают чистый алкоголь $\text{CH}_2(\text{OH})$, $\text{CH}(\text{OH})$, $\text{CH}(\text{OH})$, $\text{CH}(\text{OH})$, $\text{CH}(\text{OH})$, CH_2OH , то есть фруктоза, сахарный маннит, альдегид: $\text{CH}_2(\text{OH})$, $\text{CH}(\text{OH})$, $\text{CH}(\text{OH})$, $\text{CH}(\text{OH})$, CHO , а плодовый сахар — это альдекетоспирт: $\text{CH}_2(\text{OH})$, $\text{CH}(\text{OH})$, $\text{CH}(\text{OH})$, $\text{CH}(\text{OH})$, $\text{CO}_3 \cdot \text{CH}_2\text{OH}$; дигексозы — это ангидриды гексозы: $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_5\text{OH} + \text{HO} \cdot \text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_5 - \text{H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_5\text{O} \cdot \text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_5$ — это обычный сахар, ангидрид плодового и фруктового сахара.

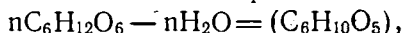
$\text{O} < \begin{matrix} \text{CH}_2 \text{ CH}(\text{OH}) \text{ CH}(\text{OH}), \text{ CH}(\text{OH}) \text{ CH}(\text{OH}) \text{ CHO} \\ \text{CH}_2 \text{ CH}(\text{OH}), \text{ CH}(\text{OH}) \text{ CH}(\text{OH}) \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{OH}, \end{matrix}$
мальтоза — это ангидрид фруктового сахара и галактозы:

$\text{O} < \begin{matrix} \text{CH}_2 \text{ CH}(\text{OH}) \text{ CH}(\text{NH}) \text{ CH}(\text{OH}) \text{ CH} \cdot (\text{OH}) \text{ CHO} \\ \text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_5. \end{matrix}$

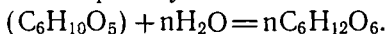
Дигексозы — ангидриды твердые, но при кипячении в кислой среде гидролизуются на две гексозные молекулы:



А полигексозы — это ангидриды гексозы:



и поэтому и они гидролизуются в гексозы



Беспокойство о здоровье моих читателей не позволяет мне приводить еще какие-либо примеры из химии. Но думаю, что и этого достаточно, чтоб убедить их в том, что химия — наука полезная, поскольку даже эта маленькая лекция, по моему мнению, с пользой для дела могла бы быть применена в жизни, например в качестве радикального средства для уничтожения чиновников. Всем известно, что чиновников развелось очень много и что очень трудно найти средство, с помощью которого можно было бы освободить государство от этого бремени. В то время как на основании постановлений и законов одних чиновников увольняют, депутаты скупщины, шефы клубов, тетки и патронессы проталкивают на службу новых чиновников, и борьба за сокращение количества чиновников становится похожей на очистку вагонов государственных железных дорог от клопов: в то время как дирекция уничтожает старых паразитов, пассажиры, ночевавшие в гостиницах, приносят в вагоны новых. И конечно ясно, что необходимо более эффективное дезинфекционное средство для уничтожения чиновников, а таким средством, вероятно, могла бы быть вышеприведенная лекция из области химии. Можно было бы приказать всем чиновникам выучить лекцию наизусть, а тех, кто не сумеет этого сделать, дисквалифицировать и уволить с государственной службы. Таким образом, 90 процентов государственных служащих перестали бы обременять государственный бюджет.

Но бедные чиновники и без того погрязли в заботах, так что грешно бы было взваливать на них еще и это. Для начала я использовал бы эту лекцию только при отборе кандидатов в депутаты скупщины или при назначении на посты государственных советников, или лучше всего для подбора епископов. Вряд ли кто-либо позарился бы на эти места, если бы узнал, что ему нужно будет выучить такую напасть. Ну, а уж если мое предложение неприемлемо, то по крайней мере следовало бы потребовать, чтобы эту

лекцию выучили все те члены совета по просвещению, которые составляют учебные программы для школ.

Закончив урок, учитель указал на меня пальцем и сказал:

— Готовься, на следующем уроке я тебя спрошу.

Меня точно громом поразило, и я почувствовал себя так, словно меня только что приговорили к смерти и сообщили день и час предстоящей казни, в то время как обычно осужденный на смерть не знает этого и до последней минуты тешит себя надеждой на спасение.

Грустные и мрачные мысли одолели меня, но я даже и не пытался штудировать проклятую лекцию. Зачем попусту тратить время. Уж лучше пойти в полицию и попросить защиты, или обратиться в Общество защиты животных, или, может быть, уйти в гайдуки? Размышляя таким образом, я пришел к мысли, что следует написать учителю Абеце небольшое, но очень учтливое письмо, и написал его так:

«Уважаемый господин учитель,
лекцию о гексозах, которые суть не что иное, как многоатомные спирты, при восстановлении дающие чистый алкоголь, и все, что вы рассказывали о маннитовых альдегидах и кетонах, а также и о всех дигексозах, которые суть ангидриды гексозы, я не выучил, так как $\text{C}_{64}(\text{OH}(\text{CO})\text{OH})$, $\text{O}_{72}\text{H}_{112}\text{OH} + \text{HO}$, $\text{C}_{36}\text{H}_{606}\text{O}_{17} = \text{C}_{14}\text{CH}(\text{OH})\text{O}_{46}\text{OC}_{52}\text{H}_{348}$. Вероятно, вы поймете меня, так как $\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})$, $\text{OH} + \text{CH}_2\text{O}_5 = \text{C}_{18}\text{H}_{27}\text{O}_{72} + \text{C}_{32}\text{H}_{17}\text{O}_9$. И поэтому прошу вас простить меня.

Ваш несчастный ученик.

$\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH}) + \text{C}_{14}\text{O}_{72} = \text{O}_{19}\text{H}_{32}\text{OH}$ ».

Я надеялся, что мое письмо если и не растрогает учителя, то по крайней мере явится для него головоломкой, ни в чем не уступающей той, которую он задал мне своей лекцией. Но письма я не отослал. Я решил пойти на урок и, как истинный спартанец, спокойно, без волнения, не сказав ни единого слова, сложить свою голову. Так оно и произошло: я погиб, но не проронил ни единого слова.

МЕРТВЫЕ ЯЗЫКИ

Живыми остатками давно исчезнувших народов римского и эллинского являются рассованные по разным гимназиям учителя древнегреческого и латинского языков. Если бы Цицерон и Тацит, Гомер и Демосфен, Тит Ливий, Сенека, Марк Аврелий, Овидий и другие не написали несколько школьных упражнений, которые веками вбивают в головы молодого поколения, то эти остатки древних римлян и эллинов — учителя латинского и древнегреческого языков — давно бы уже совсем вымерли.

Латинский и древнегреческий языки считаются теперь мертвыми языками. Но я и до сих пор не могу уяснить смысл понятия «мертвый язык». Я понимаю, что язык может исчезнуть, а народ продолжает жить, но чтобы исчез народ, а язык остался, это выше моего понимания. Да и к тому же вы только представьте себе, язык живет под именем «мертвый»! Ну что это за профессия — учитель мертвого языка. Кому, кроме самого учителя, нужен этот мертвый язык?

А вместе с тем, как вы, вероятно, сами уже заметили, учителя мертвых языков глубоко убеждены, что вы послали своих детей в школу только для того, чтобы они овладели мертвыми языками. По их мнению, все другие науки имеют второстепенное значение и единственно необходимым в жизни является знание латинского и древнегреческого языков, все же остальное совершенно излишне. Что с того, что вы умеете читать и писать, что с того, что вы умеете складывать, вычитать, умножать и делить, если вы не знаете бесед Антония, филиппик Демосфена и философии Демокрита (так называемого чудака-философа).

Имамы — проповедники корана — гораздо снисходительнее в этом отношении. Если у них молодой послушник не знает на память какую-нибудь молитву, ученый имам возведет очи к небу и скажет:

— Да умудрит тебя аллах, да заставит он тебя выучить эту молитву!

А если учитель латинского языка обнаружит вдруг, что ты не можешь повторить слово в слово речь Цицерона, он со злорадным удовольствием будет потирать руки, радуясь, что ты дал ему возмож-

ность в сто сорок шестой раз в течение учебного года повторить: «Quousque tandem abutere, Ристо Янич, patientia nostra»¹.

Следует знать, что без цитат учителя латинского языка не могут говорить даже о самых обыкновенных вещах. Если, например, наш учитель пытался вразумить нас прилежнее учить его предмет, то он говорил примерно так:

— Смотри, что делаешь, ибо quilibet fortunae suae². Ты должен примерно учиться и работать, ибо non volet in buccas tuas assa columba³. Ты должен думать, что говоришь, а не quidquid in buccam⁴, ибо следует знать и запомнить, что все это пригодится тебе в жизни — non scholae sed vitae discimus!⁵

В другой раз, разбирая вопрос о нашем поведении, он, бывало, говорил нам: «Зачем тебе хорошая оценка, если ты все равно никудашный человек. Qui proficit in literis et deficit in moribus, plus deficit quam proficit!»⁶.

Но мы не внимали советам учителя, так как не понимали их, да никто и не требовал, чтобы мы заглядывали в словарь и переводили их.

А стоило посмотреть, с каким садистским удовольствием нас загоняли в непроходимое болото латыни. Иногда учитель даже протягивал нам руку, чтобы завести поглубже. Заведет в самую трясиину, сам выберется и, улыбаясь, смотрит, как мы тонем.

А посмотрели бы вы, какой радостью озарялось его лицо, когда ему удавалось дотащить нас до второго склонения или до третьего спряжения. Третье спряжение — это самое гиблое место во всей латинской грамматике, и преодолеть его труднее, чем переплыть Ла-Манш. Вероятно именно из-за этого спряжения и вымерли древние римляне, вынужденные пользоваться латинским языком. Подобно тому как целые народы вымирали от чумы и холеры, латин-

¹ Доколе же, наконец, ты будешь испытывать наше терпение? (лат.)

² Каждый — (творец) своей судьбы (лат.).

³ Не залетит тебе в рот жареная голубка (лат.).

⁴ Все что в голову (ни взбредет) (лат.).

⁵ Мы учимся не для школы, а для жизни! (лат.).

⁶ Кто преуспевает в науках, но отстает в добрых нравах, — скорее отстает, чем преуспевает! (лат.).

ский народ вымер от *accusativus cum infinitivo*¹ и спряжения глаголов в перфекте.

В средние века, во времена известной инквизиции, *consecutio temporum*² была одним из самых страшных орудий пытки. Придет, бывало, монах-тюремщик к Великому инквизитору на доклад, а тот его спрашивает:

— Жив еще дон Мигуэль Фернандес граф Сакраментский?

— Да, жив.

— А признается ли он, что предавался богоотступничеству?

— Нет, не признается.

— А распинали ли его на колесе?

— Да.

— А ставили ли его голыми пятками на раскаленную жаровню?

— Да.

— А вгоняли ли ему иголки под ногти?

— Да.

— А вливали ли ему горячее масло в глотку?

— Да.

— И он все еще не признается?

— Нет!

— Тогда,— кричал разгневанный инквизитор,— да простит меня бог, но я вынужден прибегнуть к последнему средству, чтобы изгнать дьявола упорства из этого еретика. Дайте ему пассивную конструкцию *аккузатива cum infinitivo* третьего спряжения, и если он скажет, как будет перфектум и супинум, то ему все простится и будет дарована свобода.

Так было в средние века, но и в наши дни случается нечто подобное. Когда в Германии после нескольких лет войны стал ощущаться недостаток продуктов питания, когда немецкие ученые вполне серьезно занялись проблемой получения хлеба из бумаги, один немецкий экономист предложил заставить всех военнопленных — а их было очень много — учить третье спряжение перфекта, чтобы их поубавилось. Но это предложение было отвергнуто немецким вер-

¹ Винительный падеж с неопределенной формой (*лат.*) — название латинской синтаксической конструкции.

² Последовательность времен (*лат.*) — название латинского синтаксического правила.

ховным командованием, которое понимало, что в таком случае солдаты противника будут сражаться гораздо упорнее, ибо лучше уж погибнуть на поле боя, чем умереть при попытке выучить третье перфектное спряжение. И кайзеровское правительство высказалось против применения столь варварского способа уничтожения людей, боясь, что это восстановит против Германии всю мировую печать.

А насколько эта мера действительно бездушна, можно судить прежде всего по тем тяжелым последствиям, которые оставляет на нашей молодежи изучение латинского языка. Нельзя без содрогания смотреть на детей, осужденных изучать латинский язык. С губ их давно уже исчезло всякое подобие улыбки, щеки побледнели, в глазах потухли веселые искры, глубокие морщины избородили их лбы. Даже во сне они шепчут: fallo, fefelli, falsum; tango, tetigi, tactum¹.

Такие дети — настоящая напасть в родительском доме, так как они зубрят латынь вслух изо дня в день, из ночи в ночь, из месяца в месяц. Волей-неволей все в доме переходит на латынь. Отец вдруг перестает употреблять испытанные веками прекрасные национальные ругательства и начинает ругаться по-латыни не только дома, но и в кафане, особенно когда ему не везет в карты. Мать, штопая чулки, поет сонеты Овидия на мотив сербских народных песен, а служанка стирает белье в ритме классического гекзаметра и, нарезая лук, выводит нежные арии из «Пирама и Фисбы».

А какое волнение охватывает всех домашних накануне экзамена! Родители не спят ни днем, ни ночью, охраняя ружья, кухонные ножи, соду, известь и другие смертоносные средства. Кому хочется, чтобы из-за проклятой латыни от родного дитяти осталась только посмертная записка: «Дорогие родители, я любил жизнь, но латинский язык загнал меня в гроб. Бог покарал древних римлян, убрав их со света, пусть даже на небе не будет им прощения за то, что они выдумали такой язык. Прощай, мама, и береги моих братьев и сестер от латинского языка!»

¹ Главные формы латинских глаголов «ошибаться» и «касаться».

Так обстоит дело с теми, кто проваливается на экзамене, но не лучше и тем, кому удастся его выдержать. Обычно у них такой вид, будто они перенесли воспаление легких в очень тяжелой форме и никак не могут оправиться от осложнений. Ради справедливости и из чувства человеколюбия давно бы следовало создать специальный курорт для всех выдержавших экзамен по латинскому языку, так сказать латинский курорт, с холодным душем и усиленным питанием, который мог бы вернуть учеников к жизни.

Размышляя на эту тему, я всегда задаю себе один и тот же вопрос, почему бы «Обществу защиты обездоленных детей» не взять под свою защиту и детей, осужденных сдавать экзамен по латинскому языку? Общество могло бы, например, издавать красочные плакаты наподобие тех, которые призывают бороться с пьянством. На них можно было бы нарисовать сгорбленного молодого человека с испитым лицом и угасшими глазами; пусть бы одной рукой он схватил себя за волосы, а в другой держал пистолет. Под таким рисунком можно было бы крупными, бросающимися в глаза буквами написать: «Не учи латынь!» Плакаты можно было бы расклеить в самых людных местах: на вокзалах, в ресторанах, на базарных площадях, в вестибюлях и фойе общественных учреждений и вообще везде, где они, привлекая всеобщее внимание, могли бы заставить людей остерегаться этой смертельной опасности.

Но не думайте, что я говорю об этом только от имени тех, чья юность была омрачена латынью. Нет, я говорю об этом прежде всего потому, что сама жизнь убедительно доказывает совершенную ненужность мертвых языков. Я внимательно следил за теми, кому удалось сдать экзамен по латинскому языку и кто бы мог с пользой применить свои знания в жизни на основе этого *pop scholae sed vitae discimus*. Меня интересовало, много ли латинских слов и выражений осталось в их памяти и много ли из того, что им удалось запомнить, они применяют на практике.

Один бывший начальник округа, которого трижды увольняли и четырежды ложно обвиняли в мошенничестве, рассказывал мне, что в своих жалобах на

увольнение со службы, в прошениях о том, чтобы над ним не устраивали открытого суда, он очень успешно употреблял одну-единственную латинскую фразу, которую помнил: «Fiat justitia, pereat mundus!»¹

Один адвокат признавался мне, что из всей латыни он помнил только слова из сатир Персия и каждый раз, набивая свои карманы адвокатским гонораром, шептал: «O, quantum est in rebus inane!»². Один бывший министр, павший на политической арене так же храбро, как его предки на Косовом поле, будучи уличенным в совершении семи отвратительных махинаций, со вздохом сказал, что из латинского он помнит только одну фразу: «Sic transit gloria mundi!»³. Один боевой командир, переведенный в интенданты, постоянно твердил: «Quintili Varre, redde mihi legiones!»⁴. Один владыка перевел известные слова Христа: «Возлюби ближнего своего, яко себя» — на латинский язык и произносил их так: «Proximus sum egomet mihi»⁵.

А журналист сказал мне: «Все забыл, только две латинские фразы хорошо помню, так как их очень часто приходится употреблять в статьях. Одна: «De gustibus nihil nisi bene!»⁶, а другая: «De mortuis non est disputandum!»⁷

Однако есть все же профессии, действительно требующие знания латинского языка, которые не могут жить без латыни. К таким, не считая учителей латинского языка, относятся врачи и аптекари. Известно, например, что если ученик пятого класса гимназии, провалившись на экзаменах по латыни, не покончит жизнь самоубийством, то он обязательно станет помощником аптекаря и через некоторое время выучит столько латинских слов, что даже толченый рис будет называть не просто «толченый рис», а «Pulveris risense», и под этим названием продавать его дороже.

Что касается врачей, то моя покойная мать говорила обычно так:

¹ Да свершится правосудие, даже если при этом погибнет мир! (лат.).

² О, сколь ничтожны дела (земные)! (лат.)

³ Так проходит слава земная! (лат.)

⁴ Квинтилий Варр, верни мне легионы! (лат.)

⁵ Самый близкий для меня человек — это я сам (лат.).

⁶ О вкусах следует говорить только одно хорошее! (лат.).

⁷ О мертвых не спорят! (лат.).

— Если доктора заговорили по-латыни, значит, за визит придется платить дороже.

Я и сам, по правде сказать, убедился в этом на собственном опыте. Однажды я тяжело заболел, и все домашние не на шутку испугались. Домашний доктор прописал мне какие-то горошки, пилюли и соленую воду. Меня обложили мокрыми простынями, проделывали надо мной всякие отвратительные процедуры и вообще делали со мною все что вздумается. Но болезнь все усиливалась. Наконец наступил день кризиса. Доктор в то утро сказал:

— Если малыш сегодня пропотеет, то, значит, опасность миновала!

И он прописал мне новые лекарства. Однако я не потел. С каждым часом лица моих родителей становились все более мрачными. Наконец они решили созвать консилиум, и к вечеру три врача сошлись возле моей кровати. Тщательно осмотрев меня, они в один голос подтвердили мнение домашнего доктора.

— Продолжайте давать ему те лекарства, которые прописал врач, а если малыш пропотеет, значит, опасность миновала.— Затем они, чтобы поразить моих родителей своей ученостью и тем самым обрести право на повышенный гонорар, перешли на латынь:

— *Volete ire, collegae, ad bibendum pivae?*¹

— *Ego praeferro ante vesper bibere aquam slivovensem*².

— *Cum cucurbitis aegris ex aqua*³.

И все это они говорили с таким таинственным выражением лица, что и впрямь можно было подумать, что разговор идет о моей болезни. А после того как третий произнес: «*cucurbitis aegris ex aqua*»,— они одобрительно закивали головами, словно приняли решение, согласно которому я должен был пропотеть.

Но вопреки всем их решениям и пилюлям, которые я самоотверженно глотал, я не потел. Наконец покойница мать в страшном испуге позвала тетку Нату, жену мыловара Стевы, и попросила ее поворожить.

¹ Не желаете ли, коллеги, пойти выпить пива (лат.).

² До вечера я предпочитаю пить сливовицу (лат.).

³ Бессмысленный набор латинских слов (букв.: с плохими тыквами из воды).

Тетка Ната принесла горшок с тлеющими углями и глиняный кувшин с водой, села возле моей кровати и давай плескать из кувшина на угли, а сама приговаривает:

— Трчак, натрчак, протрчак, кенца, венца, бенца, изыдь, злыдень, из младенца...

Дальше я ее не слушал, чувствовал только, как она протерла мой лоб, глаза и щеки, перекрестила и с головой укрыла одеялом.

И тут под одеялом, чтоб хоть как-нибудь развлечься и скоротать время, я попытался повторить теткинны слова, но оказалось, что из всех ее слов я помню только одно: «натрчак». И оно мне показалось таким страшным, что мне стало не по себе. Я пытался выбросить его из головы, думать о чем-нибудь другом, читать «Отче наш», считать до пятисот, но все это не помогало. На языке вертелось лишь таинственное слово «натрчак».

Я вертелся, жмурился, смеялся без всякой на то причины, но оно впилося в меня, как овод. И вдруг мне еще пришла в голову сумасшедшая мысль: «А что если это слово просклонять по второму склонению».

И такой навязчивой была эта мысль, что я уже не мог от нее освободиться.

Но чтоб выполнить задуманное, мне пришлось приложить нечеловеческие усилия, так как второе склонение я никогда не знал твердо. И вот я начал шептать под одеялом:

— Номинатив: натрчкус, генитив: натрчкуси, датив: натрчкусо...— И тут от напряжения меня даже пот прошиб.

Прибежала мать, стащила с меня одеяло, и лицо ее просияло от счастья.

А наутро, поскольку окончательно выяснилось, что кризис миновал, все были рады и довольны.

Доктор был убежден, что это его пилюли отвратили несчастье, тетка Ната верила, что меня спасли ее гашенные угли, и только я один знал, что в пот меня бросило от второго склонения, и это был, пожалуй, единственный случай, когда мне пригодилось знание латинского языка.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

О первой любви я должен бы был написать раньше, поскольку она начинается вместе с обучением в школе, являясь, можно сказать, тоже предметом обучения. Но я не хотел прерывать обзор школьных предметов, так как только в совокупности они дают ясное представление о том безвыходном лабиринте, через который нас протискивают в детстве и который называется обучением.

Основные понятия о любви я приобрел еще в раннем детстве, когда я, служанка и практикант из упоравы каждый вечер подолгу разговаривали за воротами о любовных делах. Больше того, именно я явился поводом для этой любви, так как практикант сначала познакомился со мной, а уж потом я представил его служанке. Знакомство было совершенно случайное. Однажды я сидел за воротами на руках у служанки. Проходя по улице, практикант заметил меня, подошел, погладил по голове и сказал:

— Какой чудный ребенок. Это ваш?

— Ой, что вы! — воскликнула служанка. — Как же я могу иметь ребенка, если я не замужем.

На основе этого вопроса, можно или нельзя иметь детей незамужним девицам, они углубились в такой спор, что его пришлось отложить до следующего дня. А еще через день они совсем подружились, и с того времени каждый вечер мы встречались за воротами. О, каких тут только не было разговоров, и иногда мне даже стыдно было смотреть в глаза служанке. Случалось, я пытался вмешаться в эти разговоры, но практикант всегда имел наготове кулек с конфетами, и только я раскрывал рот, чтобы что-нибудь сказать, как он засовывал мне в рот конфету, хотя не у меня, а у него было намерение говорить сладкие речи.

Литература много потеряла от того, что я тогда не умел писать и был не в состоянии запечатлеть разговоры, которые мы вели за воротами.

— Йоцо, — говорит, бывало, наша служанка практиканту, — приходи после ужина, как мои улягутся. Я тебе шницель от ужина оставлю.

— О душа моя, — отвечал практикант, — разве мне в такие минуты до шницеля. Но уж если будешь оставлять, то оставь и салата немножко. Все мои

мысли о тебе, только о тебе. Я только и жду той минуты, когда смогу прижать тебя к своей груди, пусть даже шницель остывает!

Бывали и другие, еще более нежные разговоры. Помню, однажды практикант спросил:

— Юла, скоро ли у вас будут стирать белье?

— Скоро, а что?

— Вот если бы ты могла сунуть и мое белье вместе с хозяйским, чтоб мне не платить за стирку.

— Что ж, приноси,— отвечала она ласково.

— Ох, душа моя, как ты добра! Я принесу три рубашки и четыре пары кальсон, ангел мой!

Подобные разговоры не только развлекали меня, но и помогали мне приобрести известный практический опыт, который позднее мне очень пригодился в жизни. Но бывало и иначе. По воскресеньям, в полдень, когда никого из наших не было дома, мы все втроем отправлялись в комнату служанки; меня сажали на скамейку, а они вдвоем садились на кровать. В таких случаях я предпочитал сидеть зажмурившись, прилагая все силы к тому, чтобы не упасть со скамейки.

Наглядное обучение позволило мне приобрести практический опыт и такие познания в области любви, что нет ничего удивительного, что уже в первом классе гимназии я влюбился. Я, конечно, не ставил перед собой такой цели — влюбиться именно в первом классе гимназии. Благодаря опыту, приобретенному мной в раннем детстве, я бы, пожалуй, мог и раньше заняться этим. Но дело в том, что до самой гимназии я носил штанишки с разрезом сзади, и я не мог себе представить, что в таких штанах меня кто-нибудь может полюбить. И только в первом классе гимназии, когда на меня надели настоящие брюки, я почувствовал, что настало время, когда я могу влюбиться.

Влюбился я в Персу — нашу соседку, так как она была ближе всех. Все лицо у Персы было усеяно веснушками, она носила желтые чулки, каблуки на ее туфлях были всегда стоптаны. Пока я в нее не влюбился, я и внимания на нее не обращал. А как только влюбился, то она стала казаться мне божественно красивым созданием. Бывало, едва только увижу ее стоптанные каблуки, как меня сразу же охва-

тывает волнение, и я стремглав несусь ей навстречу, чтоб добежать до нее раньше, чем появится улыбка на ее веснушчатом лице.

Отец Персы был учителем арифметики, и не знаю почему, но обо мне у него сложилось весьма нелестное мнение. Персе было девять лет, и она училась в третьем классе начальной школы. Объяснился я с ней в довольно необычных романтических обстоятельствах. Однажды во время игры в жмурки мы с ней спрятались в бочке, в которой моя мать квасила капусту на зиму. Здесь я и объяснился ей в любви. И так мне дороги эти воспоминания, что даже теперь при виде бочки меня охватывает неизъяснимое волнение.

Однажды после уроков я встретил Персу возле школы, и мы вместе пошли домой. Я отдал ей рогалик, который покупал каждую пятницу (на это шли деньги, выигранные мною в четверг после полудня в расшибалку; их хватало только на то, чтобы раз в неделю выразить ей мою симпатию и внимание с помощью рогалика), и серьезно спросил:

— Как ты думаешь, Перса, отдаст тебя отец, если я к тебе посватаюсь?

Она покраснела, потупила глаза и в волнении разломила рогалик на три части.

— Нет,— ответила она еле слышно.

— А почему? — спросил я взволнованно, и слезы брызнули у меня из глаз.

— А потому, что ты у него плохой ученик!

Я поклялся учить арифметику днем и ночью и обязательно исправить оценку. И я учил; но разве мог я решить задачу, над которой уже бьются многие поколения людей? Разве я мог примирить любовь с арифметикой? И когда мне пришлось выбирать между любовью и арифметикой, я выбрал то, что было легче, то есть любовь. И уже на следующем уроке арифметики вместо двойки, которую я имел до сих пор, получил единицу.

В следующий четверг мне не удалось ничего заработать. Поэтому в пятницу утром я залез в платяной шкаф, срезал с отцовского зимнего пальто двадцать пуговиц и продал их в школе за десять пара. Вырученных денег хватило как раз на то, чтобы купить рогалик. В полдень я встретил Персу возле школы и,

проводя ее, признался, что мое положение стало еще хуже, так как по арифметике я получил единицу.

— В таком случае,— сказала с горечью Перса,— я никогда не буду твоей.

— Но ты должна быть моей, если не на этом, то на том свете! — воскликнул я, вспомнив слова, которые я слышал несколько дней назад в театре.

— Как же это может быть? — удивилась Перса.

— Давай отравимся вместе.

— А чем мы отравимся?

— А вот чем,— продолжал я все решительнее.— Выпьем яд.

— Хорошо,— ответила она также решительно,— я согласна. А когда?

— Завтра, после полудня.

— Завтра я не могу, у нас завтра уроки.

— Да, ведь правда,— вспомнил и я.— Завтра я тоже не могу: если не приду в школу, мне запишут прогул, а у меня их и так уже двадцать четыре. И меня могут из школы исключить. Давай, если хочешь, в четверг. В четверг после полудня ни у тебя, ни у меня нет уроков.

Она согласилась, и мы договорились, что к четвергу я приготовлю все необходимое для отравления.

В четверг после полудня я украл на кухне коробку серных спичек и поспешил на место свидания, с которого мы вместе с Персой должны были отбыть на тот свет.

Мы встретились на нашем огороде, сели на траву, и из душ наших вырвался глубокий вздох боли и печали. Я достал из кармана коробку со спичками.

— Что же мы будем делать? — спросила Перса.

— Будем есть спички.

— Как это есть спички?

— А вот как,— сказал я и, отломив и отбросив головку в сторону, сунул остальное в рот.

— А что ты бросил?

— Это противно.

И она решила и протянула руку за спичкой. Я отломил головку и отдал ей спичку. Она взяла ее и храбро начала жевать. Когда она съела три спички, на глазах у нее показались слезы.

— Я больше не могу. Никогда в жизни я не ела спичек. Не могу больше.

— Да ты и так уже, наверное, отравилась.

— Наверное,— захныкала Перса,— я чувствую, как у меня в горле что-то дерет.

— Вот видишь, значит ты уже отравилась!

Я же упорно продолжал и съел девять спичек. Но вот, наконец, и я потерял аппетит и почувствовал, как у меня в горле что-то дерет.

— Свершилось! И я отравился! — сказал я торжественно, как и полагалось в такой момент. И тут наступила гробовая тишина, во время которой я никак не мог сосчитать, сколько будет четырежды семь, а Перса тоже о чем-то думала, пытаясь вытащить кусок спички, застрявший у нее между зубов. Наконец она нарушила торжественную тишину и спросила:

— А что же теперь?

Этот вопрос вселил в мою душу страшное смущение, ибо после того как мы совершили обряд отравления, я действительно не знал, что бы можно было еще предпринять. Наконец меня осенило.

— Знаешь что, раз уж мы с тобой отравленные, давай перекрестимся.

Она перекрестилась, а затем то же самое сделал и я.

— А теперь,— продолжал я,— пусть каждый идет к себе домой и умирает. Стыдно будет, если мы умрем здесь, в огороде. Мы с тобой из хороших семей, и нам не к лицу умирать под забором.

— Хорошо,— сказала она.

И мы расстались.

Все дело между тем кончилось так: Перса пришла домой и попросила, чтобы мать приготовила ей постель, а она ляжет умирать. При этом она призналась, что отравилась палками от спичек. А мать, не принимая во внимание ни ее положение, ни ее чувства, закричала:

— Ну, раз ты могла есть палки в огороде, так поешь их и дома.

Затем, задрав ей юбку, она начала выбивать с противоположной стороны все то, что так глубоко засело Персе в голову.

После такой порки Перса меня возненавидела. Тем и закончилась моя первая любовь.

ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ

За свою жизнь я написал всего два стихотворения, но мне так за них досталось, что я поклялся никогда больше не читать никаких стихов, уже не говоря о том, чтобы их писать. Сколько раз находило на меня вдохновение, душа сгорала в творческом огне, воображение рисовало чудные сюжеты, но я героическим усилием воли сдерживал себя.

Может ли быть более возвышенный повод для вдохновения, чем женщина с мечтательными, ласково улыбающимися глазами, протягивающая вам свой альбом, на роскошном переплете которого золотыми буквами начертано «Poesie» и который на самом деле представляет собой роскошную коллекцию людских глупостей. О, эти альбомы, наполненные бесчисленным количеством добрых пожеланий и нравоучительных стихов, в которых «ах» чередуются с «ох» и то и дело ласкают слух мелодичные рифмы «моим-твоим», «кровь-любовь», «губки алы, как кораллы».

Сколько раз, бывало, уже обмакнешь перо в чернильницу и отложишь его.

— Ну, напишите, прошу вас, напишите хоть одну строчку...— шепчут вам «алые кораллы».

Снова обмакиваешь перо в чернильницу и снова осторожно закрываешь альбом.

— Умоляю вас,— еле слышно просит она.

— Простите меня, но я на диете,— оправдываюсь я.

И действительно, эта была своего рода диета, которую я выдерживал стойчески. Я не обращался к врачу, не показывал ему язык и не жаловался на несварение желудка, так как я заранее знал, что он обязательно запретил бы мне читать произведения наших поэтов. Я придерживался совсем другой диеты — не писал стихов, что благотворно действовало и на меня и на моих читателей.

За свою жизнь я написал всего два стихотворения, но они принесли мне так много мучений, что я был вынужден принять меры, чтобы восстановить силы и окрепнуть. Мое первое стихотворение оскорбило женщину, а последнее оскорбило короля. Если же принять во внимание, что женщины и короли — это самые чувствительные и самые мстительные создания, то легко

можно представить себе, какую награду я получил в награду за свои сочинения. Один мой приятель за свою жизнь тоже написал только два стихотворения. Но на жизненном поприще он добился гораздо большего успеха, и все потому, что в первом он поздравил с днем рождения свою семидесятилетнюю очень богатую тетку, пожелав ей «многие лета», а во втором поздравил одного министра с назначением на новую должность, причем закончил его так:

Такие честные сыны отечеству всегда нужны.

После этого ему, конечно, до сего дня незачем было соблюдать поэтическую диету, он успешно продолжает заниматься сочинением эпитафий для надгробных памятников и по большим праздникам — лозунгов.

Первое свое стихотворение я написал очень рано, когда второй год сидел в первом классе гимназии.

Я не знаю, как нашло на меня поэтическое вдохновение. Одни считают, что желание писать стихи приходит к человеку так же, как и желание избавиться от зуда. Однако в случае со мной это было совсем не так. Я почувствовал зуд уже после того, как написал первое стихотворение и воочию узрел его последствия. Другие говорят, что поэтическое вдохновение — это разновидность насморка, который очень быстро передается от человека к человеку. Может быть, это и так, но если при обычном насморке, почувствовав потребность освободить нос, достаешь платок и собственноручно делаешь это, то при поэтическом насморке лишь только исторгнешь из себя плохое стихотворение, как критики так утрут тебе нос, что никогда больше и в голову не придет заболеть подобным насморком.

Говорят также, что, обнаружив в своей душе поэтический жар, молодой поэт начинает чувствовать себя, как женщина на четвертом месяце беременности, и в дальнейшем все протекает так же, как у роженицы. Беременный молодой человек начинает чувствовать недомогание, толчки в живот, боли и наконец ложится в постель и выпускает в свет свое детище.

Может быть, по отношению к отдельным стихотворным произведениям сербской литературы это сравнение и справедливо, но первые стихи появляются

ся совсем не так. В нашей гимназии писание стихов было чем-то вроде эпидемии. Поколения гимназистов черпали вдохновение прежде всего из тех надписей, которые их предшественники оставляли на стенах школьных уборных. Сколько сборников нежных лирических песен, изданных позднее, своим появлением обязаны этим стенам, запах которых до сих пор можно почувствовать в отдельных образцах сербской лирики. Кое-какие весьма полезные знания молодые поэты получали, читая надписи на обложках старых учебников. С давних пор в сербских школах существует обычай: если ты переходишь в следующий класс, то продаешь свои книги тем, кто будет учиться в твоём бывшем классе, а сам покупаешь книги у тех, кто перешел в следующий класс. И на обложках старых учебников, а часто и прямо на страницах, то есть везде, где есть хоть немного места, можно найти драгоценные следы многих поколений гимназистов. Тут и стихи, и мудрые изречения, и афоризмы, и другие очень полезные записи. Так, например, в конце некоторых учебников, бывшие владельцы которых не раз проваливались на экзаменах по этим предметам, можно найти ценные напоминания, вроде тех, которые встречаются на улицах возле канализационных ям: «Осторожно! Влево не ходить!»

И именно из этих источников поколения гимназистов черпают свое первое вдохновение. Разумеется, после первых неудачных опытов многие навсегда отказываются от подобной деятельности, но есть и такие, которые испещряют стихами не только свои, но и чужие книжки. А самые настойчивые продолжают заниматься сочинительством даже после того, как все остальные совершенно охлаждаются к поэтическому творчеству. Этим последних вскоре провозглашают поэтами класса; а если кто и после этого упорно продолжает писать стихи, то становится поэтом гимназии, отпускает длинные волосы, начинает задирать нос, симулировать рассеянность и таким образом превращается в настоящего поэта, со всеми присущими поэтам особенностями.

Интересно, что уже в период первых проявлений молодого дарования определяется не только направление, по которому пойдет данный поэт, но и среда, которая его вдохновляет.

Вот, например, разве эти стихи, которые я так хорошо помню, не указывают ясно и определенно на поэтическое направление и среду, вдохновляющую молодого поэта — моего тогдашнего товарища?

Люблю я кашу с молоком и простоквашу,
Капусту с салом — кислую — хвалю.
Люблю лапшу, пирог с яйцом и мясом,
Но больше всех говядину люблю.

На внутренней стороне обложки одной из латинских грамматик, принадлежавшей, вероятно, сыну сельского священника, довелось мне читать и такие стихи:

Царь всевышний! Ты властитель мира.
Нацию всю нашу сбереги,
Помоги в моем тяжелом горе —
Выучить склоненья помоги.

А один мой приятель, сын флейтиста, в конце каждого учебного года писал:

Парни с девушками пляшут —
Гоп-ля — в коло бойком.
У меня ж экзамен скоро,
И нет счета двойкам.

Те, кто оставался на второй год, писали стихи гуслярским десетерцем. Вероятно, это происходило потому, что десетерцем сильнее всего можно выразить национальное горе. Так, например, Живко-ужичанин, узнав, что ему придется второй год сидеть в третьем классе, запричитал:

Горе мне навеки-вышло ныне,
Волей бога перенес я муки,
Не от пули, что в бою летела,
Не от сабли в поединке смелом —
От какой-то дьявольской латыни,
От учителя-придиры Луки.

Свое первое стихотворение и я написал десетерцем. Но я до сих пор не знаю, то ли я написал его так потому, что остался на второй год, то ли остался на второй год потому, что написал его.

Моего товарища вдохновляла кухня, так как он, вероятно, до этого где-нибудь прислуживал, сына священника вдохновляли молитвы, а сына флейтиста —

частушки. Точно так же и я черпал вдохновение из среды, в которой постоянно вращался, то есть из сплетен, которыми мои тетки обменивались между собой. Я уже почти забыл свое первое стихотворение, но думаю, что после реставрации оно выглядело бы примерно так:

Госпожа наша Аница встала
В воскресенье до яркого солнца.
В комнате окошко отворила,
Молодая, в окно посмотрела,
Вправо, влево головкою вертит,
Ожидает чиновника Пайю,—
Мимо дома пойдет он на службу.

Стихи мои произвели сенсацию, как и следовало ожидать, поскольку появился еще один молодой талант. В нашем доме все только и делали, что ахали и охали: «Ох, ох, ох! Ах, ах, ах!» Но эти восклицания означали отнюдь не восторг. Лица моих родственников не выражали ничего, кроме страха, как будто кто-то разбил в зале большое зеркало.

— Как же ты мог написать такое? — набросились на меня сразу все три тетки.

— А почему бы мне и не написать, если это правда? — защищался я.

— Да откуда же ты взял, что это правда?

— Да ведь вы сами говорили.

— Бог с тобой, дитяtko, кто же тебе сказал, что мы всегда говорим правду? — запротестовала средняя тетка.

— Ведь этак он, чего доброго, может сказать, что это мы подговорили его написать такие стихи... — причитала старшая тетка, хотя в душе была довольна моим произведением и уже раздумывала над тем, каким образом пустить его по рукам, чтобы оно быстрее дошло до госпожи Аницы.

И действительно, госпожа Аница узнала о моих стихах гораздо раньше, чем я мог предполагать. В мирном доме господина аптекаря все перевернулось. Госпожа Аница визжала, каталась по полу, рвала на себе волосы, перевернула диван, разбила лампу, тупфлей избивала работника, укусила помощника аптекаря и в довершение всего, решив отравиться, выпила целый сифон соды. Услышав об этом, господин

аптекарь поклялся перед иконой святого архангела Михаила, что прибьет меня, как паршивую собаку.

Зная, что аптекари народ кровожадный, и принимая во внимание, что господин Сима клятвенно обещал меня изничтожить, я прилагал все силы к тому, чтобы избежать возмездия.

По пути в школу я перелезал через забор и укрылся на другой улице, часами просиживал на чердаке, вообще делал все, чтобы избежать неожиданного нападения. Сидя на чердаке, я размышлял об ужасной судьбе литератора в нашем обществе. Вместо того чтобы поддержать и ободрить молодого поэта, оно — это самое общество — гонится за ним и норовит избить до полусмерти. Представьте себе, что бы было, если бы поэты за каждое новое стихотворение подвергались жестокому избиению. При таком порядке вещей и стихов-то, пожалуй, было бы мало, а тех, кто все же вздумал бы заниматься рифмами, действительно следовало бы поколотить.

Вскоре господин аптекарь понял, что вряд ли он сможет выполнить свою клятву. И тогда он начал устраивать засады, прятаться в подворотнях, внезапно появляться на тех улицах, по которым он раньше никогда не ходил. Но я всякий раз ловко обходил засады и всеми способами уклонялся от встречи. Тогда господин аптекарь изменил тактику: он пожаловался на меня директору гимназии.

На следующий день я предстал перед учительским советом и судили меня так, будто я по меньшей мере спалил Александрийскую библиотеку. Хмурые и серьезные, члены учительского совета, опустив головы, сидели за зеленым столом, и я всерьез подумал, что они могут приговорить меня к сожжению на костре. Я уже представил себе множество людей, столпившихся у костра, видел, как три мои тетки без сознания валяются на площади, как горько плачет дочь почтмейстера Марица, в то время как аптекарь угощает всех спиртом за упокой моей души...

Первым взял слово директор гимназии. Обращаясь ко всем остальным членам учительского совета, он сказал:

— Господа, в нашей школе процветает одно отвратительное явление, которому надо во что бы то ни стало положить конец. Ученики, господа, начали пи-

сать стихи. Они пишут их везде, где придется: на книгах, на школьных досках и на стенах. Интимные отделения этого здания исписаны сверху донизу; и стихи часто совершенно безобразные. Вот несколько дней назад я приказал сторожу стереть один стишок, который был написан на вас, господин учитель.— Тут директор слегка кивнул в сторону учителя латинского языка.— Речь шла о вашей давно всем известной привычке пить больше, чем вам положено по чину.

— *A bove maiori discit arare minor*¹,— бормочет латинист, желая показать коллегам, будто он понимает, что стихи появились не без их помощи.

— И вот еще что,— продолжал директор,— в этом году я уже дважды белил уборные из-за стихов, в которых говорилось о вас, господин протоиерей, и о некоей вдове Росе.

— Это из третьего класса... чтоб им...— И совсем забыв, что и я присутствую на заседании учительского совета, батюшка недобрым словом помянул коллективную мать третьего класса.

— А затем,— продолжал директор, пристально вглядываясь в учителя географии,— я не могу вспомнить, но, по-моему, были стихи и о других господах преподавателях.

— А я помню,— вскочил учитель географии, очевидно с полуслова поняв намек директора.— Были, например, такие стихи:

Как в классах школы холодно! Мороз стоит суров.
На химии, истории все мерзнем мы без дров.
Мороз на математике, а печь без дров стоит,—
Директор школы сvez куме все школьные дрова.

— Прежде всего, здесь ошибка,— закричал учитель сербского языка.— Тут должна быть другая рифма. Глагол «стоит» не рифмуется с существительным «дрова».

— Вот и я говорю,— взревел взбешенный директор,— это неправда! На стене не было подобных стихов. Это вы сами сочинили...

— Были, из-за этих стихов вы и приказали побелить уборные!

¹ У старшего вола учится пахать младший (лат.).

— Конечно,— заорал протонерей,— а вовсе не из-за вдовы Росы...

Все закричали, застучали кулаками, затопали ногами, и прошло немало времени, прежде чем они вспомнили о моем присутствии и выдворили меня за дверь. Буря между тем продолжалась, из сплошного гама лишь иногда доносились слова: «Роса... дрова... водка...» Судя по всему, и инвалид-глобус тоже принял участие в общем споре. Наконец, когда буря улеглась, я был вновь введен в канцелярию. Лица членов учительского совета были так серьезны, будто они только что закончили обсуждение важной методической разработки. Опять поднялся директор.

— Господа,— сказал он,— в нашей школе процветает отвратительное явление...— На этот раз вступительное слово господина директора было значительно короче, и он сразу перешел прямо к делу: — Вот здесь перед вами один из бумагомарателей, которые пишут стихи. Судя по классным журналам, сей сочинитель нерадивый и даже больше того — плохой ученик.

Все учителя, как по команде, приподняли свои головы и посмотрели на меня так, будто хотели сказать: «Ах, этот, так я его знаю, он и у меня не успевает».

— Ты написал эти стихи? — начал допрос директор и показал мне листок, вероятно полученный им от аптекаря.

И тут в моей душе началась отчаянная борьба между человеком и поэтом. Человек советовал немедленно отказаться от стихов, сказать, что они не мои, что я слышал их от других, например, от старшей тетки, и выразить свое отвращение к подобным стихам. А поэт, распаляя мое тщеславие, советовал: «Не смей отказываться от своего первенца. Перед тобой великое будущее».

Как всегда, так и на этот раз, в борьбе между человеком и тщеславием победило последнее, и я признался, что стихи мои.

— Господа! — провозгласил директор, обращаясь к своим коллегам.— Он сознался!

— Это может послужить ему смягчающим обстоятельством,— заметил учитель географии, который вот уже четыре года был занят бракоразводным процес-

сом со своей женой и претендовал на то, что он в совершенстве познал существо нашего законодательства.

— Итак, господа, перед нами как раз один из тех случаев, когда требуется применить самую суровую кару, дабы неповадно было всем остальным неизвестным сочинителям пачкать известные места нашего заведения...— сказал директор, и я снова увидел перед собой костер, почувствовал, как языки пламени лижут мое тело, увидел всех трех теток, без сознания валявшихся посреди площади, увидел заливавшуюся слезами Марицу и аптекаря, угощавшего народ за упокой моей души.

— Я бы хотел услышать мнение господ преподавателей,— сказал директор.

Тут же посыпались мнения, которые звучали примерно так:

Протоиерей. Необходимо изгнать его из школы, и пусть он идет в сочинители и выдумывает всякие стихи. Или же, если не так, то пусть в наказание неделю постится.

Историк. Он совершил два преступления. Первое, менее тяжкое,— оскорбил семью аптекаря; и второе, более тяжкое,— осквернил стихи, коими воспет королевич Марко, Синджелич и гайдук Велько *, воспевая ими некоего Пайю-писаря. За это второе преступление его и следует наказать.

Преподаватель естествознания. Только возвышенностью своих чувств человек отличается от животных. Отсюда и проистекает наличие у людей всевозможных жанров поэзии, в то время как у ослов их нет. Как известно, ослы не пишут стихов. Но иногда, случается, люди пишут такие стихи, что можно подумать, будто их писали ослы. К таким поэтам следует применять те же методы, которые применяются к ослам: то есть оттащить их за уши. Вероятно, то же самое следует сделать и с этим молодым поэтом.

Математик. Из этого явления я прежде всего извлек бы корень, вернее не корень, а некоторую пользу. Мы имеем здесь две известные величины: оскорбленную семью аптекаря и автора стихов, плюс сами стихи. Из этих известных мы могли бы узнать

неизвестную величину, то есть выяснить, кто еще пишет стихи о своих учителях.

Географ. Я бы его посадил в карцер, в подвал, чтобы он там мог воочию убедиться в затмении солнца. Такие стихи роняют искру пожара в семейную жизнь. И поэтому не мудрено, господа, что мы имеем столько бракоразводных процессов.

Учитель латинского языка. Хотя Гораций говорит: «Pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequae potestas...»¹, но безобразие, учиненное этим учащимся, превзошло все границы, и поэтому я за самую суровую кару.

Учитель сербского языка. Его следует наказать прежде всего за то, что он не отделил запятой придаточное предложение от главного, а также и за то, что в конце второй строки не поставил точку. Ну, а в целом стихи у него вышли гладкие, и мысль выражена хорошо. Посему я бы не стал прибегать к очень строгим мерам.

Выслушав все эти искусно высказанные мнения, директор гимназии повернулся ко мне и, дав мне несколько отеческих советов, отодрал меня за уши (желание ботаника). Затем он прочел мне приговор, по которому в течение трех дней я должен был оставаться в школе после уроков (требование географа)...

Вот так в награду за первые стихи я отсидел в карцере, и то же самое меня постигло после того, как я написал свое второе стихотворение. Целых семь лет я героически воздерживался от сочинения стихов. Но вот однажды нашло на меня то бесшабашное настроение, в котором человек с радостью повторяет свой первородный грех, и я написал свое второе и последнее стихотворение. И снова мне пришлось страдать. На этот раз за мной гонялся не аптекарь, а жандарм, и привели меня не к директору гимназии, а к председателю окружного суда.

— Это ваши стихи? — спросил председатель окружного суда, точь-в-точь как директор гимназии.

И опять во мне победило тщеславие.

¹ У художников и поэтов равным образом всегда была возможность все, что угодно... (лат.).

— Да,— ответил я.— Только ведь это просто шутка, и ее не стоит принимать всерьез.

— Так-то оно так,— говорит председатель суда,— но вот уголовный кодекс обязывает нас и шутки принимать всерьез.

— Но ведь эти стихи,— пытаюсь я защищаться и дальше,— не отвечают требованиям элементарного стихосложения...

— Но зато они полностью отвечают требованиям уголовного кодекса,— говорит господин председатель.

— Но я же не виноват, господин председатель. У меня не было никакого злого умысла. Это просто вдохновение...

— Да, да, я понимаю вас,— прервал меня господин председатель,— но уголовный кодекс, как видите, за это вдохновение и наказывает.

— Невероятно,— удивляюсь я.

И после того как господин председатель познакомил меня со всеми достопримечательностями уголовного кодекса, он заявил мне, что на основании этого самого кодекса я приговорен к двум годам тюремного заключения за оскорбление «королевского величества».

Вот тут я и поклялся никогда больше не писать стихов и до сего дня стойчески выдерживаю эту диету, и, как видите, она весьма благотворно отражается на моем здоровье.

ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ

Первая любовь — это пожар, причины которого неизвестны даже полиции. Она вспыхивает от трения, как спички, и гаснет сама, подобно тому как догорает спирт в спиртовке.

Первая любовь — это укус комара, который не приводит к заражению крови, а только вызывает зуд.

Первая любовь — это особый вид рекрутского набора, при котором тебя лишь признают годным для несения службы в свой срок, когда ты будешь призван по-настоящему.

Первая любовь опасна только в том случае, если она последняя. Но в действительности первой любовью является вторая.

При второй любви человек чувствует себя так, словно второй год сидит в том же классе; все ему известно, а между тем нет уверенности в том, что удастся выдержать экзамен.

Вторая любовь — это опасные рецидивы неизлечимой болезни у людей, не соблюдающих диеты.

Вторая любовь — это действительная служба, обязательная для всех, кто думает поступить на государственную службу.

Но даже не принимая во внимание все эти мудрые изречения о первой и второй любви, можно сказать, что для меня первая любовь была своего рода попыткой, а вторая пришла уже по привычке. После трагедии, которой завершилась моя первая любовь, я почувствовал острое желание снова влюбиться. Я повсюду искал, в кого влюбиться, и вот однажды я встретил возле школы маленькую светловолосую девочку, заливавшуюся горькими слезами, и решил влюбиться в нее.

Обычно говорят, что плачут только чувствительные девушки и бесчувственные женщины. Я предпочел влюбиться в чувствительную девушку.

Светловолосую девочку звали Марицей.

— О чем ты плачешь, Марица? — спросил я.

Она тяжело вздохнула и призналась мне:

— Учительница меня перед всем классом назвала гусыней... сказала, что я глупая гусыня... и все смеялись... и...

— Так это же пустяки! Из-за этого не стоит плакать. Что такое гусыня? Подумаешь! О, сколько раз учитель меня перед всем классом называл глупым ослом, а осел это побольше, чем гусыня, — и ничего! Так что не стоит плакать. И твою учительницу, когда она была маленькой, тоже глупой гусыней называли, — а, видишь, она теперь сама учительница.

Кажется, мои утешения благотворно подействовали на душу светловолосой девочки. Она успокоилась, подняла свои заплаканные глаза и с такой надеждой посмотрела на меня, что я счел своим долгом продолжать ее утешать.

— И вот еще что... гусыня... — начал я, подыскивая, что бы еще сказать. — Гусыня, здесь ведь нет ничего страшного, это не оскорбление. Вот я, например... я люблю гусятину.

Она многозначительно посмотрела на меня, вероятно пытаюсь определить, являются ли мои слова признанием в любви, или нет.

— Да, я люблю гусятину, — продолжал я, также надеясь, что мне удастся использовать этот разговор для объяснения в любви. — Особенно я люблю ножку.

— Какую ножку? — удивленно спросила светловолосая девочка.

— Обыкновенную ножку. Когда мама жарит гуся с рисом, я всегда прошу ножку.

На другой день я опять встретил светловолосую девочку, и с тех пор мы стали встречаться почти каждый день. Мы любили друг друга и без объяснений в любви. Мою попытку утешить ее, с которой началось наше знакомство, она сочла объяснением в любви. То же самое случается и со вдовами, которые очень часто слова утешения принимают за объяснение в любви. А у светловолосой девочки уже появилась вдовья сентиментальность, поскольку, как она сама мне потом призналась, до меня она любила одного гимназиста из первого класса.

Хотя мы встречались каждый день после уроков и я провожал ее домой, мы все же почувствовали, что нам необходимо тайное свидание. Любовная дрожь и нега овладевают влюбленными только в том случае, если они остаются наедине. Мы договорились встретиться в четверг после полудня на старом кладбище. Влюбленной чувствительной светловолосой гимназистке и влюбленному гимназисту, обожавшему гусиную ножку, кладбище показалось самым подходящим местом встречи.

Встретились мы и разговаривали, разговаривали долго и много. Говорили об экзаменах, о том, какая строгая ее учительница; затем она рассказала мне, что ее мать приготовила сегодня на обед фаршированную тыкву, а я похвалился, что вчера у нас на ужин были макароны с сыром. Поговорили еще о чем-то и расстались.

Свидание нам, как видите, было совсем ни к чему, так как при подобных встречах полагается говорить о любви, а мы говорили о том, о чем могли бы поговорить и на улице, возвращаясь из школы домой.

Трудность заключалась в том, что ни я, ни она не знали любовных слов. Несколько дней подряд я ломал голову, стараясь придумать, как бы научиться каким-нибудь любовным словам, и наконец вспомнил, что у моей тетки есть книга, которую она читала каждый вечер, вздыхая и всхлипывая, а затем прятала под подушку. В этой книге должны быть любовные слова, ведь старые девы плачут, только когда читают про любовь.

И вот однажды в полдень я украл эту драгоценную книгу, забрался в сарай и начал судорожно перелистывать ее. Особое внимание я обращал на страницы, увлажненные тетушкиными слезами, и на одной из таких страниц я действительно нашел множество любовных слов; и даже больше того, говорили их друг другу двое влюбленных, которые встретились на кладбище. Разговор этот, происходивший в книге между доном Родриго Мондегой и Хуаной, сиротой, падчерицей могильщика, выглядел примерно так:

Дон Родриго. Девушка, я клянусь тебе перед этими мертвыми свидетелями, что моя любовь так же искренна и глубока, как печаль, витающая над этим мертвым полем.

Хуана. Ах, если бы я смела поверить этим словам.

Дон Родриго. Мои слова — это крик души благородного рыцаря, для которого слово — святыня, а клятва равносильна вере.

Хуана. Для меня столько счастья в твоей любви, что не хватает смелости отдаться этому счастью.

Дон Родриго. Ну скажи хотя бы, что чувствует твоя душа...

Хуана. Люблю тебя!

Дон Родриго. Ах, дорогая моя Хуана!

Хуана. Любимый мой Родриго.

Все эти слова были написаны как будто специально для нас. Я аккуратно переписал их в двух экземплярах, а книгу положил обратно под подушку. Затем один экземпляр я дал Марице, а другой оставил себе с тем, чтобы к четвергу выучить весь диалог наизусть и на кладбище тоже говорить о любви.

В следующий четверг, когда мы встретились, я прежде всего спросил ее:

— Ну как, выучила?

— Да!

— Давай я тебя проверю!

Она знала все прекрасно от слова до слова. Тогда я дал ей свой листок, чтобы она меня проверила, и хотя я по привычке, приобретенной в школе, немного заикался, все-таки прочел довольно хорошо. И вот после того, как мы убедились, что все идет гладко, мы начали говорить друг другу любовные речи, точь-в-точь как дон Родриго Мондега и Хуана, сирота, падчерица могильщика.

Все шло замечательно, как у настоящих влюбленных. Она с особой нежностью выговаривала: «Люблю тебя!», и я не заикался, когда отвечал ей: «Ах, дорогая моя Хуана!» И мне и ей это понравилось, и мы решили продолжать в том же духе.

Сразу же после этого свидания я переписал из той же книги другое место, которое было еще лучше, и отдал один экземпляр Марице, чтобы она выучила свою роль к следующему четвергу.

Эх, какой бы это был счастливый четверг, но... я не пришел на кладбище, где светловолосая гимназистка ждала меня больше часа. Я не смог выучить любовный урок и поступил точно так же, как поступил бы в подобном случае и в школе, то есть не пришел. Лучше уж получить прогул, чем единицу, думал я, не подозревая, что самое опасное в любви — это отсутствие одного из влюбленных.

Но иначе не могло и быть, так как в нашу любовь проникли уроки, а они могут уничтожить даже ту любовь, которая заканчивается браком, а что уж тут говорить о моей любви, когда известно, что к урокам я питал такое же отвращение, как к хинину, и глотал их только из-под палки, как, впрочем, и хинин.

И все же мне очень жаль, что я не пришел на кладбище, так как в этом втором уроке, который мы должны были рассказать друг другу во время свидания, было еще больше нежных любовных слов. Дон Родриго заканчивал свой монолог так: «Прильни же, прильни, возлюбленная моя Хуана, к груди моей. Пусть наши уста сольются в сладком поцелуе, и пусть в этом первом поцелуе сольются воедино наши души!» И после этого за одним из надгробных памятников они долго обнимались и целовались. Эта

часть урока была для меня особенно приятной, но там же было и совершенно убийственное место, которое я никак не мог выучить. Дон Родриго, чтобы уверить Хуану в своей любви, приводит ее на могилу своего деда и произносит там такую клятву:

«Клянусь тебе именем дон Алгуацила из Ла Фуэнте, который ведет свой род от знаменитого кастильца дона Гиацинта Нуеца де Коркуэлы, который собственноручно отсек мечом голову Мухамед-абу-Сахибу Барбароссе, внук которого, дон Пелажио из Мондонета, с испанцами из Кастилии осадил Гренаду и прогнал за Гибралтар Абу-Абдула Боабдила!»

Можете себе представить, каково мне было учить такой урок, если над одним-единственным словом «Артакеркс» я ломал язык шесть месяцев, а из-за египетского фараона Успретезена три раза получал двойку.

Разумеется, после того как я не явился на свидание, я стал избегать встречи со светловолосой гимназисткой, а когда однажды все-таки решился показать ей на глаза, было уже поздно. Светловолосая гимназистка влюбилась в другого.

ОТ ТРЕТЬЕЙ ДО ПОСЛЕДНЕЙ, ДВЕНАДЦАТОЙ ЛЮБВИ

Любовь — это разновидность пьянства. Только после того, как человек выпьет первые два стакана, у него появляются аппетит и жажда, и он начинает опрокидывать стакан за стаканом. Примерно так же было и со мной. И, смею вас уверить, я стал настоящим алкоголиком. Еще не отрезвев от прошлой любви, я уже хватался за стакан, который стоял передо мной.

Быть может, этим подтверждается моя догадка, что любовь — это такая же привычка, как, например, куренье. Есть люди, которые не курят, а много и таких, которые без курения жить не могут. Одни курят в меру, а другие папиросу изо рта не выпускают. Одни часто меняют табак, и поэтому их мучает сильный кашель, а другие, как только заметят, что куре-

ние вредно действует на организм, сразу же бросают, чтобы вернуть утраченный аппетит. Я принадлежал к числу заядлых курильщиков, которые с удовольствием меняют табак и, не успев докурить одну папиросу, сразу же закуривают другую.

Свои молодые годы я до краев наполнял любовью, пока не случилось то, о чем в народе говорят: «Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сложить».

Моя третья любовь уже таила в себе некоторые вполне реальные желания, ничуть не похожие на поглощение спичек и зазубривание испанских имен. Влюбился я в нашу служанку, в которой, если верить весам, было не менее восьмидесяти килограммов и которая всей своей тяжестью навалилась на мое сердце.

Эта любовь вспыхнула во мне как воспоминание раннего детства, когда я на руках тогдашней нашей служанки на практике постигал азбуку любви. Влияние первых впечатлений было настолько сильным, что, объясняясь Фани в любви, я чуть было не сказал: «Ах, душа моя! Разве я могу сейчас думать о шницеле? Но уж если оставишь, то оставь и салату немножко. Все мои мысли о тебе, только о тебе. Я только и жду той минуты, когда смогу прижать тебя к своей груди. Не беда, что мясо остынет!»

И сейчас я еще помню одно свое неопубликованное стихотворение, относящееся к тому-времени:

Я люблю тебя, Фани,
Хоть ты толстая станом.
«Да, тут есть что любить мне»,—
Я твержу неустанно.
На моем бедном сердце
Ты как груз полновесный,
Меня любишь ли, Фани?
Ты признайся мне честно.

Но и эту мою возвышенную, идеальную любовь разрушила чужая интрига, что, впрочем, случается довольно часто. Как только родители заметили, что я слишком часто без дела слоняюсь по кухне, они уволили Фани. За неимением объекта обожания, моя любовь была обречена на угасание.

Моя четвертая любовь училась в женской гимназии. У нее были черные, жгучие глаза и беззаботная

улыбка. Наша любовь была разновидностью любви на расстоянии. За все время мы не сказали друг другу ни слова, но зато после первых многозначительных взглядов стали переписываться. Положительная сторона такой любви состояла в том, что, занимаясь перепиской, я тренировался в изложении мыслей с гораздо большей охотой, чем при выполнении домашних заданий «Испеки и скажи!» или «Познай самого себя!» При этом я не только учился излагать свои мысли, но и практиковался в употреблении всех знаков препинания. Я употреблял их все сразу, не жадничал, и ни один из них не мог бы пожаловаться на то, что я употреблял его реже, чем другие. Одно из моих любовных писем выглядело примерно так:

«Дорогая!!! Люблю ли, я тебя?.. всей душой и; всем сердцем» если бы, мог?! Я прошу тебя,— Чтобы ты, на это письмо ответила как можно быстрее? Любящий тебя, эх; до Гроба?»

Ее письма были без всяких признаков пунктуации, и я сразу понял, что она слаба в грамматике.

Но и эта любовь не кончилась, а просто угасла. В один прекрасный день она вдруг перестала отвечать на мои письма, а потом настал день, когда и я перестал ей писать. Так незаметно, без слез и без вздохов, мы забыли друг друга.

Моя пятая любовь — это глава из неоконченного сентиментального романа. Я влюбился в одну даму, которая была на двадцать лет старше меня. У нее были такие аппетитные ямочки на щеках, такие мелкие белые зубы и такие сочные губы, что я трепетал всем телом, когда она проходила мимо.

Я не смел открыть ей свою душу, боясь, что она будет смеяться надо мной, а отчасти опасаясь и ее мужа, не внушавшего мне ничего, кроме отвращения. Он казался мне хищным зверем, терзающим в своих лапах молодую лань перед тем, как удушить ее. Себя же я воображал святым Георгием на белом коне, спасающим девицу. В то время я не мог еще знать, что особенное наслаждение бедные девицы испытывают именно в лапах диких зверей.

Пятая моя любовь навсегда осталась моей тайной, и я не рассказывал о ней никому, кроме своей подушки. Оставаясь наедине с ней, я обнимал ее, целовал и говорил ей самые нежные слова, адресованные пре-

красной обладательнице сочных губ и аппетитных ямочек.

В шестой любви дело, наконец, дошло до поцелуя. Это был мой первый поцелуй. А первый поцелуй — это тоже своего рода табель, свидетельствующий о переходе в следующий класс, где изучается высшая математика любви со всеми известными и неизвестными величинами.

Пока я не попробовал, я считал, что первый поцелуй лишь несколько более сладкая конфета, но стоило мне прикоснуться губами к чужим губам, как я сразу же в корне изменил свое мнение. Первый поцелуй показался мне бокалом искрящегося шампанского, от которого на губах остается какая-то сладость, в крови вспыхивает безумный огонь, глаза мутнеют и голова идет кругом. И, удивительное дело, стоило мне только отделить свои губы от чужих, как я сразу почувствовал, что обладаю опытом, который в любви так же необходим, как и во всех других проявлениях жизни.

Но опыт всегда приносит разочарование. Так было и с этой моей любовью. Впрочем, разочарование — это самый естественный и обязательный финал всякой любви.

Как ни странно, но я ничего не помню о своей седьмой любви. Знаю, что любил, знаю, что она меня любила, помню, что мы клялись и на том свете любить друг друга, а все же не могу вспомнить, кто была она.

Как-то раз я встретил очень красивую женщину, которая, взглянув на меня, ласково улыбнулась. И вдруг мне показалось, что это она, моя забытая любовь. Собрав всю свою смелость, я решил заговорить с ней:

— Сударыня, не можете ли вы вспомнить, был ли я когда-нибудь в вас влюблен?

— А откуда же я могу знать?

— А вы должны были бы знать, потому что я сам вам об этом говорил.

— Вы мне никогда этого не говорили.

— Жаль!

В другой раз я даже начал уверять одну даму, что именно она любила меня, хотя она, может быть, и не помнит этого. Но она очень уверенно ответила:

— Простите, сударь, но у меня есть точный список всех, кого я любила до замужества. Вас в этом списке нет!

Словом, несмотря на все мои старания, я так до сих пор ничего и не знаю о моей седьмой любви.

Моя восьмая любовь с начала и до конца была изготовлена по всем известному любовному рецепту. У нее были пышные светлые волосы и блестящие черные глаза. Она любила меня всей душой и даже потребовала, чтобы я поклялся ей в верности, и сама поклялась мне в том же. Но в один прекрасный день, вскоре после нашей клятвы, влюбилась в другого.

Моя девятая любовь была похожа на песню из сборника народных песен, собранного Вуком Караджичем, а еще вернее — на подогретый борщ. У нее были пышные черные волосы и ласковые голубые глаза. Я любил ее всю душою и даже потребовал, чтобы она поклялась мне в верности, и сам поклялся ей в том же, но в один прекрасный день, вскоре после нашей клятвы, влюбился в другую.

Моя десятая любовь — это веселая трагедия, о которой и вам небезынтересно будет узнать.

Вначале я познакомился с ее мужем. Он пригласил меня в свой дом и сам представил своей жене, разбитной маленькой дамочке, которая глазами говорила больше, чем языком. С первого же взгляда я влюбился в нее и чувствовал себя счастливым, когда ее муж приглашал меня в гости. Мне казалось, что и она мне симпатизирует. Во всяком случае, как только мы оставались вдвоем, она становилась намного любезнее со мной, чем в присутствии мужа. Но и муж не уступал ей в любезности. Напротив, он проникся ко мне каким-то особенным доверием, и я считал его самым искренним своим другом.

Однажды мы очень долго бродили по заброшенным аллеям парка, и между нами произошел весьма любопытный разговор.

— Насколько я мог заметить, вам нравится моя жена? — произнес он спокойным и бесстрастным тоном.

Я, ужасно смутившись, почувствовал, что уши мои стали краснее архимандритского пояса.

— Я... это... — начал я, заикаясь, — да, ваша жена очень любезна... я ее очень уважаю.

— Да бросьте, пожалуйста, зачем это кривлянье? Мы с вами достаточно хорошо знаем друг друга, чтобы говорить откровенно. В ваши годы молодых женщин не уважают, а любят. Разве не так?

— Но... это... как это... если вы сомневаетесь...

— Да я не сомневаюсь, чудак вы, абсолютно не сомневаюсь. Я просто уверен в том, что вы влюблены в мою жену. Но вы меня не бойтесь. Я вам прямо скажу, я на вас не сержусь... Совсем не сержусь... Нисколько!..

— ???!!!

Его слова поразили меня. Разинув рот, я смотрел на него, всем своим видом выражая вопросительный и восклицательный знаки вместе.

— Вам трудно меня понять,— продолжал он.— Вам, разумеется, кажется странным, что я, муж, но...

В эту минуту страшная мысль пришла мне в голову: а что, если он нарочно завел меня в этот заброшенный уголок парка, чтоб вызвать на откровенность, а потом всадить мне в грудь весь заряд своего револьвера; и я всеми силами начал защищаться.

— Но, сударь, я вовсе не питаю к вашей жене подобных чувств. Я действительно только уважаю ее.

Очевидно, он понял причину моего испуга и поспешил успокоить меня:

— Поверьте, я не имею никаких злых намерений по отношению к вам. Боже сохрани! Выслушайте меня и постарайтесь понять.

И он заговорил задушевым дружеским тоном:

— Видите ли, мой молодой друг, между мной и моей женой установились отвратительные отношения. Больше того, мы стоим на пороге бракоразводного процесса.

— Вы?! — удивился я.

— А вы не верите?

— Да этого не может быть!

— Все может быть, мой друг. Пусть вас не смущает то, что я и моя жена так внимательно друг к другу. Мы, видите ли, расстаемся по взаимному соглашению. Она не хочет больше видеть меня, а я не хочу видеть ее. Почему так, не спрашивайте. Но согласитесь, что для вас такая ситуация более чем удобна. Если вы добьетесь взаимности, то в один прекрасный

день моя жена станет свободной и поступит в ваше полное распоряжение. Однако для того, чтобы это произошло, необходимо объединить наши усилия. Мы должны по-дружески помочь друг другу.

— Помочь друг другу?

— Да, да! Со своей стороны я сделаю все, чтобы вам помочь, но и вы должны оказать мне небольшую услугу.

Я все еще с удивлением смотрел на этого странно-го мужа, который между тем продолжал:

— Для того чтобы я выиграл бракоразводный процесс, мне необходимы доказательства, которых у меня нет, но этим доказательством могли бы стать вы!

— Я? Каким образом?..

— Да очень просто. Мне нужны доказательства аморального поведения моей жены...

— Но...

— Не перебивайте меня! Моральна она или аморальна — для меня совершенно безразлично. Но мне необходимо доказательство, и вы, если бы только захотели, могли бы мне в этом помочь.

— Не понимаю!

— Сейчас поймете. Вы, разумеется, уже объяснились ей в любви?

— Но...

— Слушайте, если вы еще не успели этого сделать, то вам следует поторопиться. Я создам вам условия, но и вы не зевайте, мой друг. Если она начнет отнекиваться и смущаться, вы не уступайте и действуйте смелее. Девяносто процентов женщин смущаются в таких случаях просто потому, что так уж заведено. Итак, действуйте смело и настойчиво. Объяснитесь и уже не останавливайтесь. Самое страшное для женщины, если мужчина останавливается на полпути. Действуйте смелее, добивайтесь свидания и обязательно тайного. Она, конечно, еще больше смутится и скажет вам: «Ах, это слишком много. Нет, нет!» Но вы не обращайте внимания. Это только фраза, которую женщины произносят с той же искренностью, с какой клянется торговец, говоря вам: «Поверьте, мне самому этот товар обошелся недешево». Одним словом, если вы человек настойчивый, вы своего добь-

тес, и она согласится на свидание. Единственной помехой буду я. Но уж мы-то с вами всегда сумеем договориться, и я, скажем, куда-нибудь уеду.

Со все возрастающим удивлением я слушал этого странного мужа.

— Теперь начинается самое главное. Вы приходите на свидание, а я, как вы уже догадываетесь, никуда не уеду. Я прихватю с собой двух граждан — свидетелей — и ворвусь в дом именно тогда, когда вы нас меньше всего ожидаете. Вот если бы в этот момент вам удалось быть без брюк — это было бы как раз то, что мне нужно. Жена моя, разумеется, вскрикнет и упадет в обморок, а я брошусь на вас, свалю вас на пол и начну топтать ногами, потом разобью вам нос и выдеру из вашей головы столько волос, сколько может выдрать честный муж, находясь в состоянии невменяемости. Потом я заберу ваши брюки в качестве вещественного доказательства, а вас в кальсонах выдворю на улицу, и все это, разумеется, в присутствии двух свидетелей. Теперь вам все понятно?

— Но послушайте...

— Ах, да! Вас смущает то, что мне придется вас поколотить. Но тут уж ничего не поделаешь: любовь требует жертв. В средние века рыцари на смерть шли, чтобы доказать даме сердца свою любовь. А почему бы и вам не стать таким рыцарем и не дать себя поколотить?

— Но, посудите сами, как я буду выглядеть в глазах вашей жены?

— Без брюк вы выглядели бы прекрасно. Затем, когда я стал бы вас бить, вы, конечно, вызвали бы у нее жалость, а жалость, как известно, очень часто является источником самой глубокой любви.

— Но ведь вы отводите мне весьма незавидную роль...

— Ах, дорогой, скажите мне, вы в математике разбираетесь?

— Плохо!

— Оно и видно. Здесь же совершенно точный расчет. Допустим, моя жена, как морально чистая, непорочная и честная женщина, выигрывает процесс. А ведь она молода и хороша собой. Вы знаете, что тогда будет? Да за нее сразу все ухватаются и уведут ее у вас

из-под носа. А вот если вы мне поможете, будет совсем другое дело. Моя жена проиграет процесс, как безнравственная, скомпрометировавшая себя женщина, и что же ей тогда останется? Останетесь вы, понимаете ли, вы!

В словах этого человека была железная логика, жаль только, что она покоилась на кулаках.

Прощаясь, он пригласил меня зайти к ним после полудня. Но когда я пришел, хозяина не оказалось дома. Очевидно, он решил, что мы уже заключили договор, и делал все от него зависящее, чтобы создать условия для моих первых шагов.

Я же принял совсем другое решение, полагая, что такую женщину нельзя обманывать. И решил рассказать ей о своем разговоре с ее мужем.

— Я хотел бы объясниться с вами откровенно. Я хочу сказать вам многое, очень многое,— возбужденно начал я.

— Вот как?

— Да...— пробормотал я, не зная, с чего начать.— Видите ли... вы знаете... это... как я вас уважаю.

— Благодарю вас.

— Но чувство, которое я называю уважением, в нашем возрасте называют иначе.

— Да неужели? Вот не знала! А нельзя ли узнать, как оно называется? — спросила она, и глаза ее засмеялись. Несколько секунд я молчал, а затем, собравшись с духом, выпалил:

— Это чувство называется любовью!

— Так, так,— спокойно сказала она.— Вообще говоря, я ожидала этого.

— Ожидали? — испуганно пробормотал я, полагая, что ее муж опередил меня.

— Да, я поняла это по вашим глазам, по вашему поведению, по всему...

— Но?..

— Но вы хотели бы узнать мой ответ?

— Да,— еле слышно прошептал я.

— Вы очень нетерпеливы. Я отвечу вам только тогда, когда вы на деле докажете мне свою преданность.

— О! Если бы вы дали мне возможность доказать ее!

— Разумеется, я дам вам такую возможность, и очень скоро,— сказала она и, немного помолчав, продолжала:— Видите ли, дорогой друг, в настоящее время между мной и моим мужем установились отвратительные отношения. Больше того, мы стоим на пороге бракоразводного процесса. Я знаю, для вас это несколько неожиданно, поскольку я и мой муж так внимательны друг к другу. Мы расстаемся по взаимному соглашению. Он не хочет больше видеть меня, а я не хочу видеть его. Почему так, не спрашивайте. Но если чувства, которые вы мне сейчас открыли, действительно искренни, то, я думаю, такая ситуация вас более чем устраивает. Но вы должны помочь мне в моей борьбе против мужа.

— О?

— Вы могли бы оказать мне неоценимую услугу. Мне необходимо иметь как можно больше доказательств моего благопристойного поведения. У меня, разумеется, есть доказательства, но мне нужны неопровержимые факты, так как мой муж сделает все для того, чтобы меня опорочить...

— Именно об этом я и хотел вас предупредить...

— Итак, вот вам мой план. Я назначу вам день и час свидания, а сама спрячу в соседней комнате двух свидетелей. Разумеется, они не будут ничего знать о нашем уговоре. Вы смело и громко заявите мне о своей любви, а я начну вас урезонивать, скажу вам, что я уже замужем, что я честная женщина. Но вы не обращайте на это внимания и попытайтесь меня поцеловать. Когда вы это сделаете, я подниму ужасный крик. Те двое, надеюсь, поспешат мне на помощь. А как только они появятся в дверях, я дам вам пощечину, начну рвать ваши волосы, ногтями исцарапаю вам лицо, а потом попрошу тех двоих граждан хорошенько проучить вас и выбросить на улицу.

Вы представляете, каково было мое положение? И надо же мне было встретить такую кровожадную парочку! Да и потом, с какой стати я должен был подставлять свою спину для урегулирования их отношений? Ведь вы же видите, к кому бы я ни нанялся, к мужу или к жене, все равно я не получил бы ничего, кроме зуботычин и подзатыльников. Вся разница только в том, что в одном случае я был бы избит в брюках, а в другом без брюк.

После долгих размышлений я решил, что бегство будет самым лучшим выходом и из этой любви и из создавшегося положения. Так я и сделал.

Спустя несколько месяцев я встретился с ними на улице. Молодая чета, чья тяжба должна была разбираться церковным судом, шла под руку, а рядом с ними шагал молодой господин.

— Где же это вы пропали? — в один голос закричали и муж и жена, как будто каждый хотел сказать: «Что это вы ускользнули, когда мы все так хорошо устроили!»

Я кое-как извинился и с искренним сожалением посмотрел на несчастного юнца, которого, конечно, они решили использовать в качестве доказательства вместо меня.

После столь бурной любви моя двенадцатая любовь была очень тихая и, я бы сказал, даже набожная. Она действительно напоминала икону. У нее было вытянутое бледное лицо, без единой морщинки лоб, длинные черные волосы, расчесанные на прямой пробор, крошечные алые губки и добрые глаза под длинными ресницами.

Словом, она была живым воплощением необычайной кротости, скромности и стыдливости. Когда я признался ей в любви, она сначала опустила глаза, потом покраснела, зажмурилась и долго-долго молчала. Наконец, она подняла голову и проговорила:

— То, что вы сейчас сказали мне, вы никогда больше не будете говорить!

А когда я сжал ее руку, она опять сначала опустила глаза, потом покраснела, зажмурилась и долго-долго молчала. Наконец, она подняла голову и проговорила:

— То, что вы сейчас сделали, вы никогда больше не будете делать!

— Хорошо, ну а как же в таком случае я смогу выразить вам свою любовь?

— С меня достаточно того, что я вас вижу, и я прошу вас довольствоваться тем же.

Так вся наша любовь и состояла в молчаливом разглядывании друг друга. Я смотрел на нее, а она смотрела на меня. Но настал такой день, когда я не увидел ее, а она не увидела меня. Так мы друг друга больше и не видели.

Одним словом, моя двенадцатая любовь была чем-то вроде диеты или поста, который давно уже был необходим для моего желудка, испорченного обилием любовной пищи. С христианским смирением я выдержал этот пост. Необходимо было диетой укрепить желудок, чтобы суметь переварить тринадцатую любовь.

Q. B. F. F. F. S.

«Q. b. f. f. f. s.» пишут обычно в верхнем углу докторского диплома (*Quod bonum, faustum, felix fortunatumque sit!*), что в вольном переводе означает: «В добрый час!» или «Но слава богу, что только раз!» Кажется, так восклицают и университет, когда он прощается со студентами, надоевшими ему своим учением, и студенты, когда они прощаются с университетом, надоевшим им своими мучениями. На дипломе, который я получил после окончания университета, не было написано вышеупомянутых слов, но, увидев сей документ в своих руках, я от всего сердца воскликнул: «Q. b. f. f. f. s.!!»

В верхнем углу моего диплома, пожалуй, следовало бы написать слова, принадлежащие нашему преподавателю уголовного права: «Многие достойные наказания дела в известном месте и при известных обстоятельствах не подлежат наказанию, поскольку общество уже легализовало их с помощью предрассудков, заблуждений, обычаев, привычек, а иногда и с помощью закона».

Читатели, вероятно, не будут возражать, если я перейду прямо к тому времени, когда мне вручили диплом об окончании университета, ибо если бы я вздумал писать обо всех предметах, изучаемых в университетской школе, то эта книга превратилась бы в своеобразную энциклопедию, в которой о каждой науке говорилось бы ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы ничего не знать. И кто знает, не подверг ли бы я себя и своих читателей еще большей опасности, если бы стал говорить о каждом предмете в отдельности. Это могло бы вызвать полемику между профессорами, а всем известно, как бесконечны и скучны такие спо-

ры. Помню редактора газеты, разрешившего одному профессору написать «пару слов» об учебнике другого. Он даже не представлял себе, какая змея ужалила его в тот момент, так как раз он допустил нападение, то вынужден был напечатать и ответ, а затем ответ на ответ, ответ по поводу ответа на ответ и так далее, до бесконечности. Оба профессора захватили у бедного редактора половину газеты и на протяжении нескольких лет изо дня в день ругали друг друга. Читатели стали открыто выражать свое недовольство, подписчики отказывались от газеты, а редактор в отчаянии рвал на себе волосы. Наконец, чтобы спастись от этой напасти, он закрыл газету и переселился в какой-то провинциальный городишко, где не было профессоров, но перед тем, как сделать это, он получил гарантию от министра просвещения в том, что в городишке в ближайшем будущем не откроют гимназию.

Один американский редактор оказался в этом отношении еще более практичным. Ограждая себя от подобных случайностей, он под заглавием своей газеты печатал такой подзаголовок: «Газета публикует все, кроме профессорских споров».

Чтобы избежать возможной полемики, я лучше перескочу университет, как перескочил его в жизни, в один прекрасный день оказавшись с дипломом за воротами университета. Покидая канцелярию ректора, где мне вручили диплом, и спускаясь по ступенькам лестницы, я думал: «Теперь передо мной открыты все пути. Мне принадлежит весь мир. В моих руках ключ, который открывает любые двери. В моих руках волшебная лампа Аладдина, перед которой расступаются горы; мне стоит лишь захотеть, и диплом поведет меня всюду, куда захочу». Но, очутившись на улице, за воротами университета, я никак не мог решить, идти мне вправо или влево?

Развернув еще раз диплом, я перечитал его здесь, на улице, и только тогда понял, что он не дает мне ничего, кроме возможности стать чиновником или приобрести свободную профессию: стать адвокатом, журналистом или артистом.

Чиновник?

Поистине заманчивое призвание. От тебя требуют, чтобы ты не думал, и за это платят соответствующее

жалованье. Достаточно уметь сгибать бумагу и гнуть спину, иметь высокое мнение о своем начальнике и ни во что не ставить его предшественника, заискивать перед вышестоящими и издеваться над подчиненными, натренировать уши, чтобы они не все слышали, а глаза, чтобы они не все видели, уметь, когда нужно, отыскать в черном кое-что белое и в белом кое-что черное, уметь читать между строк, смотреть сквозь пальцы, держать язык за зубами, смеяться, если тебя унизили, благодарить, если обругали, и быть по гроб обязанным, если наградили. И если ты всем этим овладеешь и все переживешь, то проживешь сто лет и обязательно дождешься полной пенсии.

Адвокат?

Поистине заманчивое призвание. Теоретически ты должен защищать невиновного и обвинять виноватого, а на практике — защищать виноватого и обвинять невиновного, ибо, если поступали бы так, как предписывает теория, адвокаты были бы не нужны. Невиновного, если он не виноват, и защищать не надо, а виноватого, если он виноват, закон может осудить и без адвоката. Поэтому лучше не иметь дела ни с невиновными, ни с виноватыми, тем более, что очень трудно определить, кто прав и кто виноват, а заниматься лишь продажей советов. У адвокатов счастливое преимущество: только они дают советы за деньги, тогда как все остальные — родители, учителя, профессора и друзья дома — дают их бесплатно. И что самое главное, если ты приходишь к адвокату как покупатель, то ты не можешь пощупать совет и сказать: «А нет ли у вас в запасе более качественного товара». Не можешь вернуть совет, говоря при этом: «Послушайте, сударь, этот ваш совет прокис и покрылся плесенью». Нет, на это ты не имеешь никакого права, нравится тебе совет или не нравится.

И вы только представьте себе, какая это была бы злая ирония судьбы, если бы я, никогда не слушавший ничьих советов, вдруг стал бы торговать ими.

Журналист?

Поистине заманчивое призвание. Слова, которые у нас так дешевы, что их даже не пытаются экономить, швыряют на ветер, разбрасывают, раскидывают, ты превращаешь в один из видов товара и продаешь по высокой цене. Ты можешь совсем ничего не знать и

все же будешь нужен тому, кто сам все знает; тебе не нужно быть умнее тех, кто все время молчит, и все же ты будешь говорить от их имени.

А сколько магической силы в этом призвании! Только притронешься к чужой тайне, и она сразу перестает быть тайной. Только притронешься к чьей-нибудь хорошей репутации, и она сразу перестает быть хорошей. Только заденешь чье-нибудь спокойствие, и тот, кого ты задел, теряет покой. Ты будешь превращать воду в вино, а вино в воду, черное замазывать белым, а белое — черным, мертвых Лазарей вытаскивать из могил, а живых загонять в нее. Ты сможешь отмыть без мыла, побрить без бритвы и разрезать без ножа...

Артист?

Поистине заманчивое призвание. Увлечение возвышенное, далекое от всего обыденного и будничного — за исключением театрального кассира. Призвание, воочию убеждающее в том, что открыто произносить великие слова правды и любви, говорить обо всем подлинно прекрасном и возвышенном можно лишь тогда, когда эти слова покрыты и окружены ложью. Храмы, дворцы, города и леса на размалеванном полотне, бумажные короны, позолоченные одежды, деревянные шпаги, притворные вздохи и лживые слезы, ложные страсти и фальшивые радости — все это предназначено лишь для того, чтобы можно было произнести те великие, вечные слова. Где счастливое детство, когда перевернутое корыто служило тронem, на котором сидел царь в потертых штанах, в изорванном на локтях пальтишке и в шапке с гусиным пером? И все же детское воображение умело представить на его плечах горностаевую мантию, а на голове корону и поверить, что на корыте сидит помазанник божий, и со страхом и почтением шептать ему: «Ваше величество!» Взрослые называют это детской наивностью, но сколько фальшивой наивности и ложной мишуры требуется, чтобы показать им то, что дети создают игрой воображения.

И, вероятно, потому, что каждое великое слово правды артисты преподносят в пестром орнаменте лжи, их называли священными служителями богини Талии. Когда я впервые, еще ребенком, услышал, что артистов называют священнослужителями, я предста-

вил себе это так: тот, кто играет любовников, должно быть архимандрит, тот, кто играет роль пройдохи и интригана, должно быть окружной протоиерей, тот, кто исполняет комические роли, должно быть председатель консистории, а тот, кто подвизается в роли королевича Марко и размахивает палицей, должно быть дьякон, так как и наш дьякон во время службы так размахивает кадиллом, словно в руках у него палица. Позднее я понял и согласился, что артисты действительно священнослужители, только у них нет церковных приходов, чинов и красных поясов, так как этот пояс все равно бы не удержался на тощем животе.

В призвании артиста особенно приятно то, что он может выполнять свой долг и служить обществу, надев на себя маску. То же самое, конечно, в жизни делают и все остальные, а разница между ними и артистом заключается лишь в том, что артист надевает на себя маску, соответствующую его роли: на эгоизм он надевает маску эгоизма, на злобу — маску злобы, на подлость — маску подлости, а в жизни происходит иначе: там роль играют одну, а маску надевают другую. Политический делец, например, на свой эгоизм напяливает маску патриотизма, насильник пытается предстать в образе борца за правду, богач прикрывает свое ростовщичество маской добродетели, распутница на свой опыт надевает маску наивности, а злобный враг дает вам советы, прикидываясь другом.

И когда прошли передо мной все эти призвания со всеми своими достоинствами, я все еще стоял с дипломом в кармане, не зная, куда мне идти, кем стать: адвокатом, журналистом, артистом или чиновником?

Говорят, что в трудные моменты лучше всего обращаться к Опыту. Но я не верю в его всемогущую силу. Говорят: Опыт — отец мудрости. Может быть, но в таком случае легкомыслие — мать Опыта, так как если бы не было легкомыслия, то не было бы и Опыта.

Расспросил я, где находится канцелярия Опыта и в какое время он принимает посетителей, и отправился прямо туда:

— У меня есть диплом об окончании университета, дающий мне право стать адвокатом, журналистом, артистом или чиновником. Остальные профессии для меня закрыты. Но я не знаю, что мне выбрать?

— Иди на государственную службу! — отвечает мне Опыт.

— Но я бы хотел выбрать какую-нибудь свободную профессию.

— Какую?

— Ну, скажем, адвоката.

— Адвоката? — удивился Опыт и высоко вскинул брови. — Если ты станешь строго придерживаться закона, то будешь всю жизнь ходить голодный, а если ты собираешься обходить законы, то тебе, брат, вовсе незачем идти в адвокаты. Иди в лес и грабь прохожих, так ты быстрее выйдешь в люди, и никакие дипломы тебе не нужны... Или, может быть, ты хочешь защищать невинных или виновных? Но невинные мало платят, а у виноватых мелких денег не бывает. Или, может быть, ты хочешь давать советы женам, как лучше разводиться с мужьями, или квартирантам, как не платить за квартиру, или председателям сельских общин, как избежать суда за растрату общественных денег? Но ведь все это мелкие дела. Другое дело, если к тебе в лапы попадет несколько братьев, унаследовавших богатство отца, да еще если тебе удастся их поссорить! Знаешь, если братья начнут судиться, то будут судиться всю жизнь, а ты, как адвокат, станешь настоящим наследником всего их имущества и проживешь как бог. Да, но только такие случаи очень редки, и вряд ли можно на это рассчитывать.

— А журналист?

— Журналист? — удивился Опыт, и опять брови его полезли на лоб. — Действительно, выражать общественное мнение — это мужественное призвание, но все же и в этом мужественном призвании очень много чисто женских особенностей. Хороший журналист прежде всего должен быть очень любопытным, должен совать свой нос в дела, вовсе его не касающиеся. Он должен быть острым на язык, а также, что особенно необходимо, уметь преувеличивать. А эти преувеличения ежедневно доставляют ему большое удовольствие: гоняются за ним полицейские с повестками, оскорбленные с револьверами, нападают на него женщины и избивают зонтиками, пишут ему анонимные письма, ругают его и в награду за все это его труд высоко ценят и низко оплачивают.

— А артист?

— Артист?

— Да!

— Действительно,— сказал Опыт, и брови у него опять полезли на лоб.— Действительно, много правды в лживости этого призвания и много лжи в правде его.

— А слава?

— И забвение!

— Аплодисменты, овации?

— И свист!

— Венки?

— И пустой желудок!

— И все же, артист — это любимец публики..

— Какой публики и до каких пор? Есть две публики: одна рукоплещет твоему таланту, а другая — твоей молодости. Первая забудет тебя, как только ты сойдешь со сцены, а вторая — как только на твоём лице появится первая морщина.

— И тогда... что же вы предлагаете?

— Все пути ведут на государственную службу. Обратись к матушке-державе, и она, как дойная корова, разрешит тебе подоить ее. Каждого двадцать шестого числа она будет сосать тебе в рот сосок, а ты только будешь подставлять рот и, ни о чем не беспокоясь, сосать.

— Но,— возражаю я,— неужели я ни на что больше не способен, кроме государственной службы?

— Ах, брат, государство тебя учило, и ты должен отплачивать ему за свое ученье. Ведь не думаешь же ты, что твой диплом представляет какую-либо ценность для ломбарда или что он настолько ценен, что мог бы котироваться на бирже? Нет, брат, диплом только для государства имеет ценность.

Опыт есть опыт, и ему, конечно, нужно подчиняться. В один прекрасный день постучал я в государственные двери. Встретил меня государственный человек с обеспеченным будущим и подбородком, выдающим в нем государственного сосунка. Взглянул он небрежно на диплом, который я ему подал, и размеренным голосом проговорил:

— Нет мест. Чиновников у нас достаточно!

Я был в отчаянии, но мне сказали, что у государства много дверей, а не одна, как я думал раньше. Стал я стучаться во все государственные двери по оче-

реди, но всюду выходили ко мне государственные люди с обеспеченным будущим и с внушительным подбородком, и всюду эти люди небрежно заглядывали в мой диплом и говорили:

— Нет мест. Чиновников у нас достаточно!

Окончательно разочаровавшись, я опять вспомнил про Опыт и отправился к нему.

— Государству я не нужен!

— А ты стучался?

— Стучался!

— Во все двери?

— Во все!

— И что говорят?

— Ничего. По-моему, их смущает диплом.

— Может быть. Вполне возможно! — сказал Опыт, словно размышляя о чем-то. — Действительно, я забыл сказать, что диплом может тебе помешать. Образование государство ценит невысоко. Наоборот, гораздо больше ценится невежество. Университетский диплом — это слишком большая роскошь в Сербии. Ступай-ка опять к тем же дверям, но послушай меня: держи в тайне, что ты окончил университет. Скажи, что у тебя нет образования, что ты только понюхал школы, и увидишь, везде тебя прекрасно встретят, везде возьмут на службу, везде предложат работу.

Окрыленный новой надеждой, я зашил диплом в подкладку пальто и опять постучался у государственных дверей.

— Господин начальник, — начал я очень осторожно, чтобы человек с обеспеченным будущим и внушительным государственным подбородком ни по одному моему слову не мог догадаться, что я окончил университет, — пришел я к вам проситься на службу.

— Что окончил?

— Да... всего четыре класса гимназии, но не сдал экзамены.

— А писать умеешь?

— Не так, чтобы очень. Но я подучусь!

— Конечно, конечно, — говорит начальник. — Если будешь стараться, подучишься. Я вот сам окончил только два класса гимназии, а видишь, какой я человек.

Таким образом, получил я первую государственную должность практиканта и, работая, старался проявить как можно больше безграмотности, что обес-

печивало мне блестящую карьеру. И я, может быть, и в самом деле сделал бы карьеру, если бы мои коллеги чиновники не пронюхали где-то, что я закончил университет, и не донесли об этом начальству. Вышестоящие сразу же взяли меня на заметку, а начальник сказал даже, что я фальсификатор, переделавший университетский диплом на свидетельство об окончании четырех классов гимназии. Начали меня преследовать и в конце концов изгнали.

Но я, с тех пор как узнал пути, какими добывают службу, уже не так легко поддавался отчаянию. Подождав некоторое время, пока в правительственных кругах забыли, что я окончил университет, я отправился к начальнику другого министерства.

— Господин начальник,— подобострастно начал я и изложил желание и просьбу.

— Кем ты был до этого?

— Капралом.

— А ты когда-нибудь учился?

— Немножко в армии.

— Ну и достаточно, брат, вполне достаточно. Я сам был жандармским поручиком, и вот, слава богу! Если бы повстанцы Карагеоргия были грамотными, никогда бы наша страна не освободилась!

— Правильно, — воскликнул я восхищенно.

И я опять попал на государственную службу, где на этот раз, может быть, пошел бы далеко, если бы не начали против меня бешеную кампанию. Сначала к министру стали приходиться анонимные письма, в которых сообщалось, что я окончил университет, а потом газета «Голос», распространявшаяся среди низших чиновников, начала открыто писать: «Не может быть прогресса в подведомственной нам отрасли до тех пор, пока в ней работают люди, окончившие университет!» А потом движение приняло такие широкие размеры, что даже в Скупшине был сделан запрос: «Знает ли господин министр, что на государственную службу пробрался человек, окончивший университет?»

После этого, разумеется, житья мне не стало. И в один прекрасный день я опять очутился на улице с «Q. b. f. f. s.».

Чтобы успокоить свою совесть, я вставил диплом в рамку и повесил его рядом с другим, тоже встав-

ленным в рамку дипломом, свидетельствующим о том, что я принят в члены певческого общества.

Сделав это, я решил, что нашел, наконец, достойное место своему диплому, и опять задал себе вопрос: «Налево или направо? В адвокаты? В журналисты? В артисты?»

И все же государство как родная мать: оно может поступить с тобой несправедливо, но зато и приласкает потом, чтобы загладить свою вину перед тобой. Так было и со мной. Увидев, что я задумался о своей дальнейшей судьбе, и предполагая, что я еще долго буду раздумывать над этим вопросом, государство поспешило мне на помощь. Чтобы дать мне возможность обдумать, чего же я хочу, оно отправило меня в пожаревацкую тюрьму, объявив приговор, по которому мне предоставлялась возможность два года размышлять, сидя в четырех тюремных стенах.

Поистине редкая забота со стороны государства.

ТЮРЬМА

Первым в новом обществе ко мне подошел ярмарочный воришка, подмигнул мне, как бы желая сказать: «Мы знакомы по Аранджеловскому рынку!» — и по-приятельски протянул мне руку.

— Добро пожаловать, новичок!

— Рад тебя видеть, приятель!

— Поймали, брат, а, поймали?

— Поймали!

— А ты в другой раз смотри, когда руку в чужой карман суешь. Вот и меня поймали, но я хотел кошелек срезать, а это дело малость потяжелее.

— Меня не за то осудили.

— Не за то? — удивился карманник. — А за что же? Может, за злонамеренный поджог?

— Нет, брат!

— Или как малолетнего — за соучастие в убийстве?

— Нет, не то!

— Так за что же?

— Стихотворение одно написал.

— Стихотворение? — удивился карманник. — Об этом, приятель, кому другому расскажи.

— Я серьезно говорю.

— Ты еще скажи, что тебя посадили за то, что пошел в церковь на святую литургию.

— Не хочешь, не верь.

— Первый раз такое слышу. А что же, каждого, кто напишет стихотворение, непременно отправляют на каторгу?

— Надо бы, но, знаешь, многим удается остаться на свободе. И обычно на свободе остаются как раз те, кто пишет плохие стихи.

— А ты хорошие написал?

— Члены и верховного и кассационного суда утверждают, что хорошие.

— А на сколько тебя осудили?

— На два года.

— Ай-ай-ай! Мне за кражу и то год! Должно быть, это отвратительное дело — писать стихи.

— Разумеется, отвратительное. Пока пишешь — мучаешь себя, потом мучаешь редактора, чтобы напечатал, потом мучаешь тех, кто читает, прокурор мучается — ему нужно тебя обвинить, и, наконец, судьи мучаются — им нужно тебя осудить.

— А разве у тебя не было смягчающих обстоятельств?

— А ты и в этом разбираешься?

— Как же мне не разбираться, я ведь не в первый раз. Я весь уголовный кодекс наизусть знаю. Так как же, были смягчающие обстоятельства?

— Были.

— Какие?

— Безупречная репутация.

— Это, брат, отягчающее обстоятельство. У нас человек с безупречной репутацией обязательно пострадает, а вот с сомнительной, может, еще как-нибудь и выкарабкается. За того и адвокат заступится, и окружной начальник, и председатель окружной партийной организации. Вот мне, например, сомнительная репутация помогла, и меня осудили всего лишь на год. А ты, конечно, сознался?

— Да.

— Эх ты, я как чувствовал! Это тоже отягчающее обстоятельство! Когда тебя на месте преступления

поймают, это я понимаю, тут приходится признаться. Но если ты признаешь свою вину тогда, когда тебя никто не поймал, это отягчающее обстоятельство. Правда, в приговоре пишут, что твое признание учитывается как смягчающее обстоятельство, но тебя самого вместе с этим обстоятельством отсылают на каторгу.

— Верно!

— Ну, а выйдешь отсюда, опять стихи писать будешь?

— Больше не буду!

— Ну и правильно. Никакого проку нет, только в тюрьму понапрасну сажают. Ты лучше, если хочешь, послушай, что я скажу: как тебя отсюда выпустят, давай вместе делом займемся.

— Каким делом?

— Кошельки на базарах срезать. Знаешь, когда вдвоем, легче получается. Ты, скажем, заговариваешь ему зубы или прикурить попросишь, а я в это время кошелек чик — и до свидания. Потом поделим.

— Нет, такое дело не для меня.

— Почему?

— Я университет окончил.

— Университет? Ну, так повесь его кошке под хвост. Вот университет, который ты здесь закончишь, может быть, еще и принесет тебе что-нибудь в жизни, а тот, который ты закончил, повесь кошке под хвост. Что он тебе даст?

— Я могу стать большим чиновником.

— Для этого сначала надо научиться опустошать кошельки.

— Я могу быть министром.

— Можешь, но и этого тебе не достигнуть, пока не научишься опустошать кошельки. Думаешь, так и пройдешь всю жизнь с университетом да со стихами. А ну, давай, ты пиши стихи, а я буду воровать, а лет этак через двадцать встретимся. Запомни, встретимся! И если я к тому времени не буду депутатом Скупщины, то уж по крайней мере буду председателем учредительного или контрольного совета какого-нибудь банка. Ты пройдешь мимо меня в истертых брюках и с истертым умом и, скинув передо мной шапку, поклонисься, выразишь мне свое почтение и предло-

Жишнь за пятьдесят динаров написать поздравление в стихах ко дню моего рождения.

Верю, появится, может, к тому времени одна или две книжки твоих стихов, за твоей подписью, но к тому времени появятся уже сотни тысяч акций с моей подписью. С каждым днем цена на твои книжки будет падать, а цена на мои акции будет расти; твою книгу оценят по достоинству двое-трое таких же, как ты, а мои акции будут цениться даже на бирже. Над тобой будут смеяться, когда ты пойдешь по Торговой улице, а обо мне будут говорить с уважением. Не так ли?

В глубоком изумлении я слушал этого жулика, с которым мне действительно предстояло встретиться через двадцать лет.

— Ну, а раз ты это признаешь, то скажи сам: какой, по-твоему, университет для жизни нужнее — тот ли, который ты закончил, или этот, который я сейчас заканчиваю? Подумай хорошенько, подумай!

И я думал, долго думал, так как тюрьма, пожалуй, самое подходящее место для размышлений, а размышления — это единственное бесплатное и безопасное развлечение человека. Только нужно уметь думать. Много еще на свете людей, которые и этого не умеют.

Моя теперешняя кухарка, тетя Лена, твердит, например, что не умеет думать так же, как не умеет готовить кнедли с сыром и пироги с орехами.

— Ну, хорошо, тетя Лена, а в молодости вы ведь, наверное, умели думать?

— Нет.

— Вы ведь вдова, значит были замужем. Так неужели перед свадьбой, когда вы решали, выходить или не выходить за покойного, неужели вы и тогда не подумали?

— Нет.

— Как же так?

— Да мы с покойником еще до этого друг друга узнали, а как наше знакомство на седьмой месяц пошло, тут уж я без раздумий за него вышла.

— Хорошо. Это действительно вполне возможно. Ну, а когда вы познакомились с покойником и когда вас это знакомство должно было довести до седьмого месяца, неужели вы и тогда не подумали?

— Нет.

— Как же?

— Да в такие моменты обычно не думают.

— Вы с мужем прожили один год и остались вдовой, без защиты, без опоры, а жизнь такая трудная! Может быть, вы хоть в то время о чем-нибудь думали?

— Нет, и тогда не думала.

— Почему?

— Молодая была и красивая.

— Конечно, конечно. Но, тетя Лена, с тех пор прошло много времени, прошла и молодость и красота, и, вероятно, вы часто попадали в положение, когда было над чем задуматься?

— Было, но я не думала. Не умею, не учили меня, потому и не умею.

— Как же так, не умеете?

— Вот так! Весь день на работе, где уж тут думать, все думы на вечер оставляю, а вечером как лягу, укроюсь с головой и говорю сама себе: «Ну, давай, Лена, подумаем о том-то и о том-то». И поначалу вроде получается, а потом как начнут мысли друг друга перегонять и сама не заметишь, как улетишь в тридевятое царство. Вот так, не умею думать — и все.

Но подобные случаи не единственные. Один начальник канцелярии признавался мне, что он не умеет думать, в чем он очень легко меня убедил. Но все же из учтивости я спросил:

— Да как же так, бог мой?

— Вот так, сударь, не умею. Принесу я домой бумаги по какому-нибудь важному делу, о котором нужно хорошенько подумать, прежде чем докладывать министру. Говорю себе: о, об этом следует серьезно подумать. Раскладываю бумаги на столе, опускаю голову на руки и начинаю думать. Но ход мыслей у меня разворачивается примерно так: «Иск акционерной компании — спор ни в коем случае не административный, следовательно... Молодой инженер опять проходил мимо дома, а моя жена, кажется, смотрела в окно, во-общето... Только бы мне узнать, зачем это Антоний Джорджевич надстроил третий этаж в своем доме, ведь если принять во внимание, что... надо бы завтра напомнить господину Паничу, чтобы он не смел боль-

ше приводить свою охотничью собаку в канцелярию, этак до чего же мы докатимся, если все чиновники начнут приводить своих домашних животных в канцелярию, что вообще-то... Надоел мне этот красный перец, надо завтра сказать Нате, чтобы приготовила, ну, скажем... М-да, хорошо, а зачем Петкович вдруг объявил банкротство? Дела у него шли отменно, или это, может быть...» — И тут вдруг вздрагиваю и вспоминаю, что передо мной бумаги и я собирался над ними серьезно подумать. Встряхнусь, возьму себя в руки и снова принимаюсь размышлять: «Иск акционерного общества — спор ни в коем случае не административный, следовательно... Кто же написал анонимное письмо министру о спекуляции дровами, предназначенными для отопления министерства? Не иначе как Арса, писарь из третьего отделения, а этот самый Арса... Жаль, что сломался мой янтарный мундштук, я так его любил... Как бы подкараулить этого инженера возле окна да вылить ему на голову стакан воды...» — Вот так и идет. А все оттого, что не умею думать.

А каким замечательным госпиталем для тех, кто не умеет думать, могла бы быть тюрьма, хотя правительство предназначало ее только для политических заключенных, то есть как раз для тех, кто умеет думать. Совершенно изолированный от шумной жизни, от людской суматохи и движения, человек между четырьмя тюремными стенами, подобно одинокому, как Робинзон, хранителю маяка, наблюдающему, как бушует стихия у подножия его убежища, погружается в свои собственные мысли, которые, словно рефлектор, освещают все предметы вокруг.

А какая удивительная панорама открывается перед глазами, если посмотреть на мир сквозь такую линзу, как глазок тюремной камеры!

Жизнь, как река в половодье, течет, не разбирая дороги, уничтожая преграды, размывая берега, смывая плотины, заливая луга и унося с собой все, что встретит на своем пути, все, что не может устоять. Целая толпа человеческих достоинств и слабостей продефилирует перед линзой этого удивительного бинокля. Сколько нового, сколько интересного и сколько правдивого — чего невозможно увидеть простым глазом!

Я все это видел еще тогда, когда сам был на той же стезе, но отсюда, сквозь увеличительное стекло, все выглядит совсем иначе. Вот, например, Невинность, в короткой юбке выше колен, в ажурных чулках, сквозь которые просвечивает розовая кожа, в прозрачном платье, сквозь которое видны очаровательные изгибы тела, и декольтированная так, что видны полные груди. Вот Уважение одело смиренную рубашку, напялило на голову пестрый колпак с бубенцами и скачет, заливаясь истерическим смехом и выкрикивая что-то несуразное. А вот и Добропорядочность выпятила сытое брюхо, как у роженицы, задрала голову и только глазами по сторонам поводит, в ожидании, пока люди скинут перед ней шапку и поклонятся в пояс. А вот сразу следом за ней Тщеславие, скорее голое, чем одетое; тонкая кожа обтянула кости, так что каждое ребро видно; высохшие груди, гнилые зубы, щеки, горящие неестественным румянцем, а на бровях по полпуда сажки, как у тех девок, которых ловят по улицам ночные патрули. Вот и Гордость, нацепила сзади три лисьих хвоста, воткнула в шляпу несколько раскрашенных гусиных перьев, задрала голову и становится поперек дороги каждому третьему прохожему. Вот и Злоба, со вкусом разодетая, любезная и предупредительная, с теплой усмешкой на губах и с кошачьим взглядом. Вот почти до смерти заезженная Правда — заменила выпавшие зубы вставными, задрала юбку так, что видно нижнее грязное белье, нацепила на нос темные очки, чтобы спрятать от людей свои косые глаза, подсунула под лифчик по клубку шерсти, чтобы подремонтировать опавшие груди, которые и по сей день все еще сосет человечество. А вслед за ними и многие, многие другие: Патриотизм, Лицемерие, Эгоизм, Достоинство, Порок, Ложь и Истина и все прочее, что вблизи, когда ты рядом с ним, кажется совсем не таким, каким видишь его сквозь линзу бинокля.

Линза — глазок тюремной камеры — обладает и другой особенностью настоящего бинокля. Когда смотришь через маленькое стекло в большое, предмет уменьшается, и наоборот. Это очень интересный эксперимент, и его очень легко проделать с таким биноклем, как глазок тюремной камеры.

Посмотришь, например, на какого-нибудь полити-

кана с одной стороны — и видишь политического деятеля, великого государственного деятеля, чье каждое слово означает эпоху в развитии государства, чей каждый шаг — это шаг истории; толпы людей преклоняются перед его мудростью. Такие деятели заменяют олимпийских богов, живших когда-то среди людей. А повернешь бинокль, посмотришь с другой стороны — и увидишь жалкого государственного чиновника, увидишь себялюбца, каждое слово которого пропитано расчетом и лицемерием, каждый шаг которого — это очередная попытка ограбить. Толпы платных агентов кланяются ему, превозносят его, а он, как меняла из ветхого завета, зашел в храм господний в надежде поторговать.

А бывает и так: с одной стороны видишь увеличенное в несколько раз благородство известного мецената и филантропа. Его заботливая рука ублажает всякое несчастье и горе, его благородное сердце отзывается на всякую невзгоду. Он уже много слез осушил, многие страдания облегчил, многие несчастья отвел, обездоленные считают его при жизни святым, и душе его после смерти уже обеспечено место в раю. А поверни бинокль — и увидишь закоренелого злодея, замучившего поборами многих бедняков, дотла разорившего многие и многие семьи, отнимавшего последний кусок у ближнего, а теперь с помощью мелких подачек рекламирующего в газетах свое благородство, не затем ли, чтобы усыпить свою совесть и усыпить бдительность представителей власти, которые сквозь пальцы смотрят на бездушных злодеев, спрятавшихся под масками благодетелей.

Затем можешь увидеть великого литератора или ученого, от которого всегда ждут последнего слова, имя которого в любом списке пишется первым и произносится с уважением. Люди, окружающие его, все время удивляются и тому, что он уже написал, и тому, что он еще напишет, лавровый венок украшает его чело, и двери пантеона широко распахнуты перед ним. А повернешь бинокль другой стороной — и увидишь обычного профессора, каких у больших народов насчитывают сотнями, увидишь человека, который всю жизнь переливает из пустого в порожнее, увидишь ученого, который, как какая-нибудь модистка, каждые шесть месяцев рекламирует новый товар, ко-

торым запасся на данный сезон, и мимоходом напоминает, что залежалый товар распродается по сниженным ценам, увидишь человека, который на нашей простоте строит свое ложное величие.

А сколько других, сколько совсем других картин можно увидеть, если посмотреть на людей сквозь стекла, которые увеличивают или уменьшают. А эти стекла — глазок тюремной камеры, с помощью которого видишь лучше, чем с помощью самого что ни на есть совершенного американского бинокля.

АРМИЯ

Только два раза с человека снимают мерку — один раз, когда он отправляется в армию, и в другой раз, когда он отправляется на тот свет. Когда снимают мерку с мертвого — это понятно, в этом есть практическая необходимость, но зачем снимают мерку с призванного в армию — это совсем непонятно. Говорят, измерять новобранцев необходимо потому, что в армию не берут узкогрудых, но, по-моему, в армии узкогрудых больше, чем где бы то ни было.

Сам процесс снятия мерки с новобранцев называется медицинской комиссией. Через такую комиссию человек проходит тоже два раза: когда он обеспечивает свою жизнь вступлением в страховое общество и когда он обеспечивает себе смерть вступлением в армию. И как ловкий агент страховой компании уверяет вас: «Застраховывайте вашу жизнь, чтобы спокойно умереть!» — так и командир взвода воодушевляет вас: «Умирайте спокойно, чтобы вечно жить!»

Разумеется, этим я вовсе не хочу сказать, что, уходя в армию, вы заранее обрекаете себя на смерть. Если бы это было так, это было бы бесчеловечно. Армия — это своего рода лотерея, в которой гораздо чаще вытаскиваешь несчастливый билет; вступив в армию, человек словно приобретает несколько лотерейных билетов, из которых лишь некоторые приносят выигрыш. Но зато это выигрыш в полном смысле этого слова.

Все это очень толково и доходчиво разъяснил капитан Люба, всячески старавшийся убедить нас в том, что воинская служба — это и есть земной рай: «На

войне никому не дано знать, кто погибнет, а кто нет. Чаще всего погибает именно тот, кто надеется выжить, а выживает тот, кто думает, что погибнет. Конечно, для поддержания порядка и дисциплины было бы гораздо лучше, если бы было заранее известно, кто погибнет, а кто нет. «Столько-то и столько-то должны сегодня погибнуть», — говорит мне командир, а я, как полагается, приказываю: «Ты, ты, ты, ты и ты — в расход!» Ты прекрасно погибаешь, и дело сделано, и списки в порядке, и человеку не служба, а одно удовольствие. А там еще неизвестно, как дело обернется, ведь не всякая пуля в цель попадает. Твое дело — погибай, а уж если не погибнешь, ты не виноват».

Может быть, именно поэтому мне и показалось, что комиссия, производящая осмотр новобранцев, очень похожа на ветеринарную комиссию на бойне, отбирающую все годное на убой. В самом деле, у комиссии, осматривающей рекрутов, та же удивительная логика: неспособных жить она объявляет неспособными умереть, а способных жить она признает способными умереть.

Как только комиссия осмотрит вас и признает годным, вас сразу же остригут наголо и оденут в форму установленного образца. С этой минуты вас начнут приводить к единообразию. Вы приходите в армию, имея две скулы, но начальник считает, что солдату вовсе незачем иметь их так много, и поэтому вам в самом начале службы из двух скул сделают одну.

Единообразие в армии сводится к тому, что каждый острижен наголо, одет в форму и ни о чем не думает. Особенно важно не думать — это одно из самых необходимых условий единообразия.

— Солдату думать не положено! — объяснил нам капрал. — Что бы делал господин майор, если бы мы все думали. Солдат должен слушать и исполнять, а не думать!

Так и не знает человек, что же ему в конце концов делать — думать или не думать. В школе тебе внушают: «Учись, сынок, думать. Тяжело тебе придется в жизни, если ты не научишься думать!» Кончишь школу, попадешь в армию, а тебе кричат: «Не смей думать! Ты сюда не за тем пришел, чтобы думать!»

А женишься, жена зудит: «Мое дело жить да за порядком в доме следить, а думать твое дело». Но государству это опять не нравится, и оно сажает тебя на два года в тюрьму за то, что ты думал.

Вот и попробуй решить, что лучше — думать или не думать. Те, кто думает, утверждают, что лучше не думать, а те, кто не думает, твердят, что лучше думать. Один неудачник жаловался мне:

— Пока я думал да раздумывал, мой брат денежки копил. И вот теперь он богатый человек, а я в пустые кулаки дую.

— Когда я о чем-нибудь долго думал, обязательно наоборот выходило, а если не раздумывая за дело брался, все хорошо получалось,— уверял опытный человек. Так говорят те, кто раскаивается, что потратил много времени на раздумья, то же самое можно услышать и от тех, кто ни разу в жизни не думал.

— Если бы я раньше хоть немножко подумала, я бы, конечно, за тебя не пошла! — кричит молодая жена своему старому мужу.

— Не подумал я, братья, а если бы подумал, этого бы не случилось,— причитает тот, кто уже не может вернуть потерянного.

И, слушая эти жалобы, нельзя не спросить: что же лучше — думать или не думать? Мне кажется, что тут все зависит от профессии. Есть такие профессии, которые требуют умения думать, но существуют и такие, где это вовсе не обязательно. Так, например, обязательно должны думать шоферы, стрелочники, летчики, машинисты и лоцманы. От государственных деятелей, профессоров, литераторов, высших и низших чиновников, священников и офицеров этого вовсе не требуется.

Как только ты надел форму и перестал думать, ты уже не человек, а солдат, тебя ставят в строй и прежде всего учат равняться. Цель равнения, которому в армии уделяется особое внимание, состоит в том, чтобы всех подравнять по ниточке и приучить не вылезать вперед. Военские начальники тратят очень много сил и времени на привитие этих полезных навыков, так что в конце концов стремление к равнению входит в привычку. Но все же, стоит только человеку расстаться с армией, как он сразу же утрачивает эту замечательную привычку. Вероятно, это происходит

потому, что в жизни гораздо больше ценится стремление вылезти вперед.

В армии тебя учат не только равняться, но и ходить в ногу. Ты не смеешь ни отставать, ни вырываться вперед, а должен идти точно таким же шагом, как и тот, кто идет впереди или позади тебя. И тут твой университетский диплом ни в чем не поможет тебе, он не даст тебе права идти более крупными шагами. Нет, ты должен идти в ногу со всеми, точно такими же шагами, как и тот, кого до армии ни разу не стригли и кто в армии в первый раз услышал свою фамилию.

Помню, однажды в Македонии довелось мне видеть лошадь и осла, запряженных в одну повозку. Они тоже должны были идти в ногу. И как бедная лошадь ни пыталась сделать хоть один крупный шаг, чтобы везти телегу быстрее, все ее попытки разбивались об ослиное упрямство. Осел никак не хотел идти быстрее, а иногда и вовсе останавливался или, по свойственной ослам философской рассеянности, тянул совсем в противоположную сторону. Если бы в армии разрешалось думать, я обязательно вспомнил бы об этом случае: уж очень подходящее сравнение.

Когда вы овладеете искусством ходить в ногу, вас начнут учить топтать ногами. Умение топтать ногами имеет в армии большое значение. Если взвод научится топтать ногами так, чтобы из-под каблуков искры летели, то командир взвода получит особую благодарность. Я и сейчас не знаю, для чего нужно, чтобы солдат на марше так топал ногами. Правда, может быть, это требование соответствует параграфу устава, в котором говорится, что «цель всякого движения заключается в преодолении известного расстояния за известное время с *наименьшей затратой сил*», а может быть, это просто услуга, которую армия оказывает общине и государству, утрамбовывая булыжную мостовую в городе и проселочные дороги в провинции.

Цель топанья так и осталась бы для меня непонятной, если бы мне не объяснили, что его как важнейшую составную часть военного обучения придумали и заставили внести в устав поставщики армейской обуви.

Когда ты научишься равняться и ходить в ногу, тебя начинают учить приветствовать начальника. Если ты не поприветствовал кого-нибудь, находясь в обществе, это просто невежливость, но если ты не поприветствовал кого-нибудь, находясь в армии, это уже целое преступление. Вот почему умению приветствовать в армии уделяется особое внимание, и в воинских уставах на этот счет содержатся исчерпывающие и совершенно ясные требования. Из этих уставов солдат прежде всего обязан усвоить, что, встретив начальника, он должен повернуть голову в сторону начальника, а не в противоположную сторону, как это обычно бывает. Кроме того, солдат должен выучить другой важный параграф, согласно которому он обязан приветствовать начальника в тот момент, когда проходит мимо него, а не тогда, скажем, когда уже прошел. «Но при известных обстоятельствах, очень мудро замечает устав, «солдат может приветствовать начальника и раньше, нежели это указано в данном параграфе, если заметит, что начальник посмотрел в его сторону и, вероятно, больше уже на него не посмотрит». Поистине это отрадное явление, когда уставы предоставляют солдату такую свободу действия.

В целом обучение приветствиям не относится к числу тяжелых упражнений в армии, и все же некоторые параграфы устава приводили меня в замешательство. Мне было ясно, как должен приветствовать рядовой солдат, но в уставе говорилось и о том, как должны приветствовать начальников барабанщики и трубачи. И это можно было бы еще понять, если бы устав не обязывал каждого музыканта приветствовать начальника «в соответствии с особенностями своего инструмента». Это было выше моего понимания. Скажем, если флейтист захочет приветствовать начальника «в соответствии с особенностями своего инструмента», он, лишь только офицер приблизится к нему, должен свистеть. Ну ладно, это понятно. Скажем, и барабанщик, если он хочет приветствовать начальника в соответствии с особенностями своего инструмента, обязан при приближении офицера стукнуть кулаком по спине первого, кто подвернется под руку. Хорошо, это тоже ясно. Но вот как «в соответствии с особенностями своего инструмента» должен приветствовать

начальника тот, кто играет на геликоне и басы? Ведь такое приветствие, выполненное «в соответствии с особенностями инструмента», может показаться даже неучтивостью.

Когда ты овладеешь этим важным делом, то есть умением приветствовать, тебе дают винтовку, и с этой минуты не винтовка принадлежит тебе, а ты винтовке, то есть винтовка — это главное, а ты своего рода приложение к винтовке. Ты можешь, например, быть грязным, но винтовка должна быть чистой; тебе могут запросто свернуть нос, оторвать ухо или сломать палец, но на винтовке не должно быть ни одной царапины. Ты можешь исчезнуть, можешь даже погибнуть, если возымеешь такое желание, одним словом, можешь быть вычеркнут из списков, но винтовка и в этом случае должна остаться в списках. Если ты заболеешь, скажем, малярией, или вывихнешь ногу, или у тебя заболит живот, или почка отделится от позвоночника, они посылают тебя в амбулаторию. Там тебе дадут несколько граммов хины, пожужжат тебе несколько дней над ухом и отправят обратно в строй, но если с винтовкой что-нибудь случится, то создадут комиссию, обследуют винтовку со всех сторон, изучат все обстоятельства дела, составят подробный доклад, тщательно упакуют пострадавшую и отошлют в ремонт, откуда она вернется в строй абсолютно здоровой. Тебя забирают из дома в армию и не оставляют твоим родителям никакой расписки; вернешься ли ты через два года или не вернешься, никому до этого нет дела. А винтовку можешь взять только под расписку, причем в расписке указываешь, что получил винтовку в исправном состоянии и в таком же виде обязуешься вернуть. А если не вернешь, то начнутся следствия, рапорты, комиссии, дознания, и уж тогда не возрадуешься.

Сначала учат стрелять холостыми. И если бы на том и остановились, то каждый уносил бы из армии поистине ценные знания. Стрельба вхолостую получила очень широкое распространение. Большею частью она применяется в политике, но так же часто и в науке и в литературе, а чаще всего в личной, особенно в семейной, жизни.

Но в армии не останавливаются на стрельбе холостыми. В один прекрасный день кладут тебе на ла-

донь боевой патрон, а на известном расстоянии ставят мишень — чучело, напоминающее человека, и ты учишься в него попадать. Чучело хладнокровно и смело стоит перед дулами направленных на него винтовок, наивно полагая, что человеколюбие все же одержит верх у большинства солдат и они промажут, что обычно и бывает.

Я всегда придерживался того мнения, что это чучело следовало бы одеть в форму окружного начальника. Этим можно было бы достигнуть двух целей: во-первых, подавляющее большинство наших солдат — выходцы из народа — целились бы лучше и стреляли бы во много раз точнее, а кроме того, еще в армии эти солдаты получали бы очень хорошую практику, которая им так часто бывает необходима в жизни, когда они выходят из-под власти начальников. А ведь в этом как раз и заключается смысл уставного положения, согласно которому: «Цель обучения одиночного стрелка состоит в том, чтобы научить его самостоятельно, сознательно и решительно выполнять свой долг в бою даже тогда, когда он выйдет из-под контроля начальников».

Когда новобранец научится равняться, ходить в ногу, стучать каблуками о мостовую, приветствовать начальников и без раздумья стрелять в людей, тогда можно считать, что он уже наполовину солдат. Вторая половина — это усвоение теории.

«Солдат состоит из теории и практики!» — говорил нам капрал, который, конечно, ниоткуда не мог вычитать эти мудрые слова, но раз говорил, значит, где-то когда-то слышал.

Я не знаю, как можно представить себе человека или, если хотите, солдата, составленного из теории и практики. Но солдаты представляют это, вероятно, так: рекрут, которого только что заставили расстаться с домом, — это только еще теория. А тот же самый рекрут, когда он научится равняться, ходить в ногу и топтать ногами, — это уже соединение теории с практикой, это уже солдат. Винтовка в руках рекрута, не умеющего стрелять, — это только теория. Но когда рекрут научится убивать людей — это уже практика, которая в соединении с теорией дает законченного солдата.

Вообще теоретические занятия — это как раз то, что приносит солдатам наибольшую пользу. Именно на этих занятиях мы приобрели самые широкие и самые необходимые знания. Так, например, на теоретических занятиях мы узнали от капрала, что такое родина и что такое щетка, кроме того, узнали, что такое государство и что такое котелок, что такое победа и что такое скребница, а также приобрели очень много других полезных знаний, о которых и рассказать трудно. Кроме всего прочего, на теоретических занятиях мы слышали от капрала, что каждый серб всю свою жизнь до самой смерти, считается солдатом. «Ты отслужишь свой срок и пойдешь домой, но и дома ты все равно солдат, и думать не смей о том, что в армии тебя вычеркнули из списков. Нет, брат, пока ты жив, тебя в любой день могут призвать, если понадобится родине».

Спустя много лет я на собственном опыте убедился в том, что капрал был прав: человек и в самом деле всю жизнь не может расстаться с армией и по первому требованию обязан явиться в полк.

Однажды, через несколько лет после окончания службы, я получил через полицию акт, в котором говорилось, что, уходя из армии и сдавая казенное имущество, я не вернул в интендантство скребницу, и поэтому мне надлежало явиться в N-скую часть, в третий отдел, и возратить ее. Я прочел этот акт и на обратной стороне написал четко и ясно, что я служил в пехоте и поэтому не мог иметь никакой скребницы, а уж если бы и имел, то непременно сдал бы ее. Я считал, что достаточно написать такое объяснение, чтобы меня оставили в покое. Но оказалось, что это совсем не так.

Года два меня действительно не беспокоили. Но в один прекрасный день опять появился акт, в котором мне предлагали вернуть скребницу. Я ответил так же, как и несколько лет назад, но это мне ничуть не помогло: куда бы я ни поехал, злополучный акт следовал за мной по пятам и требовал, чтобы я вернул скребницу. Я переходил из министерства в министерство, менял профессии, но акт неизменно сопровождал меня и требовал возратить скребницу. Я уехал служить за границу — акт прибыл и туда; я поехал лечиться на курорт — акт отправился следом за мной;

я попытался поселиться в деревне, но и там мне не удалось укрыться от акта, требовавшего вернуть скребницу.

Когда я, наконец, увидел, что эта скребница может меня свести с ума, я, чтобы избавиться от такой напасти, взял однажды преследовавший меня акт и собственноручно повез его в N-скую воинскую часть, в третий отдел, где меня очень любезно принял один интендантский капитан. Я объяснил ему, в чем дело.

— Служил,— говорю,— в пехоте, и поэтому скребница была мне совсем не нужна, вероятно, здесь какое-то недоразумение. Другое дело, если бы от меня вдруг потребовали одеяло, это мне понятно, каждый солдат получает одеяло, но скребницу! Ну, скажите, пожалуйста, зачем пехотинцу скребница?

— Правильно, правильно! — с жаром подтвердил капитан, взял ручку, записал все мои объяснения и проводил меня, успокаивая: — Вы хорошо сделали, что сами приехали и все объяснили; давно бы надо было так сделать, и вас бы не беспокоили.

Я ушел со спокойной душой и успокоившимися нервами, но, как говорил капрал: «И думать не смей о том, что в армии тебя вычеркнули из списков. Нет, брат, пока ты жив, тебя в любой день могут призвать», — так и получилось: через год в полицейском участке опять появился акт, в котором мне предлагалось вернуть скребницу и... одеяло. И этот акт пристал ко мне и начал гоняться за мной из канцелярии в канцелярию, из страны в страну, из года в год, так что у меня опять появились признаки расстройства нервной системы, и я уж начал вынашивать мысль: или отказаться от сербского подданства, или покончить жизнь самоубийством. Наконец, как в прошлый раз, я взял акт и отправился в N-скую воинскую часть, в третий отдел, но там я уже не застал моего знакомого интендантского капитана, а встретил меня какой-то заштатный капитан.

— Разумеется! — воскликнул он после того, как я рассказал ему все по порядку. — Вся ошибка заключается в том, что мой предшественник неточно записал ваши объяснения. Откуда у вас может быть скребница? Какая ерунда, пехотинец и — скребница, но вот что касается одеяла, то его вам надо было бы

вернуть. Съесть вы его не могли, так что вам следовало бы его вернуть. Другое дело, скажем, котелок. Солдат действительно в большинстве случаев теряет свой котелок, если его у него не украдут.

— Да, котелок — это совсем другое дело, — соглашайся я и ухожу, обрадованный тем, что мне, наконец, удалось все разъяснить и навсегда оградить себя от напасти, начавшей преследовать меня даже во сне.

И как хорошо и приятно я чувствовал себя в течение нескольких лет! Но вот однажды в один из городских полицейских участков опять пришел акт, в котором интендантская служба требовала, чтобы я вернул скребницу, одеяло и котелок. И с тех пор вот уже несколько лет подряд проклятый акт непрерывно гонится, гонится и гонится за мной, так что днем я постоянно шепчу, а ночью постоянно вижу во сне скребницу, одеяло и котелок.

Эти три предмета до того измучили меня и так вошли в мою плоть и кровь, что, если бы у нас не дай бог существовали дворянские привилегии, я бы свободно мог составить из них свой фамильный герб: на широком поле развернутого одеяла — скребница и котелок.

Но все же именно таким образом я убедился в том, что капрал был прав: серб всю жизнь должен быть солдатом или по крайней мере поддерживать связь с армией. Знай я об этом раньше, я бы мог остаться в армии, тем более, что для меня открывались весьма широкие перспективы для быстрого продвижения по службе. Вот, например, исполнилось уже сорок лет, как я ношу звание капрала сербской армии, и если бы я по стольку же лет пребывал в каждом чине, то мог бы в один прекрасный день, прослужив лет сто двадцать, добраться и до фельдфебеля.

А вообще-то в моем воинском звании есть особое очарование. Оно заключается в том, что я старейшина сербских капралов, а кроме того, еще и в том, что Наполеон и я — два самых знаменитых капрала в европейских армиях. Наполеон знаменит тем, что свое звание капрала заменил императорским титулом, а я тем, что свое звание капрала целых сорок лет ничем другим не заменил.

БРАК

Моя тринадцатая любовь — это моя жена. Я давно знал, что тринадцать — число несчастливое, но я никогда не думал, что оно и в любви приносит несчастье. Если бы я знал об этом заранее, то влюбился бы сразу не тринадцатый, а четырнадцатый раз или, может быть, записал бы тринадцатую любовь под номером 12/а.

Но иногда и 12/а может привести к большим неприятностям. Помню одну курортную гостиницу, хозяин которой, желая угодить своим суеверным постояльцам, исключил число тринадцать из обихода, и две комнаты в его гостинице носили номер двенадцать — 12/а и 12/б. В этих комнатах поселились две супружеские пары, которые вначале постоянно ошибались дверями, а потом все так перемешалось, все так по-курортному перепуталось, что наконец и сам полицейский комиссар вынужден был вмешаться, чтобы установить, кто из комнаты «а», а кто из комнаты «б». И в конце концов это еще можно понять: из-за комнаты № 13 разбить чужую семейную жизнь, но из-за этой роковой цифры обрести свою собственную семейную жизнь — такое могло случиться только со мной.

Я женился вскоре после того, как вышел из тюрьмы, так что даже не успел по-настоящему почувствовать то наслаждение, которое испытывает заключенный, дождавшийся освобождения. Из школы — в армию, из армии — в тюрьму, а из тюрьмы — в семью. Кажется, так оно и должно быть в жизни: в школе приобретаешь знания, необходимые для жизни, а в армии и в тюрьме готовишься к семейной жизни. В армии учишься подчиняться дисциплине и безоговорочно выполнять приказания, а в тюрьме учишься не участвовать в жизни и смотреть на нее только сквозь решетку окна.

Такое сравнение семейной жизни с армией и тюрьмой так же отвратительно, как и неточно. Можно еще допустить, что есть нечто общее между семьей и армией, но между семьей и тюрьмой нет ничего общего. В армии, например, учат не только беспрекословно слушаться, но и ходить в ногу, что очень важно в семейной жизни; кроме того, в армии учат по команде

поворачиваться направо и налево, что также находит свое применение и в семейной жизни; в армии учишься караулить, что очень часто может потребоваться и в семейной жизни; учишься быть храбрым и смело бросаться на противника, что не мешает тебе спасаться бегством, и это также случается в семейной жизни; наконец, учишь, что такое столкновение, наскок, рукопашный бой, внезапное нападение, поспешная оборона, атака с фланга, тревога и ночной караул. Все это очень часто бывает и в семейной жизни.

А вот про тюрьму никак нельзя сказать, что она имеет много общего с семейной жизнью. О браке можно сказать, что это клетка, из которой все пойманные пташки стремятся вырваться, но в которую все свободные пташки мечтают попасть. И все же между тюрьмой и семьей есть кое-что общее, но только кое-что, не больше. Общее заключается в том, что семейная жизнь — это тоже каторга; первые пять лет ходишь закованный в тяжелые цепи, затем пять лет в легких кандалах, еще пять лет совсем без кандалов и, наконец, еще пять лет заключенный живет совсем свободно, гуляет, где ему заблагорассудится, и только вечером возвращается в тюрьму, чтобы переночевать.

Но есть еще одно большое различие между браком, тюрьмой и армией, а также между школой и браком, со всей очевидностью свидетельствующее о том, что брак вообще нельзя ни сравнивать, ни искать в нем какие-либо общие черты с упомянутыми выше учреждениями. И школа, и армия, и тюрьма имеют каждая свой определенный срок службы, тогда как семейная жизнь его не имеет. Тебе известно, например, сколько лет ты будешь учиться в школе, ты постараться и кончишь ее, а когда получишь диплом, никаких дел со школой у тебя уже нет. Точно так же и в армии, где срок службы ясен и определен законом, и, наконец, точно так же и в тюрьме: осудят тебя, объявят приговор, и, даже если тебя приговорят к двадцати годам каторги, ты все-таки знаешь, когда кончится твое заключение, и ждешь этого дня, как бы далек он ни был. В браке такого срока нет, и поэтому можно понять грешника, который после двадцатипятилетней супружеской жизни в день серебряной свадьбы обратился бы к жене с такой речью: «Ви-

дишь ли, дорогая, если бы я тебя двадцать пять лет тому назад, в день нашей свадьбы, или, скажем, на другой день, убил, сейчас я бы отбыл двадцать лет каторги и уже пять лет как был бы свободен, а так...»

И действительно, если бы в будущем предполагалось провести реформу в области семейных отношений, то прежде всего следовало бы определить срок пребывания в браке.

Если брак — это своеобразный долг перед человечеством, то ведь долг только тогда и считается долгом, когда имеет определенный срок. И самое главное, если бы был определен срок пребывания в браке, то, вероятно, можно было бы всю супружескую жизнь поставить на финансовую основу. Каждый год можно было бы проводить инвентаризацию, подводить баланс, утверждать активы и пассивы, и если бы пассив оказывался больше, чем актив, то отсылать ключи в торговый суд. А пока этого нет, брак скорее напоминает акционерное общество, дивиденды с которого получают иногда тещи, свекрови и свояченицы, а иногда и друг дома.

И если брак — это действительно долг перед государством, то нужно было бы сделать так, чтобы государство поощряло за честное и добросовестное выполнение этого долга. Не думаю, чтобы государство стало награждать медалями за храбрость, за гражданские заслуги и за безупречную службу, хотя такие отличия были бы очень уместны и в браке, но все же следовало бы найти, может быть, другой способ для поощрения тех, кто до конца своей жизни добросовестно выполняет свои супружеские обязанности.

Одному моему приятелю, занимающемуся изучением вопроса об отношении государства к семье и браку, пришла счастливая мысль. Он утверждал, что в супружеских отношениях произошли бы серьезные изменения, если бы был введен брак по указу. Я не знаю, как, по его мнению, выглядели бы эти браки по указу, но мне кажется, что в таком случае государству пришлось бы скреплять своей печатью не только сам акт вступления в брак, но и все перемещения, продвижения, предоставление пенсии, увольнение со службы за неспособность и, может быть, даже помилование от дальнейшего пребывания в браке.

Это были бы очень веселые указы, по которым мужья в интересах службы перемещались бы от одних жен к другим, чем было бы узаконено явление, так часто встречающееся в жизни; это были бы указы, по которым на основании статьи семидесятой мужья могли бы уходить в отставку, чем также было бы узаконено явление, которое часто встречается в жизни, и, наконец, увольнение с государственной службы, чем также было бы узаконено явление, которое часто встречается в жизни.

Я лично никогда не занимался размышлениями о реформе брака, так как убежден, что он уже давно и реформирован, и деформирован. По моему мнению, единственное, что можно было бы предпринять для улучшения супружеской жизни, — это постараться ее подремонтировать. Для того чтобы поддержать в порядке дом на каменном фундаменте, необходимо его ремонтировать, перекрывать крышу, достраивать, подкрашивать и подмазывать, а брак, построенный всего-навсего на взаимном обещании перед священником, никто никогда не ремонтирует. Об этом следовало бы серьезно подумать всем поборникам сохранения теперешних семейных отношений и постараться и супружескую жизнь время от времени перекрывать, достраивать, подкрашивать и подмазывать.

Но трудность проведения реформы в области брака заключается в том, что до сих пор никто не знает, что такое брак. Мало на свете явлений, о которых бы так много думали и так много говорили, как о браке, и мало таких явлений, о которых до сих пор сохранились бы столь различные и противоречивые мнения, исключаящие одно другое, начиная с самого банального: семейная жизнь — это ад, и кончая противоположным ему утверждением: семейная жизнь — это земной рай. Все остальные мнения колеблются между этими двумя крайностями, и, кажется, все зависит от того, кто высказывает мнение — неженатый или женатый, очарованный или разочарованный. Попытки науки вмешаться в объяснение брака как явления природы свелись к голословным заявлениям и праздному философствованию. Разве можно, например, считать решением проблемы заявление одного философа: «Брак — это моральное объединение, основанное на аморальных отношениях; стремление к утвер-

ждению своего Я, основанное на отрицании своего Я; удвоение своих обязанностей на базе отказа от половины своих прав».

Или вы, может быть, думаете, что другие науки, каждая со своей точки зрения, сумели сказать что-нибудь более определенное, чем философия? Мне кажется, если бы у них спросили, то они ответили бы примерно так:

История: Брак — это одно из весьма редких исторических явлений, когда победитель подчиняется побежденному.

Математика: Брак — это сумма двух неизвестных величин, из которых необходимо извлечь корень. В результате должен был бы получиться минус, но если в браке все же появится хоть один плюс, то такое уравнение заканчивается бракоразводным процессом.

Литература: Брак — это интересная повесть, а иногда и роман с очень красивым началом, напоминающим лирическую поэму, но часто с плохим содержанием и еще чаще с неожиданным концом.

Грамматика: Брак — это существительное мужского рода, но в жизни он подчиняется законам женского рода. В единственном числе может быть только в грамматике, а во множественном встречается лишь тогда, когда в нем участвует не больше двух лиц.

Геометрия: Брак — это две параллельные линии, которые тянутся рядом через всю жизнь и никогда не могут встретиться.

Физика: Брак — это такое явление, когда два тела для приобретения большей устойчивости имеют общую, но воображаемую точку опоры и поэтому очень легко теряют равновесие.

Химия: Брак — это соединение двух элементов, каждый из которых все же сохраняет свои особенности. Капля посторонней кислоты, попавшая в это соединение, вызывает в нем реакцию и разлагает его на составные части.

География: Брак — это два полюса, которые при сближении достигают температуры экватора, а при удалении возвращаются к своей полярной температуре.

Как видите, ни одно из этих определений ничуть не приблизило нас к решению вопроса, и, пожалуй, лучше оставить науку в покое и обратиться к людям. Брак — это учреждение, созданное человеком, а по этому ему и принадлежит прямое и неоспоримое право высказать о браке свое мнение. Разумеется, невозможно опросить всех, но если обратились бы к представителям отдельных профессий, то, как мне кажется, их ответы звучали бы примерно так:

Коммерсант: Брак — это коммерческое предприятие, которое может преуспеть только в том случае, если его не обкрадывают младшие компаньоны.

Солдат: Брак — это захваченная крепость, которая никогда не гарантирована в достаточной степени от нападений неприятеля.

Священник: Брак — это ежедневное «Отче наш», которое нет необходимости читать до конца. Достаточно попросить: «Боже, избави нас от лукавого...» — но все же многие добавляют: «...и не введи нас во искушение...»

Доктор: Брак — это яд, который сам в себе содержит противоядие. Больные лучше всего чувствуют себя при высокой температуре и очень плохо при нормальной. Диета в этих случаях не помогает, так как только ухудшает состояние больного.

Судья: Брак — это временное примирение двух враждующих сторон.

Аптекарь: Брак — это пилюля, изготовленная по устаревшему рецепту, подслащена, чтобы легче было глотать, и все же часто застревает в горле.

Журналист: Брак хорош только как передовая статья, но и то лишь в том случае, если в ней нет опечаток, искажающих смысл, а они почти всегда есть.

Книготорговец: Брак — это книга, которую с увлечением читают только в первом издании, а когда она устареет и станет классической, то теряет всякую ценность.

Железнодорожник: Вначале брак — это поезд для увеселительных прогулок, спустя некоторое время — уже пассажирский поезд, а потом — невыносимый товарный. Столкновения почти всегда происходят на разъездах.

Почтальон: Брак — это заказное письмо, попавшее не по адресу и представляющее интерес, пока оно не распечатано.

Телефонистка: Брак — это разговор двух абонентов, которые хорошо слышат друг друга лишь до тех пор, пока какие-нибудь внешние причины не нарушат связь или, что случается чаще, пока в разговор не вмешается третий.

Спортсмен: Брак — это прыжок, при котором неважно, высоко ли ты взлетишь, а важно, как приземлишься. Одни опускаются твердо, сразу на обе ноги, другие падают на колени, а некоторые теряют равновесие. Но наиболее часты случаи, когда опускаются на ту часть тела, которая предназначена для сидения.

Артист: Брак — это драма, которую никогда не выносят на суд зрителей, а если все-таки раздадутся аплодисменты, то, значит, пьеса сыграна плохо. В плохой игре чаще всего виноват режиссер, которого публика не видит, или суфлер, подсказывающий иногда такие слова, которых нет в тексте. Главные действующие лица, вопреки всем правилам драматургии, в первый акт вкладывают всю силу своего артистического таланта, движения их эмоциональны и выразительны, но в последующих действиях характеры героев мельчают, и спектакль заканчивается без всякого эффекта, поэтому до конца его лучше и не играть.

Вот всего лишь несколько мнений, но сколько самых различных взглядов и как мало отвечают они на поставленный вопрос: что такое брак? Говорят, что во всех случаях лучше всего обращаться к Опыту, ибо только Опыт может дать ответ, наиболее близкий к истине. Пришел я однажды к Опыту и спросил его:

— Что такое брак?

— Чтобы брак был для тебя тем, что ты хочешь, нужно, чтобы вас было трое...

— Знаю: муж, жена и друг дома.

— Не перебивай меня! — разозлился Опыт. — Брак состоит из трех составных частей: из любви, доверия и терпения. Есть ли у тебя любовь?

— Есть, ко всем женщинам.

— Ну, это даже больше, чем нужно. А доверие?

— У своей жены мне еще ни разу не удавалось заслужить доверия.

— Впрочем, любовь и доверие — это второстепенные факторы, они скорее являются декорацией брака. Главное — это терпение...

— Терпения у меня достаточно!

— Э, так вот тебе и ответ. Брак — это терпение.

Терпения у меня действительно было достаточно, но не могу не признаться, что за это я прежде всего должен благодарить своих критиков. Они все время так по-женски ругали меня, что в брак я вступил с уже укоренившейся привычкой переносить любую, самую ядовитую брань. Таким образом я и дожил до того дня, когда могу почти одновременно отметить юбилей своей литературной и супружеской деятельности, только, правда, результаты их не одинаковы.

НЕНАПИСАННАЯ ГЛАВА

В предисловии к этой книге я уже упоминал о том, что свою автобиографию закончу описанием женитьбы, ибо после женитьбы у человека уже нет автобиографии, а писать биографию я вовсе не собираюсь.

Я упоминал и о том, что дальнейшее описание своей жизни я поручил одному своему приятелю, так вот и эту ненаписанную главу я уступаю ему.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я собственно закончил свою автобиографию, но не кажется ли вам, что в ней чего-то недостает, что это еще не совсем конец! Примерно такое же чувство испытываешь в театре, когда там ставят настолько незаконченную пьесу, что даже после того, как занавес опустится в последний раз, публика все еще сидит и ждет продолжения.

А мне бы не хотелось оставлять своих читателей в положении публики, ожидающей продолжения, и поэтому я решил написать еще и эту, последнюю главу. В целом я уже почти примирился с тем, о чем пишут в последней главе биографии. Может быть, я примирился с этим несколько необычным образом, но все же примирился.

В последнее время молодой хозяин вновь организованного похоронного бюро, с которым я не имел чести быть знаком, начал проявлять ко мне особенно сердечное внимание. Когда бы я ни проходил мимо его заведения, даже если это случалось по нескольку раз в день, он любезно снимал шляпу и сердечно раскланивался со мной: «Добрый день!» Недоставало только, чтобы он сказал: «Добро пожаловать. Я уже заготовил для вас товар самого высшего качества и по особой цене!»

Вначале меня корбила такая любезность, и я еле сдерживался, чтобы не избить его. Но потом мало-помалу начал привыкать и в конце концов, проходя мимо, стал даже останавливаться перед витриной, чтобы полюбоваться гробами. Такие остановки повторялись изо дня в день и незаметно вошли в привычку.

Теперь я уже не только останавливался возле витрины, но и пускался в приятельские разговоры с молодым хозяином, который всегда стоял в дверях своего заведения.

— Как вы думаете, — спрашивал я его, остановившись возле витрины, — пойдет мне вот этот гроб?

— О сударь, я предложил бы вам именно этот! — захлебываясь от восторга, отвечал молодой хозяин.

— А он не будет мне мал?

— Одну минуточку, позвольте, — и, отскочив от меня шага на три-четыре, он смерил меня взглядом с головы до ног. — Уверю вас, сударь, он как будто специально для вас сделан.

— А вам не кажется, что он мне немного тесноват?

— Ну, может быть, и будет немножко тесно, но это только вначале, новые сапоги ведь тоже жмут, а потом, поверьте мне, вам в нем будет очень удобно.

— Да... вероятно... А как насчет прочности?

— О! Не беспокойтесь! — прервал он меня на полуслове. — Что касается прочности, то я могу вам дать письменную гарантию на пять лет.

Разумеется, когда мы ближе узнали друг друга, мы стали настолько откровенны, что однажды он, преисполненный восторга и гордости, изложил мне план моего погребения: во главе процессии понесут подушечки с орденами, потом венки, хоругви, потом пойдет хор певчих и так далее. Разумеется, он сразу пригласил меня в свое заведение и тут же продемон-

стрировал подушечки для орденов и погребальные одежды для хора певчих.

— Только, прошу вас,— прибавил он,— вы уж постарайтесь умереть летом. Летом день длиннее и церемонии не приходится сокращать.

Как видите, благодаря столь счастливой случайности я не только примирился с содержанием этой последней главы моей биографии, но и сделал все необходимые приготовления. Теперь мне остается только умереть, чтобы публика; ожидающая конца представления, могла разойтись по домам. Я обещаю вам, что и в этом отношении сделаю все от меня зависящее.

Но вот увидите, узнав о моей смерти, многие не поверят. Я так много смеялся над ними, что, вероятно, они и на этот раз подумают, что я опять пошутил. Нечто подобное произошло с Талейраном, в жизни которого политические трюки были столь частым явлением, что, узнав о его смерти, многие спросили:

— Для чего же он это сделал?

Вот почему, сообщая о моей смерти, необходимо быть особенно осторожным. В первый день следует опубликовать в газетах сообщение такого содержания: «Как стало известно, господин Нушич вчера умер». На следующий день можно было бы поместить такое объявление: «Все более и более подтверждается наше вчерашнее сообщение о том, что господин Нушич умер». И только на третий день уже можно будет заявить: «Как стало известно из хорошо информированных кругов, господин Нушич действительно умер».

А для того, чтобы у публики не осталось и тени сомнения, ко мне мог бы прийти какой-нибудь журналист, чтобы получить интервью. Но вполне вероятно, что к тому времени я уже не смогу отвечать на вопросы, и поэтому, думаю, будет лучше, если я заранее заготовлю это интервью. Собственно, интервью с покойным — это не такое уж необычное явление. Наоборот, в политике это случается довольно часто, и покойники не только пишут интервью с самими собой, но и передают их в различные газеты.

Правда, в данном случае интервью рассчитано только на то, чтобы подтвердить сам факт моей кончины, и у меня нет никаких других помыслов и претензий. Мое интервью выглядело бы примерно так:

Журналист. Я прислан к вам от редактора газеты «Светлост», чтобы спросить, не будете ли вы настолько любезны сказать мне несколько слов о вашей смерти.

Я (молчу, как и положено молчать покойнику).

Журналист. Итак, могу ли я рассчитывать на беседу?

Я (по-прежнему молчу, чтобы журналист мог окончательно убедиться в том, что я действительно мертв).

Журналист. Мне все же кажется, что я могу рассчитывать на вашу доброту.

Я (хоть и мертвый, но все же кричу). Точно так же, как и я рассчитываю на нахальство журналистов, которые и мертвым не дают покоя. Ну, так чем могу быть полезен?

Журналист. Ходят слухи о том, что вы умерли.

Я. Никогда не следует полагаться на слухи, хотя в данном случае они не лишены основания.

Журналист. Значит, можно считать, что вы действительно покойник?

Я. Рассчитывайте на это, как на факт, который может послужить вам исходным моментом для интервью.

Журналист. Могу ли я узнать, что вас толкнуло на такой шаг?

Я. Я уже давно вынашивал мысль покинуть этот свет.

Журналист. Были ли у вас какие-нибудь особые причины, для того чтобы умереть именно сейчас?

Я. Честно говоря, я был склонен отложить все это дело на неопределенный срок. Но это случилось помимо моей воли.

Журналист. Это очень интересно. Не смогли бы вы рассказать поподробнее?

Я. Извольте. Видите ли, случилось так, что несколько дней назад возле моей постели собрались доктора и, говоря на латинском языке, решили, что мне пора умереть. Поскольку с раннего детства я был не в ладах с латынью, то и на этот раз я воспользовался этим своим преимуществом и не понял их. На другой день они опять пришли ко мне и очень удивились, увидев, что я все еще жив.

— Этого не может быть! — воскликнули они и опять начали остукивать и ощупывать меня. Как всегда, мнения разделились. Домашний доктор считал, что я должен умереть не позднее, чем через двадцать четыре часа. А его коллега, мой хороший приятель, горячо доказывал, что «в таком состоянии можно протянуть еще месяц или два». Все мои попытки примирить их были тщетны. Спор все разгорался, и в конце концов они начали биться об заклад. Домашний доктор выложил на стол новую ассигнацию в тысячу динаров и заявил, что я умру в течение двадцати четырех часов, а мой приятель прикрыл ее точно такой же ассигнацией, утверждая, что я «протяну еще очень долго». Они побились об заклад и попросили меня быть свидетелем. На следующее утро ко мне пришел мой домашний доктор и с первых же слов, которыми мы обменялись, понял, что мои симпатии на стороне другого.

— Ах, как это нехорошо с вашей стороны, — сказал он. — В данном вопросе вам бы следовало сохранять нейтралитет или во всяком случае, уж если хотите обязательно кому-то симпатизировать, то вы же знаете, что я для вас самый близкий человек.

Я начал оправдываться, уверяя, что ни в коем случае не хочу быть пристрастным и не имею никаких особых причин, ради которых стоило бы стать на сторону другого доктора, кроме той, что он допускает возможность не столь быстрой моей кончины. Эти слова особенно задели доктора. Он вспыхнул и заявил открыто, что считает своего коллегу самым настоящим неучем и что этот неуч обнадеживал меня, только чтобы дискредитировать его как домашнего врача.

— Но, — добавил он возбужденно, — я не позволю себя дискредитировать. Меня не так легко дискредитировать. Вы должны умереть, и не позднее сегодняшнего вечера.

Я попытался было выставить некоторые контрдоказательства, но он упорно настаивал на своем, утверждая, что я, как культурный человек, не должен помогать тем, кто стремится принизить значение медицинской науки, которая в наш век сделала гораздо больше успехов, чем все другие положительные науки. Наконец, придвинув стул, он сел возле моей постели,

взял мою руку в свои и перешел на самый что ни на есть задушевный тон.

— Значит, вы надеетесь просуществовать вот так еще месяц, два, а вообще-то давно уже примирились с тем, что умрете?

— Да!

— Вот и я говорю, дорогой мой,— продолжал доктор дружеским тоном,— чему быть, тому не миновать. Не так ли? Днем раньше, днем позже. Наш народ мудрый, у него здоровая философия. К ней следует прислушиваться!

И он так взывал к моему доброму сердцу, что в конце концов я вынужден был ему уступить. Вот так я и стал покойником.

Журналист. Это очень интересно. *(Записывает.)*

Я. Да, очень интересно.

Журналист. Могу ли я попросить вас высказать свое мнение о смерти?

Я. Я охотно отвечу вам на этот вопрос. Но должен заранее предупредить, что теперь я изменил свое мнение. До тех пор, пока я не был покойником, я придерживался совсем другого мнения о смерти, примерно так же, как люди, не вкусившие семейной жизни, имеют о ней совсем другое мнение.

Журналист. Меня особенно интересует то, что вы думаете о смерти, так как ваше мнение могло бы считаться более чем достоверным.

Я. Действительно так, и вы попали на очень удачную мысль. Спросить у покойника, что он думает о смерти, это, пожалуй, единственный способ получить достоверные сведения об этом явлении.

Журналист *(достает новый лист бумаги)*.

Я. Вы, конечно, хорошо знаете, что существуют различные мнения о смерти. Но все это мнения живых людей, которые они после смерти, вероятно, подвергают известному пересмотру, но, к сожалению, никогда не сообщают нам свои проверенные мысли. Согласно очень древнему представлению, которое проходит почти через все религии, существуют две жизни: одна в этом мире, а другая в ином. Поэтому мне бы полагалось сейчас быть в ином мире, но я только теперь по-настоящему почувствовал, что именно сейчас мне придется остаться на земле. Древнее представление о двух мирах позднее было усовершенствовано

утверждением, что существуют две жизни, из которых одна телесная, а другая духовная. Согласно этому утверждению, если человек умер телесно, то он живет духовно и, вероятно, наоборот: если человек умер духовно, то он живет телесно. Этот второй случай в мире встречается гораздо чаще, и я беру на себя смелость утверждать, что, выбирая между духовной и телесной жизнью, люди предпочитают последнюю. Вероятно, это происходит еще и потому, что духовная жизнь (мы говорим о духовной жизни после смерти) очень уж однообразна. После смерти человеческому духу буквально нечего делать, и ему остается только посещать своих родных и близких во сне или являться женщинам на спиритических сеансах. Еще могу вам сказать, что, по моему глубокому убеждению, смерть — это тоже привычка. Более того, человек быстрее и легче привыкает к смерти, чем к жизни. И смею вас уверить, эта привычка так укореняется, что покойник больше уже и не помышляет о жизни, тогда как живой человек все время думает о смерти. Живой человек может даже расстаться с жизнью, в то время как мертвец не имеет возможности расстаться со смертью. Чтобы войти в жизнь, необходимо бесчисленное количество приготовлений: нужно научиться ходить, научиться говорить и затем необходимо приобрести какую-нибудь специальность. А смерть ничего этого не требует. Она не принуждает вас ни ходить, ни говорить и не интересуется вашей специальностью. То, что люди подразделяют могилы на могилы первого, второго и третьего класса, мертвецами в расчет не принимается: они все считают себя первоклассными мертвецами. О смерти и ее достоинствах существует очень много изречений известных философов, любивших в свое время пожить. По их словам, смерть — это убежище мира и спокойствия, тихий отдых после жизненных бурь, смерть — это философия жизни, последний итог всех жизненных устремлений, конечный пункт всех маршрутов, и еще много-много красивых слов, которые обычно употребляют в надгробных речах. Говорят, например: «Лучше быть мертвым львом, чем живым ослом». И мертвые львы с этим согласны, но живые ослы не соглашаются, а уж если большинство с чем-либо не согласно, то это так и останется мертвой книжной мудростью. Что же ка-

сается моего личного мнения о смерти, то могу вам сказать, что у меня о ней самое хорошее мнение. Смерть — это одна из самых реальных целей, которую человек всегда может достигнуть, и поэтому я предпочел бы остаться в живых.

Журналист. Что бы я еще мог записать о вашей смерти?

Я. Думаю, что для вас, так же как и для меня, самое главное состоит в том, что я умер, а все остальное имеет второстепенное значение.

Журналист. И все же я бы очень хотел знать, каковы были ваши последние слова?

Я. Какие последние слова?

Журналист. Да, знаете, таков уж порядок: когда человек умирает, он должен сказать какие-нибудь последние слова, которые хорошо использовать в биографии.

Я. Ах да, вспомнил: перед смертью я спросил жену: «Почем на базаре дыни?»

Журналист. Но, помилуйте, не могу же я записать эти слова как последнее слово писателя. Вы же хорошо знаете, что Торквато Тассо, например, воскликнул: «В твои руки, господи!», Вальтер Скотт сказал: «Я чувствую себя так, словно вновь родился», Байрон сказал: «Пойдем спать!», Рабле: «Опустите занавес, комедия окончена», а Гёте: «Больше света!» Так неужели вы так ничего и не воскликнули, умирая?

Я. Нет. Да и не верю, чтобы эти уважаемые люди, которых вы цитировали, говорили что-либо подобное. Все это биографы выдумали. Я, например, знаю одного своего приятеля, артиста, который перед смертью сказал: «Я банкрот», — и лицо сделал такое, будто, играя в очко, к семнадцати получил еще десятку. В газетах же мне довелось прочесть, что последние его слова были: «Я закончил».

Журналист. Но это же вполне естественно. Я вот тоже недавно описывал смерть одного нашего политического деятеля, который в предсмертных муках орал, как осел, но я написал, что он «глубоко вздохнул, и на помертвевшем челе его отразилась забота о судьбах отечества».

Я. Ну, если вы считаете, что так и нужно делать, то я, пожалуй, признаюсь вам, что свои последние

слова я произнес в разговоре с доктором, который меня лечил.

— Скажите мне, доктор,— спросил я его, когда настал мой последний час,— скажите мне, хотя бы приблизительно, сколько будет стоить моя смерть?

— Разумеется, вместе с расходами на похороны?

— Нет, нет, об этом я заранее позаботился. Мне бы хотелось узнать, сколько мне будут стоить ваши визиты.

— Ну что же, я посетил вас десять раз по 50 динаров за визит и один консилиум — всего шестьсот динаров.

— Дешево, ничего не скажешь — дешево. Моему приятелю, покойному Андрию Янковичу, смерть обошлась в пять тысяч динаров, а удовольствие он испытал точно такое же.

— Это только потому так дешево,— сказал доктор,— что у меня есть свой принцип в работе: меньше гонорар, больше оборот. В конце концов доктор, лечивший вашего приятеля, покойного Андрия, заработал на его смерти пять тысяч динаров, а я за то же время на десяти покойниках заработаю столько же!

— Да, да, чудесный принцип: меньше гонорар, больше оборот. А это... я-то скоро?

— Да, да, сейчас...

— Тогда прошу вас — заполните, пожалуйста, вексель на шестьсот динаров, которые я вам должен, и я его подпишу.

Вот приблизительно таковы были мои последние слова. Когда-то много лет назад, вступая в жизнь, я сказал: «Заполните мне вексель, и я его подпишу». Так вот и сейчас, завершая свой жизненный путь, я повторил то же самое. В биографии, разумеется, это могло бы выглядеть так: «Дайте мне жить, я еще не сказал последнего слова!»

Ж у р н а л и с т. Могу ли я записать это, как ваши последние слова?

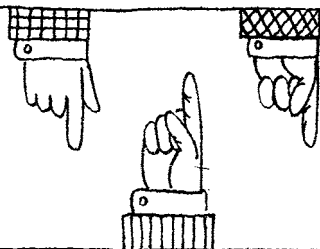
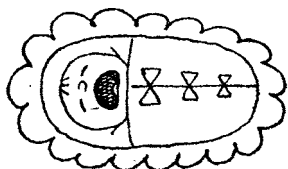
Я. Нет. Напишите просто: «Прощайте, и спасибо за внимание».

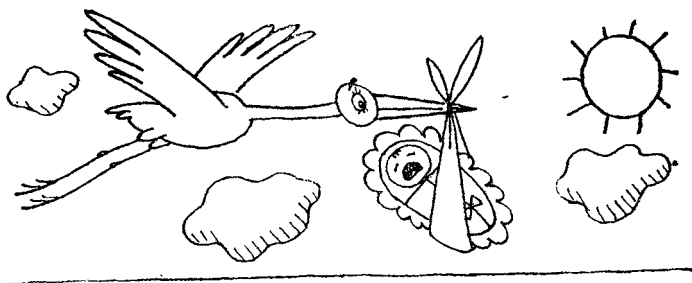
Ж у р н а л и с т. Почему?

Я. Потому что этими словами я хочу закончить и эту книгу. Прощайте и спасибо за внимание!



Думаю
о маме





ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой Аника по причине смерти своего мужа остается вдовой

Аругие авторы обычно кончают свои романы тем, что кого-нибудь убивают, отравляют или просто дают умереть своей смертью, у меня же, поскольку мне необходима вдова, ее супруг умрет в самом начале романа. Ну, а чтобы ясно было, что я не подстроил этого нарочно, расскажу все по порядку...

Когда Анику из Крмана выдали за Алемпия из Прелепницы, крмчане долго горевали: «Самую красивую девушку в другое село отдали! Неужто своего парня не нашлось?!» Таково было единодушное мнение, и лишь один Яня, про которого говорят, что он слова не пропустит, не прицепив к нему хвоста, добавлял: «Ладно, пусть ее живет в Прелепнице, пусть и там уездное начальство кое-когда переночует!» Тем самым он вроде бы хотел освежить в памяти то, о чем в селе забыли давным-давно. Разве что бабка Кана как заведет разговор о давних временах, хотя бы историю о заброшенной Йоцковой мельнице, так всякий раз начинает ее с одного и того же: «Еще когда Мага — мать Аники — молодая была, у нас в селе часто ночевал уездный начальник, а про Йоцкову мельницу говорили, что по средам и пятницам там лучше не молоть...»

Впрочем, бабка Кана доброго слова даже о покойнике не скажет, даром что ночью их караулит... О Яне же всякий знает, что ему за злой язык перед уездной управой двадцать пять палок дали, когда их еще не отменили, царствие им небесное.

Но что бы там ни говорили, Алемпий с Аникой два с половиной года прожили душа в душу. Они и дальше, может, и до самой старости прожили бы так, да только Алемпий не долго протянул, умер.

Отчего умер Алемпий, точно сказать трудно. Одни говорят, что упал с груши, другие утверждают, что его сглазили, а третьи не соглашаются: помер он, мол, не от злого глаза, а от злой руки... Так или иначе, но до настоящей причины его смерти мы доберемся только тогда, когда расскажем все по порядку. Если из этой истории выбросить то, что напридумывали родственники и друзья, коротая ночь возле покойника, то голая истина будет выглядеть следующим образом: Алемпия вызвали в город к уездному начальнику, где ему предстояло ответить за дурную привычку время от времени заготавливать воз-другой дров в чужом лесу. Ну, а раз человеку надо убить целый день на поездку в город, он решил, чтобы зря времени не терять, прихватить с собой немного фруктов и продать их там. Замысел был превосходный, и помешать расчетам Алемпия могло лишь одно пустяковое обстоятельство — у него не было своего сада. Чтобы устроить и эту неувязку, он отправился с корзиной в чужой сад и взобрался на грушу. Тут его заметил сторож, стащил с груши и так жестоко поколотил, что он едва добрался до дому. С тех пор у него стала побаливать грудь: сперва он кашлял по-мужски, потом — по-кошачьи. И под конец, прости меня, господи, уже и не кашлял, а скорее шипел и говорил так тихо, будто боялся кого обидеть. Захочет что-нибудь сказать, так не говорит, а шепчет, будто какой божий угодник.

И болел-то он недолго — самое большее месяц. И как только бедняжка не лечился, но если кому что на роду написано, разве лекарства помогут? Четыре раза горящие угли в воду бросали, два кувшина настоя полыни выпил, веник под подушку клал, кочергу через дом перебросил, купался в воде из семи родников, надевал рубашку какой-то старой девы, но... все напрасно, на роду ему было написано умереть, рок запечатлел это в книге судеб, а сторож — на ребрах Алемпия. Раз уж и судьба начала вести такую двойную бухгалтерию, пиши пропало, и никакие лекарства не помогут!

Как ни крути, а Алемпию все равно конец, хотя бы для того, чтобы пограть автору романа, которому, как назло, не обойтись без вдовы даже в первой главе.

Алемпия похоронили пристойно, и Аника осталась бездетной вдовой. Ей пошел всего двадцать третий год, была она красивая и сильная, в каждой руке по здоровому парню могла унести. Оттого-то многие сомнения имели, не лупила ли она своего покойного мужа, но это они зря — Аника с Алемпием в самом деле жили дружно. За два с половиной года она всего раз пять или шесть брала его за грудки, бросала под ноги и месила словно в квашне, а не на земле. Но и в этих случаях стоило Алемпию чуть построже крикнуть: «Ой, Аника, отпусти, ради бога!», как она его тотчас отпускала. Ну, что был Алемпий против нее! Недомерок. А она — как тополь, высокая да стройная. Щеки румяные, налитые, будто у нее круглый год мясоед, а ведь, клянусь, все посты, даже самые незначительные, соблюдала. Просто такую уж ее создал бог — ей даже шло быть вдовой; прирожденная, можно сказать, вдова. И слезы, пролитые на похоронах и в первую субботу, нисколько не испортили ей ни глаз, ни лица — как была, так и осталась красавицей, — глядишь на нее, и наглядеться не можешь.

«Давно у нас такой вдовы не было, такая вдовушка словно для попа создана!» — говаривали на селе, но это так, разумеется, разговоры одни. Ну что зазорного в том, что поп Пера иной раз заглянет к Анике утешения ради. Любого другого можно было бы упрекнуть, но батюшка — лицо духовное, его никак за это не упрекнешь. Разве что сами попы встанут на ту точку зрения, что и поп — человек, тогда, конечно, в чем-то можно было бы упрекнуть и батюшку. Так, например, можно было бы упрекнуть батюшку за то, что он ни разу не зашел в дом к Анике, пока был жив Алемпий. Но и в этом случае батюшка мог бы оправдаться тем, что тогда утешать было некого — при живой Анике нечего утешать Алемпия, а при живом Алемпии нечего утешать Анику.

И в конце концов с чего бы это батюшка оправдывался? Депутаты отчитываются перед избирателями; подотчетные лица — перед ревизором, а попы

одному богу дают отчет, да и то на небе, а на земле ни одной живой душе, кроме своей жены.

Хотя бог ревизор строгий, у него, похоже, не до всего доходят руки, слишком много у него накопилось старых, еще не просмотренных, отчетов. Жена, та, напротив, норовит заставить отчитаться и за старое, как за новое. И как бы искусно вы ни составили баланс, она всегда выищет какой-нибудь «неоправданный расход».

Были ли у попа Перы подобные «расходы», мы узнаем из следующей главы романа, в которой выяснятся и многие другие важные вещи.

ГЛАВА ВТОРАЯ

По селу Прелепнице ползут всякие слухи, и вот эти самые слухи могли бы вполне послужить предисловием к роману

Прелепница — село немалое. Уже трижды в Народной скупщине вносилось предложение провозгласить Прелепницу уездным городом, и поскольку всякий раз это предложение проваливали, Прелепница двигалась все дальше по пути прогресса. Трижды вся Прелепница переходила из партии в партию, лишь бы обзавестись уездной канцелярией, и всякий раз выходила промашка. Теперь жители Прелепницы договорились разделиться на три партии — авось какая-нибудь придет к власти...

Село лежит на равнине, с севера к нему примыкает лес, водой его питают две речки. На одной из них стоит каменный мост, и тут же начинается торговый квартал, если так можно назвать несколько домов, в одном из которых бакалейная лавка, во втором — кабак и в третьем — парикмахерская, где цирюльник заодно подковывает лошадей. На другой речке, за селом, и находится давно заброшенная Йоцкова мельница, теперь в ней с согласия общины нашла себе кров сиротка Савка.

Жители села Прелепницы все, как один, прекрасные люди, а если и найдется у кого недостаток, так ведь люди — не ангелы. Староста Мича, например, добрейшей души человек; он, можно сказать, не староста, а отец своим односельчанам. Заботится о каждом, не то чтоб обидеть кого. И все же и у него есть

небольшой недостаток: пуше всего на свете любит он пощипать казну, попридержать малость из налоговых денег. И не потому, что ему не на что жить, а просто так, из принципа. «Нас, говорит, государство тоже щиплет, дай бог!» И не скажешь, что он хочет эти деньги утаить, боже сохрани. Наоборот, когда господин начальник прижмет его и он видит, что дело пахнет судом, староста тут же достает деньги из собственного кармана и платит. И еще скажет, порядочный человек: «Чего это я пойду под суд? Лучше честь по чести заплачу, чем таскаться по судам!»

Недостаток отца Перы — это его жена. Батюшка здоровый, сильный и напоминает, прости меня, господи, скорее артиллерийского фельдфебеля, чем священника, а жена у него сухая, костлявая. Батюшка ее называет «сорокой», а иной раз сожмет пальцы в кулак и покажет костяшки суставов: «Вот какая у нее спина!» И чтобы все же кто-нибудь не сказал, что ему, лицу, облеченному священным саном, не приличествует говорить о спине своей жены, надо бы сразу заметить, что в церкви поп ничего такого не говорит, боже сохрани, церковь он уважает, в церкви он настоящий святой. Только раз во время службы он вlepил оплеуху пономарю в алтаре, и храм отозвался таким эхом, так все кругом задребезжало и закрипело, что богобоязненные христиане подумали — царские врата отворяются.

Что же касается учителя, то его вроде бы в селе вовсе нет, он и на людях-то никогда не бывает. О себе он говорит, что ученый, и по этой причине из школы не вылазит.

Про писаря Пайю Еремича можно было бы сказать, что он тоже очень ученый, так как из кабака не вылазит, но писарь всегда возражает: «Если я ученый, это в свое время себя окажет, а пока я не желаю, чтобы мне такое говорили!» Писарь был когда-то кадровым унтер-офицером, но за одно лишь «нет» просидел год в тюрьме, потому что, как он сказал, «в воинском уставе никакого «нет» не предусмотрено, а я и самому богу скажу «нет», коли что не по правде!». (А это его «нет» заключалось в том, что он из командирского письма вытащил деньги.)

Потом он открыл было лавчонку, но по одному из товаров — по сливовой водке — у него оказался

перерасход, а из-за этого товара и все другие товары не давали дохода. Пропив наконец все товары, писарь закрыл лавку, обошел всех своих кредиторов и должников и отбыл, как он выразился, «за товаром». Лет пять-шесть его нигде не было видно. Он говорит, что все это время провел в Германии и многому там научился. Староста до сих пор говорит, когда кто-нибудь из односельчан заметит, что писарь много пьет: «Пусть его пьет, сколько хочет; он по свету побродил, видел, что и там люди пьют, да еще какие люди!» А однажды сам староста попрекнул писаря, что тот пьян, и писарь ему на это ответил: «Если я пьян, это в свое время себя окажет, а пока я не желаю, чтобы мне такое говорили!»

Есть и такие, что говорят, будто писарь учнее учителя — он по свету поколесил и чудеса всякие рассказывает. Он видел людей, которые едят лягушек. «Немцы едят, своими глазами видел».

— А правда ли это, писарь, — спрашивает Радое Убогий, — что итальянцы едят змей?

— Правда, — отвечает писарь, — своими глазами видел. И мне предлагали. Говорят: пожалуйста, синьор Панта (синьор по-ихнему значит господин), пожалуйста, говорят, а я им: спасибо, я сейчас не при аппетите! Аппетит — это по-итальянски желудок. Говорю, а сам думаю: да ну вас, кабы мы ели змей, остался бы я в Сербии и был богатым человеком.

— А как их готовят, писарь? — спрашивает кабатчик, хлопая рукой писаря по плечу со всего размаха, как хлопают обычно кредиторы своих должников.

— Как?.. С луком. Поджарят немного лука и того... посыплют еще чем-то, для запаха...

Да, писарю было чего порассказать. А как напьется, забудет, о чем трезвый рассказывал, и начинает уже по-другому, со всякими подробностями.

Однажды, в праздник какой-то, повалил народ после обедни прямо в кабак, так как в этот самый день поп Пера читал проповедь, в которой утверждал, что праздники на то и существуют, чтобы христиане отдыхали и телом и душою. Добрая паства дружно отправилась со службы в кабак отдохнуть душою, а там застала уже изрядно отдохнувшего писаря. Тогда-то он и рассказал, что видел своими глазами человека, который летал, как птица. Было у того человека три

«шурупа», два под мышками и один под животом, и тут писарь показал, где примерно были эти «шурупы».

— Первым делом повернул он шурупы под мышками, вот так... раз... раз... раз... И у него раскрылись крылья. Потом тот шуруп, что под животом... чик... чик... чик... и у него промеж ног что-то надулось... ну, вроде бурдюка, а сам он был веревкой к земле привязан. И вот...

Заметив, что любопытство слушателей разожжено до предела, писарь взял свой стаканчик и не спеша, целых десять минут, тянул из него...

— Скажи, Арса, пусть принесут еще один.

Арса, конечно, заказал.

— И тут пшш... он что-то такое сделал, и начал этот бурдюк промеж ног вроде как бы дышать... то надуется, то сморщится, а крылья как у птицы и... пошел, пошел, пошел... Марко, закажи!

— И любой может полететь? — спрашивает Радое Убогий.

— А черт его знает! Мне немцы говорят: пожалуйста, синьор Панта, попробуйте и вы (синьор по-ихнему значит господин), а я отвечаю: спасибо, не хочу, но мне до сих пор жаль, что не попробовал.

— Эх, надо было! — сказали в один голос несколько слушателей.

Так вот и рассказывал писарь, пока его слушали. Но постепенно один за другим все разошлись, и в кабаке остался лишь Радое Убогий.

Когда все ушли, Радое с таинственным видом подошел к писарю, сел за его столик, заказал ему водки и только тогда начал разговор:

— Ты, писарь, это самое... так сказать, ученый человек.

— Если я ученый, это в свое время себя окажет, а пока я не желаю, чтобы мне такое говорили! — сказал ему писарь, засунув обе руки в карманы жилета.

— Ладно, ладно, — успокоил его Радое Убогий, — я тебе совсем другое хотел сказать.

— Изволь, говори.

— А ты знаешь... это самое... куда поп пошел из церкви?

— Не знаю. К Анике, наверно.

— К ней. Но есть у меня новость и почище.

А надо знать, что Радое Убогий был вдовец, и не будь он убогим, давно бы нашел себе подругу, а так он все время ждал какую-нибудь вдову, но и тут всякий раз ему перебежали дорогу утешители вдов.

— Что значит почище?

— Почему утром старосты в церкви не было?

— Откуда мне-то знать,— сказал равнодушно писарь и с намеком постучал пустым стаканом по столу.

— Утром во время службы он был у Аники, и в селе говорят, что он там не в первый раз.

— Староста?! — вспылил писарь и грохнул кулаком об стол.— Почему же он скрывает от меня?..

Опрокинув еще стаканчик, он сердито встал и вышел, бешено хлопнув дверью.

А Радое Убогий, посмеиваясь, расплачивался в кабаке за одиннадцать стаканчиков, выпитых писарем.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой Аника без всяких на то оснований рождает мальчика ровно через тринадцать месяцев после смерти мужа

Прошел изрядный срок с тех пор, как Радое Убогий сказал писарю про старосту с батюшкой, вызвав у того страшный гнев. Не раз еще приходилось писарю выходить из себя, и, кажется, они со старостой поглядывали друг на друга косо.

А Радое Убогий не уgomонился, мутил воду, нашептывал, распускал слухи. Но батюшка не обращал на это никакого внимания. Только раз как-то, да и то по хорошему, по-отечески, пожурил он Радое:

— Если еще услышу, что ты твякаешь про меня всякую ерунду, я тебе все зубы в глотку вобью и в церкви больше причастия не дам, так и знай!

А Радое Убогий ответил батюшке так, как и подобает отвечать богобоязненному прихожанину:

— Ежели б церковь была зеленая лавка, а причастие — лук, ты мог бы мне его дать или не дать. А ежели мои зубы, поп, в глотке окажутся, то и твоя камиллавка не такая уж тесная, чтоб нельзя было насунуть тебе ее на нос да на уши! Ну, а твякать, поп, я выучился у тебя, еще когда в школярах бегал.

Батюшка, человек умный, ничего не ответил Радое и только бросил грустный, сочувственный взгляд на «заблудшую овцу», способную даже священнику набить камилавку на уши.

Впрочем, называть Радое «заблудшей овцой» было бы неверно: скорее уж он был «заблудшим бараном», так как, упустив третью вдову и потеряв надежду когда-нибудь жениться, он поднял в селе такой шум, что староста с писарем стали подумывать, как бы ему укоротить язык.

Но кто бы в селе слушал Радое, кабы не произошло одно событие.

Был большой праздник, благовещение, кажется, и в Прелепницу собрался народ даже из других сел. А уж если народ собирался, поп Пера не упускал случая поговорить с церковной кафедрой. Лет пять назад поп Пера вбил себе в голову, что не худо бы ему стать депутатом скупщины, и с тех пор часто разглаголяствовал в церкви. Райя из Крман однажды сказал в присутствии многих: «А что, люди, уж батюшка Пера за нас постоял бы!» И не один он так думал, но самое главное, что так думал поп Пера.

С того времени батюшка зачастил и в кабак. Там он то и дело бил по столу кулаком и восклицал: «Они там, наверху, не знают, что народу нужно, а сказать им об этом некому!» Во многие свои церковные проповеди он вворачивал такое изречение: «Народ нуждается в хороших заступниках как перед богом, так и перед земными властями. До бога достойный заступник донесет народные моления, а до земных властей народные чаяния!»

Вот и на благовещение батюшка произнес проповедь, а в той проповеди самой важной была такая мысль: на ниве, оставшейся без хозяина, все должны трудиться сообща (при этих словах Радое закашлялся, но поп довел свою речь до конца, а после не дал ему причаститься). Что хотел батюшка сказать, то и сказал весьма благолепно; божья служба окончилась, и все чинно вышли на церковную паперть и остановились, чтобы поговорить о том о сем, как и положено почтенным людям.

Тут и отец Пера, и староста, и один член общинной управы, и староста из села Буринаца, потом бывший староста Райко, лавочник Йова, Исайло из Драй-

коваца и многие другие. Не было только в том обществе кабатчика и писаря; оба были в кабаке, веяк при своем деле.

На лавку под каштаном, что так красиво раскинул ветви у церкви, сели батюшка, Исайло и староста, а остальные кто остался на ногах и оперся на палку, кто притащил камень и уселся. Закурили самокрутки и трубки, и потекла беседа.

Исайло из Драйковаца сказал, что слышал от людей, которые ездили в город на рынок, будто в России холера, ну, а раз речь зашла об этом, лавочник стал долго и обстоятельно рассказывать, как брат его дедушки умер от холеры. «Посмотрел он, брат, на нас всех разом (я тогда мальчишка был), схватился руками за живот и в одночасье помер!» Потом поговорили немного о чуме, но батюшка счел своим долгом дать такую справку:

— Чумы, брат, не существует. Нельзя доказать исторически, что она существует: она больше так, в народных песнях.

Староста из Буринаца завел разговор о новом налоге на вооружение, ему об этом сказал уездный писарь. Отец Пера, как человек, метящий в депутаты, решил, разумеется, что ему и тут надо сказать свое слово:

— Что касается вооружения, то оно совершенно необходимо, но лично я против налоговой системы вооружения!

Староста эту батюшкину мысль переиначил по своему, то есть он был и за вооружение и за налог, а нам уже известно, что этот староста налоги любит.

После этого советник, член общинной управы, заметил, что надо бы побелить церковь, но поскольку эту тему никто не поддержал, разговор перекинулся на другое, и когда всласть наговорились, уже и стали подниматься на ноги, чтобы двинуться помаленьку к батюшкиному дому, неожиданно подошел Радое Убогий и сказал:

— С праздником вас, дай вам бог счастья!

Обычно Радое ходит не спеша, вразвалку, а тут, видно, торопился, приветствие свое выпалил на ходу и злорадно захихикал.

— Дай бог счастья и тебе! — ответили ему..

— Дай бог, — продолжал Радое, — чтоб этот

праздник принес нам добра всякого! Дай бог, чтобы год был урожайным, чтобы овцы ягнились, чтобы коровы телились, чтобы даже вдовы — дай боже — рожали только мальчиков! — закончил Радое, подняв руку, как будто держал заздравную чашу, а сам все злорадно хихикал, оглядывая всех подряд.

У батюшки подкатил ком к горлу, но он взял себя в руки и попытался обратить все в шутку.

— Э... э... э... ну и длинная у тебя здравица! За чье здоровье пьешь?

Радое, по-прежнему хихикая, сказал:

— Знаю, за чье!

— Ну и пей себе на здоровье! А мы сейчас пойдём к батюшке и тоже выпьем, — добавил староста, отвернувшись и подхватил недавний разговор о побелке церкви, будто и в самом деле не было для него сейчас ничего важнее.

— Да .неужто, — выкрикнул Радое, — неужто вы ничего не знаете?

— Нет, — сказал Исайло. — Скажешь, так узнаем.

— Скажу, непременно скажу. Вам это полезно услышать, всему белу свету полезно услышать, а тем паче старейшинам народным и церковным!

На словах «народным» и «церковным» Радое сделал особое ударение, подмигнув и тем и другим.

— А дело в том, — продолжал Радое, — что вдова Аника утром родила, мальчика родила!

Батюшка сделал вид, что не расслышал, он сдвинул камилавку себе на лоб и спросил:

— Это которая ж родила, Савка, что ли?

— Не Савка, поп, а вдова Аника!

У батюшки снова подкатил ком к горлу (у него и колени затряслись, только под рясой видно не было), он бросил взгляд на старосту, староста бросил взгляд на советника, советник бросил взгляд на лавочника Йову, лавочник Йова, как самый младший в компании, уперся взглядом в землю. Наконец лавочник Йова оторвал взгляд от земли и сказал:

— Дай бог ей счастья. К родильнице, пожалуй, не пойдём. Пошли к батюшке!

— Но послушайте, люди, сегодня ровно год и один месяц, как помер ее муж Алемпий!

— Так оно и есть, год и один месяц, — сказал батюшка серьезно, будто кто его спрашивал. — Как

сейчас помню, не было ему спасения. А хороший был человек, разве что вороват.

Радое тем временем повернулся к Исайло и спросил:

— Скажи ты, ради бога, у вас рожают вдовы через тринадцать месяцев после смерти мужа?

— Ну, это уж чертовщина какая-то! — ответил Исайло. — А ты смекнул, чья это работа, а, староста!

— Кто? Я? — переспросил староста. — Смекнул, конечно, смекнул!

— На то он и староста, — добавил Радое, — чтобы следить, как бы селу срама не было. И батюшка тут для того, чтоб народ не испоганился, не переступал божьих заповедей!

А батюшка тем временем думал о том, что не надо ему было именно сегодня говорить в церкви о необходимости сообща трудиться на ниве, оставшейся без хозяина; и еще батюшка думал о том, что староста ужасно глуп: хоть бы что-нибудь сказал, а то молчит как пень; потом батюшка вдруг вспомнил, что церковь и в самом деле надо бы побелить. Мысли эти мелькали у него в голове, и он уже не слышал, о чем еще говорили его собеседники. Очнувшись, он сказал Исайло, старосте из Буринаца:

— Ну, чего мы тут стоим, поговорим у меня дома. Расстроила меня эта штука. Такого в Прелепнице еще никогда не бывало. Пойдем ко мне!

И они пошли. А Радое побежал со своей новостью в кабак, оттуда он направился к колодцу, чтобы поделиться ею с женщинами, потом спустился к мельнице, где тоже всегда был народ, и наконец пошел от калитки к калитке, а там его потянуло в соседнее село...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

которая убедительно свидетельствует о том, что любое пустяковое событие может иметь весьма крупные последствия

Ну что такое несколько фунтов мяса, в которые, скажем, облечена душа новорожденного? Пустяк. Но даже такой пустяк едва не привел к весьма крупным и неожиданным последствиям.

О самом событии, которое случилось в предыдущей главе нашего романа, сперва лишь перешептывались, и никто, кроме Радое, не осмеливался говорить о нем в полный голос. Изредка только в кабаке за шкаликом водки кто-нибудь обмолвится об этом весьма туманно и подмигнет соседу.

Но беда приходит лишь тогда, когда щекотливая весть становится достоянием женщин. Они ее распространяют, раздувают и делают это как-то очень ловко и складно. Придут, например, в дом и заведут разговор издали, говорят о дороговизне, молодежи, квартирах, а там, смотришь, между прочим помянут, что такой-то жену выгнал. Или не дома, а скажем, в церкви, когда хор затянет свое длинное «и-и-и...» в «Иже херувимы...», ибо это «и-и-и...» все верующие воспринимают как паузу, во время которой можно поговорить. Так вот во время этой паузы одна другой и скажет: «Не меньше, чем за себя, я молюсь господу за свою соседку Перку. Вы не представляете себе, какая это несчастная женщина и что ей приходится выносить от своего мужа. Не хотелось бы, знаете, говорить: но очень уж ее жалко. Все-таки соседки мы, а ближнего своего любить надо!» И так обвиняками незаметно все и выложит.

В деревне такие вещи делаются по-иному. Выйдет Станойка к калитке и окликнет свою соседку Пауну, которую, скажем, увидела в саду:

— Пауна, а Пауна!

— Чего тебе?

— Слышала, что говорят про Аникиного младенца?

— Нет!

— На попа, говорят, похож.

— Что ты, не бери греха на душу!

— Ей-богу! Говорят, вылитый батюшка, надень на него епитрахиль — и хоть сейчас на службу!

Так, скажем, Станойка разговаривает с Пауной, а Стамена кричит Живке со стога сена, и разносится ее голос по всему лугу, до самой дороги.

— Живка, эй, Живка-а! Слышала-а? Ребенок-то у Аники похож на старосту-у!

— А мне говорили-и,— отвечает ей Живка с дороги,— на лавочника-а!

И так во весь голос на все село кричат да переключаются бабы. Сперва ни одна из них не хотела заходить к Анике. Мало того, отворачивались, проходя мимо ее дома, а потом одна за другой стали навещать сиротку, вроде бы с подарками,— дело-то богоугодное! — а в сущности только за тем, чтобы собственными глазами убедиться, на кого дитя похоже. И раз от разу подробностей становилось больше, прямо чудеса рассказывали.

В конце концов, бабы как бабы, мало им, что осрамили батушку, старосту, лавочника и еще кой-кого, всякая из них примечала у младенца и какую-нибудь мужнину черту и, воротившись, налетала на беднягу. Стана, к примеру, встретила своего грешного Ивко еще у калитки.

— Постой-ка, Ивко,— говорит она ему,— а ну, посмотри мне в глаза!

— Ты что, сбесилась? — удивляется Ивко.

— Как видишь, нет. А почему у тебя глаза, как у того...

— У кого это?

— У ребенка Аникиного!

Ивко показывает кулак, чтобы Стана сразу поняла, как он ненавидит объяснения, она и замолчит. Так поступил Ивко, а про Радована Кнежевича говорят, что он шмякнул жену по носу, когда она ему сказала, что у младенца нос в точности такой, как у него; Спаса же Видкович, рассказывают, колотил свою жену кулаками по спине, хотя она ему не говорила, что у них с младенцем есть сходство со спины, а лишь намекнула, что у младенца губы похожи на мужнины.

Мало-помалу бабы перессорились и между собой: «Это ты мне сказала!» А та ей: «Нет, это ты мне сказала...» И пошли ругаться, плевать да за косы друг дружку хватать.

И началось в селе сплошное безобразие. Если бы одни бабы ругались, это еще полбеды, мужики все перессорились.

Первыми, говорят, поссорились староста и писарь. Сразу после того разговора, когда Радое Убогий сказал писарю, что староста во время церковной службы был у Аники, писарь упрекнул старосту:

— Что же ты, староста, делаешь?

— А что такое?

— Вместо того чтоб в церковь идти, ты к Анике... Смотри, сраму не оберешься. Не дай бог, уездный начальник прознает, ведь чем чиновник важнее, тем он лучше слышит.

— Что ты мне такое говоришь! — притворно возмутился староста.

— А то, что слышишь! — отвечивал писарь.

Этот разговор у них был давно, а теперь, когда все выплыло наружу, они схватились не на шутку.

— Говорил я тебе, староста, что в свое время это себя окажет.

— Что окажет? — удивился староста.

— Безобразие твое! — сказал писарь.

— Нету тут никакого безобразия! Я эту Анику, можно сказать, знать не знаю. Покойного Алемпия помню, сажал его в кутузку раза два-три, а о ней понятия не имею.

— Рассказывай кому другому! Ты мне глаза не замазывай. Я твои делишки знаю.

— А я твой! — заорал староста.

— Ну, коли знаешь, — вспылил писарь, — то вот мы ими и займемся, ты моими делишками, я — твоими, а там что бог даст!

После этого староста с писарем совсем перестали разговаривать, будто и знакомы никогда не были.

Поссорился староста и с лавочником Ёовой. Спрашивает он его как-то:

— Ты Анике в долг товары давал?

— Давал, — отвечает Ёова.

— А в книгу ее долг записывал?

— Нет, — говорит Ёова.

— Еще бы! Ты ей долг в другое место записывал, куда порядочному торговцу записывать долги не положено. Полюбуйся теперь, что из твоей записи родилось. Ступай за своим ребенком!

— А при чем тут я? — возмущается лавочник.

— А кто же еще? Сам признаешься, что давал ей так... в долг!..

— Давал, но я это... Просто у меня доброе сердце.

— Раз у тебя доброе сердце — вот и бери ребенка. Твой он!

— Знаешь что, староста, — не вытерпел и лавочник, — если на то пошло, отец ребенка известен. Твоя власть посильнее моего кредита.

— Чтоб я больше этого не слышал! — взорвался староста.

— И не услышишь, я это уездному начальнику на следствии скажу! — кричал лавочник. Староста не остался в долгу и выругал его словами, какими, по известному национальному обычаю, начальство обкладывает граждан.

С того времени лавочник со старостой не то что не разговаривали, не здоровались даже. Прослышав об этом, батюшка стал на сторону старосты и тоже поссорился с лавочником, а днем позже вспыхнула ссора между попом и старостой. И ссора эта была весьма нешуточная.

Пришел староста к батюшке и начал разговор спокойно, по-дружески:

— Пришел я к тебе, батюшка, посоветоваться: как быть с этим?

— С чем?

— С безобразием, что творится в селе.

— А какое мне до этого дело? Эта забота не моя, а твоя. Пусть у каждого голова за себя болит!

— Как это? — расвирипел староста.

— Да так, брат, это дело общины. Если б, скажем, колокол упал с колокольни, тогда другой разговор, а раз дитя завелось в общине, пусть община и ломает себе голову, что с ним делать.

— Оно, конечно, верно... ничего не скажешь, — лукаво согласился староста, — но только вроде бы и церковь была в этом замешана.

— Какая церковь, в чем замешана?

— Не прикидывайся дурачком, поп! — открыл свои карты староста. — Покойный Алемпий еще в могиле не остыл, а ты уж начал бегать к Анике.

У батюшки глаза полезли на лоб, борода затряслась.

— И это говоришь мне ты? Ты? Все село знает, кто был у Аники, пока я в воскресенье службу служил. И не стыдно: начальник, власть, можно сказать, богом поставленная, а в церковь никогда не заглядываешь.

— Чего ж мне заглядывать, если ты за меня богу молишься!

— Где мне за тебя молиться? У тебя, староста, грехов столько, что десять архиереев и три патриарха их не замолят!

— Тут, поп, причина другая — у тебя самого грехов предостаточно. Тебе ли молиться богу за меня, когда я сам видел, как ты на страстной неделе грыз шкварки!

— А хоть бы и ел... шкварки-то мои, зато я государственную казну не обгрызаю, как некоторые!

У старосты заиграли мышцы, и он покрепче ухватил палку, которую держал в руке, но совладал с собой и только сказал:

— Ладно, поп, дай нам бог обоим долгой жизни и здоровья, авось увижу, как тебя расстригать будут.

— Не знаю, на свете всякое бывает, но что я увижу тебя в кандалах, это я знаю так же твердо, как «Отче наш».

Так два лучших друга, батюшка и староста, расстались, поссорившись насмерть.

С той поры батюшка не произносит в церкви никаких проповедей, да и вообще его почти не видно, из церкви прямо домой, и больше никуда ни шагу. Лавочник Йова тоже из лавки не выходит. Староста больше не заглядывает в кабак, а писарь из кабака носу не кажет.

Радое Убогий теперь совсем прилепился к писарю, все шепчется с ним и платит за выпивку.

Вот так перессорилось все село, лучшие друзья расстались. И из-за чего, казалось бы? Да не из-за чего. Из-за такого пустяка, как несколько фунтов мяса.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Крестины

И по сей день точно неизвестно, то ли этот план состряпали писарь с Радое Убогим за шкаликом водки, то ли это пришло на ум самому Радое, только в один прекрасный день он взобрался на кручу к дому Аники и постучал в дверь. Аника терпеть не могла Радое, знала, что это он разносит про нее по селу сплетни, но раз пришел, не гнать же его.

Радое вошел, оглядел комнату, ребенка, лежавшего на рядне, и только после этого повернулся к Анике.

— Я знаю, Аника, ты меня не жалуешь, но, скажу я тебе, настоящие друзья познаются в беде. Когда узнаешь меня, поймешь, что я тебе зла не желаю.

Аника промолчала, потому что не знала, к чему клонит Радое.

— У тебя, это самое, ребенок случился,— продолжал Радое,— а ты его три недели держишь некрещеным в доме.

— Крещу, придет время!— с вызовом сказала Аника.

— Крестишь, конечно, но кто же в селе согласится быть кумом? Эти, твои друзья, постыдятся стать крестными отцами ребенку, а если они откажутся, то и все остальные тоже.

До сих пор Аника не думала об этом, но теперь ей показалось, что слова Радое справедливы, и она стала слушать внимательнее.

— Вот я и говорю,— продолжал Радое,— ну что такого, если отец неизвестен, душа-то у дитяти все равно божья. Грех, думаю, стыдиться божьих заповедей. Сироту поддержать— самое богоугодное дело. Тут-то я и сказал себе, пойду-ка я к Анике. Раз другие не хотят, окрещу ребенка я.

Доброта Радое ошеломила Анику, и, так как ей от самых родов и до этого разговора почти никто доброго слова не сказал, она приняла предложение Радое безоговорочно и с благодарностью.

— Спасибо тебе!

Коварный план Радое вполне мог бы осуществиться, если бы он умел молчать. Но он сразу же пошел в кабак, поставил всем по шкалику, а когда любопытные спросили, по какому случаю он угощает, во весь голос брякнул:

— Пригласила меня в кумовья несчастная Аника, что дитя без отца родила, вот по такому случаю и угощаю.

И часу не прошло, как село облетела весть, что Радое Убогий будет крестным отцом ребенка. Новость вызвала дружный хохот. Один батюшка не поддерживал общего веселья, когда до него дошел этот слух. Напротив, у него не то что по всему телу, по рясе мурашки пошли. Перед глазами его тотчас возник обряд крещения и сам он, совершающий этот обряд. Он отчетливо увидел битком набитую церковь, в кото-

рую Радое созвал народ из соседних сел. Пришли все от мала до велика, и кто ходил в церковь, и кто не ходил. И все гадают, почему это Радое согласился быть крестным отцом. Он, конечно, даст младенцу либо имя батюшки, либо имя старосты. Но это еще ничего, а вот когда священнику надо будет записать дитя в книгу «крещаемых», когда он должен будет спросить: «Кто его родители?» (а на этот вопрос отвечает крестный отец), тогда Радое Убогий такое скажет перед всем честным народом, что сохрани, господи, и помилуй!

Все это пришло батюшке в голову, и заколыхалась на нем ряса, а под рясой заплясало сердце, словно у зайца, заглянувшего в дуло ружья. Закручинился батюшка, что не с кем ему посоветоваться, не с кем горе разделить, — как назло, все, кому кашу надо бы вместе расхлебывать, перессорились. Батюшка сообразил, что в такую тяжкую минуту им, как никогда, необходимо согласие; вспомнилось ему, что и священнический сан обязывает его мирить людей, и он пошел к старосте, который оскорбил его больше всех.

Староста искоса посмотрел на вошедшего к нему в канцелярию попа, но тот заговорил тихо и ласково, как настоящий христианский проповедник. Прежде всего он напомнил старосте старый сербский лозунг: «Лишь в согласии спасенье серба», и добавил к этому стишок: «В согласье можно гору своротить, а в ссоре — в рабство угодить». Потом он сослался на присловье: «Кто тебе выбил око?» — «Брат!» — «То-то хватил так глубоко», — и, наконец, рассказал старосте известную историю о том, как один царь, будучи при смерти, взял семь прутьев, связал их в пучок и велел сыновьям переломить. Но ни один из них пучка не переломил, а по отдельности каждый прут ломался легко. Поп тем самым хотел сказать, что сам он — один прутик, староста — другой, а лавочник и писарь — третий и четвертый. И чтобы окончательно убедить старосту, батюшка напомнил ему о гибели сербского царства на Косовом поле из-за несогласия вельмож.

Последний довод так взволновал старосту, что перед глазами его встал, как живой, султан Баязет с лицом уездного начальника, а они четверо — сам он, батюшка, лавочник и писарь — лежали бездыханные

на Косовом поле, наподобие братьев-богатырей Юговичей. И староста, у которого ни один мускул на лице не дрогнул даже при ревизии кассы, прослезился, протянул батюшке руку и расцеловался с ним.

Покончив с этим священнодействием, они вместе отправились к лавочнику, с которым дело пошло, похоже, полегче. Батюшка покори́л его смиренными словами, и они протянули друг другу руки. Теперь на очереди был писарь; они опасались, что уломать его будет нелегко, а ступить без него не могли ни шагу. Особенно тревожило их то, что писарь последнее время все грозит отправиться зачем-то в город. Поэтому они втроем пошли в правление общины, где и застали писаря. Он сидел верхом на стуле, курил и посвистывал, а увидев их всех вместе, удивился и тут же обратился к старосте:

— Послушай, староста, я завтра пойду в город!

— Хорошо, иди,— спокойно и вежливо ответил ему староста.— Хочешь, возьми моего коня!

— Не нужен мне твой конь, он хромает на одну ногу.

— А хоть бы и на две, все равно возьми. Ну, пожалуйста, писарь... ты меня обидишь, если не возьмешь.

— Какая же тебе обида, ежели конь хромает?

— Обидел ты меня, писарь, совсем обидел. Хромает, не хромает... Не в коне дело, во мне! Да я своему коню все четыре ноги перебыю, лишь бы между нами обиды не было.

Тут вмешался батюшка.

— Сдается мне, писарь, что ты не прав,— хромает ведь конь, а не староста...

— Что же, мне на старосте ехать верхом?

— Бог с тобой, но зачем из-за лошади человека обижать?

— Ну, ладно, ладно, возьму коня! Чтоб без обиды было,— согласился писарь.

Староста воспользовался снисходительностью писаря и совсем ласково спросил:

— А не сказал бы ты нам, писарь, чего тебе надобно в городе? Купить чего хочешь, или развлечешься, или, может, пойдешь к уездному начальнику?

На последнем слове староста сделал ударение и бросил многозначительный взгляд на батюшку с лавочником.

Писарь промолчал.

— Почему бы тебе,— продолжал староста,— не сказать мне, как брату, как старосте, наконец, что у тебя за дело к начальнику?

— Это в свое время себя окажет! — ответил писарь своим любимым присловьем.

— Окажет-то оно окажет, а ты бы мне все-таки сказал по-свойски...

Батюшка со своим ораторским даром снова пришел старосте на помощь.

— Тяжелые времена, брат мой, наступили. Искренность в людях исчезла, злоба воцарилась. А ведь на искренности зиждется и семья, и община, и государство...

— Знаю я, поп, к чему ты клонишь! — перебил его писарь.

— Ну, а знаешь, так тем лучше! — подхватил батюшка.— Скажи тогда сам, хорошо ли нам ссориться и чураться друг друга в такое время, когда только вместе и можно справиться с нашими заботами. Мы вот, как видишь, помирились и тебя тоже очень уважаем и любим. Чего же ты чураешься нас?

Писаря всерьез тронули батюшкины слова, он посмотрел внимательно на батюшку, старосту и лавочника и увидел, что они и в самом деле озабочены и огорчены. Разжалобился писарь, чуть не родней они ему показались. Подумал он, подумал и сказал старосте:

— Знаешь что? Мне нужно пятьдесят динаров. Не дашь ли ты мне их из налоговых денег?

— Конечно, писарь, почему не дать... Деньги не мои, мне не жалко. А в город пойдешь?

— Нет!

— Вот теперь я тебя люблю! — воскликнул староста, обнял писаря, открыл кассу, запустил руку в налоги и выдал писарю пятьдесят динаров.

Потом обнялись и остальные, и по предложению писаря все отправились в кабак.

Кабак пустовал, можно было говорить громко, и за первым же графинчиком батюшка изложил дело: так, мол, и так, Радое решил покумиться с Аникой и в воскресенье понесет ребенка крестить в церковь. Потом батюшка объяснил, что из этого может выйти, какой срам получится.

Рассказывал он всем, но смотрел в глаза одному писарю, и во взгляде его читалось: «Писарь, друг, на тебя вся надежда!»

— Не знаю, что бы это можно было сделать,— первым задумчиво произнес староста.— Нет ли такого закона, по которому Радое нельзя стать крестным отцом.

— Нет и не было такого закона, ведь Радое не иноверец,— объяснил батюшка.

— А ты что думаешь, писарь? — спросил староста.

Писарь задумался, и все нетерпеливо уставились на него. Наконец он пожал плечами и сказал:

— Ничего другого не остается, как совершить государственный переворот!

— Каким образом? — озабоченно спросил батюшка, который в этом обществе один лишь знал, что такое «государственный переворот».

— А так! — начал объяснять писарь и заказал новый графинчик.— Радое собирается крестить в воскресенье?

— Да,— ответил староста.

— А у нас сегодня среда?

— Да,— ответил батюшка.

— А можно завтра утром, после утрени, крестить ребенка? — продолжал спрашивать писарь.

— Конечно, можно,— ответил поп.

— Ну так слушайте! — сказал писарь, и все навестили уши и придвинулись поближе.— Завтра утром, после утрени, ты, батюшка, останься в церкви, а ты, староста, сгоняй посыльного Срею к Анике: староста, мол, велел тотчас нести дитя в церковь крестить, потому что по христианскому закону нельзя ему больше оставаться некрещеным. Если Аника упрется и скажет: Радое его крестит в воскресенье, то Срея пусть ей ответит: в воскресенье батюшки в селе не будет, а Радое уже там ждет их с ребенком в церкви.

— А потом? — спросил батюшка, которому уже становился ясен смысл «государственного переворота», задуманного писарем.

— А потом Срея от имени общины окрестит ребенка!

— Замечательно! — возрадовался батюшка, и чело его просветлело.— Спасибо тебе, писарь! С твоим умом тебе бы архиереем быть!

— Такого не придумал бы и сам государственный контроль! — добавил староста, для которого из-за вольного обращения с налогами страшнее государственных ревизоров ничего на свете не было.

Не зная, что сказать, лавочник в знак одобрения заказал сразу пол-литра водки.

— Надо бы общине и имя какос-нибудь придумать младенцу, — продолжил староста прервавшийся разговор.

— Неплохо бы, — согласился батюшка, — а то вдруг Срея из уважения к тебе, как к старосте, даст ему твое имя.

— Этого еще не хватало! — испуганно воскликнул староста, и теперь ему самому стало ясно, как умно он поступил, подняв этот вопрос.

— Мне кажется, — впервые раскрыл рот лавочник, — надо посмотреть в календаре, какой святой приходится на завтра, и дать это имя.

Батюшке предложение лавочника показалось уместным, он тотчас сунул руку в карман рясы, извлек засаленный календарь и начал его перелистывать, слюня палец. Найдя четверг, он прочел:

— Трофим!

— Вот и назовем его Трофимом! — сказал лавочник.

— Ты что, — возразил писарь, — все село смеяться будет. Нет, выберите ему достойное имя.

Посыпались предложения — Павел, Тодор, Викентий — целый ряд красивых и достойных имен, но все они отвергались, потому что всякий раз находился в селе человек, который носил такое имя и мог бы поднять шум. Наконец кто-то упомянул имя «Милич», на нем и остановились. Перебрали в уме всех односельчан, но так вроде бы не звали никого.

На другое утро все получилось как по писаному. «Государственный переворот» совершился так неожиданно, что Радое узнал об этом лишь к полудню. Услышав новость, он прошипел, как гадюка в лещедке:

— От сотворенья мира такого насилья не бывало, чтобы человека лишали права быть крестным отцом. Даже турки такого не вытворяли. Вот до чего мы дожили в нашем собственном свободном государстве!..

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой события приобретают совершенно неожиданный оборот не только для читателя, но и для общинного совета Прелепницы

Посыльный Срея не появлялся до сих пор в нашем повествовании не потому, что он имеет обыкновение скрываться, а потому, что до этой главы он был просто не нужен автору. В других случаях Срея как раз имеет обыкновение появляться званый и незваный на всех семейных праздниках, обедах, крестинах, поминках. Тем более что сам себя Срея причисляет к «руководству» общины. Сторонам, тяжущимся за выгон, он важно говорит: «Другого решения быть не может, мы судили по справедливости!», хотя, пока староста и другие старейшины разбирали дело, он засаливал на зиму капусту в писаревой бочке, которая стоит в сенях правления.

Итак, в один прекрасный день этот самый Срея со всех ног сбежал с того холма, под которым была Йоцкова мельница, и, домчавшись весь в мыле до правления общины, влетел в дом, сшиб по пути кувшин с водой, наступил писарю на ногу и тут наконец завопил так, как будто наступили на ногу ему самому.

Староста, который уже полчаса подписывал какой-то документ и выводил последнюю букву своей подписи, сбился и прочертил пером на бумаге целую борозду.

Писарь, несмотря на боль в отдаленной мозоли, схватил документы одной из тяжб и швырнул их на пол, как это он делал, выведенный из себя какой-нибудь из тяжущихся сторон. Но поскольку это был не тот случай, писарь тотчас взял себя в руки и стал собирать разбросанные бумаги, а староста вскочил и сипло спросил:

— Ты что это шумишь?

— Сбежала ночью,— едва вымолвил Срея.

— Кто?

— Она!

Поняв, что поспешность Среи не имеет отношения к какой-либо комиссии, прибывшей в село на предмет проверки собранных налогов, староста снова обрел

смелость и звонкий голос и заговорил решительно, как и подобает человеку в его положении:

— Ну-с, кто же это сбежал?

— Она... Аника,— ответил Срея.

— Вот и хорошо,— равнодушно сказал староста,— скатертью дорога.

— Точно! — добавил писарь.

— Да... но ребенка оставила.

Только что успокоившийся староста снова помрачнел.

— Какого еще ребенка... своего, что ли?

— Своего!

— Выходит, сговора с ребенком не было,— продолжал староста якобы на языке официальных бумаг, да и то брякнул так, лишь бы сказать что-нибудь, как человек, который поет в лесу, пытаясь прогнать страх.

— Выходит, Аника сбежала, а дитя свое подкинула общине,— коротко подытожил писарь.

— Так оно и есть! — сказал вполголоса староста, замолчал, задумался глубоко и начал жевать тот самый документ, который недавно подписывал.

Молчал староста, молчал и писарь, а Срея сперва смотрел то на одного, то на другого, а потом спросил:

— Как теперь быть-то?

Староста сделал вид, что не слышит вопроса Среи, так как себя он уже несколько раз спрашивал о том же самом.

Срея не унимался:

— Как теперь быть-то?

Староста опять сделал вид, что не слышит вопроса, и стал интересоваться подробностями происшествия.

— А когда сбежала?

— Говорят, ночью.

— Это ее кто-то научил и подговорил,— вставил писарь.

— Так и есть, какой-то черт ее подбил... Срея, выйди-ка на минуту, нам с писарем поговорить надо.

Оставшись с писарем наедине, староста положил ему дружески руку на плечо и заговорил так ласково и кротко, будто изъяснялся с какой-нибудь комиссией:

— Писарь, друг ты мой сердечный, давай поговорим по-братски.

— О чем говорить-то?

— Ну... вообще поговорим.

— Дело ясное, не о чем и говорить,— сказал писарь.

— Я и сам вижу, что дело ясное, и все же придумал бы ты что-нибудь, а, писарь!

— Ладно. Ты иди на место происшествия, посмотри, что к чему, а я тем временем что-нибудь придумаю.

Староста отправился «на место происшествия», а по пути завернул к попу. Батюшка собирался на отпевание, и, пока попадья готовила ему епитрахиль и прочее, он уселся в саду под ореховым деревом на вынесенный из дому диванчик и уплетал почки, жаренные на углях. Завидев старосту, он крикнул:

— Иди сюда, видишь, жир какой, что молоко топленое!

Но старосте было не до почек, он сел рядом и стал шептаться с батюшкой. О чем они шептались, мы с вами уже знаем, а о настроении батюшки после этого разговора лучше всего свидетельствовал последний, самый лакомый кусок, который так и остался нетронутым в тарелке, остыл и затвердел.

От батюшки староста пошел к лавочнику. Как потрясла новость лавочника, можно себе представить хотя бы по тому, что он одной крестьянке вместо ста граммов риса отвесил больше килограмма, и крестьянка впервые вышла из его лавки в полной уверенности, что он честный человек.

От лавочника староста направился к «месту происшествия». Зайдя на мельницу, чтобы порасспросить обо всех обстоятельствах побега, он узнал от Савки, что Аника встала на заре и сказала, будто ей надо к попадье, да так и не вернулась. Свои наряды она прихватила с собой.

Пока Савка рассказывала, в одном из закутков мельницы запищал младенец Милич; староста презрительно посмотрел в его сторону, сплюнул, вышел из мельницы и зашагал, не оборачиваясь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой как крестьяне села Прелепницы, так и сам автор романа находятся в замешательстве в связи с событием, рассказанным в предыдущей главе

Дело было нешуточное: Аника сбежала, а Милича оставила. Задумался батюшка, задумался писарь, задумался лавочник, задумался староста, задумался, поверьте, даже автор этого романа. В конце концов, штука эта совсем не простая. Хоть ребенок и маленький, однако его вполне достаточно, чтобы всех нас привести в замешательство. Вот если бы Аника сбежала и оставила мужа, это нас озадачило бы меньше, хотя ребенок по сравнению со взрослым мужчиной кажется незначительной малявкой.

Совсем другое дело было бы, если бы дитяtko малость подросло. Тогда нет ничего проще: отдал его в обучение ремеслу, и гора с плеч. Большие дети и разумнее: с таким бы и батюшка, например, мог побеседовать.

«Мальчик, подойди ко мне! — позвал бы его батюшка и, погладив по голове, по-отечески наставил бы. — Знаешь, малец, хоть ты родом из нашего села, но умен, а потому поймешь, что лучше тебе пойти куда-нибудь в люди. Ну что тебе делать в селе; село есть село, в городе куда лучше. Вот тебе, мальчик, три динара, и ступай, прямо завтра и ступай».

Если бы и это не помогло, его можно было бы просто выгнать. Писарь устроил бы так, что мальчика обвинили бы в чем-нибудь, посадили, а потом и вон из села. А с младенцем разве справишься?

Писарь посоветовал старосте пойти «на место происшествия». И тот, как мы знаем из предыдущей главы, пошел в дом Аники, но что толку? Не ходи староста в свое время «на место происшествия», толку было бы больше.

Вечером все собрались в кабаке. Поп, староста, писарь и Йова-лавочник стали держать совет, а кабатчика выгнали за дверь, чтобы сам не подслушивал и смотрел, чтоб другие не подслушивали их разговор.

Староста высказался первым:

— Долго я думал, друзья, и нашел самый правильный выход, лучше не придумаешь...

— И что же ты придумал? — спросил лавочник и поднес ухо едва ли не к губам старосты, чтобы не пропустить ни слова.

— Вот я и говорю, пусть ребенка возьмет церковь, пусть его растит и воспитывает как дитя церкви.

— Какая церковь?! — рявкнул батюшка. — Какая церковь, побойся бога! Когда это церковь растила и воспитывала детей, на что церкви дети?

— Он мог бы стать очень хорошим певчим, — уже не так уверенно пояснил староста. — Алемпий хорошо пел, так, может, ребенок в него уродился.

— Церковь со взрослыми не может справиться, а с детьми и подавно. Нет, староста, так дело не пойдет. Умнее ты ничего не мог придумать! — решительно возразил батюшка.

— Ничего. Может, писарь что-нибудь придумал...

— Если и придумал, то это себя окажет в свое время! — спокойно отозвался писарь, постукивая по столу, чтобы ему принесли еще один графинчик.

— Я предлагаю, — сказал батюшка, видя, что все молчат, — чтобы ребенка взяла община.

— Точно, — поддержал его лавочник Йова, — и проведем его по бюджету, как общинного писаря.

— Глуп ты, Йова! — проговорил писарь и громко рассмеялся.

— Я сказал, что думал! Мы собрались здесь посоветоваться, и я сказал свое мнение. Не мило — не слушай, только и делов-то.

— Я думаю, — повторил батюшка свое предложение, — возьмем ребенка все вместе, и будет он дитя общины.

— Это совсем неплохо, — торопливо вставил лавочник Йова. — Только каким образом? Надо ли его считать собственностью всей общины или только правления? И в таком случае как быть с инвентарной книгой — будем мы его туда записывать?

Писарь снова захотал, а Йова поскорей заказал писарю еще одну порцию водки, чтобы задобрить его и расположить к себе.

— Не думаю, чтобы община могла считать его своей собственностью, — спокойно продолжал батюшка, — а как сиротку, как подкидыша содержать она его может.

Староста едва дождался, пока батюшка кончит и, злобно посмотрев на него, сказал:

— Не выйдет, мы с вами не община! Вы думаете, село согласится, чтобы мы содержали дитя общины? Подумали ли вы, как это все раздует Радое Убогий, как это дойдет до самого уездного начальника, а там, не дай бог, и до газет. Уж чему не бывать, тому не бывать!

— А чему тогда бывать? — нетерпеливо влез в разговор лавочник. — Церковь взять ребенка не может, община тоже... Куда же его девать? Писарь, вот ты человек умный, — залебезил перед писарем лавочник, — скажи нам, что ты думаешь, мы тебя все слушаем!

— Гм! — произнес писарь. — Я ничего не думаю.

— Скажи, друг, — попросил и староста, стукнув по столу, чтобы писарю принесли еще водки.

— Ну... — не спеша начал писарь, — я вот что думаю...

Все наострили уши и уставились писарю прямо в глаза.

— Я, братья, думаю, что Аника родом не из нашего села, а из Крман. По закону, община должна заботиться о своих бедняках, а следовательно, ребенка Аники должна кормить крманская община.

Все были поражены, и по лицам разлилась радость.

— Вот это да! — воскликнул первым лавочник Иова.

— Ты это в самом деле, друг? — добавил батюшка.

— Писарь, золотые твои слова! — восторженно сказал староста, вскочил и поцеловал писаря меж глаз.

— Только так, друзья, и никак иначе, — спокойно и веско подтвердил писарь. — Так говорит закон! Предоставьте это мне, а я набросаю документик. Идите и спите спокойно, но предварительно заплатите за то, что я выпил.

— А когда ты напишешь документ? — полюбопытствовал староста.

— Это уж моя забота, — ответил писарь. — Ты только распорядись, чтобы завтра на заре Срея с документом и ребенком двинулся в Крманы.

— Разве он сразу и ребенка понесет?

— Конечно, сразу.

Все вдруг развеселились. Кто бы подумал, что все обернется так удачно!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Содержание письма общины села Прелепницы от 29 марта
1891 года, за номером 143*

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩИНЫ СЕЛА ПРЕЛЕПНИЦЫ

№ 143

29 марта 1891 года

Прелепница

ПРАВЛЕНИЮ ОБЩИНЫ СЕЛА КРМАНЫ

Аника, жена здешнего жителя покойного Алемпия, а ныне вдова последнего, сочетавшись официальным браком с покойным, стала в силу вышеозначенного жительницей общины села Прелепницы. В связи со смертью Алемпия она стала вдовой данной общины и тем самым перестала быть женой покойного Алемпия, а следовательно, согласно записям, сделанным в церковных книгах, будучи родом из села Крманы, она принадлежит к вышеуказанному селу, как жительница его общины, обязанной на основе соответствующих статей специальных законов заботиться о тех своих членах, которые не имеют средств к пропитанию.

Смягчающее обстоятельство состоит в том, что вышеупомянутая Аника по собственному желанию сбежала из общины куда-то, где собирается проживать и в дальнейшем. Однако в последнее время Аника безответственно родила ребенка, которого ни в коем случае нельзя назвать потомством покойного Алемпия ввиду того, что он умер за тринадцать месяцев до намерения Аники родить ребенка.

Основываясь на том, что ребенка Аники трудно назвать родившимся в браке, его смело можно признать внебрачным и тем самым отнести к числу бедняков общины, к которым принадлежала бы и его мать, если бы она не пренебрегла своим правом на милостыню, убежав в неизвестном направлении.

Вследствие вышеизложенного вышеупомянутая община обязана содержать ребенка, поскольку Аника

родилась в ней, на основании чего имеем честь выслать в качестве приложения № 1 ребенка, которого отныне следует рассматривать как находящегося на содержании вышеупомянутой общины.

О получения данного письма, а также приложения к нему просим сообщить соответствующим письмом.

Писарь
Пайя Еремич

(М. П.)

Председатель правления
Мича Ристич

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О ни сном ни духом не виноватой общине, которая не заваривала прелепницкой каши и потому не бобиралась расхлебывать ее

В субботу на рассвете посыльный Срея, сунув письмо прелепницкой общины за № 143 за кушак, а приложение к этому официальному документу — под мышку, отправился в Крманы. Документ за кушаком вел себя тихо, и с ним Срея шел бы себе весело и беззаботно, но с приложением была беда. Мало-помалу приложение так разоралось, что Срее не раз приходило на ум просто выбросить его. К тому же, почувствовав влагу на ладони, Срее пришлось один раз даже перепеленать приложение к документу № 143. В конце концов ему так надоели писк и визг, что он полез в торбу, отломил кусок кукурузной лепешки, набил приложению рот и не спеша двинулся дальше.

Солнце уже взошло, туман над распаханными полями рассеялся, за кустами слышалась песня жаворонка, и Срея, отирая ладонью пот со лба, лениво шагал к уже показавшимся вдали Крманам.

А тем временем в Крманях тамошний староста беззаботно сидит себе в правлении, не ведая, что ему готовит наступивший день. Крманский староста Радисав — человек рассудительный и умный. Разумеется, в делах он не разбирается, зато внешность у него такая видная — настоящий гвардеец, — что любо-дорого посмотреть на него, когда он усаживается за председательский стол или обрушивается на тебя с бранью. Ему это даже как-то идет. В свое время он служил в армии и был там капралом, а потому и общиной своей

управляет по-военному. Придут, скажем, крестьяне, спорящие из-за пастбища, и станут один посередине комнаты, другой у дверей. Он смерит их взглядом и как гаркнет:

— А ну построиться, ребята! Становись! Как стоишь! Иди сюда, стань рядом с ним... так... Равняйся! Да ты не на меня смотри, а на него. Равняйся!

Или, скажем, позовет посыльного и прикажет:

— Поднимай село по тревоге и объяви, что завтра выступаем отбывать трудовую повинность, будем чинить дорогу. Вот тебе приказ окружного начальства, зачитаешь перед строем.

Так же, по-военному, вершит он и канцелярские дела. Получит из уезда какую-нибудь бумагу и, вместо обычного «Принято к сведению», напишет на нем просто «Слушаюсь!».

Таков староста Радисав, решительный, неумолимый, и так он вершит все дела.

И вот такой, какой есть, сидит он в правлении беззаботно, не ведая, что ему готовит наступивший день. Только он встал, чтобы пойти по какому-то делу к члену правления Ивко, как входит крманский посыльный и говорит:

— Пришел Срея из Прелепницы, принес какой-то документ.

— Давай сюда этот документ! — приказал Радисав.

Посыльный принес письмо. Радисав вскрыл его, подошел к окну и стал читать, бормоча себе под нос.

Прочитав, он только и сказал:

— Чепуха какая-то, даже отвечать не будем!

Он взял перо, написал на обороте письма: «В архив», отдал посыльному и приказал:

— Отнеси писарю!

Посыльный ушел, а Радисав снова было направился к Ивко и только переступил порог, как из другой двери показался с письмом сам писарь. Это был низкорослый безбородый гимназистик, евший Радисава глазами.

Радисав вернулся в правление.

— Чего тебе, писарь?

— Э... что делать-то?

— С чем?

— С этой бумагой из Прелепницы.

— В архив, в архив, и все! — решительно повторил Радисав.

— Нельзя ее в архив! — смиренно возразил писарь.

— Почему нельзя? — спросил староста, думая, что писарь ставит под сомнение его познания в делопроизводстве.

— Потому что при этом документе есть приложение, а его в архив никак не сунешь.

— В архив вместе с приложением! — загремел Радисав.

— Слушаюсь, но только приложение это — младенец, живой младенец.

— А... м-да! — замычал Радисав, вспомнив содержание письма.— Ну, а как же быть?

— Не знаю,— сказал писарь и пожал плечами.

— Зато я знаю!

Радисав повернулся к посыльному.

— Где младенец?

— В комнате у писаря,— ответил посыльный, и тут из писаревой комнаты донесся такой вопль Милича, что и Радисав, и писарь, и посыльный бросились туда и с ужасом увидели, что Милич, лежавший на писаревой кровати, где валялись и кое-какие документы, привел их в совершенную негодность.

— Фу! — произнес Радисав.— Зови скорей Срею из Прелепницы, пусть уберет это дерьмо.

— Какого Срею? — спросил посыльный.

— Срею из Прелепницы, того самого, который принес письмо и младенца...

— А он... — сказал посыльный и почесал затылок,— это самое... оставил письмо и ребенка, а сам вернулся в Прелепницу.

— Кто это вернулся? — рявкнул Радисав.

— Он... Срея из Прелепницы.

— И оставил это?

— Да,— ответил посыльный.

— Ох! — вздохнул Радисав.— Как же теперь быть?

И писарь и посыльный потупили очи и пожали плечами.

— Послушай, писарь, сейчас же зови сюда членов правления. Пусть рассудят: обязаны ли мы содержать сирот, которых наши жители рожают черт-те где?

А уходя, добавил:

— Я вернусь через полчаса, пусть подождут.

Староста ушел к Ивко, а писарь с посыльным пришли к соглашению: посыльный оставался стеречь ребенка, а писарь пошел созывать членов правления.

Старейшины собрались перед домом, а когда пришел Радисав, вошли в правление. Председатель Радисав сел на свое место, выпятил грудь, отдал честь и взял слово:

— Смирно! Открываю заседание. Ребята, прелепницкая община прислала нам рапорт. Зачитай его, писарь!

Когда писарь прочел письмо за № 143, все члены правления переглянулись и вскипели.

— Спасибо! — завопил Петар Ранчич. — Что мы, дураки, чтобы кормить чужих детей? Кто кашу заварил, тот пусть ее и расхлебывает!

— А я скажу, — добавил Радисав Андрич, — раз есть в нашей стране законы для взрослых, то есть законы и для детей. Пусть все по закону и будет!

— А по-моему, — предложил Милислав Неделькович, — нам надо это дело вместе с младенцем отправить на решение государственному совету.

Председатель Радисав, выслушав эти мудрые речи, снова скомандовал: «Смирно!» — и сказал:

— Это дело, ребята, решается просто, в уставе такое предусмотрено. Мы напишем ответный рапорт, в котором скажем, что крманская община не обязана кормить бедняков, ведущих свое происхождение из прелепницкой общины.

Последняя фраза так понравилась старосте Радисаву, что он обернулся к писарю.

— Внеси, писарь, в сегодняшний приказ по части следующее: «Крманская община не обязана кормить бедняков, ведущих свое происхождение из прелепницкой общины».

И писарь запротоколировал все, от слова до слова. По предложению старосты правление проголосовало за то, чтобы ребенок был возвращен вместе с письмом, в котором будут упомянуты слова старосты.

На том заседании закончилось. Радисав скомандовал членам правления: «Вольно!», все встали и пошли по домам.

Поскольку уже стемнело, писарь и посыльный остались мучиться с младенцем, а на заре следующего дня посыльный крманской общины двинулся в путь с письмом правления за № 86 и с приложенным к нему дитятей общины.

Так бедняга Милич отправился в свое второе путешествие в качестве приложения к письму, имевшему, правда, уже другой номер.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Гром с ясного неба

Закончилась воскресная служба, а до полудня еще далеко. Светит солнце, денек выдался на славу. Не печет, не жарит, хорошо нежиться в лучах такого солнышка. Народ в праздничной одежде разбрелся — кто на паперти стоит, кто на развилке, кто перед кабаком.

В такой прекрасный день всякому хочется поболтать, а уж тем более батюшке, старосте, лавочнику и писарю прелепницкому. Камень, что вчера еще лежал у них на сердце, свалился благодаря писаревой мудрости, и сидят они теперь перед кабаком, лясы точат, лица у них веселые, глаза, щеки, губы прямо-таки источают радость и удовольствие.

А говорят они о всякой всячине, все им по душе. Вот поп рассказывает, что слышал, будто архиерей любит утку с рисом и при этом, говорят, ест только ножки.

— А я, дорогие мои,— говорит поп,— люблю утку с тушеной капустой, и ножки ты мне не давай, ты поддай мне гузку, если хочешь угодить.

— А я люблю спинку,— возражает староста.

— Да что в ней, в спинке! Гузка, дорогой мой,— восклицает поп, глотая слюну,— это такой лакомый кусочек, язык проглотишь.

— Ну, какая гузка у утки,— высказывается писарь,— одна видимость. Только в рот положишь, и нет ее. Я ел страусиную гузку. Семь кило мяса в ней, одной гузкой можно четырнадцать архиереев накормить.

— А какое мясо у страуса? — спрашивает лавочник.

— Курятина, настоящая курятина!

— А дужка у страуса есть? — не отстаёт лавочник.

— Ну и глуп же ты, Йова! — отвечает писарь. — Как же без дужки, ведь это птица, не человек! Только дужка эта, конечно, большая, как рога, которые у нас на коньках прибивают.

— Ты скажи!.. — удивился лавочник.

— Однажды мы такую дужку ломали с немцами. Нас семь сербов с одной стороны тянем, а семь немцев — с другой. Едва переломили.

Потом зашла речь и о всяких других предметах, как водится у людей с чистым сердцем и спокойной совестью, которые и ведать не ведают, что на них вот-вот свалится беда.

И ведь верно говорят, думка за горами, а смерть за плечами. И чего только на свете не бывает! Сколько раз случилось, что с ясного неба, без всякой на то причины, ударял гром. Или вот ты радуешься дружным всходам на своем поле, а град неожиданно возьмет и все побьет. Или еще — человек, здоров-здоровехонек, сидит с тобой, выпивает, разговаривает, шутит, и вдруг закатил глаза и помер. Вот такой странный случай произойдет и сегодня, в этот прекрасный день, когда и батюшка, и староста, и писарь, и лавочник настроены весьма благостно, когда их глаза, щеки, губы прямо-таки источают радость.

Сидят они, разговоры разговаривают, и вдруг, глядь, весь в мыле бежит посыльный Срея, который — как мы уже могли заметить в предыдущей главе этого романа — никогда не приносит доброй вести, если прибегает вот так, в мыле.

Срея даже к столу не подошел, а лишь поманил к себе старосту, который тотчас встал из-за стола. Срея прошептал ему что-то, и староста тут же побледнел и посинел, как спелая винная ягода.

Староста поманил батюшку, который тотчас встал из-за стола. Староста прошептал ему что-то, и батюшка тут же побледнел и посинел, как спелая винная ягода.

Потом батюшка поманил лавочника Йову, который тотчас встал из-за стола. Поп прошептал ему что-то, и лавочник тут же побледнел и посинел, как спелая винная ягода.

Теперь Йова-лавочник поманил писаря, который тотчас встал из-за стола. Йова прошептал ему что-то,

однако писарь не побледнел и не посинел, как спелая винная ягода, потому что пил с раннего утра и уже и без того был бледный и синий, как баклажан.

Настала минута молчания, тяжелая, роковая минута, во время которой никто ни о чем не думал и все тупо смотрели друг на друга.

Наконец писарь подмигнул старосте и зашагал в правление, староста подмигнул попу и пошел следом, поп подмигнул лавочнику и пошел за ними, а лавочник, которому некому было подмигивать, двинулся им вслед без всякого выражения на лице.

Придя в правление, они собственными глазами увидели то самое, о чем только что шептались, а именно: письмо крманской общины за № 86 и роковое приложение к нему, которое довольно улыбалось, как бы радуясь возвращению к своим.

Все перешли в помещение, где обычно заседал совет общины, а Срея с приложением остались в писаревой комнате.

Писарь развернул письмо крманской общины и прочитал его вслух. Все молчали, будто языки проглотили, так как потеряли способность не только говорить, но и думать.

С грехом пополам батюшка взял себя в руки, обвел всех взглядом и прошептал:

— Как быть-то?

Никто ему не ответил, было слышно, как о стекло окна, жужжа, бьется муха. Наконец староста нарушил тягостное молчание:

— Да-а, что делать?

И снова никто не сказал ни слова. Писарь, вероятно, мог ответить на этот вопрос, но он, похоже, нарочно молчал: пусть немного помучаются. Староста, кажется, почувствовал это и потому спросил:

— Что скажешь ты, писарь, как специалист?

Но сердце писаря не дрогнуло, он не проронил ни слова, хотя уже придумал, как быть. Он просто наслаждался, глядя, как они корчатся, будто караси на сковородке, а когда одна сторона подрумянилась, он мысленно перевернул их, чтобы поджарилась и другая сторона. Староста повторил свой вопрос, но писарь вместо ответа сокрушенно покачал головой, сдвинул брови и пробормотал:

— Бог его знает!..

Этого было достаточно, чтобы все прочие опять повесили головы, опасаясь даже взглянуть друг на друга.

И в этой тишине писарь вдруг решительно произнес:

— А теперь, братья, пошли к уездному начальнику жаловаться на противозаконные действия крманской общины!

Все подняли головы, и будто солнце озарило и прояснило их лица. Батюшке так хотелось еще раз услышать утешительные слова, что он переспросил:

— Повтори, ради бога, что ты сказал?

— Я сказал,— повторил писарь,— пойдём к уездному начальнику и посмотрим, кто лучше знает законы: я или Радисав.

— А это поможет? — спросил староста.

— Конечно! — решительно ответил писарь.

— А что может начальник сделать? — спросил лавочник.

— Прикажет крманской общине взять ребенка.

— Вот хорошо бы! — воскликнули все хором.

— Но скажу вам еще и другое... — попытался охладить их писарь.

— Говори, говори, писарь! — просил староста.

— Не думайте, что все обойдется без труда. Начальник может решить по-своему, и дело обернется против нас.

— Ох, скверно! — со вздохом сказал батюшка.

— Но разве ты, писарь, не можешь сделать как-нибудь так, чтобы начальник решил дело законным образом? — размышлял староста.

— Это можно, — утешал писарь. — Я напишу такую жалобу, что ему никак не вывернуться.

— Чего же ты тогда боишься? — спросил лавочник.

— За себя я не боюсь, я думаю, как бы подкрепить это дело.

— Что ж, и подкрепим, ты, писарь, только научи, как...

— Мне кажется, — продолжал писарь после недолгого раздумья, — что с жалобой к начальнику должна пойти депутация!

— Правильно, — суетливо подхватил староста. — И пусть депутацию возглавит батюшка.

— А я думаю,— воспротивился поп,— что мне в это вмешиваться не годится. Вот если бы речь шла, скажем, о побелке церкви, тогда другое дело, я бы мог возглавить депутацию. Теперь же было бы лучше, чтобы от имени целого мира, как лицо мирское, выступил староста.

— Почему это я? — отпирался староста.

— Будет вам! Вспомните крестины! Неужели вы хотите, чтобы депутацию возглавил Радое Убогий? — пресек распрю писарь. Все перепугались от одной мысли, что такое может случиться.

— Твоя правда! — воскликнули все в один голос.

— В таком случае вы втроем завтра с рассветом и отправитесь. Другим идти незачем.

— Неужто непременно надо идти? — почесав за ухом, сказал батюшка.

— Поверь, батюшка, надо! — отрезал писарь.— Совсем иное дело, когда жалуются лично: тогда и начальник не станет с кондачка решать.

Подумали они, подумали и согласились, что иного, кроме предложенного писарем, выхода нет. Договорились, что и как будут делать и разошлись по домам готовиться в путь, а писарь сел писать жалобу.

Стараясь не попасться на глаза односельчанам, с первыми лучами солнца три путника покинули село. Разумеется, с ними была официальная бумага за № 151 и бедняга Милич, который уже третий раз путешествовал в качестве приложения к документу.

После долгого пути вдали показался некий городок...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Некие власти

В рассказах наши уездные городки обычно называют буквами: А..., Б..., В..., Г..., Д..., Е..., Ж..., З... и так далее. Автор этого романа перевероршил всю сербскую прозу, пытаясь найти неиспользованную букву, чтобы назвать ею тот городок, в котором предстоит развиваться действию. А поскольку такой буквы не оказалось, ему не оставалось ничего другого, как употребить слово «некий».

В этом некоем городке находятся, разумеется, и некие власти в лице некоего начальника уезда, о ко-

тором, с другой стороны, никак не скажешь «некий», потому что все мы его знаем. Да, друзья, это тот самый знаменитый уездный начальник Еротие, который геройски сражался с многочисленными комиссиями и имя которого появлялось во всех газетных «корреспонденциях из провинции...». Впрочем, не стоит истолковывать это плохо, так как уездный начальник Еротие снискивал большое уважение всюду, где ему приходилось служить. За десять лет службы он переменил четырнадцать уездов, и при расставании с ним каждый из этих уездов дарил ему саблю, а жители провожали его до самой границы уезда, о чем мы, белградцы, узнавали из специальной депеши, которая гласила: «Сегодня жители уезда П... проводили своего любимого начальника Еротие до границы своего уезда и при расставании подарили ему за добросовестную службу саблю. Можно лишь поздравить уезд Р..., куда переведен Еротие, с таким начальником, какого они получают в его лице». Правда, злые языки говорили, что он четырнадцать раз получал одну и ту же саблю (так как сам же от имени уезда заказывал саблю в Белграде) и четырнадцать раз посылал одну и ту же телеграмму за свой счет, но... от злых языков истины не жди.

В конце концов злые языки могут говорить, что хотят, а гораздо важнее то, что за девять лет службы его снимали с поста всего шесть раз, и всегда за то, что он не соглашался либо с программой своего министра или окружного начальника, либо с программой органов Государственного контроля. В нашем уезде он находился уже месяца три, народ был очень доволен им, и, что самое главное, он был доволен народом.

Сидит, значит, уездный начальник Еротие однажды утром в своем кабинете и изучает жалобу какой-то вдовы, вдруг входит стражник и докладывает ему о приходе старосты и священника из села Прелепницы.

— Пусть войдут,— сказал начальник, отложил в сторону жалобу, поднял голову и посмотрел на батюшку и старосту, появившихся в дверях... (Позже мы пойдем, почему не пришел лавочник Йова.)

Уездный начальник Еротие смерил взглядом попа и старосту с головы до ног, так как знал их только понаслышке.

— Какое у вас дело ко мне? — спросил он наконец.

Староста с батюшкой не договорились заранее, кому говорить с начальством, и поэтому они переглянулись и промолчали.

— С каким делом пришли, спрашиваю я вас?

Первым осмелился заговорить староста.

— Мы, так сказать, пришли от имени ребенка, то есть от имени нашей общины, которая внебрачно родила ребенка, то есть...

Увидев, что староста запутался и своими объяснениями навлечет на них еще больший позор, батюшка сунул ему локтем в ребра, чтобы замолчал, и продолжил сам:

— В нашей общине родился внебрачный ребенок, который нам не принадлежит.

— Почему он вам не принадлежит? — строго спросил начальник.

— Его мать, вдова, принадлежала нам, — вставил староста, но батюшка снова сунул ему локтем в ребра и продолжил:

— Мать его — вдова, родом она из другого села, из Крман, поэтому ребенок ее принадлежит той общине.

— А сколько времени прошло с тех пор, как его мать стала вдовой? — спросил начальник.

— Тринадцать месяцев, четырнадцатый пошел, — ответил батюшка.

— А где она жила все это время? — продолжал спрашивать начальник.

— В нашем селе, — отвечал батюшка.

— И вы, разумеется, как добрые люди, заботились и пеклись о ней, как о всякой сироте?

— Конечно, господин начальник, — ответил староста в полной уверенности, что это заслуга общины, а не церкви, и потому на вопрос следует отвечать ему, а не батюшке.

— И вы, разумеется, не дали бедняжке умереть с голода и жажды, навещали ее, спрашивали, как ей живется?

— А как же иначе, господин начальник, — лез из кожи староста, обрадованный, что господин начальник так лестно думает об общине, где он председательствовал.

— Но, господин начальник,— снова встрял батюшка,— она же родом из Крман.

— Из Крман? — переспросил начальник.

— Да! — в один голос ответили поп со старостой.

— А с тех пор, как она овдовела, приходили к ней хоть раз староста или священник из Крман?

— Нет, господин начальник!

— Ну что ж, кто вдову навещает, тот и расходы несет. И чтоб я больше об этом не слышал, понятно? Мое слово — закон!

— Как же так? — осмелился возразить батюшка.— Мы принесли и письменную жалобу, в таком случае дайте нам письменное заключение, мы пойдем жаловаться выше.

-- Послушай, поп,— очень серьезно сказал начальник,— смотри, как бы я у тебя не сбрил бороды, а ты, староста, поберегись, я и так подумываю. не послать ли к тебе на днях ревизию.

Староста с батюшкой побледнели, не смея поднять глаза на начальника.

— Вы думаете,— продолжал начальник,— я не знаю, что у вас там творится, думаете, ваше село далеко, так мне оттуда некому донести...

И староста, и батюшка уставились в пол, и у каждого из них перед взором возник Радое Убогий, черный-черный, как грач, и не дай бог, чтоб Радое постигла та участь, какую они пожелали ему в душе.

— И вы думали,— продолжал начальник,— провести меня на мякине! Кишка тонка! Мне стоит ногтем вас прижать, и от вас, как от блохи, мокрое место останется.

И батюшке тут же представился начальнический ноготь, но огромный, каким и полагается. быть государственному ногтю. А себя он узрел в виде маленькой, крохотной, черной блошки, которую поймали под одеялом и держат, зажав, два государственных перста, готовые вот-вот положить ее на один государственный ноготь и раздавить другим.

Старосте все это представилось совсем иначе. Сравнение с блохой он отнес на счет попа, потому что тот, такой ядреный, да еще в черной рясе, и в самом деле был немного похож на блоху, насосавшуюся крови. Но хотя староста тешил себя мыслью, что угроза уездного начальника больше касается попа, у него

все же засвербила лодыжка примерно там, где заклепывают кольцо кандалов, и он, подняв правую ногу, почесал ею левую.

— Впрочем,— продолжал начальник,— я человек не зловредный. И у меня есть сердце. Все мы люди и должны помогать друг другу.

— Ваша правда! — воскликнули поп со старостой, лица их просветлели.— Мы ничего... мы того... как прикажете!

— Знаю, знаю. Вы хорошие люди!

— Да мы...— ликовал староста. У него тотчас перестала свербить лодыжка, и он едва не подскочил и не обнял начальника.

— Вот поэтому,— продолжал начальник,— я сделаю для вас то, что для других не сделал бы никогда.

— Спасибо, господин начальник! — запели оба и от умиления прослезились.

— А теперь послушайте, что я вам скажу.

— Кого же нам еще слушать, господин начальник! — усердствовал батюшка.

— Значит, так. Вы держите ребенка у себя как дитя общины, как сироту, а подрастет, сами знаете, что делать...

— Золотые слова, господин начальник!

— А ту жалобу, что с собой принесли, порвите. Регистрировать я ее не буду. Лучше, чтоб в архиве и следа не было об этом ребенке.

— Лучше, лучше! — убежденно согласились поп со старостой.

— И не забывайте,— добавил начальник,— что оба вы были у меня в руках, и другой на моем месте такое бы вам устроил, что вы бы вовек не расхлебали. А я вам помог, не забывайте об этом!

— Уж не забудем, господин начальник! — откликнулся староста так умильно и приторно, как умел только он.

— Вот так! А теперь идите! — приказал господин Еротие.

Они еще раз поблагодарили уездного начальника, раз пять поклонились и пошли. Когда они были уже в дверях, начальник еще раз напомнил им:

— И смотрите же, помните, что я спас вас от больших неприятностей, а то бывает, порог переступят и все забудут.

Они обернулись и снова стали убеждать уездного начальника, что никогда, никогда не забудут. Из уездной канцелярии они направились на постоянный двор, где остановились, но по пути ни разу не взглянули друг на друга и не сказали ни слова.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,

в которой по некоему городку едва не разнесся слух, что поп родил

Еще на подходе к некоему городку батюшка, староста и лавочник сделали привал и договорились, как будут действовать. Перво-наперво надо было решить, кому внести в город ребенка. Батюшка отказывался это сделать, староста с лавочником тоже не соглашались. После длительных препирательств порешили, что батюшка пронесет ребенка под рясой.

Потом возник вопрос, как быть с ребенком, когда они пойдут к уездному начальнику. Договорились, что в уездную канцелярию пойдут батюшка со старостой, а лавочник останется на постоялом дворе и будет сидеть с ребенком. По дороге купили бутыль молока и деревянную ложечку, чтобы покормить младенца, если он заплачет.

Еще порешили прятать младенца от всех, а то в городе сраму не оберешься, и поэтому сразу взять отдельный номер, запираться изнутри и не открывать никому.

Договорившись обо всем этом, они спокойно ступили на улицы городка. Единственная неприятность по пути случилась тогда, когда с ними поздоровался поп Илия. В тот же миг ребенок под рясой попа Перы заверещал так, будто его резали. Можно представить себе, как взвился поп Пера, едва не уронивший Милича, а поп Илия шел и все оглядывался и удивлялся, что это случилось с сельским батюшкой, почему вместо того, чтобы ответить на приветствие, он заблеял, как овца.

— Не иначе, как укусила бешеная собака! — решил про себя поп Илия, перекрестился, чтобы его бог миловал от такой беды, и пошел дальше.

Придя на постоянный двор, они тотчас потребовали номер, шмыгнули в него, заперлись, и батюшка свалил свой груз на постель.

Хозяину этого заведения бросилось в глаза, что поп что-то пронес под рясой и что вся троица сразу же закрылась в номере и о чем-то там долго шепталась, но он только пожал плечами, будто хотел сказать: черт с ними, мне какое дело!

Потом батюшка со старостой отправились к начальнику, а лавочник остался сидеть с ребенком и снова заперся в номере. С чем вернулись от начальника батюшка со старостой, мы уже знаем, а каково было лавочнику Йове, когда ему сообщили о результате, можем себе представить. Запершись в номере, они расселись по кроватям и стали тихо договариваться.

— Я его обратно в село ни за что не понесу! — сказал староста.

— Зачем же ты тогда обещал начальнику? — спросил батюшка.

— А разве я?.. Как было не пообещать? Если бы он приказал унести всех детей из города, я и это пообещал бы. И не потому, что он строг, а потому, что дело свое знает.

— Еще как знает! — покорно согласился батюшка и добавил вполголоса: — Ничего другого теперь не остается, как взять тебе, староста, ребенка в дом!

— Мне? — вытаращив глаза, сказал староста. — Это ты возьми его к себе! Мало было у меня неприятностей дома из-за этого ребенка? Нельзя мне его к себе...

— Тогда вернемся в село и будем по-прежнему содержать его как дитя общины, — предложил поп.

— Послушайте, люди, — сказал лавочник, впервые в жизни собравшийся дать дельный совет, — а что бы нам поискать здесь, в городе, какую-нибудь бедную женщину... Мы платили бы ей каждый месяц, она смотрела бы за ребенком, и не надо было бы нести его в село.

Все воспряли духом и посмотрели на Йову с таким удивлением, будто перед ними был человек, который изобрел железную дорогу. Йова осмелел и встал с кровати.

— Мое дело предложить, а там как знаете!

— Эх, Йова, благослови тебя бог! — сказал батюшка.

— Умница ты, Йова, — добавил староста.

И они продолжали шептаться. Условились, что в этот вечер в село не вернуться, а останутся в городе, батюшка будет сидеть с ребенком, староста же с Йовой пойдут по городу, найдут какую-нибудь бедную женщину и договорятся с ней.

Перед уходом Йова сбегал еще за молоком, чтобы было чем батюшке покормить ребенка, если заплачет. Потом лавочник со старостой ушли, а батюшка заперся изнутри.

Сидел батюшка так часа два, а когда ребенок заснул, он тихо вышел из номера, запер за собой дверь и отправился размять ноги. На улице он посмотрел направо и налево, не идут ли староста с Йовой, так как ему надоело сидеть взаперти. Уж скоро вечер, а их все нет.

Стоит он перед постоянным двором, и подходит к нему хозяин, низкорослый грязноватый человечек в расстегнутой безрукавке, служившей ему пиджаком.

— Продавать принес, а, батюшка? — спросил хозяин как бы между прочим и вроде бы глядя в небо, а сам одним глазом посматривал на попа, стараясь что-то прочесть по лицу.

— Что продавать?

— А это самое.

— Что это самое?

— Ну, чего ты боишься! То самое, что ты принес под рысой и что вы держите все время в запертом номере, — сказал хозяин и уставился батюшке прямо в глаза.

— Нет, нет, — ответил батюшка. — Это просто так... как тебе сказать... наше частное дело...

— Наверно, так оно и есть, — согласился хозяин, едва не подмигнув. — И дело, должно быть, важное, раз вы все время сидите взаперти и о чем-то договариваетесь.

— Да, да, — сказал поп вроде бы рассеянно, но в тот же миг вздрогнул и прислушался. Ошибки не было: он услышал донесшийся из номера писк Милича и как одержимый бросился туда, заперся и стал кормить ребенка молоком.

Хозяина удивили ответы попа, а поведение его и вовсе привело в изумление. Он посмотрел вслед батюшке и сказал себе:

— Ага, тут дело нечистое!

Если бы и он услышал писк младенца, ему все стало бы ясно, но он не слышал. Поэтому он пошел следом, остановился перед дверью номера, прислушался, но оттуда не доносилось ни звука. Хозяин попытался заглянуть в замочную скважину, но тоже ничего не увидел. Он вернулся в трактир и, поскольку уже стемнело, велел половому зажечь лампы, а потом вышел на улицу и задумался, покачивая головой, чем выражал свое сомнение и беспокойство.

Однако вскоре он просиял, заметив вдали полицейского Риста, который направлялся прямо к его трактиру. В этот час Риста всегда заходил к нему выпить вина, так как не имел обыкновения ужинать, — вместо этого он выпивал стакана два красного вина и потом переходил на белое, как бы запивая ужин.

Хозяин отвел его в сторону и рассказал ему шепотом, что и как. Поведал о том, как странно ведут себя поп, староста и лавочник, как они запираются и шепчутся, как они принесли с собой что-то большое под поповской рясой и прячут, как он стал расспрашивать попа об этом и как поп, почувствовав, что его подозревают, сорвался с места как бешеный и заперся в номере.

Полицейский Риста, выслушав хозяина, подумал, подумал и сказал:

— Гм! Гм! Это происшествие!

Полицейский Риста всякое запутанное дело называл «происшествием».

— Несомненно, это происшествие! — повторил он и велел хозяину подать ему вино, которое он пил вместо ужина. Ему надо было поразмыслить.

На все его размышления хватило одного стакана вина. Он позвал хозяина и сказал ему, чтобы тот постучал к попу в номер. Сам Риста будет молча стоять рядом с ним, а тот станет предлагать что-нибудь попу — вдруг откроет дверь?..

Так и сделали. К третьему номеру Риста подошел на цыпочках, а хозяин протопал, не таясь, и постучался.

— Кто там? — спросил батюшка.

— Это я, хозяин. Не принести ли вам воды?

— Тут есть вода, — ответил батюшка.

— Откройте, пожалуйста, — продолжал хозяин, — мне надо дать вам полотенце и мыло.

— Не нужно! — отозвался батюшка.

— Пожалуйста, откройте, в номере остались комнатные туфли одного человека, который тут вчера ночевал, и теперь он их требует.

— Не могу, — сказал батюшка. — Я сам поищу туфли и вынесу вам потом.

После этого разговора Риста с хозяином отошли от дверей. Полицейский Риста был не на шутку встревожен.

— Происшествие, это несомненно происшествие! — пробормотал он сквозь зубы и решил принять все меры, чтобы узнать тайну, которая обещала быть чрезвычайно важной.

Он вышел во двор, надеясь заглянуть в окно номера, но поп задернул занавески. Однако занавески закрывали лишь нижнюю часть окна, и, если бы удалось подняться повыше, в номер можно было бы заглянуть. С помощью хозяина полицейский созвал всю прислугу. Пришел половой, вылез из конюшни конюх, который принес с собой вилы, так как привык являться вооруженным, когда его звали на помощь. Пришла повариха, толстая, оплывшая, подпоясанная синим грязным передником, явилась горничная, причесанная и завитая, в чистом белом переднике, белых чулках и бархатных красных домашних туфлях. Пришел, наконец, и чистильщик ламп. Он был опоясан мешковиной вместо передника и так вонял керосином, будто только что вылез из бочки.

Риста приказал всем молчать и коротко объяснил суть дела... Он велел принести лестницу, прислонить ее к стене, и сам полез наверх; заглянув в окно, он отпрянул в изумлении. Поглядев еще раз, он трижды перекрестился и сверху же объявил любопытствующей публике:

— Чудо! Чудо невиданное!

— Что там, скажи, ради бога? — зашумели внизу все, стоявшие задрав головы.

Риста торопливо слез, отозвал всех в сторону, чтобы не шумели под поповским окном, и тихо, но выразительно сказал:

— Батюшка родил ребенка!

Эта весть как гром поразила присутствующих. Сперва они притихли в удивлении, а потом начали

рассуждать. Хозяин, не сомневаясь ни на минуту в словах полицейского, тут же вспомнил:

— Я заметил, что у него начались родовые схватки, когда он убежал от меня. Наверное, тогда все и случилось.

Горничная взвизгнула, будто ее кто ущипнул.

— Ах, проклятый! — сказала она. — А ведь он утром еще подмигнул мне, когда проходил мимо. Бесстыдник!

От этого великого чуда чистильщик ламп и сам почувствовал в животе какие-то схватки, а повариха стала бить себя в грудь и объяснять, что с тех пор, как она устроилась поварихой, ее муж начал быстро поправляться. Один конюх, оставив вилы, которыми совершенно нечего было делать при родах, засомневался:

— Но послушайте, люди, разве такое бывает?

Горничная, которая «повидала свет», рассказала, как это бывает. Она знала еще про один такой случай, и чистильщик ламп почувствовал, что схватки усилились.

И пока прислуга спорила, бывает такое или не бывает, полицейский Риста в сопровождении хозяина снова подошел к дверям третьего номера и уже сам постучал в нее.

— Кто там? — отозвался батюшка.

— Не нужна ли какая-нибудь помощь? — спросил Риста.

— Какая еще помощь, на что мне помощь? — прокричал батюшка.

— Повивальная бабка, может, или какая-нибудь пожилая женщина?

— Какая еще женщина? — кричал батюшка. — Оставьте меня в покое! Кто это все время не дает мне покоя?

— Полиция! — торжественно провозгласил Риста.

И тут же словно из-под земли у дверей возникли староста и лавочник.

Они переглянулись, не понимая, что происходит у дверей их номера.

— Вы заняли с батюшкой этот номер? — обратился к ним полицейский.

— Мы, — ответили оба.

— А где вы были до сих пор? Искали женщину, которая умеет обращаться с детьми?

Увидев, что полицейскому все известно, они признались:

— Да!

— И нашли?.. Впрочем,— продолжал Риста,— уже поздно, батюшка разродился.

Староста и Йова удивились, не зная, то ли рассмеяться, то ли провалиться сквозь землю.

— Отпирайте дверь, поможем человеку.

— Не надо, спасибо, не надо никакой помощи,— пустился уговаривать их Йова, видя, что чем дальше в лес, тем больше дров.

Тем временем прибежали горничная, повариха, конюх, чистильщик ламп, и даже половой оставил трактир и пришел посмотреть на чудо.

Батюшка все это слышал и, поняв, что деваться некуда, открыл дверь. Вся толпа ввалилась в номер. На кровати лежал голый Милич и орал. Батюшка начал было его перепеленывать, но не успел.

Горничная всплеснула руками.

— Ой, какой красивый малыш!

— И большой какой, ровно двухнедельный! — добавила повариха.

Батюшка, староста и Йова переглядывались, не в силах произнести ни слова. Наконец староста кое-как взял себя в руки и сказал полицейскому:

— Прикажи, пожалуйста, всем выйти, а сам останься, мы тебе объясним, что к чему.

Риста так и сделал. Когда все вышли, он сел, а староста первым делом заказал четыре кофе и потом рассказал все по порядку: с чего все началось, как они были у начальника и что начальник им приказал.

Только теперь Ристе стало ясно, что это никакое не «происшествие». Он подружился с этими хорошими людьми и обещал сводить их утром к одному очень ловкому адвокату, который их научит лучше других, как быть с ребенком.

Оставив батюшку, который так устал от тревожных новостей, что заснул рядом с младенцем, староста, Йова и Риста пошли в трактир выпить.

Разумеется, Риста объяснил всем, что батюшка в действительности никого не рожал и все это дело никакое не «происшествие».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Повесть полицейского Ристы, которую необходимо выслушать из вежливости к представителю власти, хотя по своему содержанию она не имеет никакого отношения к роману

Полицейский, староста и лавочник Йова засиделись до глубокой ночи, и все удивлялись и крестились — и случается же с человеком такое, что и в голову не придет.

— Да, всякое бывает,— все твердил полицейский Риста.— Вот я вам расскажу, что однажды случилось со мной.

Лавочник Йова тотчас велел принести еще литр вина, полицейский, взяв пачку табаку у старосты, стал крутить новую сигарку. Староста с Йовой придвинулись ближе, приготовившись слушать. Риста осушил стоявший перед ним стакан, лавочник тотчас налил ему снова, и полицейский начал рассказывать:

— Случилось это в Белграде. Я тогда был карманником и жуликом...

Словно по команде, староста и Йова машинально и одновременно сунули руки в карманы, где у них были кошельки, и, вытаращив глаза, отпрянули от Ристы как ошпаренные.

— Не удивляйтесь и не пугайтесь,— спокойно продолжал Риста.— Зато сейчас я лучший полицейский. У нас, как во всех больших державах, в полицейские берут жуликов и карманников, потому что они, дорогие мои, знают всю подноготную о тех, кто еще не стал полицейским.

— Это ты верно говоришь,— взволнованно проговорили староста с лавочником и снова доверчиво придвинулись поближе к Ристе.

— Хотел бы я посмотреть,— с какой-то гордостью продолжал Риста,— получился бы хороший полицейский из того, кто никогда не был карманником? Иду я, друг мой, по базару и любую птицу насквозь вижу, знаю, о чем его голова думает, чего рука хочет, куда нога ступит.

— Верно,— согласились совсем уже убежденные староста с лавочником.

— Во всяком деле надо что-то знать. Доктор ведь должен учиться, чтобы стать доктором?

— Да,— ответили в один голос староста с лавочником.

— Судья тоже должен сперва выучиться?

— Должен.

— То-то! А полицейский? Думаешь, готовый полицейский, который все знает, с неба падает. Нет, брат, ему сперва надо побывать в жуликах, потом в карманниках, потом в жандармах послужить ровно столько, сколько полагается служить в армии, чтобы выполнить свой долг перед родиной, а уже только тогда идти в полицейские. Оттого-то, брат, я такой бывалый. Покажи мне еще хоть одного такого опытного полицейского, как я, покажи!

— Нет таких! — сказали староста с лавочником, хотя они, кроме Ристы, ни с одним полицейским в жизни не были знакомы.

Довольный собой и тем, что убедил людей в своей образованности, Риста снова взял кисет старосты и начал крутить себе новую сигарку, хотя прежнюю еще не докурил. Помолчав немного, он вспомнил, что начал рассказывать историю из своего воровского прошлого, и продолжил:

— Случилось это, как я уже вам говорил, в Белграде. Гуляю я как-то по Калемегдану, а был я прилично одет да и сам собою был ничего, не то что сейчас... Гуляю, значит, я, а на улице уже темно, народ разошелся по домам, только на одной скамейке сидят двое — мужчина и женщина. Он красивый такой, а она еще красивее. Просто красавица, и сразу видно: барыня, платье на ней красивое. Я сел на другую скамейку, совсем рядом с ними, но повернулся к ним спиной, чтобы они не догадались, что я подслушиваю. Из их разговора я понял, что они муж и жена и что завтра дневным поездом он уезжает в Ниш по какому-то делу.

«Понимаешь,— говорит он ей,— деньги я оставил в ящике своего стола. Я тебе дам ключ, а сам к вечеру уже буду в Нише. Но я не знаю, когда дело сладится,— в тот же вечер или на следующий день. Как только я закончу, я тебе дам телеграмму: «Высылай деньги». Ты возьмешь деньги и пошлешь мне их телеграфом».

«Хорошо,— говорит она,— а почему бы тебе не взять деньги с собой?»

«Так надо,— отвечает муж,— это мой план. Я хочу притвориться, что у меня нет денег, а если это не поможет, скажу, что попросил взаймы у твоего отца, который прислал мне, сколько мог, а остальное я вышлю, когда возвращусь в Белград».

Так они поговорили еще, а я наострил уши, потому как речь шла о денежках в ящике, которые не худо было бы положить к себе в карман.

Они встали, и я поодаль пошел за ними, чтобы узнать, где они живут. Так и проводил их до дому. На другой день я отправился на вокзал, чтобы убедиться своими глазами, что господин уехал. А потом навел справки и узнал все, что мне было нужно.

Первым делом я установил, что в доме, где они живут, всего две комнаты, одна выходит на улицу, другая — во двор. Комнаты смежные, но в каждой есть дверь и в коридор. Узнал я еще, что спят хозяева в той комнате, которая выходит на улицу, и что детей у них нет. Прислуживает в доме одна девушка, которая к вечеру уходит спать к своей матери. Словом, все как полагается, лучше не бывает.

И еще мне стало известно, что господина, который уехал, зовут Младеном Петровичем, а его жену — Ленкой.

Узнав все это, я сел и составил план, как мне денежки к рукам прибрать. Взламывать дверь или окно, врываться в дом и силой отнимать деньги я не хотел, так как это разбой, а я не был разбойником и не собирался им быть. Я хотел заполучить деньги красиво.

Я раздобыл старую телеграмму, взял резинку и стер то, что было написано на ней, а потом сел и написал: «Ленке Петровиц, Белград. Как только получишь эту телеграмму, хотя бы ночью, высылай деньги. Младен».

Я думал так: примерно в полночь я постучу в окно комнаты, где спит Ленка; она откроет окно, и я отдам ей телеграмму. Спросонья она не заметит, что на бланке стерта старая телеграмма и написана новая. Потом я ее спрошу, будет ли ответ. Я, мол, разношу телеграммы и буду рад оказать ей услугу. Она либо поверит мне и пригласит в дом, а оказавшись там без всякого насилия, я бы уже сообразил, что делать,— без денег не уея бы; либо попросит меня подождать,

потому что сама захочет пойти на телеграф. Одной ей идти ночью будет страшно, и я бы ее проводил, а уж как бы взял деньги — это мое дело.

Для большей уверенности я пошел вечером на телеграф и представился там слугой Младена Петровича, сказал, что он в Нише и что госпожа послала меня спросить, нет ли для нее телеграммы. Мне хотелось знать, не пришла ли уже телеграмма. На всякий случай я предупредил разносчика: «Если телеграмма придет ночью, не будите хозяйку, я сам приду за телеграммой рано утром».

Вот так все устроив, я стал ждать ночи...

Тут полицейский Риста прервал свой рассказ, а староста с Йовой не шевельнулись даже; затанв дыхание, они ждали продолжения, потому что главное было впереди.

Риста заказал кофе, стряхнул пепел с сигарки, зевнул и продолжил:

— Ночь наступила, как по заказу: на небе ни звездочки, темнота, хоть глаз выколи, ветер дул с такой силой, будто ему за это деньги платили. Я пошел в кофейню «Пахарь», выпил несколько чашек кофе, чтобы прогнать сон, а вина не пил, я на дело люблю трезвый ходить.

Допил я третью чашку кофе и посмотрел на часы. Было без четверти двенадцать. Пора, думаю, трогаться. А чтобы замести следы, на всякий случай спросил кельнера: «Скажи, как отсюда скорее всего дойти до госпиталя?» Он объяснил мне дорогу, я заплатил за кофе и пошел вниз, к кофейне «Два белых голубя», а оттуда — к дому Младена.

Смотрю направо, налево — никого нет. Перекрестился я сперва, чтобы господь мне помог, и стук, стук, стук в окно.

Подождал немного, чуть дыша. Окно тихонько отворилось, и в нем показалась сама госпожа Ленка, протянула красивую голую руку и дала мне ключ.

Я растерялся, не пойму, к чему бы это, а она шепчет:

— Это ключ от коридора, но смотри, иди на цыпочках, в другой комнате сегодня спит свекровь.

Я взял ключ и только раскрыл рот, чтобы ответить, как она уже закрыла окно. Тогда лишь я сообщил, что случилось чудо. Господи, думаю, чего же

лучшего желать: сама дала ключ! Если открою и войду, опять же это получается не разбой.

Вошел я себе спокойно во двор, не спеша отпер дверь в коридор, запер ее изнутри, а потом, уже зная, где спальня, направился на цыпочках прямо туда. Едва я вошел в спальню, как госпожа Ленка с кровати шепчет:

«Не зажигай свечу, свекровь заметит. Раздевайся в темноте и ложись!»

Я было задумался, как быть, а потом решил послушаться — разделся в темноте и лег...

Она обняла меня крепко, поцеловала и стала шептать:

«Подумай только, муж привел сегодня свою мать, чтобы она спала со мной, хотя прежде никогда этого не делал. Наверно, думает, она меня стеречь будет. Уж если он сам меня не устерег, эта старушенция и подавно не устережет!»

Я молчу, боюсь рот раскрыть.

«Я тебе потому и написала, чтоб ты попозже пришел. Когда бабка покрепче уснет».

И опять стала целовать и ласкать меня, а я... как вам сказать... я тоже не оставил ее без ласки.

Только когда кончились ласки да поцелуи, она вдруг вспомнила и говорит:

«Что такое, где же твои усы?»

А я тогда был молодой, усов еще не отрастил.

«Не было у меня никаких усов», — отвечаю.

«Как не было, что с тобой, Иован?»

«Меня зовут не Иован».

«Иован!»

«Ей-богу, сударыня, я правду говорю. Меня зовут Риста».

«Иован!» — пискнула она и отодвинулась подальше.

«Нет, не Иован, а Риста!»

Тут она как ошпаренная хватает коробок со спичками, зажигает одну, подносит к моему лицу и, увидев совершенно незнакомого человека, задувает спичку и хочет завизжать, но не может то ли от страха, то ли боясь разбудить свекровь, потом зарывается головой в подушку и начинает плакать.

«Послушай, сударыня, не плачь, сядь лучше, и поговорим», — спокойно убеждаю ее я.

Но она даже головы не поворачивает, плачет.

«Ну, ладно, говорю, хочешь плакать, плачь, а я повернусь и буду себе спать. Утром ты меня попросишь, чтобы я ушел, а я не уйду. Мне и здесь хорошо, лучше быть не может».

«Бедная женщина сама видит, что так и будет, перестает плакать, поворачивается ко мне и извиняется:

«Простите, пожалуйста, это ошибка».

«Ничего, ничего, говорю, вы меня тоже простите!»

«Пожалуйста. Но я опозорилась, вы посторонний человек...»

«Разве вы ждали мужа, а не постороннего человека?»

«Вы правы,— говорит она едва слышно,— но это мой друг детства. Ах, какой ужас, какой ужас... Скажите, пожалуйста, а с кем я имела честь... кто вы?»

«Видите ли, сударыня, для вас важнее не кто я, а чем я занимаюсь?»

«Чем?»

«Признаюсь вам откровенно, я вор».

Бедная женщина поперхнулась, а потом разразилась слезами и, уткнувшись головой в подушку, дрожала, как раненая лань.

Я позволил ей немного поплакать, чтобы у нее прошел страх, а потом тихо и спокойно сказал:

«Не бойтесь, я человек мирный и добрый, разве что вот деньги люблю».

«У меня нет, нет, нет денег»,— пищала она, не отрывая головы от подушки.

«Как нет? Есть у вас деньги. В ящике стола!»

Она вздрогнула.

«Я позову на помощь!»

«Пожалуйста,— любезно соглашаюсь я,— зовите! Придет ваша свекровь, и я признаюсь ей, что вы меня весьма горячо целовали и ласкали. А почему бы мне и не признаться? Признание всегда служит смягчающим обстоятельством».

Увидев, что куда ни кинь, все клин, госпожа Ленка села на постели. Ну, а раз дама сидит, лежать невежливо. Я сел тоже, и так, сидя «инглиже» на кровати, мы продолжали разговор.

«Ладно, говорите, чего вы хотите?» — решительно сказала она.

«Ничего особенного, деньги из ящика стола!»

«Я не могу их вам дать, это значило бы обокрасть собственного мужа».

«Господи, а разве вы только что не обокрали его, пустив меня в постель?»

Она снова расплакалась и, наверно, плакала бы долго, если бы в другой комнате не заворочалась в кровати свекровь. Госпожа Ленка тотчас закрыла мне рот рукой.

«Тсс!»

«Я охотно помолчу, но пора бы уже нам кончить торговаться».

«Тсс!» — снова зашипела она и замерла как мертвая. Замолчал и я, а когда мы решили, что бабка уснула, разговор продолжился.

Госпожа Ленка умоляла и заклинала меня не трогать тех денег, обещала наконец всякий раз, когда мне потребуется, давать двадцать — тридцать динаров.

Сказать вам по совести, я разжалобился и уступил.

«А вы и сегодня дадите мне двадцать — тридцать динаров?» — спросил я.

«Я дам вам пятьдесят».

«Ладно, договорились, и спасибо вам за то, что вы меня так хорошо приняли и угостили».

«Еще один вопрос. Вы честный человек?» — спросила она.

«Что за вопрос, конечно!»

«Умоляю вас, никому и никогда не рассказывайте о том, что случилось, иначе я покончу с собой».

«Вам не придется с собой кончать — вы должны давать мне деньги, когда потребуется. Я никому не расскажу, будьте уверены».

Я оделся, получил пятьдесят динаров и ушел тем же путем, каким пришел. На прощанье она мне сказала:

«Знаете, а вы честный вор!»

«О, вы мне льстите», — ответил я и хотел еще раз ее поцеловать, но она упросила меня не делать этого.

«Хватит, — сказала она. — Сколько можно?»

— Вот так я провел ту ночь, — закончил свою повесть полицейский Риста. — А потом всякий раз, когда мне нужны были деньги, я их получал. Она про-

бовала переезжать с квартиры на квартиру, но я всегда находил ее.

Только год спустя я потерял ее из виду.

Полицейский Риста замолчал, часы отзвонили ровно полночь. Староста постучал по столу, подзывая сонного кельнера, чтобы расплатиться. Полицейский Риста потянулся и ушел, еще раз пообещав прийти завтра утром и отвести их к адвокату. Староста с лавочником тоже пошли в свой номер, шепотом делясь впечатлениями об удивительном случае, который им только что рассказал Риста.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Контора адвоката Фичи

На краю некоего города, как и на краю всякого другого нашего городка, будь он некий или совершенно определенный, находятся трактиры; грязные трактиры с обширными дворами, в которых всегда стоят крестьянские телеги, а волы, привязанные к ярмам, жуют раскиданное под ними сено. В этих трактирах всегда полно крестьян, возвращающихся с базара и заглянувших сюда выпить стаканчик-другой или подождать своих, чтобы вместе ехать домой.

В одном из таких трактиров, который носит гордое имя «Народная гостиница Националь», в отдельной комнате располагалась контора адвоката Фичи. В контору проходили из трактира через стеклянные двери, сквозь которые, несмотря на отсутствие занавесок, увидеть что-либо было невозможно: за долгие годы мухи, трудясь, как пчелы, усеяли их точками так густо, что и самая плотная занавеска не могла бы служить лучше.

Трактир был как трактир, он ничем не отличался от других. Зеркало в когда-то голубой оправе, картины: князь Михайло, сцена охоты, расстрел Максимилиана и прочие изображения, которые фигурируют в рассказах наших прозаиков, когда им доводится описывать второразрядный трактир.

Фичина контора — тесная комнатка, набитая, как улей. Тут прежде всего адвокатский стол, обычный трактирный стол, застеленный несколькими газетами. На столе бумаги, старый деревянный письменный

прибор, залитый чернилами; несколько ручек, до половины измазанных чернилами; замасленная книжонка без обложки; истерзанный календарь без обложки и, наконец, какой-то кодекс тоже без обложки и многих страниц, которые Фиче, наверно, не нужны, поскольку его клиенты уверены, что он «знает законы, как свои пять пальцев».

Правда, он не получил образования. Прежде он был учеником портного, потом несколько лет ходил в чиновниках-практикантах, потом был маклером на рынке и теперь вот адвокат. Зато не всякий справится с делом так, как он. Он и в общину сбегает, и в уездную канцелярию; напишет он и клязгу, и жалобу, и все, что хочешь. А кроме того, если надо кому что купить или продать, он и в этом поможет; захочешь сделку расторгнуть, он и тут посодействует. И что самое главное, он никакого дела не чурается: купит шкуры, поможет сбыть старые хомуты, наймет прислугу, если захочешь, даже кур тебе купит на рынке. Он готов оказать любую услугу, любое дело проверить, но своим подлинным призванием считает адвокатскую практику — этим занятием он гордится и считает его своей профессией.

В сущности, он в жизни своей не вел ни одного процесса, но в архивах уездной канцелярии и окружного управления, как и в архивах общинных судов, хранится чудовищное количество бумаг, кляуз и жалоб, написанных его рукой, и притом ни одна не написана просто, а в манере статей каких-нибудь кодексов или законов.

А как прекрасно он знал все статьи! Придет к нему крестьянин со своей бедой, он слушает его, слушает и бормочет статьи, которые имеют отношение к данному случаю.

— Был я,— говорит крестьянин,— должен своему соседу Миловану семьдесят два гроша...

— Статья сто четырнадцатая! — бормочет Фича.

— Ты что говоришь?

— Ничего, ничего,— отвечает Фича.— Я вспоминаю нужные статьи. Продолжай!

— Был я, говорю, должен ему семьдесят два гроша, до юрьева дня взял.

— Триста шестнадцатая,— бормочет Фича.

— А получилось так,— продолжает крестьянин,—

что я продал корову и возвратил Миловану деньги за месяц до срока.

— Сорок шестая, бэ!..

— Я думал, рассчитались мы с ним, как положено. Я и процент уплатил, и гербовый сбор, и все...

— Сорок шестая, а.

— А он возьми и стань требовать с меня процент до самого юрьева дня, потому как, говорит, уговор такой был.

— Двести пятая, двести шестая и двести седьмая.

— Ну, что ты скажешь? — спрашивает крестьянин, уставившись на Фичу.

— Да что же тебе сказать, дорогой ты мой, — говорит, потирая руки, Фича, — дело это ни с формальной, ни с законной точки зрения не простое. Простое дело, дорогой мой, потому и называется простым, что опирается на одну статью закона и легко решается. Правда, иной раз не сразу угадаешь, что это за статья, но, как только угадаешь, тогда, дорогой мой, ты и сам можешь вести процесс, без помощи адвоката.

— Верно, — говорит крестьянин, не спуская с Фичи глаз и удивляясь как его знаниям, так и его откровенности.

— Однако, — продолжает Фича, — дело перестает быть простым, когда оно основывается более чем на одной соответствующей статье. Вот к твоему делу, например, относятся следующие статьи: сто четырнадцатая, триста шестнадцатая, сорок шестая, пункты а и бэ, двести пятая, двести шестая и двести седьмая.

— Ну и ну! — удивляется крестьянин. — Сколько статей набирается из-за двадцати грошей. По мне, так их хватило бы на целый кувшин золотых дукатов.

— Что поделаешь, дорогой мой, таков закон, таковы статьи. Это ведь не люди, не свидетели пришли в суд, а им говорят: хватит двоих, остальные пусть идут по домам, так ведь?

— Так, — соглашается крестьянин.

— Вот видишь! Твое дело не простое, потому как большое искусство нужно, чтобы со столькими статьями управиться. Видишь ли, дорогой мой, статья триста шестнадцатая гласит: плати Миловану проценты до того дня, когда ты ему отдал деньги. А статья сорок шестая, бэ, свое твердит: нечего

выкручиваться, плати Миловану проценты до самого юрьева дня!

— Послушай,— поразмыслив, говорит крестьянин,— эта триста шестнадцатая почестнее будет, не то что бэ, суди меня по ней, если можешь.

— Да, но двести пятая говорит: не имеешь права судить только по одной статье, ты обязан всех нас позвать, все мы статьи честные и уважаемые, как родные сестры, все мы неразлучны ни в счастье, ни в беде.

— Ох-хо-хо! — говорит крестьянин, почесывая затылок.— Ну хорошо, уважаемый Фича, что же ты мне посоветуешь делать?

— Дорогой мой, это не я тебе посоветую, а закон; как закон посоветует, так и сделаешь!

— Но что, скажи, пожалуйста?

— Статья сорок шестая, а, гласит: если дело непростое, то иди к адвокату, заплати ему хорошо, не жалей, потому как иначе дороже выйдет.

— Да я заплачу, уважаемый Фича. Разве я отказываюсь, но сколько?

— Дорогой мой, за иск ты мне дашь четыре динара, и, разумеется, оплатишь другие расходы, сколько их там набегит.

— Четыре динара! — испугался крестьянин.— Милован с меня требует ровно столько же.

— Знаю, но ты ведь будешь отстаивать не четыре динара, а свою честь. Верно?

— Э... верно.

Так они договариваются. Фича берет четыре динара и начинает тяжбу за честь, и эта тяжба продолжается каких-нибудь месяцев шесть, требуя все новых и новых расходов, и у крестьянина, похоже, остается все меньше и меньше надежды заполучить обратно свою честь.

Вот к этому самому адвокату Фиче и привел Риста на другой день батюшку, старосту и лавочника Йову, а за ребенком взялась присмотреть горничная, поскольку его уже не надо было прятать.

Адвокат Фича только закончил покупку двух невыделанных овчин, как вошли новые клиенты. Риста коротко отрекомендовал их и пошел. В дверях он остановился и добавил:

— Смотри, Фича, постарайся для них, они хорошие, почтенные люди. Избавишь их от беды, все равно что мне поможешь.

Батюшка, староста и Йова благодарно посмотрели вслед Ристе, а потом повернулись к Фиче.

Фича стоит у своего стола и разглядывает их. Он малорослый, с крепкой шеей, лысоватый, с маленькими глазками. На нем весьма длинный выцветший сюртук и новые нанковые панталоны, еще ни разу не стиранные и потому словно картонные, — на всех сгибах видны жесткие складки; на ногах у него башмаки, которые, судя по их виду, смазывают салом, ваксы же они не видели уже несколько месяцев, каблуки искривились и сбились наружу. Словом, он производит впечатление доброго человека, который готов отдать ближнему все, что у него есть, хотя в действительности охотнее отнял бы у ближнего все, что есть у того.

— Вы, значит, из Прелепницы? — начинает разговор Фича.

— Да, — отвечает староста и рассказывает как о всех неприятностях, постигших село Прелепницу и связанных с дитятею общины, так и о решении уездного начальника.

Во время его рассказа Фича упомянул четырнадцать различных статей из шести различных законов. Вспомнил он уголовный кодекс, гражданское право, закон о тарифах, закон о школах, потом закон о сельских кабаках и, наконец, закон об уездных и окружных дорогах. Какое отношение имели все эти законы к излагаемому делу, остается глубокой адвокатской тайной, но можно было заранее сказать одно — дело не относилось к числу простых, то есть тех, «которые опираются на одну соответствующую статью закона», а требовало вмешательства множества статей, готовых наброситься друг на дружку и жестоко передрасться, не помири их Фича, не напомни им, что статьи, в сущности, сестры и, как таковые, должны жить в мире и дружбе.

Так обстояло дело. Когда староста закончил свой рассказ, Фича глубоко задумался и забарабанил пальцами по столу. Уставясь на Фичу, как на икону, задумались и батюшка со старостой и лавочником.

— Ей-богу, это дело необычное и с законной и с формальной точки зрения,— сказал Фича, неопределенно покачав головой, а потом выпрямился и взглянул старосте прямо в глаза.

— Скажи мне, дорогой мой, хочешь ли ты, чтобы мы опротестовали решение уездного начальника? Староста почесал шею.

— Вроде бы нет, хотелось бы по-хорошему; все мы люди, зачем же нам ссориться?

— Ладно! — сказал Фича и опять глубоко задумался.

Впервые Фича не стал крутить да тасовать статьи и рассуждать долго и обстоятельно, а задумался, серьезно задумался. Выйдя из состояния задумчивости, он спросил:

— А сколько ребенку?

— Двух недель нет,— ответил батюшка, который лучше других разбирался в датах.

— Гм, гм! — произнес Фича и снова задумался.

И батюшку, и старосту, и Йову пугало то, что адвокат думает так долго. Неужто положение настолько серьезное? Но... деваться некуда, надо ждать, что он скажет.

Наконец Фича взглянул на них, и видно было, что дело на мази, потому что адвокат весело улыбался, довольный собой.

— Видишь ли, родной мой, мы в этом деле не станем опираться ни законно, ни формально ни на одну соответствующую статью, а решим его частным образом, минуя законы.

— А как? — спросили все трое и зажмурились от удовольствия.

— А так: вы мне одновременно даете сто динаров, а я беру заботу о ребенке на себя, и это уже мое дело, куда я его дену. И все же я обязуюсь сделать все, чтобы обеспечить ребенку наилучшую будущность.

Все трое пришли в хорошее настроение и одновременно нахмурились. Раз и навсегда избавиться от ребенка — чего же лучшего желать, но заплатить сто динаров — это они не считали большой удачей, хотя староста на всякий случай захватил с собой как раз такую сумму из налогов за первое полугодие:

— Не много ли будет? — спросил староста.

— Если для вас это много, несите ребенка с собой, в селе, может быть, содержать ребенка будет дешевле.

— Оно вроде бы и так, но...

— Что но? Я, как друзьям, вам говорю, а вы ноете, что много. Где же много? Считай по десять динаров в месяц, на год и то не хватит, а если на всю жизнь?

Немного пошептавшись, староста развязал кошелек, отсчитал сто динаров серебром, ударил с Фичей по рукам и поцеловался, а через полчаса батюшка снова под рясой принес Милича к Фиче, и тот отнес его к своей жене.

Так Прелепница раз и навсегда избавилась от неприятностей, которые грозили вечно преследовать ее в образе приложения к письму правления общины.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,

*в которой появляется совершенно новая для читателя
вдова*

Я страстно ненавижу авторов, которые начинают роман гладко и плавно, делая каждую очередную главу естественным продолжением предыдущей, и вдруг только ради того, чтобы сбить читателя с толку и замести собственные следы, вводят совершенно нового персонажа и в новой главе рассказывают такое, что никак не назовешь продолжением предыдущей главы. Но как бы я ни хотел избежать в своем романе такой несурезицы, я не в силах это сделать, потому что просто невозможно обойти вдову, которую я сейчас собираюсь представить читателям. Когда читатели познакомятся с ней, они и сами поймут, что такую вдову не обойдешь.

Девушкой ее звали Мица, для мужа она была Милка, а теперь, когда она стала вдовой, ее величают госпожой Милевой. Вдовствует госпожа Милева всего три месяца. Она еще носит траур, каждую субботу ходит на могилу мужа, которую засадила левкоями, а над кроватью у нее висит фотография покой-

ника, обрамленная черным крепом. Как она любила покойника, видно хотя бы из скорбных слов, которыми госпожа Милева закончила извещение о его смерти: «Прошу всех друзей и знакомых разделить наше тяжелое горе», и подписалась: «Неутешная вдова Милева».

Эта неутешная вдова Милева весьма ядреная дамочка; у нее полные круглые щечки, красивые черные глаза и брови, а ротик такой крошечный, что кажется невероятным, чтобы она могла прекословить мужу или о ком-то сказать пакость. Из особых примет у госпожи Милевы была та самая, которой отличаются все женщины на девятом месяце беременности. Всего десять месяцев назад она вышла замуж, едва прожила с мужем шесть месяцев и вот осталась вдовой, да еще с ребенком, которому предстояло родиться после смерти отца. Дожить бы покойнику до того часа, когда мог бы он увидеть свое чадо, но не дано ему это было, а ведь как радовался, бедняга.

Покойник был добрым, кротким человеком: его можно было убедить в чем угодно, если только объяснить ему все по-хорошему. В одном лишь он проявлял некоторое упорство, делал вид, что не понимает, о чем идет речь,— это когда его убеждали написать завещание. Однако госпожа Милева преодолела его сопротивление весьма деликатно. Сама она говорить ему об этом не хотела — не дай бог обидеть человека, с которым они жили душа в душу! Она попросила сделать это отставного судью, господина Милию, человека солидного, обходительного, красноречивого, умеющего исподволь подойти к предмету разговора.

За две недели до смерти покойник в самом деле выглядел так плохо, что кончины можно было ожидать в любую минуту. Умри он без завещания, неудобно получилось бы, потому что у него были братья и прочая родня. Сказать же умирающему в глаза, чтоб он написал завещание, тоже тяжело — это было бы для него слишком сильным потрясением.

Потому-то госпожа Милева пригласила к себе господина Милию и сказала ему сквозь слезы:

— Господин Милия, вы знаете, все люди знают как я люблю своего мужа. Я, право, не знаю, переживу ли я его. Наверно, не переживу. Подумайте сами,

разве я могу сказать ему в глаза, что надо написать завешание?

— Действительно,— согласился господин Милия,— вам это делать очень неудобно.

— Очень тяжелое положение,— вздохнула госпожа Милева.

— Действительно тяжелое,— вздохнул и господин Милия, но больше так, чтобы выразить свое сочувствие, потому что у него никаких особенных причин для вздохов не было.

— Вот если бы вы взяли это на себя... Все мне говорят, у вас бы это получилось деликатно, намекнули бы вы ему исподволь.

— Я к вашим услугам,— любезно ответил господин Милия.— Что касается намеков, это я могу, я подойду издали, осторожно.

С этими словами господин Милия встал, важно откашлялся и прошел в комнату к больному. Поздоровавшись с больным, он спросил его о том о сем, а потом издали начал:

— Друг мой, ты, наверно, и сам видишь, что дня через два ты умрешь. Что толку в этих лекарствах, рецептах... все это ерунда... тебе это не поможет! Посмотри на себя— уже и уши стали прозрачные, и губы посинели. Тебе, верно, никто не говорит об этом откровенно; в наше время мало друзей, которые способны говорить правду в глаза. Но я принадлежу именно к этим истинным друзьям!

После первых же слов господина Милии больной вытаращил глаза, приподнял голову с подушки и задрожал от страха как осиновый лист. Он открыл рот, чтобы позвать на помощь, но голос ему изменил.

Уверенный, что уже первые его слова произвели нужное впечатление, господин Милия продолжал по-дружески, откровенно увещевать больного:

— А раз ты при смерти, как и сам видишь...

Покойник махнул рукой, как бы желая сказать, что он этого не видит, но господин Милия продолжал:

— Не видишь, говоришь? Ну, есть у тебя хоть одно возражение? Молчишь, молчишь ты, потому что сказать нечего. А если бы и нашел довод, то какой,

подумай сам: «Бог милостив, лекарства, доктора...» Разве это довод? Никакой это, друг, не довод! Разве ты не видишь, что от тебя остались только кожа да кости, а глаза ввалились, как у мертвеца. «Бог милостив!» — это пустая фраза, все покойники ее твердили, а кому она помогла?

У больного выступили слезы на глазах, губы еще больше посинели, от сильной дрожи стучали зубы.

— Поэтому, — продолжал господин Милия, — самое умное, что ты можешь сделать, это написать завещание. И как можно скорее. Пойми, кому-кому, а умирающему надо помнить поговорку: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня!»

Господин Милия хотел сказать еще что-то, но больной, не зная, как ему избавиться от этой злоеющей откровенности, повернулся на другой бок, натянул одеяло на голову и под одеялом заткнул уши пальцами.

Увидев, что теперь его слова не дойдут до ушей больного, господин Милия встал и вышел в прихожую, где его с нетерпением ожидала госпожа Милева.

— Ну как, удалось? — спросила она.

— Не беспокойтесь, я начал издали и прежде всего убедил его, что он скоро умрет. О, поверьте, теперь он в этом совершенно убежден.

— Большое вам спасибо! — с грустью сказала будущая вдова.

— И только потом я перешел к вопросу о завещании. Кажется, я и тут сумел убедить его.

Госпожа Милева поблагодарила господина Милию очень любезно, проводила его до калитки и вернулась в комнату к больному мужу. Когда она вошла, он недоверчиво выглянул из-под одеяла и, лишь уверившись, что это не Милия, стянул одеяло с головы и тихим голосом подозвал жену к себе.

С печальным лицом госпожа Милева приблизилась к постели.

— Этого господина, — прошептал больной, — этого, что сейчас тут был, ты больше ко мне не пускай никогда. Прикажи слуге вышвырнуть его отсюда, как только он на пороге появится. Избить, как собаку, и вышвырнуть.

Госпожа Милева обещала исполнить это богоугодное пожелание умирающего.

Больного снова стала бить дрожь, поднялся жар, состояние его резко ухудшилось. Если до посещения господина Милии лекарства еще кое-как помогали, то теперь дело стало швах. Больной впал в беспамятство, начался бред. Ему чудилось, что господин Милия уже не пенсионер, а зубной лекарь и что он пригласил господина Милию, чтобы тот вырвал ему коренной зуб; господин Милия сунул ему клещи в рот, но вместо зуба ухватил душу и тянет, тянет... Вот какие сны и видения мучили теперь умирающего, а он все отбивался в руками и ногами и бормотал:

— Клещи... ой, ой... это душа, не зуб... Милия!.. Милия!..

Всю ночь он так промучился, а когда проснулся поутру, почувствовал себя еще хуже. Тут он и сам уразумел, что пора написать завешание, и, когда он сообщил о своем желании госпоже Милеве, та, не медля ни минуты, послала за адвокатом и свидетелями.

Они пришли, завешание было тихо-мирно составлено и подписано. Вот как покойник распорядился своим немалым состоянием.

Если ребенок, которого госпожа Милева родит после смерти мужа, будет мальчиком, то все состояние покойного, оцениваемое более чем в двести тысяч динаров, наследует сын, а главным опекуном и распорядителем имущества назначается госпожа Милева. Если же родится девочка, то ей дается двенадцать тысяч динаров в качестве приданого, а госпоже Милеве «пристойное содержание», все же остальное отходит братьям покойного и прочим родственникам.

Как видно из завешания, для госпожи Милевы гораздо выгодней было родить мальчика, чем девочку. Другими словами, ее роды напоминали лотерею — она могла получить либо главный выигрыш, либо то, что в тиражных таблицах обозначается звездочкой.

А роды или «розыгрыш» должны были состояться через неделю после того, как читатели познакомились с госпожой Милевой.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Роды, пеленки, подгузники, повитуха, новое корыто, поп, крестный отец, крестины, подарок на зубок и прочие мелкие и крупные дела, связанные с таким интимным событием, каковое будет описано в этой главе

Поскольку завещание было написано, а больной скончался, торжественно похороненный и пристойно оплаканный, госпоже Милеве ничего другого не оставалось, как исполнить последнюю формальность — родить.

Разумеется, госпожа Милева сильно рассчитывала на то, что родит мальчика, так как верила повитухе тетке Ленке, но главным образом потому, что она видела бы в нем покойного мужа, которого все еще никак не могла забыть.

Бабка дала ей очень хороший совет:

— Чтобы дитя было красивое, старайтесь, чтоб на глаза вам не попался какой-нибудь урод, и побольше смотрите на красавцев.

С этой целью госпожа Милева после полудня сидела к окну, под которым любил прогуливаться молодой судебный чиновник Васа Джюрич, не подозревавший, что одним своим видом способствует творению красоты.

Когда таким вот образом завершена была подготовка к исполнению последней формальности, оговоренной в завещании, в один прекрасный день портниха принесла пеленки, подгузники, распашонки и всякое другое барахлишко; появилось новое корыто, и с этой минуты все уже было наготове, даже горячая вода всегда была в избытке.

Однажды, когда в медном котле кипела вода, та самая, что припасали каждый день, и когда госпожа Милева в комнате, полной пеленок, подгузников и прочего барахлишка, сидела у окна, поджидая господина Васу Джюрича, в дверь тихо постучали.

— Войдите! — печальным вдовьим голосом сказала госпожа Милева.

Дверь раскрылась, и в комнату тихо, смиренно и дружелюбно ступил адвокат Фича.

Читатели, знакомые с характером и делами Фичи, естественно, не станут полагать, что он пришел к госпоже Милеве покупать шкуры, или продавать ста-

рые хомуты, или даже предлагать прислугу. Нет, он пришел по очень важному и чисто юридическому делу, о котором мы получим представление из нижеизложенного разговора Фичи и Госпожи Милевы.

Фича: Мы с вами незнакомы, но это не меняет дела. Я адвокат, известный адвокат Фича.

Госпожа Милева: Очень приятно, что вам угодно?

Фича: Видите ли, сударыня, я знаком с вашим делом. С формальной стороны оно весьма не простое и соотносится со многими соответствующими статьями, которые, учитывая все европейские законы, противоречат друг другу.

Госпожа Милева: Сударь, я вас не понимаю.

Фича: Понять трудно, потому как я уже говорил, дело не простое.

Госпожа Милева: Чего же вы хотите?

Фича: Сейчас я вам скажу. Я знаю о завещании вашего покойного мужа.

При этих словах госпожа Милева ничего не сказала, но повернулась к Фиче всем корпусом и стала слушать внимательнее.

Фича: Это завещание, уважаемая сударыня, принуждает вас родить мальчика, так как, роди вы девочку, ваше дело пропало. Надеюсь, вы не собираетесь рожать девочку?

Госпожа Милева: Ни в коем случае! Впрочем, почему мне знать... Я хотела бы мальчика, но все в руках божьих.

Фича: В том-то и дело, что не в божьих, а в ваших, сударыня!

Госпожа Милева (в ужасе крестится): Господи, что вы такое говорите?!

Фича: То, что слышите! Все зависит от вас — без всякого нарушения соответствующего закона вы можете родить мальчика. Если вы мне доверитесь, я смогу сделать так, что вы родите...

Госпожа Милева (неправильно поняв последнюю фразу Фичи, заливаясь краской и едва слышно говорит): Что вы, я же на девятом месяце...

Фича: Тем лучше. Вы на девятом месяце, через несколько дней родите, и если родится мальчик, бу-

дете счастливы. В таком случае вы мне за добрую волю и готовность к услугам даете единовременно сто динаров, и все. Но... (тут Фича повысил голос), если вы родите девочку, рядом с вашей комнатой будет находиться новорожденный мальчик, у которого нет ни отца, ни матери. Мало того, обстоятельства его рождения вообще неизвестны.

Госпожа Милева испуганно оглядывается по сторонам, не зная, что сказать. По всему видно, что план ей нравится, но она колеблется, можно ли верить этому человеку...

Фича (угадывая ее мысли): Может быть, вы боитесь довериться мне, так как я для вас человек незнакомый. Вы ошибаетесь, дело совсем простое. Трудно было только его придумать, одно это лишь и имеет цену, другими словами, мой гонорар. А доверять, уважаемая сударыня, вы мне можете полностью, потому как перед статьями, которые относятся к этому делу, я был бы виновен в такой же мере, как и вы, если б все вышло наружу. Поэтому я должен поберечь себя, вы сами с этим согласитесь...

Госпожа Милева: А если... как говорится... а если узнают?

Фича: Не узнают, мне болтать нельзя, вам — тоже.

Госпожа Милева: А повитуха?

Фича: Повитуха?.. Принимать будет моя жена, а ту, что у вас сейчас, прогоните.

Госпожа Милева: А как с ребенком?

Фича: Мальчик останется с вами.

Госпожа Милева: А девочка?

Фича: Отдадим кому-нибудь, это моя забота. Я отдам ее так, что никто о ней ничего не будет знать. Вы будете лишь ежемесячно оплачивать содержание своего ребенка.

Госпожа Милева (молчит, долго молчит, думает): Ой, страшно даже подумать!

Фича: Выбирайте — или двести тысяч динаров, которыми распорядиться будете вы, или «пристойное содержание».

Госпожа Милева встала, взволнованно прошла по комнате, снова подошла к Фиче, посмотрела ему

в глаза, хотела спросить его о чем-то, но не спросила. Фича с живостью продолжал:

— Вы, наверно, хотите спросить, что я потребую за такую услугу? Уверяю вас, я человек скромный, мне нужно немного, ровно столько, сколько вы сочтете справедливым заплатить за такую большую услугу.

— Нет, об этом и говорить не стоит, это просто... Но... я не решаюсь, нелегко решиться на такое.

И все же после некоторых колебаний госпожа Милева решилась принять предложение, и сделка с Фичей состоялась.

В тот же день госпожа Милева разгневалась на повитуху тетушку Ленку за то, что та опоздала, и прогнала ее, а вместо нее взяла жену Фичи. Правда, многие удивились этому, так как жена Фичи прежде никогда не занималась подобным ремеслом, но, раз такова воля роженицы, пусть ее...

И вот наконец пришел долгожданный день. Госпожа Милева лежит в постели на трех кружевных подушках, под особым одеялом красного шелка, в окружении всего прочего, необходимого в таких случаях.

Кроме жены Фичи, в комнату никто не смеет входить, а в соседней комнате уже сидит Фича, готовый произвести на свет такого ребенка, какой требуется по завещанию.

У госпожи Милевы начинаются схватки, и во имя божье она рождает... мальчика, большого, правда, в возрасте двух с половиной недель, но это не беда. Девочку, которая оказалась лишней, Фича в ту же ночь куда-то унес.

А на другой день по городу разнеслась весть, что госпожа Милева родила ночью прекрасного и здорового мальчика, очень похожего на покойника.

По народному обычаю, ребенок до крещения получил имя Момчило. Через неделю его окрестили Неделько. Так бедняга Милич родился во второй раз, во второй же раз был крещен, а его новый крестный отец всерьез жаловался куме, что у него едва не отвалились руки, пока он держал ребенка.

— Дай бог ему здоровья, но такого крупного младенца я до сих пор ни разу не крестил.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Через сорок дней

Прошло сорок дней. Другими словами, прошло столько времени, сколько длится самый большой пост в году, и госпожа Милева восстала свежая, румяная, веселая, так что господин Васа Джюрич не мог не воскликнуть: «Прелестная вдовушка!»

Бывшее дитя общины, бывший Милич, а нынешний Неделько развалился, как паша, на шелковых пеленках, под шелковым одеяльцем, в изящной колыбели и с соской, у которой было никелированное кольцо. Такой роскошной соски правление прелепницкой общины не купило бы ему никогда, даже если бы пришлось обложить всех граждан общины специальным налогом.

Довольный своей судьбой Неделько рассуждал про себя:

— Так-то гораздо лучше, чем таскаться на руках у посыльных при разных официальных документах да у папа под рясой или давиться молоком из толстой деревянной ложки, которую совал в рот лавочник Йова.

То есть Неделько ни о чем не рассуждал, потому что не умел еще рассуждать, но автор романа уверен, что Неделько рассуждал бы именно так, если б мог.

А пока Неделько наслаждается жизнью, госпожа Милева снова сидит у окна, у которого и прежде охотно сживала, хотя теперь у нее нет никакой необходимости видеть господина Васу: красивого мальчика она уже родила.

Это верно, но привычка — вторая натура, а госпожа Милева привыкла сидеть у окна, господин же Васа привык ходить мимо ее окна, и эта самая «вторая натура» так изменила госпожу Милеву, что теперь она даже открывала окно, когда мимо проходил господин Васа, а господин Васа, еще не дойдя до угла, вытягивал шею.

Господин Васа был чиновником в суде и, как оказалось, служил в отделении по делам наследств, и поэтому нет ничего странного в том, что ему пришлось иметь дело как с наследством, так и с самой вдовой. Познакомившись с вдовой, он стал часто на-

вещать ее, чтобы посоветовать кое-что относительно наследства, которым она, как главная опекуна, распоряжалась по своему усмотрению.

Когда он посетил ее в первый раз, его встретили весьма радушно, угостили вареньем и кофе; придя во второй раз, он получил варенье, кофе, стаканчик водки и... госпожа Милева специально для него испекла печенье. В третий раз было варенье, кофе, водка, печенье и сладкие яблоки, которые госпожа Милева чистила своею ручкой. По этому случаю господин Васа с госпожой Милевой играли в карты. Когда он пришел в четвертый раз, то получил все, что и прежде, но в карты они играли подольше, и по этому случаю госпожа Милева решила снять траур.

— Вы правы, господин Васа,— сказала она со вздохом,— в жизни и так слишком много горестей. Хватит того, что сердце в вечном трауре, без черной одежды можно и обойтись.

— И не только поэтому, сударыня,— с готовностью поддержал ее господин Васа,— яркое платье вам пошло бы куда больше. Небесно-голубое, например, гармонировало бы с вашим лицом и волосами! В моем воображении ангелы рисуются мне голубыми, и одеяния их тоже должны быть небесно-голубыми.

— О, вы такой комплиментщик! — сказала вдовушка и, стыдливо очистив ломтик яблока, насадила его на нож и любезно предложила господину Васа.

— Комплиментщик! — горячо подхватил господин Васа.— Боже сохрани! Подумайте сами, как бы выглядели ангелы в темно-синих или темно-розовых одеяниях? Это было бы невесть что!

Во время этого посещения госпожа Милева пригласила господина Васу прийти к ней завтра на ужин, а так как в следующей главе речь пойдет об этом ужине и о господине Васа, познакомимся с ним поближе.

То, что он красив, мы знаем еще из предыдущей главы; о том, что он молод, говорить не требуется, но вместе с тем надо сказать, что это все, чем он располагает. Он закончил какую-то торговую школу, стал сборщиком налогов, потом служил полицейским чиновником, а оттуда перешел в судебное ведомство. На этой службе он нажил две пары ботинок, четыре

белых жилета, четыре пары брюк и три пиджака, семнадцать галстуков, две дюжины носовых платков и арест на половину жалованья. Это его наличность, не считая долгов. А долги у него были самые разнообразные, и среди них такие, что остается лишь удивляться. Например, в книге торговой фирмы «Спасич и компания» список его долгов выглядел так:

6 дамских рубашек	18	динаров
1 пара дамских туфель фирмы «Бронер»	13	динаров
24 веера	14,40	динара

А надо сказать, что дамских рубашек он не носил, в бальных туфлях не танцевал, двадцатью четырьмя веерами не обмахивался.

В магазине «Братья Димитриевичи» долги его были такие:

2 коробки пудры	5	динаров
4 дюжины шпилек	0,60	динара
1 вуаль	1,50	динара
1 корсет	4	динара

И если знать, что господин Васа мужчина, а это подтверждается и указом о его назначении чиновником, и записью о крещении, то все эти сведения о его долгах и в самом деле кажутся странными. Другое дело записи в книге трактирщика Спасы:

1) Не уплачена комната за пять месяцев № 7	125	динаров
2) Не уплачено за стол за четыре месяца	160	динаров
3) Дано наличными взаймы	72	динара
4) Уплачено музыкантам за одну ночь	10	динаров
5) Уплачено музыкантам за одну ночь	8	динаров
6) Уплачено музыкантам за одну ночь	12	динаров
7) Ужин и выпивка для музыкантов 17/II	9	динаров
8) Уплачено прачке за стирку белья	17,50	динара

Но его кредиторами выступают не только упомянутые фирмы. Главные его кредиторы — вдовы. Уди-

вительное дело — как только этот человек устроился в отделение по делам наследств, у него появилась привычка занимать деньги у вдовушек.

— Страсть люблю одалживать у вдовушек! — говорил он и с таким упорством держался этой своей привычки, что у вдовцов, например, не попросил бы денег ни при каких обстоятельствах.

— А как же ты расплачиваешься с ними? — спрашивал его бедный архивариус, который добрался до отделения по делам наследств тогда, когда ему уже исполнилось пятьдесят лет.

— По частям, — отвечал господин Васа. — У вдов берут займы не иначе, как в рассрочку. Я и любовью занимаюсь в рассрочку, и долги свои плачу по частям.

— Любовь в рассрочку?! — ужасался архивариус, который ни разу в жизни не испытал счастья любви, как есть, например, люди, ни разу в жизни не пробовавшие ананаса или банана.

— В рассрочку, — подтверждал господин Васа. — Любовь — это определенное обязательство, которое мы берем по отношению к той, которую любим, так?

— Так! — говорил архивариус, хотя понятия не имел, так это или не так.

— Вот и получается, — продолжал господин Васа, — что по всем обязательствам я расплачиваюсь по частям, когда и как могу. Теперь понятно?

— Понятно! — отвечал архивариус, хотя на самом деле не понимал ничего.

Вот каков господин Васа Джюрич. Но, кроме упомянутых, у него есть еще одно привлекательное качество: он умеет рассказывать и развлекать. В этом мы убедимся, прочитав следующую главу романа.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Мозоль господина Васы

Итак, на другой день вечером, как мы узнали из предыдущей главы, господин Васа был приглашен на ужин к госпоже Милеве.

Посередине комнаты был поставлен небольшой квадратный стол; на тарелках лежали салфетки, сло-

женные в виде сердец, а в центре стола стояла высокая пивная кружка с сиренью, ландышами и фиалками. Госпожа Милева убаюкала Неделько веселой вдовьей песенкой и, желая удивить господина Васу, надела голубое платье.

Прощаясь со своим черпым платьем, которое больше не собиралась надевать, она тяжело вздохнула, а надевая голубое, которое отныне будет носить, она вздохнула не менее тяжело.

Около половины восьмого, как и договаривались, господин Васа вошел в комнату, имея на себе один из белых жилетов, и остановился, пораженный, в дверях. Он повторил свой прежний комплимент о голубых одеяниях ангелов, сел за стол напротив госпожи Милевы, и они начали ужинать, ведя приятнейшую беседу.

За ужином господин Васа странно ерзал на стуле и только после ужина признался, что вынужден был снять под столом ботинок, так как у него страшно болела мозоль. В связи с этим он рассказал госпоже Милеве целую историю.

— Однажды я из-за этой проклятой мозоли чуть было не потерял службы. Я был полицейским чиновником, и вот приходит депеша: прибывает окружной начальник. Наш градоначальник был новичок на этой должности, он забегал, засуетился, ну совсем голову потерял! Мы все надели парадные мундиры. Окружной начальник прибыл, мы встретили его, как положено. Он вошел в уездное управление и велел позвать всех чиновников, чтобы по известному и бескорыстному обыкновению начальства прочесть нам нотацию о добросовестном отношении к своим служебным обязанностям, о четком их исполнении и о многих других вещах, которые можно прочесть в многочисленных циркулярах, засылаемых в провинцию.

Если бы господин начальник говорил недолго, мне удалось бы выслушать его спокойно и покорно, но господин начальник затянул речь и говорил ровно сорок пять минут. Вначале я спокойно и внимательно слушал проповедь господина начальника и ел его глазами так, что он обратил на меня внимание и постепенно стал все чаще обращаться ко мне, и получилось так, что он говорил в основном мне одному.

В первый раз мозоль дала о себе знать точно на пятнадцатой минуте, и нога моя дернулась; это повторилось раза три, и я, как аист, поджал ногу. Прошло еще немного времени, и у меня выступили на глазах слезы, а на тридцать пятой минуте я начал вращать глазами, кусать губы и вообще так гримасничать и морщиться, что господин начальник, который уже привык смотреть только на меня, дважды сбился и испортил свою проповедь. А у меня то губы округлялись в виде буквы «О», то щеки надувались в виде буквы «Ф», то одна щека надувалась, то другая...

В конце концов сановник в замешательстве скопал свою речь и отпустил нас, а сам остался с нашим начальником. Немного погодя меня вызвал к себе наш градоначальник.

— Господин Васа, что с вами? Чем объяснить ваше поведение по отношению к господину начальнику?

— Простите, какое поведение?

— Поведение, из-за которого господин начальник предложил мне просто уволить вас со службы, потому что во время речи вы ухмылялись, скалились, кривлялись, — решительно заявил градоначальник.

— Прошу покорнейше извинить, но я никогда не осмелился бы скалиться на господина начальника! Я исправный, добросовестный чиновник и ни разу в жизни не скалил зубы на власти, — оправдывался я.

Тут, на мое счастье, у меня опять заболела мозоль, и я весь искривился.

— Вот, вот, и на меня скалитесь, а еще оправдываетесь!

Пришлось рассказать о своей несчастной мозоли, и с меня едва сняли тяжкое обвинение.

Госпожа Милева весело смеялась над бедой господина Васы и предложила ему яблоки, которые все это время чистила собственной ручкой.

Видя, что рассказ понравился госпоже Милеве, господин Васа продолжал:

— А в другой раз со мной был еще более интересный случай, и связан он с одной дамой.

— Так расскажите же, ради бога! — сказала госпожа Милева и шаловливо посмотрела на господина Васу.

— Было это той же зимой,— начал свой рассказ господин Васа.— Однажды вечером меня пригласили на ужин по случаю славы господина председателя окружного суда. За столом я сидел рядом с госпожой председательшей, а с левой стороны от меня сидела свояченица помощника председателя. Она считалась самой красивой девушкой, и все наперебой ухаживали за ней. Я изо всех сил пустился развлекать ее и сразу же заметил, что моя болтовня ее забавляет. Я ухаживал за ней, предлагал и подавал все, что ей угодно было отведать, был так внимателен и так ей понравился, что, когда пели «многая лета» господину председателю, признался ей в любви. Надо ли говорить, что в ту самую минуту, когда я объяснялся в любви, мозоль начала жестоко досаждать мне. Чтобы иметь возможность продолжить разговор, я вот так же, как сейчас, снял под столом ботинок и вернулся к объяснению, еще более решительно и смело. Христина не пожелала сразу ответить на мое признание, а лишь ласково сжала мою руку и в тот самый миг, когда стали петь «многая лета» дочери председателя, тихо сказала:

— После ужина будут танцы. Вы пригласите меня на лансье, и во время танца я вам отвечу.

И в самом деле после ужина музыка заиграла туш, потому что один из чиновников провозгласил здравицу в честь господина уездного начальника, «строного, справедливого и прекрасного руководителя, отца и матери для народа, которым он управляет». Потом заиграли королевское оро, и первыми вступили в круг господин председатель с господином уездным начальником; затем завели коло, а дальше пошли подряд танец за танцем...

Я сгорал от нетерпения, ожидая, когда объявят лансье, и во всех предыдущих танцах не только не участвовал, но даже с места не поднимался. Наконец Христина подходит ко мне, улыбаясь, и говорит:

— Сударь, сейчас будет лансье!

— И я получу ответ? — весело шепчу я.

— Получите! — отвечает она, смущенно потупив глазки, и добавляет нетерпеливо: — Пойдемте!

Я сунул руку под стол, но... ботинка не было. Пошарил еще... нет! Меня прошиб пот.

— Вы идите, пожалуйста, я сейчас...

Как только она отошла, я сунул голову под стол, но... моего ботинка нигде не было, понимаете, нигде, будто он сквозь землю провалился!

Можете представить себе, в какое положение я попал в ту самую минуту, когда мне должны были дать такой важный для меня ответ.

Христина снова вернулась за мной, потому что музыканты уже заиграли, и три пары встали, ожидая четвертую, нашу. Я еще раз в отчаянии нырнул с головой под стол, но ботинка нигде не было. Наконец, не придумав ничего более умного, я горестно пожаловался Христине, что очень плохо себя чувствую, что у меня болит голова, и попросил ее танцевать с кем-нибудь другим.

Она презрительно посмотрела на меня, сердито отвернулась и подошла к одному молодому человеку, который не умел танцевать, но которого она обещала научить.

Я продолжал сидеть неподвижно и смотрел на танцующих, смотрел на ту, которая не желала больше удостоить меня ни единым взглядом. Христина перешла со своим молодым человеком в другую комнату, а я по-прежнему сидел на своем месте как прикованный. Просидел я так до самого рассвета.

Уже и гости начали расходиться, а я все сидел. Ушел аптекарь, господин Коста с супругой и свояченицей, ушел дьякон Йова, начинавший все «многая лета», со своей супругой, которая захватила с собой полный платок печени «для детишек», а я все сидел. Ушла с сестрой и зятем, помощником председателя, Христина, не взглянув на меня, не пожелав даже спокойной ночи, а я все сидел. Ушли цыгане, которым господин председатель щедро заплатил, а я все сидел.

Наконец, когда господин председатель с супругой, провожавшие цыган, вернулись, они в ужасе увидели, что я неподвижно сижу на том самом месте, где ужинал. Я объяснил им свою беду, и теперь мы все трое, призвав на помощь и кухарку, принялись искать ботинок. Вдруг кухарка, шлепнув себя ладонью по лбу, вспомнила:

— Так это, наверно, им давеча Кастор играл!

И в самом деле, кухарка сбегала к конуре, где спал Кастор, и нашла мой ботинок.

Извинившись перед господином председателем и его супругой и проклиная всех собак на свете, я надел ботинок и пошел домой. По пути я подумал о прекрасной любви, погубленной ботинком, или, точнее говоря, мозолью, или, еще точнее, Кастором.

Госпожа Милева весело смеялась, когда услышала завершение этой грустной истории, снова угостила господина Васу яблоками и наполнила его бокал вином.

Так за яблоками, печеньем и вином провели они еще некоторое время, болтая о всякой всячине. Госпожа Милева рассказала, как она отлично готовит тесто для печенья, потом поведала, что собирается запломбировать зуб и что она никогда не носит крахмальной нижней юбки, а господин Васа рассказал ей о своем дяде, который чудесно играл на гармонике, о своем коллеге писаре Пере, который целыми днями ест в канцелярии круглые облатки, которыми запечатывают официальные письма, и о себе, о том, как он ловко бегаёт на коньках и умеет на одной ноге выписывать восьмерки на льду.

Говорили они о разных других разностях и наслаждались бы приятной беседой и дальше, если бы на стенных часах не пробило полночь и Неделько не раскричался так неистово, будто находился за пазухой у посыльного Среи на пути в Крманы, а не спал в изящной колыбели с голубым пологом и с никелированной соской во рту.

Господин Васа решил, что ему пора, и наклонился, чтобы надеть ботинок, но, к своему великому удивлению, ботинка под столом не обнаружил. Искал он его, искал, и даже госпожа Милева помогала, но... ботинок как сквозь землю провалился.

Так он и проискал ботинок часов до четырех утра, а когда уходил, то, обнимая вдовушку, спросил: — Признайтесь мне откровенно!

— В чем?

— Нет ли у вас в доме какой-нибудь собаки?

— Нет, — стыдливо ответила вдовушка и спрятала головку у него на груди.

Господин Васа довольный ушел домой, думая по пути о том, что большая мозоль не всегда приносит одни неприятности.

Неприятное событие, которое, как и во всех романах, происходит не случайно в ту самую минуту, когда герой романа находится в наименее приятном расположении духа

Мы уже знаем, как выглядят списки долгов господина Васы в фирме «Спасич и компания» и в магазине «Братья Димитриевичи», и поэтому для нас будет неожиданностью изменение наименований товаров в этих списках. Вместо корсетов, спинок, вееров и пр. в новом перечне долгов у «Братьев Димитриевичей» через несколько дней появилось следующее:

1) Один мячик	0,80	динара
2) Одна погремушка	0,40	динара
3) Одна соска	3,20	динара
4) Одна шелковая распашонка детская	5	динаров
5) Один вязаный чепчик детский	1,30	динара

Поскольку все читатели знают, что господин Васа, чиновник отделения по делам наследств, не пользовался соской, не играл мячиком и погремушкой и тем более не носил распашонок и вязаных чепчиков, то легко догадаться, что господин Васа все это покупал и относил маленькому Неделько, так как с памятного нам ужина он часто навещал Милеву, нисколько не страшась еще раз потерять свой ботинок.

Госпожа Милева наслаждалась приятным времяпрепровождением, пока однажды (как это всегда бывает в романах) перед нею не возник тот, кого она меньше всего жаждала видеть.

А этим человеком, о котором уже в двух главах романа не говорилось ни слова, был не кто иной, как адвокат Фича, так удачно обеспечивший госпоже Милеве опеку над огромным наследством.

В том, что адвокат Фича возник так внезапно, не было ничего странного, а вот требование, которое он неожиданно предъявил госпоже Милеве, было таково, что оно могло развеять ее счастье, как дым. Фича коротко и откровенно, не ссылаясь на соответствующие статьи, объяснил вдовушке, что она всецело в его руках. Стоит ему захотеть, и он заявит о подмене ребенка на суде, а это не только разрушит счастье госпожи Милевы, но и познакомит ее со многими

статьями, которые отнюдь не проявят к ней благо-склонности.

Читатели поверят мне, что при этом заявлении Фичи госпожа Милева побледнела. Но хотя бледность была ей к лицу, похоже, что на Фичу это не произвело такого впечатления, как, скажем, на господина Васу, и Фича продолжал низать статьи, одну другой хуже. Госпожа Милева пыталась даже упасть в обморок, но Фича совершенно безучастно подождал, пока обморок пройдет, и продолжал перечислять статьи всевозможных законов, принятых в Сербии за последние двадцать пять лет. Прекратив наконец перечислять, он закончил разговор так:

— Но это между прочим, уважаемая сударыня, а пришел я, собственно говоря, попросить у вас сто дукатов. Они мне очень нужны. Если вы мне не верите, я готов поклясться чем угодно, что они мне очень нужны.

— Ох! — только и сказала госпожа Милева.

Господин Фича поклялся еще раз, что ему позарез нужны деньги, и снова стал перечислять статьи, которые, стоит ему захотеть, могли бы вспылать к ней весьма недобрым чувством. Таким образом, он убедил госпожу Милеву, что деваться ей некуда, и она дала ему сто дукатов, вздохнув при этом еще более тяжело, чем вздыхала, тужа по покойному мужу.

Фича встал довольный и ушел, пообещав не забывать ее и заходить почаще.

Было это, скажем, сегодня, а назавтра тут как тут жена Фичи, госпожа Цайка, которая сказала, что не видела госпожу Милеву с самых родов и потому решила забежать к ней. Первым делом она пошла посмотреть, как растет Неделько, и, найдя, что очень неплохо, сплунула (от сглазу) раза три. Потом села и начала рассказывать о зубах, которые вставила аптекарша, о гвоздике, которая не привилась у госпожи Сары, супруги протоиерея, и о том, как госпожа Арсеница перелицевала шубу, надеясь, что никто об этом не догадается.

— Ну, скажите мне, ради бога, искренне, как сестра, идет ей перелицованная шуба, когда на голове тепелук?

Вот так госпожа Цайка свела разговор на тепелук — расшитую золотом шапочку, которую носят за-

мужние сербки,— и тотчас заявила, что единственное ее желание в жизни — иметь тепелук.

— Разве он мне не пошел бы? — спросила она госпожу Милеву и повела головой так, будто шапочка уже была на ней.

— Очень бы пошел,— ответила ничего не подозревавшая госпожа Милева.

— Видите ли, милочка вы моя,— подхватила госпожа Цайка,— мне кажется, за ту большую услугу, которую я вам оказала, и за ту большую тайну, что я скрываю ради вас, было бы справедливо, если бы вы купили мне тепелук.

Госпожа Милева побледнела точно так же, как в присутствии Фичи, но жена его тоже отнеслась к этому равнодушно.

— Побойтесь бога! — возопила наконец госпожа Милева.— Разве я не заплатила вам за это, и еще как!

— Боже мой, госпожа Милева,— спокойно ответила госпожа Цайка,— но это же было так, на радостях. Уж не думаете ли вы, что это все? Милочка вы моя, мне всю жизнь придется хранить вашу тайну, чтоб унести ее с собой в могилу, а вы думаете отделаться теми десятью дукатами, которые сунули мне.

— Но я и господину Фиче дала пятьдесят,— горестно сказала госпожа Милева.

— Он заслужил их.

— А вчера я ему дала еще сто.

— Должно быть, они ему были нужны.

— И вы думаете, я всю жизнь, как только вам потребуется, буду давать вам деньги?

— Ну, почему же всю жизнь? Может быть, придет время, когда деньги нам будут не нужны.

После такого утешения госпожа Милева снова побледнела, так как только теперь увидела, в какие лапы попала, но назад ходу не было, и она, достав тридцать шесть дукатов, дала их госпоже Цайке на тепелук.

Госпожа Цайка умильно поблагодарила ее и обещала вспоминать добрую госпожу Милеву всякий раз, когда будет надевать тепелук.

Но это было еще не все. Через несколько дней к госпоже Милеве явилась еще одна личность, с кото-

рой она до сих пор не встречалась. Это была некая Маца, старая вдова, которой Фича отдал на воспитание дочку госпожи Милевы.

Если бы этот роман писался по правилам, которых придерживаются сочинители романов, основное содержание которых составляет тайное рождение какого-нибудь тайного ребенка, то такая вот Маца должна была бы войти в дом госпожи Милевы совсем по-другому, так как она — лицо доверенное, хранительница тайны. Маца должна была бы закутаться в домино, примерно в полночь появиться у ворот, посмотреть направо и налево и, убедившись, что ее никто не видит, трижды постучать в калитку. Немного погодя калитка отворилась бы, старый слуга кивнул бы ей и, не говоря ни слова, повел бы ее по потайной лестнице, откуда через потайную дверь она попала бы в спальню госпожи Милевы.

Но поскольку Маца ничего не знала о правилах сочинения настоящих романов и вообще не имела никакого литературного образования, то она просто пришла в полдень и явилась прямо к госпоже Милеве.

Госпожу Милеву весьма удивил ее приход, потому что по договору с Фичей Маце не следовало знать, чьего ребенка она воспитывает, она лишь получала ежемесячно свои тридцать динаров. Впрочем, все сразу стало ясно, как только Маца сообщила Милеве, что она вот уже три месяца гроша ломаного не получала от Фичи, а когда она надоела ему своими просьбами, он и послал ее к госпоже Милеве.

Не спрашивая больше ни о чем, бедная вдова уплатила Маце за все три месяца и еще за два месяца вперед, да сверх того вынуждена была дать денег на платье и помочь рассчитаться с квартирным долгом.

И теперь, когда клубок начал было разматываться, он вдруг не только размотался, но и спутался. Вскоре Фиче опять потребовались тридцать дукатов, потом госпожа Цайка пожелала иметь к тепелуку шубу, а Маца то и дело приходила за деньгами то на покупку дров, то на уплату за квартиру, то на то, то на другое. И так без передышки...

Бедная вдова платила, пока могла платить, но когда она однажды попыталась отказать, тайна начала сперва передаваться из уст в уста, потом стала

достоянием торговых рядов, а там достигла ушей братьев покойника, лишенных наследства.

И тогда все статьи, которые Фича перечислял вдове, коварно объединились и обрушились и на Фичу, и на жену Фичи, и на бедную Мацу, так что в один прекрасный день вся четверка оказалась за решеткой.

Суд продолжался недолго. Маца призналась, госпожа Милева все отрицала, госпожа Цайка призналась, а Фича отверг обвинение. На суде Фича даже сказал:

— Господа судьи, учитывая официальную и законную сторону, наблюдается факт существования двух младенцев, и одного из них, вы не станете это отрицать, госпожа Милева родила в самом деле. Наиболее убедительным доказательством этого факта является сам ребенок, которого никак не назовешь искусственным, поскольку младенец совершенно естественный...

Но, несмотря на красноречие господина Фичи, суд принял решение посадить в Пожаревацкую тюрьму всех четверых, а девочке, той самой, которую родила госпожа Милева, вернуть ее права и выделить наследство.

Неделько тоже был в суде то ли как приложение к какому-то документу, то ли как вещественное доказательство, то ли как свидетель... Бог знает, для чего его вообще принесли в суд. Главное то, что его выбросили на улицу. Суд, так и не установив, чей это ребенок, отослал его общине, чтобы та заботилась о нем. Община же отдала его на воспитание одной прачке.

Так бедняга Неделько после кратковременного благополучия снова стал сыном общины, оставив себе на память о счастливых деньках никелированную соску.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Мастерица Юлиана и ее дочь Эльза

В городок, где случилось столько приятных и неприятных событий, связанных с судьбой Неделько, лет шесть назад приехала некая Юлиана, которая сама себя называла мастерицей Юлианой. В суц-

ности, она была обыкновенной прачкой, но благодаря такому громкому титулу у нее прибавилось очень много клиенток, потому что он придавал весу даже им, о чем можно судить хотя бы из разговора госпожи Савки с госпожой Мицей:

— Скажите, кто вам стирает белье?

— Сара, жена Йованче.

— А мне, знаете,— горделиво говорит госпожа Савка,— стирает и гладит мастерица Юлиана. Правда, это немного дороже, но себя оправдывает. Посмотрите, какие воротнички у моего мужа — будто сегодня из лавки.

Впрочем, распространяться об этом нет нужды (у автора романа нет никакой охоты копаться в чужом белье), главное тут в том, что именно у Юлианы поселился наш Неделько.

У мастерицы Юлианы есть, разумеется, свое прошлое, от которого у нее осталась восемнадцатилетняя дочка, но это прошлое завершилось изгнанием Юлианы из Белграда, отчего она и решила стать мастерицей по части белья в нашем городке.

У ее дочери Эльзы нет прошлого, но есть будущее, и из-за этого вот будущего Эльза и не поехала с матерью в провинцию, а осталась в Белграде.

Эльза была миловидной девочкой со светлыми косичками и сперва разносила по домам большие коробки с дамскими шляпами, а немного погодя такие коробки начали приносить ей. Случилось это вскоре после того, как ей улыбнулся «один господин». Этот «господин» улыбнулся ей и второй раз. Тогда она рассказала об этом своей матери Юлиане, которая еще не была мастерицей, и та нашла случай, чтоб «господин» улыбнулся и ей.

Потом у Эльзы появилась хорошенькая квартирка, хорошенькая шляпка и хорошенькие платья, и она перестала быть миловидной девочкой со светлыми косичками. А «один господин» перестал быть неизвестным, так как оказался он господином Симой Недельковичем, большим начальником в министерстве. Все очень хорошо устроилось, и это спокойное тихое гнездышко стало настоящим раем, в котором высокий сановник играл роль добронравного Адама, Эльза — Евы, перепробовавшей всевозможные сорта яблок, а Юлиана вполне справилась бы с ролью

змия, если бы министерский начальник вовремя не почувствовал это и не устроил так, что она из-за какой-то ерунды была изгнана из Белграда.

Эльза, оставшись в одиночестве, без материнской заботы и родительских советов, полностью доверилась своему попечителю и за шесть лет так привыкла к его советам и наставлениям, что стала считать его отцом. Но это последнее обстоятельство почему-то так рассердило его, что он бросил Эльзу:

Как раз в то время, когда Неделько появился в доме мастерицы Юлианы, любящая мать получила письмо от дочери, в котором та сообщала недобрую весть, что брошена на произвол судьбы. Юлиана до того расстроилась, что тотчас отшлепала Неделько, который с ее дочерью Эльзой был совершенно незнаком.

Между матерью и дочерью завязалась оживленная переписка.

В первом письме дочь сообщала о прискорбном событии; во втором — проклинала господина начальника; а в третьем — извещала мать, что господин начальник женится.

В своем первом письме мать советовала дочери утешиться; во втором — написать господину начальнику и пригласить его к себе; а в третьем — она советовала дочери отомстить ему.

На последнее письмо дочь ответила, что согласна и непременно отомстит, но спрашивала у матери, как это сделать, и мать ответила, пусть немедленно приезжает к ней. Здесь они обо всем договорятся, у Юлианы уже есть план мести.

И вот в один прекрасный день прибыл экипаж, которого с нетерпением и слезами на глазах ожидала мастерица Юлиана. Из экипажа появилась Эльза, в дорожном костюме и мягкой соломенной шляпке на голове. Она легко, как серна, бросилась в объятия матери и утонула в прачкиных слезах.

Потом они вошли в дом и говорили долго и обстоятельно обо всем, что было и чему надлежит быть. Заботливая, любящая мать наставляла дочку так:

— У меня тут есть младенец, дали мне его на воспитание, но дела никому до него нет. Возьми-ка ты его с собой в Белград, отнеси к господину начальнику и оставь у его дверей на следующий день после

свадьбы. И положи там же записку, что это его ребенок. Лучшей мести не придумаешь.

Эльза охотно согласилась с этим планом, потому что лучшего способа отомстить начальнику и в самом деле не было. Итак, план был принят, и Эльзе с Неделько надлежало на другой же день тронуться в путь.

Пока мать и дочь разговаривали о мести, Неделько лежал в белье в корзине с чьим-то грязным бельем и блаженно играл никелированной соской и той самой погремушкой, которую на память о счастливых денечках он получил от господина Васы Джюрича, сожалевавшего о тех же счастливых денечках не меньше Неделько.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Чувство семинариста Тома, несколько отличное от чувства Неделько

На заре экипаж затарахтел по мостовой, а потом выехал на дорогу, которая была украшена телефонными столбами и вела прямо в столицу.

На экипаже поднят верх, и под ним, кроме Эльзы с Неделько, сидит еще один путник, которого кучер с разрешения Эльзы взял до ближайшего городка, где путники собирались остановиться на ночлег:

Этот путник был молодым человеком, тонким, как тростинка, и прозрачным, как голодный комар. Длинноволосый, он был одет в белые пикейные брюки и какой-то безобразный пиджак, скроенный, казалось, на грузного архимандрита. С первых же его слов выяснилось, что путника зовут Томой и что он семинарист.

Потом всю дорогу Тома задумчиво молчал и вежливо жался к краю сиденья, боясь потревожить Эльзу, которая держала на коленях Неделько. Когда Эльзе надоело молчать, она спросила, чтоб завязать какой-никакой разговор:

— А вы далеко едете?

Семинарист сперва ужасно смутился, но потом взял себя в руки и тонким девичьим голосом ответил:

— Недалеко, до первого города.

— А зачем вам туда? — продолжала спрашивать Эльза.

Тома быстро осмелел и непринужденно поддерживал разговор:

— Барышня... то есть, это, наверно, не ваш ребенок?!

— Мой, — ответила Эльза и сделала материнское лицо.

— Значит, сударыня, — продолжал семинарист Тома, — история моя удивительна, вернее, не столь удивительна, сколь интересна.

— Ну? — произнесла Эльза, проявив интерес к истории Тома.

И Тома начал свой рассказ тем ровным, нежным, монотонным голосом, каким поют херувимскую.

— Видите ли, я изучал богословие и с отличием закончил три курса духовной семинарии. Мне не терпелось закончить семинарию, чтобы стать священником... Ах, сударыня, быть священником — это мой идеал. Представьте себе только: я — батюшка, идеальный священник... Ряса, церковная служба, епитрахиль, причастие, слово... слово божье, слово, которое я произносил бы каждое воскресенье наизусть... подумайте только, наизусть...

Рассказывая, Тома возбудился необычайно и, казалось, заговорил «на шестой антифонский глас». И бог знает что он наговорил бы в таком состоянии, если бы Неделько не разорался так неистово, что его принялись успокаивать и Эльза, и семинарист Тома, и даже кучер, которому надоел рев.

Тома оказался настолько услужлив, что взял Недельку к себе на колени, чтобы дать госпоже Эльзе отдохнуть, а сам, покачивая ребенка, продолжал рассказывать:

— Но, сударыня, господь всемогущ, пути его неисповедимы, веления неоспоримы. Я хотел стать священником, и на тебе... решил идти в актеры.

— Ай-ай-ай! Как же это получилось? — спросила Эльза.

— Не знаю, веленье божие! — пожав плечами, сказал семинарист Тома и понизил голос, будто пел «на седьмой глас».

— А как вы узнали об этом велении? — просто душно спросила Эльза.

— Как?.. Во сне. В нашем городке недавно гастролировал один маленький театр, который сейчас находится в том городе, где вы собираетесь заночевать, а я останусь, потому что меня приняли в труппу. Вот и письмо, которым директор труппы извещает меня, что я принят.

Тома достал из левого кармана грязное письмо и начал читать:

«Милостивый государь, в нашем необъятном мире есть узкое поприще с обширными возможностями, на котором сосредоточена вся жизнь человеческая, жизнь, отражающая все. Сцена, сцена, сцена, милостивый государь, вот идеал человечества. Поскольку сцена вдохновила и Вас, желаю Вам успеха. Принимаю Вас в труппу с жалованьем 30 динаров в месяц...» и так далее.

— Как видите, дело сделано, меня ангажировали. А случилось это так. Однажды вечером я был в театре и по возвращении домой лег спать, прочитав по обыкновению молитву «на сон грядущий». Я крепко спал, и вдруг во сне мне явилась Мария Магдалина, но одетая так, как одеваются нынешние барышни, вот как вы, в шляпке, перчатках и с зонтиком в руке. Я удивился и стал говорить ей стихами: «Скажи, скажи, Мария Магдалина, зачем такой являешься ты мне?» А она мне нежным добрым голоском отвечает: «Послушай, Тома, кончай валять дурака и поступай в актеры, не пожалеешь!» Я испугался и говорю: «Что с вами, Мария Магдалина, как же вы мне можете такое советовать?» А Мария Магдалина отвечает мне: «Кончай валять дурака и поступай в актеры!..» И тут Мария Магдалина исчезла, а я проснулся весь в поту, будто разговаривал с самим апостолом Петром или ректором семинарии.

Я эту тайну никому не выдам, и не ради себя, а чтобы не осрамить Марию Магдалину. На другой вечер ложусь опять и засыпаю, дважды прочитав молитву «на сон грядущий». И снова, как в прошлый раз, является мне во сне Мария Магдалина, одетая по современной моде. Я опять говорю ей стихами: «Скажи, скажи, Мария Магдалина, зачем толкаешь ты меня на скользкую дорожку?» — «Кончай заниматься ерундой, Тома, — отвечает мне Мария Магдалина, — послушайся меня, иди в актеры!» — «А раз-

ве мне подобает это?» — спрашиваю я Марию Магдалину. «Иди в актеры ради любви ко мне!» — говорит Мария Магдалина, кокетливо улыбается, щиплет меня за щеку, а я, готовый провалиться со стыда, пригрозил ей, что завтра же пожалуюсь на нее ректору семинарии. Но она только весело рассмеялась и говорит: «Тома, Тома, взглядишь-ка в меня лучше!» Я взгляделся... и что же: это была не Мария Магдалина, а актриса Ленка, та самая, что играет роли роковых женщин и умеет так зловеще смеяться.

Теперь, как сами понимаете, дело предстало предомной в ином свете. Я помолился господа, чтобы простил мне, что я принял актрису за Марию Магдалину, а сам подумал: во всем виновата привычка видеть во сне только святых. На другой день мне повстречалась актриса Ленка, одетая в точности так же, как Мария Магдалина. И не знаю почему, может быть, по велению божью, Ленка улыбнулась мне, и так, знаете, прелестно улыбнулась, будто хотела сказать: «Кончай заниматься ерундой, Тома, иди в актеры!»

Потом труппа уехала из нашего города, но мне каждую ночь снилась Ленка и очень редко — ректор. В конце концов я понял, что мне не одолеть искушения, что это наитие, что это веление божие, и решился... написать письмо директору театра, который, как видите, ответил положительно.

Тут Тома замолчал и похлопал Неделько, который беззаботно лежал у него на коленях и смотрел ему прямо в глаза, будто тоже слушал его рассказ.

Эльза, слушавшая Тому с превеликим любопытством, кокетливо улыбнулась (совсем как Мария Магдалина) и сказала:

— Теперь мне все понятно, господин Тома, совершенно все.

— Простите, что понятно? — испуганно спросил Тома.

— Понятно веление божие. На самом деле вы влюбились в актрису Ленку.

— Кто, я?! — воскликнул Тома и покраснел как рак, потому что сам еще не верил в это.

— Признайтесь.

— Но как же мне признаться, если это неправда, — решительно защищался семинарист Тома, хотя

эта страшная правда впервые стала очевидной и для него.

— Вот вы и краснеете всякий раз, когда слышите ее имя,— кокетливо добавила Эльза.

— Чье имя, простите?

— Ленкино. Не Марии же Магдалины.

— Не знаю...— смущенно произнес Тома и едва не уронил Неделько.

— Признайтесь, и я вам помогу.

— Вы?

— Да, я. Вечером, когда приедем в город, я все расскажу Ленке. Признайтесь.

— Мне не в чем вам признаваться. Сказать, что я ее люблю (это «люблю» Тома пропел басом), я не могу, но чувство какое-то есть. Я ощущаю это чувство, оно мучит меня, пронизывает все тело. Я ощущаю это чувство в сердце, в душе, в крови, в груди. Я ощущаю это чувство в руках...

Тут-то Тома и запнулся, так как и в самом деле ощутил в руках нечто... Но это нечто было не Томиным, а скорее Неделькиным чувством, несколько отличавшимся от чувства семинариста...

Эльза заткнула нос; кучер выругался, а семинарист Тома со скорбным лицом поглядывал то на свою ладонь, то на белые пикейные брюки, которые стали похожи на штабную карту со всеми гаванями, заливами, островами и полуостровами.

Потребовалось остановить экипаж, чтобы семинарист Тома и Неделько могли перепеленаться и почиститься, а потом оба, смирив свои чувства, забрались в экипаж и двинулись дальше. Немного погодя экипаж свернул на скверную мостовую и затарахтел по рыночной площади, пока не остановился перед трактиром «Золотой лев».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Страшная ночь

Уже стемнело, когда экипаж остановился перед «Золотым львом», трактиром второразрядным, но примечательным тем, что в нем в настоящее время дает представления театральная труппа под руководством господина Радисава Станковича.

Хозяин этого заведения как раз стоял в дверях, когда из экипажа вылезли Эльза с Неделько и семинарист Тома. Заметив их, хозяин плюнул, скверно выругался и исчез в дверях. Он это сделал потому, что принял их за актеров, а с тех пор, как труппа стала давать у него представления и столоваться, он люто возненавидел эту возвышенную профессию.

Поскольку и горничная встретила их с недоверием, они с трудом получили номера, Эльза — седьмой, а Тома — одиннадцатый. И сразу принялись за дело: Эльза стала перепеленывать и кормить Неделько, а Тома — стирать и сушить брюки, чтобы явиться к директору труппы в приличном виде.

Тома едва закончил первую половину дела, как кто-то постучал к нему. Брюки его уже висели на окне, поэтому он содрогнулся и, спрятавшись за печку, спросил:

— Кто там?

— Простите, — сказала Эльза, приоткрыв дверь, — нельзя попросить вас об одном одолжении?

— О, пожалуйста, пожалуйста.

— У меня в городе есть очень близкий друг, и мне бы хотелось встретиться с ним. Вы не посмотрели бы за ребенком?

— Охотно... но... — промямлил Тома, не вылезая из-за печки... — А вы быстро вернетесь? Вы же знаете, что мне сегодня вечером надо явиться к господину директору.

— О, конечно, знаю! — ответила Эльза и просунула в распахнутую дверь Неделько, а семинарист Тома нежно принял своего крошечного мучителя, который именно сегодня, когда Томе предстояла встреча с молодой актрисой Ленкой, так злодейски испортил белые пикейные брюки.

Дверь захлопнулась, Эльза легкими шагами спустилась вниз, а Тома остался с двумя заботами — со своими брюками и Неделько.

Прошло весьма много времени, стало совсем темно, уже зажгли лампы, уже и брюки просохли, а Эльзы все не было. Тома высунулся из окна по пояс, посмотрел направо и налево, но ее не увидел. Внизу заиграла музыка, и публика стала собираться на представление, а Эльзы нет как нет. Семинарист Тома выходил из себя и то высовывался в окно, то

подбегал к двери. Один раз он даже спустился с верхнего этажа во двор, но, добросовестный по натуре, тотчас поднялся наверх, чтобы не оставлять ребенка одного.

Но вот началось представление. Тома услышал первый звонок, услышал второй, услышал аплодисменты. Это приветствовали господина директора — как только он появлялся в какой-нибудь сцене, ему обязаны были аплодировать кассир и капельдинер, их аплодисменты подхватывали актеры за кулисами и, наконец, те из публики, что получили контрамарки. А Тома, слыша музыку, звонки, аплодисменты, метался по комнате с Неделько на руках, злой, как зверь.

Кто знает, не ей ли, мадемуазель Ленке, аплодируют сейчас; кто знает, не она ли сейчас на сцене в одной из своих ролей роковых женщин, как в тот вечер, после которого Томе приснилась Мария Магдалина? В комнате было сумрачно, сквозь открытое окно едва проникал свет луны, и в этой полутьме семинаристу Томе стало чудиться, что он видит Ленку всюду, во всех уголках комнаты, за кроватью, за шкафом, за печкой. Он отчетливо видел, как она чертовски обольстительно смеется, слышал ее голос, а глаза, ее прекрасные глаза, казалось, смотрят на него со всех сторон. Словно рой звезд в ночном небе, бесчисленные Ленкины глаза светились в темной комнате, и были похожи они на свечи набожных христиан во время бдения о страстной неделе.

Из этого чудесного забвения Тому вырвала ужасная действительность, как только его взгляд упал на несчастного Неделько, которого он не спускал с рук и который упорно не давал ему видеть свое счастье не в мечтах, а наяву. В тот же миг снизу снова донесли аплодисменты, и Тому неодолимо потянуло на первый этаж.

Наконец он решился на отчаянно смелый шаг, поскольку иначе поступить не мог. Совесть не позволяла ему бросить ребенка, которого ему оставили на попечение, поэтому у него не было другого выхода, как взять с собой и Неделько. Тома не собирался появляться с чужим ребенком на подмостках и представляться в таком виде господину директору и, может быть, самой мадемуазель Ленке, он хотел сме-

шаться с публикой, забиться куда-нибудь в уголок и оттуда посмотреть представление, увидеть ее... Марию Магдалину.

Отважившись, Тома приступил к осуществлению своего замысла. По привычке он запер за собой дверь, хотя никаких вещей в номере не оставлял, и сошел вниз, откуда доносились музыка и аплодисменты. Наверно, уже кончился первый, а то и второй акт, потому что кассира перед входом не было, и Тома свободно вошел в зал трактира, превращенный в зрительный зал.

Очевидно, был антракт, потому что занавес на сцене был опущен, публика за столами громко разговаривала, а цыгане, сидевшие под сценой, настраивали инструменты. Тома ничего не замечал, ничего не видел, кроме этого занавеса, потому что за ним было то самое «узкое поприще с обширными возможностями, на котором сосредоточена вся жизнь человеческая», о чем так чудесно говорил в своем письме господин директор; где-то там была и она — Ленка.

На занавесе, колеблемом сквозняком, была намалевана чудесная картина. Облака, облака, и сквозь эти облака летит кит. Правда, за кита эту фигуру принимали лишь в первое мгновение. Стоило приглядеться, и зритель видел русалку, изображенную в виде голой женщины со швом на животе. Как будто ей когда-то делали операцию — живот, сшитый веревкой, зарос, но врачи забыли извлечь веревку. Этот оптический обман происходил по той причине, что живот русалки был намалеван на том самом месте, где были сшиты два полотнища, составлявшие занавес. Краска со временем стерлась, и шов стал виден. На первый взгляд в одной руке у русалки была пара сосисок, а в другой — окорок. Но стоило присмотреться, и уже не оставалось сомнения, что пара вареных сосисок очень похожа на лиру, а окорок — это не что иное, как рог изобилия. Довольно высоко, на правом бедре русалки, зияла дырка. Сквозь эту дырку актеры смотрели на публику со сцены.

Увлеченный чудесной картиной на занавесе, Тома не заметил, что публика хохочет над ним. Веселье среди публики было вызвано не тем, что он принес на представление младенца. В этом не было ничего

удивительного, но обычно младенцев приносили матери, они держали их на коленях, кормили грудью во время действия, перепеленывали. Смех вызвал сам Тома, одетый в необъятный пиджак, с ребенком на руках. Когда хохотал уже весь зал, Тома очнулся, перевел взгляд с занавеса на зрителей и обнаружил, что все смотрят на него и что смеются над ним. Он смутился, покраснел и понял, что надо бежать, но он и теперь не сумел бы объяснить, почему он не скрылся в ближайших дверях, а стал пробираться к сцене через всю публику, провожавшую его громким смехом. Возможно, глядя на занавес, он заметил чуть в стороне небольшую обтянутую полотном дверь, из нее выходили те, кто был занят на сцене. Эта дверь вела в новую жизнь; через эту дверь он войдет в мир, который, как он думал, тотчас станет его миром. Спасаясь бегством от издевательств толпы, он вдруг решил, что за этой дверью найдет друзей, которые его, нового своего собрата, примут и спасут от позора.

Войдя в дверь, он вдруг оказался среди декораций, поломанных кресел, перевернутых столов и прочего хлама. На сцене никого не было, кроме слуги, который что-то расставлял, и Тома спросил у него, где актеры. Слуга показал на служившую дверьми дыру, завешенную ветхой грязной тряпкой. Тома приподнял тряпку и вошел в уборную, полную актеров, одетых кто во что горазд. Одни одевались, другие раздевались. Одни еще только прилепляли бороду и усы, а другие снимали... Все сидели за одним длинным столом, на котором горела керосиновая лампа. В комнатухе стоял дым, смрад; всевозможные вещи были разбросаны по полу, висели на стенах.

Когда Тома вошел, все актеры подняли головы и посмотрели на странного гостя. Тома, сообразив, что ему надо представиться, сказал:

— Я актер... то есть хочу стать актером. Я получил письмо от господина директора, что он меня принимает, вот я и приехал работать.

Актеры покосились на него, и на губах у них зазмеились ехидные улыбки. Разумеется, этим они не ограничились, и на Тому обрушился град ядовитых реплик.

Первый любовник спросил Тому:

— Вы ангажированы играть матерей?

Комик ласково добавил:

— Какой прелестный ребенок! Вы его уже отняли от груди?

А злодей подхватил:

— Как вы еще слабы! Давно ли вы встали с постели?

Комик продолжал доверительным тоном:

— Вы, конечно, скрываете, кто его отец?

А благородный старик, одевавшийся в одном из углов, закричал:

— Ради бога, уйдите в женскую уборную, в вашем присутствии я не могу снять брюки.

После каждой из этих издевок вся уборная дружно хохотала, а бедняга семинарист дошел до того, что не знал, то ли ему плакать, то ли просто задушить Неделько. У него даже не хватило смелости объяснить своим будущим коллегам, почему у него на руках ребенок; слушая ядовитые реплики, он только спрашивал шепотом:

— Где мне найти господина директора?

Наконец один из молодых актеров сжалился над Томой, вывел его из уборной, где семинарист чувствовал себя как в осином гнезде, и оставил его за кулисами дожидаться директора театра.

Вскоре заиграла музыка. На сцене поднялась суматоха. Кто-то из актеров завопил: «Скатерть, быстрее скатерть сюда, Сима!» Одна из актрис помянула мать помощника режиссера, суфлер залепил пощечину расклейщику афиш. Это была та самая театральная истерия, которая начинается обычно перед поднятием занавеса. Тома смотрел на все это с интересом, с новым, не изведанным доселе чувством.

Но вот посередине сцены разверзся пол, и в образовавшуюся яму спустился суфлер, а немного погодя прозвенел звонок. Все стихли и заняли свои места за кулисами. Кто-то крикнул: «Давай второй!», снова зазвонил звонок, и занавес пошел вверх. Сперва Тома увидел русалкины ноги, потом рог избылиия, дырку на бедре, шов поперек живота, пару сосисок, лицо русалки, волосы и, наконец, облака. Занавес поднялся, на сцену вышел первый любовник и начал с грустью, дрожащим голосом произносить всякие любовные слова.

Немного погодя на сцене появилась она — Ленка, Мария Магдалина. У Тома запрыгало сердце, он испытывал блаженство, которое сперва нахлынуло в затылок, а потом охватило все тело, до самых пяток. Он снова был рядом с ней, он слышал ее голос; стойло ей бросить взгляд за кулисы, и она увидела бы его. Но, увы, она не отрывала глаз от публики, ожидая аплодисментов после каждой своей реплики.

Тома, не мигая, смотрел на нее, впитывал в себя каждое ее слово, следил за каждым ее движением. Тут первый любовник завопил так, будто ему сдирали клещами мясо с костей:

— Ах, признайся, скажи, что любишь меня! Скажи мне здесь, где мы одни, где один бог нам свидетель! И он стукнул себя в грудь.

— Нет, мы не одни! — нежным голосом отвечала она. — Ты видишь этот волшебный месяц... (И она показала пальцем на лампу, висевшую на потолке), ты слышишь, как там, на лугу, прелестно поет птица! — Она показала рукой за кулисы как раз туда, где стоял Тома.

И тут случилось нечто неслыханное, нечто страшное, страшнее грозы, ужаснее землетрясения. В тот самый миг, когда Ленка показала за кулисы, когда она произнесла слова: «Ты слышишь, как там, на лугу, прелестно поет птица», Неделько вдруг завизжал как резаный. Это был не обычный детский плач, а такой, словно кто-то изо всех сил заиграл на волынке.

Представляете себе, что это был за ужас? Вместо аплодисментов, которые Ленка ожидала именно после этой реплики, публика разразилась громоподобным хохотом. Ленка сбилась, покраснела, замолчала. Первый любовник нежным, любовным голосом сквернословил, хотя по пьесе говорить была не его очередь, публика продолжала хохотать, а Неделько орал, как осел, и притом с таким усердием, будто у него тоже была роль в пьесе. Со стыда и досады Ленка зарыдала и ушла со сцены. Прозвенел звонок, и занавес опустился, чтобы публика поутихла и не видела скандала на сцене.

Когда занавес был опущен, произошло то, что семинарист Тома запомнил на всю жизнь. На него, как фурия, налетела Ленка.

— Осел! Разве за кулисами держат детей!

Подбежал комик и стал совать ребенку в рот желтые усы и бороду, а директор театра, рвавший на себе волосы, прибежал тоже, не говоря ни слова, не представившись, схватил Тома за шиворот, помянул мать Тома, с благородным пафосом крикнул: «Вон!» — и толкнул семинариста к двери.

Дверь, которая вела к «узкому поприщу с обширными возможностями, на котором сосредоточена вся жизнь человеческая», отворилась, Тома вылетел из нее, а следом мелькнула нога директора, отпечатавшаяся на задней части пиджака семинариста. Так Тома с Неделько мгновенно оказались среди публики, где их снова встретил оглушительный смех. Неудавшийся актер «прошил публику как пуля, взбежал на верхний этаж, ворвался в свой номер, бросил Неделько на постель, стал над ним, подбоченился и кровожадно посмотрел на младенца.

— Чего тебе от меня надо? — воскликнул Тома в отчаянии. — Известно ли тебе, что ты погубил мою карьеру?

Потом он широкими шагами заходил по комнате, горестно размышляя о своем положении и бросая на Неделько полные ненависти взгляды всякий раз, когда проходил мимо постели. Кроме Иуды Искаротского, он в своей жизни никого до сих пор не ненавидел. Теперь он ненавидел Неделько. Он даже присел на край кровати, сплюнул и крикнул Неделько:

— Иуда!

Ему пришла в голову нехристианская мысль бросить Неделько, как бросили Иосифа его братья, в какой-нибудь ров, самому кинуться, подобно Иову, в пасть к киту. Но он не представлял себе, где тут, в гостинице, можно найти ров для Неделько и пасть для себя. Зароились и другие грешные и гадкие мысли. В какой-то миг ему захотелось покончить с собой, и он посмотрел в окно, чтобы прикинуть, долго ли падать до мостовой, но тотчас содрогнулся, протрезвел и воскликнул про себя:

— Quovadis ¹, Тома?!

¹ Куда идешь (лат.).

Тяжело и громко вздохнув, он отер пот с чела и пошел посмотреть, не вернулась ли в свой номер Эльза.

Наверно, из-за только что пережитой большой трагедии, от которой у него потемнело в глазах, а может быть, просто из-за того, что в коридоре было темно и он плохо различал номера на дверях, он вместо седьмого номера вошел в девятый. В нем никого не было, но его утешило хотя бы то, что он не заперт, а это означало, что Эльза вернулась. Тома побежал в свой номер, схватил Неделько, помчался в комнату № 9 и кинул Неделько на постель. Потом, как бы сбросив с себя тяжкий груз, легко сбежал вниз по гостиничной лестнице и подошел к двери трактира, где давали представление. Из-за закрытой двери донеслись аплодисменты, но этот звук, еще недавно так завораживавший его, теперь внушал ему отвращение. Он выбежал из гостиницы на улицу, потом свернул в переулок и побрел в темноте куда глаза глядят.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Рассказ злодея

Тома прошел один квартал, второй, третий, испытывая потребность уйти подальше от гостиницы, в которой пережил такой страшный вечер. Шагая темными улицами, он заметил небольшие освещенные окна и фонарь над входом. При свете фонаря он прочел вывеску: «Кофейня у крана», и сразу же почувствовал жажду. Не считая того, что ему лишь несколько раз в году доводилось лизнуть причастие, семинарист Тома никогда не пил вина. Но теперь внутри у него пробудилось какое-то живое существо и давай щекотать ему желудок. Тома вошел в кофейню, упал на стул и заказал пол-литра вина.

Тома не заметил, что за другим столом сидел злодей, который покончил со своей ролью в начале третьего акта, разгримировался и пришел в кофейню до Тома. Как только злодей увидел, что Томе принесли пол-литра вина, он тотчас встал из-за своего стола, подошел и сел за стол Тома с таким видом, будто они были неразлучными друзьями. Он даже по-

стучал по столу и велел принести себе чистую стопку, а потом весьма любезно спросил Тома:

— Не выпить ли нам по чашечке кофе?

— Можно! — не поднимая головы, небрежно ответил Тома.

— Что поделаешь! — заказав кофе, продолжал злодей. — Ну, получилось так, а переживать не стоит. Просто интересный случай, каких в нашей жизни бывает много.

— Такого еще ни у кого не бывало! — сквозь слезы пробормотал Тома.

— Не то, так другое, ведь жизнь — это вечная загадка, сударь! А ребенок в самом деле ваш или он вам братом приходится?

— Ни в коем случае! — воскликнул Тома и рассказал злодею все по порядку.

Злодей искренне посочувствовал ему и в знак своего искреннего сочувствия заказал еще пол-литра вина. Когда вино принесли, он налил себе и Томе, выпил свою стопку, снова налил, глубоко задумался и повторил ту утешительную сентенцию, которую уже высказал Томе:

— Да, жизнь — это вечная загадка, сударь, а этот случай — всего лишь один эпизод, каких в нашей жизни бывает много.

Злодей попросил у слуги, который как раз проходил мимо стола, табака на закрутку и, сворачивая ее, продолжал:

— В вашем случае, разумеется, есть завязка, но трагедии в нем все же нет. Я не говорю, что он не трагичен до некоторой степени, но в нем нет настоящей, классической трагедии!

Тома понимал не все, что говорил ему злодей, но чувствовал в его словах утешение и потому слушал.

— Если бы я рассказал вам свою трагедию, сударь, вы бы увидели, что значит боль человеческой души, что значит разочарование в прекрасных, розовых мечтах!..

Эти изысканные излияния не мешали злодею подливать себе вина, и, когда он дошел до фразы: «Знаете ли вы, мой молодой друг, что значит пустая грудь, пустая душа!» — он заодно заметил, что пуста и бутылка, и добавил:

— Если вас интересует история моей жуткой трагедии, закажите еще бутылку вина, и я охотно доверю ее вам.

Увидев, что Тома стучит по столу, обрадованный злодей продолжил:

— Я сказал, доверю! Да, я выразился правильно, потому что это история моих самых интимных переживаний, которую я неохотно рассказываю, которую я могу доверить только своим друзьям.

Хотя очевидно было, что последняя фраза заимствована из какой-то роли, Томе польстило внимание великого артиста, называвшего его своим другом, и он забыл на миг о всех своих недавних бедах.

Злодей провел правой рукой по редким волосам, подпер левой рукой голову и начал:

— Была она красива!..

И тут он вздохнул, как на сцене.

— Кто? — испуганно спросил его Тома.

— Она... Перса... моя жена! — ответил злодей прерывающимся от боли голосом. — О, сколько раз, глядя на нее, я восклицал: «О радость, о возлюбленная сердца моего!»

Он замолчал и в глубоком волнении осушил стакан, который налил, приступая к рассказу.

— Я извлек ее из грязи, поднял на завидную высоту, ввел в волшебный мир идеального и напоил такой чудотворной водой, что она за одну ночь стала актрисой. Она была замечательной актрисой. Весь мир знает Персу, спросите любого, и каждый вам с уважением расскажет о ее искусстве. Несчастливая, как легкомысленно она все растратила!

При этих словах у злодея навернулись слезы на глаза, а глубоко взволнованный Тома чуть было не заплакал.

— Ах, сударь! — продолжал злодей. — Я вспоминаю те вечера, те волшебные вечера! Облака, звезды, свет луны... мы сидим рядышком и разучиваем Отелло. Она играла Дездемону, а я — Яго. «Скорей! Набатов кличьте сонных граждан, не то вас этот черт оставит дедом. Скорее же!»

Это злодей произнес, словно на сцене. Переведя дух, он продолжил:

, — Видели бы вы меня в роли Яго! Я допускаю, что в Белграде у Яго костюм, наверное, получше.

Мы небогаты классическим гардеробом. Я обычно надевал белые шерстяные штаны, туфли и красную блузку Персы, а суфлер давал мне свою шляпу с полями. Допускаю, что в Белграде Яго одет лучше, но что касается игры, то извольте спросить самого господина писаря Пайю, хотя мы с ним не разговариваем. А он видел Яго и в Лесковаце, и в Ягодине, и в Смедереве и потому может оценить. Спросите его, не бойтесь, хотя мы с ним и не разговариваем.

Чувствуя, что убедил Тому в своем величии, злодей смочил высохшую глотку и продолжил:

— И я верил ей, никогда ни в чем не подозревал, никогда и подумать не мог, что столь возвышенная Перса способна пасть так низко. Я думал, как Отелло: «О, если эта лжет, то небеса глумятся над собой!» Ах, сударь, реальность совсем не то, что поэзия. Перса стала жертвой грубой реальности в лице того самого Пайи, писаря уездной канцелярии. Этот человек кружился над ней, как коршун кружится над цыпленком, прежде чем схватить его. Я подозревал, сударь! Вы помните, как говорит Яго: «Блажен рогач, к измене равнодушный; но жалок тот, кто любит и не верит, подозревает и боготворит!» И однажды истина предстала предо мною во всей своей наготе.

Сидели мы как-то утром в «Сазане», я, писарь Пайя и экспедитор Михаило. Пили водку и закусывали солеными огурцами. И вдруг — ах! — это ужасное воспоминание — писарь Пайя достает платок и сморкается в него. Это потрясло меня до глубины души, сердце пронзила боль. Ах, этот платок, шекспировский платок! В одной пьесе мне потребовался платок с монограммой. У нас в труппе ни у кого не было платка с монограммой, и мы попросили у аптекарши дать нам один взаймы. Разумеется, платка мы ей не вернули, и он остался у меня. Это был белый батистовый платочек с переплетенными красными буквами С и Р. Платок хранился у Персы, я подарил ей его... и вдруг вижу: писарь Пайя сморкается в него. Можете представить себе, что со мною было!

Злодей перевел дух, допил стакан, потом снова налил его и продолжил:

— В полдень я пошел домой. Перса как раз резала лук, чтоб добавить его к жарившейся печенке.

Я подошел и взял ее за руку. И... тут начинается второе явление четвертого акта.

Я: Дай мне руку. Какая влажная!

Перса: От лука. Погоди, я вытру.

Я: То признак расточительного сердца: горячая и влажная. Здесь нужны затворничество, строгий пост, молитвы, обряды веры, умерщвление плоти. Здесь виден молодой, горячий бес, нередко буйный. Добрая рука, не жадная.

Перса: Ты вправе так сказать: она тебе мое вручила сердце.

Я: Не злая. Сердце встарь дарило руку. Теперь в гербах лишь руки, не сердца.

Больше я ей ничего не говорил, мы сели и стали есть печенку с луком. Ел я с аппетитом, но это не могло уменьшить моей душевной боли. Я молчал, пока не наелся, а потом, сударь, наступает конец второго явления четвертого акта. Я сказал ей, что видел платок, как говорит Шекспир, у писаря Пайи. Она отвечает, что это не правда, платок у нее. Начинается диалог.

Я: Я видел платок в руке Пайи, он при всех вытирал им нос...

Перса: Как голос твой отрывист и неровен!

Я: Где он? Скажи мне! Нет его? Пропал?

Перса: Избави боже!

Я: Скажи!

Перса: Он не пропал. А если бы пропал?

Я: Что?

Перса: Я говорю тебе, он не пропал.

Я: Сходи за ним, чтоб я его увидел!

Перса: Что ж, я могу, но не хочу сейчас, ты ищешь повода оклеветать господина Пайю.

Я: Достань платок. Я чувствую беду.

Перса: Поверь мне, господин Пайя достойный человек.

Я: Платок!

Перса: Перестань ты, бога ради, болтать ерунду!

Я: Платок!

Перса: Господин Пайя с тобою трудности делил. Ты ему должен тридцать два динара...

Я: Платок!

Перса: Нет, это, право же, нехорошо!

Я: Прочь!

И я ушел из дому.

Злодей почувствовал усталость, потому что весь диалог произнес с пафосом, как на сцене. Тома тарашил глаза на злодея, казавшегося ему в эту минуту неземным существом. Официант скалил зубы за буфетом, потому что знал этот рассказ наизусть — злодей повторял его каждый вечер всякому, кто соглашался поставить ему пол-литра.

— А теперь наступает конец! — воскликнул злодей, как только почувствовал, что силы к нему вернулись. — И если хотите его услышать, велите принести еще пол-литра.

— А теперь наступает конец. Пятый акт, первое явление. Освещение: темная ночь. На сцене — обыкновенная комната. Около полуночи я возвращаюсь домой, тая в груди зловещее намерение. Щелкнул замок. Она в постели, укрытая солдатским одеялом. Сказочная, волшебная, спит, как мадонна. Просыпается.

Перса: Пера, это ты?

Я: Да, Перса!

Перса: Раздевайся и ложись, ты совсем пьяный!

Я: Ты помолилась на ночь, Перса?

Перса: Да, Пера!

Я: Когда ты знаешь за собою грех, не примиренный с милостью небесной, покайся в нем сейчас же!

Перса: Чего ты несешь?

Я: Торопись, я отойду. Мне тяжело убивать твой неготовый дух. Избави боже, чтоб я убийцей стал твоей души.

Перса: Ты говоришь — убить?

Я: Непременно!

Перса: Святое небо, сжался надо мной! Молю тебя всем сердцем!

Я: Аминь!

Перса: Раз ты так сказал, ведь ты же не убьешь меня.

Я: Гм!

Перса: И все же ты меня пугаешь — уж больно нехорош бываешь ты, когда напьешься.

Я: Помысли о своих грехах!

Перса: Мой грех — любовь к тебе.

Я: За это ты умрешь.

Перс а: Смерть, убивая за любовь, преступна. Как ты кусаешь нижнюю губу!

Я: Молчи!

Перс а: Молчу. Но что случилось?

Я: Платок с монограммой, заветный дар тебе, ты подарила писарю Пайе.

Перс а: Нет, клянусь здоровьем матери! Спроси у господина Пайи.

Я: Не лги, не лги, красотка: ты на смертном ложе.

Перс а: Да, но я умру нескоро.

Я: Нет, сейчас же. Поэтому признай свой грех открыто. Ты умрешь.

Перс а: Так сжался, боже, надо мной!

Я: Амины!

Перс а: И сжался ты! Я пред тобой вовек не согрешила. И к писарю питала только то, что чувствовать нас заповеди учат; вовек ему не делала подарков.

Я: Я видел сам платок в его руках. Я видел сам, как писарь высморкался в него.

Перс а: Убей меня завтра, дай поспать спокойно.

Я: Не позволю!

Перс а: Хоть полчаса!

Я: Я начал, и я кончу.

Перс а: О, дай прочесть мне хоть молитву!

Я: Поздно!

...Подобно венецианскому негру, я с дикой силой навалился на постель, вцепился в Персу и стал ее лупить так, как ее еще в жизни не лупили. Оттузив ее как следует, я ушел, но в дверях все же остановился и сказал словами Яго: «Поди, поди: на людях вы — картины, в гостиной — бубенцы, тигрицы — в кухне, бранясь — святые, при обидах. — черти, лентяйки днем и труженицы ночью».

С этими словами я ушел из дома и вернулся в трактир, где меня ожидала компания.

Утром я вернулся, но дома не было ни ее, ни ее вещей. Она ушла к писарю Пайе!

Злодей замолчал, закончив рассказ о своей жуткой трагедии. Он долго потом пил стакан вина и сказал:

— Да, жизнь — это вечная загадка, сударь!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ,

*в которой содержится продолжение страшной ночи и
завершение трагедии Тома*

Тома был еще под впечатлением великой классической трагедии, которую только что рассказал злодей, когда дверь распахнулась и в кофейню с шумом ввалилась целая толпа новых гостей. Это были директор театра, Ленка, вторая инженеру, первый любовник и еще два меломана, которым предстояло платить по счету. Заметив Тому, они стали подталкивать друг друга и смеяться, а бедняга Тома, которого рассказ злодея немного отвлек от собственной беды, снова вспомнил свою трагедию, покраснел и понурился.

Компания села за большой стол, и два упомянутых гражданина тотчас заказали вино и кофе. Дело, разумеется, не ограничилось смехом, и уже за первыми рюмками в адрес Тома посыпались остроты. Лично к нему никто не обращался, но говорили так громко, что каждое слово было для него как нож в сердце.

— Наверно, он покормил ребенка грудью, убаюкал и пошел в кофейню поразвлечься! — начал пальбу комик.

— Пусть благодарит бога, что мне не хотелось будоражить публику, а то бы я ему так всыпал, что он бы у меня еще раз родил, и притом двойню, — добавил директор.

— Не родил бы, а выкинул! — внесла свою лепту супруга директора.

После каждой такой остроты за столом вспыхивал смех, а бедный Тома весь покрывался гусиной кожей и чувствовал себя так, будто лежал под розгами. И все это Тома, может быть, выдержал бы, если бы не заговорила сама Ленка:

— Я не понимаю, почему полиция не обратит внимания на всяких проходимцев, которые непонятно кто — мужчины или женщины?

Этого Тома, определенно знавший, что он мужчина, выдержать не мог. На глаза его навернулись две громадные слезы, и он сказал злодею:

— Ухожу, не могу больше оставаться!

— Нет, не уходите! — решительно воспротивился злодей. — Сидите и закажите еще пол-литра вина, а я

на минутку подойду к ним и объясню, в чем дело. Вы поступили как джентльмен по отношению к даме, и если бы они знали, в чем дело, то не смеялись бы над вами. Уверю вас, не смеялись бы!

Тома благодарно посмотрел на злодея, тот встал и пошел к большому столу. Там его встретили с любопытством, и он принялся объяснять что-то шепотом. Компания внимательно слушала его, и Тома стал с надеждой поглядывать в их сторону. Слушая злодея, то один, то другой оборачивался и бросал взгляд на Тому, и среди прочих обернулась и Ленка. Тома питал все больше надежд, и на сердце полегчало. Он ожидал, что все расскаются в том, что так нехорошо поступили с ним, что выгнали его, что смеялись над ним, а барышня Ленка, может быть, улыбнется той улыбкой, какой она улыбалась ему во сне. И случись это, семинарист Тома опять был бы счастлив, всех простил бы и забыл все, что с ним приключилось в этот день.

Так бы оно, наверно, и было, если бы дверь не открылась снова и в кофейню не вошел капитан-артиллерист, а за ним слуга из гостиницы «Золотой лев». Увидев Тому, слуга показал на него пальцем. Капитан коротко приказал:

— Зови сюда денщика!

Потом он быстро подошел к столу Тома и заорал:

— Чертов осел, да я вас сейчас саблей изрублю, как репу!

— Простите, в чем дело? — спросил Тома и затрясся так, будто играл роль старца.

— Кто вам дал право подбрасывать детей, как кукушка яйца! — снова заорал капитан. И тут вошел денщик с Неделько на руках.

— Отдай крикуна вон тому господину!

Денщик вручил Неделько несчастному Томе, не знавшему, что сказать и куда девать глаза.

За большим столом снова раздался хохот, к которому присоединился и официант, и слуга из «Золотого льва». Один денщик скромно улыбался, поскольку не получил от капитана разрешения смеяться громко.

Тому бросило в жар, он почувствовал, как у него горят пятки и щеки, и опустил глаза, моля про себя господа бога, чтобы пол разверзся и поглотил его.

Разгневанный капитан повернулся к большому столу, где продолжали громко смеяться, и начал объяснять:

— Подумать только, этот негодяй пробрался в мою комнату и положил ребенка в мою постель!

Снова раздался хохот. Тома не слышал капитана, да и вряд ли бы понял, что оставил Неделько не в Эльзиной комнате, а в чужой.

Капитан продолжал:

— Я пришел с учений усталый, как черт, и растянулся на кровати. Вдруг чувствую, за спиной что-то шевелится. Можете представить, что со мной было. Зажег я поскорее свечу и вижу... Младенец, этот самый младенец! Фу, черт бы его побрал! Я такой тарарам устроил в трактире, чуть не убил и хозяйку, и горничную, и кухарку, и вообще все, что способно рожать. Потом слышу от хозяина, что сегодня в гостиницу приехал какой-то бродяга с ребенком, по всей вероятности намереваясь кому-нибудь его подбросить! И кого же он выбрал?.. Меня, меня, чья жена три раза подряд рожала близнецов, близнецов, уважаемые господа! А теперь представьте себе, что в каждой гостинице, где я останавливаюсь на ночлег, я буду находить в своей постели по одному ребенку... Сколько же их тогда бы у меня было!

Снова раздался хохот, но теперь к нему присоединился и сам капитан, и даже денщик. Томе показалось, что пол под ним заколыхался, а столы, стаканы и все люди пошли кувырком. Капитан направился было к двери, но остановился и крикнул:

— Если вы будете еще шнырять возле моего номера, я вам покажу! Впрочем, я уже заявил в полицию!

Он хлопнул за собой дверью и ушел, сопровождаемый денщиком.

У Томы подкосились ноги, он опустился на стул, а Неделько положил на колени. Он ничего не понимал, не слышал, не видел. Он не мог уразуметь, каким образом Неделько оказался у него на коленях, когда он оставил его в номере Эльзы. Откуда взялся капитан-артиллерист? Ему и в голову не приходило, что он мог ошибиться номером и вместо постели Эльзы положил Неделько в постель к капитану-артиллеристу, который вернулся с учений без сил.

Когда капитан ушел, за соседним столом снова завели разговор, полный ядовитых реплик в адрес Тома. Попытка злодея провалилась, и остроты с большого стола сыпались, как искры, опаляя душу, лицо, глаза бедного Тома. Громче всех высказывалась Ленка, и ее ехидные слова глубже всего ранили сердце Тома.

Наконец он немного пришел в себя и понял, что пора поскорее убраться из этого ада, но у него не было сил подняться. Собравшись с последними силами, он подозвал официанта, расплатился, сунул Неделько под мышку и пошел, зная, что его проводят смехом. Ничего, это будет последний смех, больше ни он их, ни они его никогда не увидят. Но не успел он сделать и шага, как в третий раз открылась дверь, и на пороге возник полицейский чиновник в сопровождении жандарма.

Силы снова оставили Тома, он опустился на стул, а лоб его оросил холодный пот.

— Значит, это вы тот самый мужчина с ребенком? — официальным тоном спросил чиновник.

— Я! — ответил Тома, не сомневаясь, что он и впрямь тот самый мужчина с ребенком, которого разыскивает полиция.

— В таком случае пройдите! — решительно сказал чиновник, и Тома понял, что ему ничего не останется, кроме как подчиниться, хотя за соседним столом, конечно, раздавался хохот, к которому теперь уже откровенно присоединился и злодей.

Свежий воздух взбодрил Тома, на душе стало легче. Несмотря на то, что он никогда не имел дела с полицией и ему было тяжело общество полицейского чиновника, который шел рядом с ним, и жандарма, который шел следом, все-таки он чувствовал себя лучше, чем в кофейне под градом насмешек и ругательств.

Допрос в полиции продолжался весьма долго, потому что сперва Тома никак не мог дать вразумительные ответы на три главных вопроса:

а) С какой целью вы всюду носите с собой ребенка, даже и ночью по кофейням?

б) Если вы действительно, как заявляете, приехали, чтобы стать актером, зачем вам ребенок?

в) Почему вы подбросили ребенка в постель к капитану?

Тома еле уговорил чиновника выслушать всю историю по порядку. Он начал со своего порочного сна и белых пикейных брюк, прочел письмо директора, рассказал о своем появлении на сцене... Чиновник весело смеялся, что неожиданно расстроило Тому — хотя бы от властей он ждал сочувствия! Когда рассказ был окончен, чиновник позвонил в колокольчик и приказал жандарму привести женщину, поселившуюся сегодня в комнате № 7 у «Золотого льва».

Жандарм ушел, а чиновник попросил Тому пересказать отдельные эпизоды своей трагедии. Власти снова весело смеялись. Особенно властям понравился сон Тома и та жуткая сцена, когда Ленка воскликнула: «Осел! Разве за кулисами держат детей!»

Наконец открылась дверь, и на пороге в сопровождении жандарма появилась Эльза. Вот теперь разыгралась поистине потрясающая сцена, но не сцена встречи несчастной матери и потерянного ребенка, как ожидают читатели, а сцена встречи Эльзы и полицейского чиновника. Едва Эльза переступила порог, как чиновник внезапно вскочил.

— Ты ли это? — закричал он.

— Конечно, я! — ответила Эльза, и они бросились в объятия друг другу.

Тут выяснилось, что чиновник был тем самым другом, на поиски которого отправилась Эльза, и что именно из-за этого чиновника и посыпались на бедного Тому все его ночные неприятности.

— Где ты был, скажи, ради бога? Ищу тебя целый вечер, два раза сюда приходила.

— Я дежурный, город обходил.

Эльза с чиновником извинились перед Томой, и чиновник даже порвал протокол допроса. Эльза взяла Неделько, и все четверо пошли в гостиницу.

Пожелав Томе спокойной ночи, Эльза с чиновником и Неделько пошли в седьмой номер. У Тома, когда он проходил мимо комнаты № 9, в которой, как уже известно, крепко спал усталый капитан, по спине забегали мурашки.

Войдя в свою комнату, Тома растянулся одетый на постели и натянул одеяло на голову.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Семейная тайна, которая не имеет никакого отношения к семейным тайнам, уже рассказанным в романе

А утром почтовый экипаж снова тронулся в путь, увозя Эльзу и Неделько в Белград.

Семинарист Тома свое дело сделал, семинарист Тома сошел со сцены. Он, бедняга, сейчас дует пехом, потому что, слушая трагедию злодея, истратил все свои деньги. Он возвращается, как блудный сын, к матери-семинарии, где собирается покаянно пасть на колени перед ректором и исповедаться в своих страданиях, в своем горьком разочаровании «узким поприщем с обширными возможностями, на котором сосредоточена вся жизнь человеческая». И в будущем, когда он станет священником, когда у него будет свой приход, как-нибудь зимним вечером, сидя у теплой печи, он расскажет своей попадье, что жизнь человеческая — это вечная загадка.

Беззаботно сидевшая в экипаже Эльза не думала больше ни о Томе, ни даже о Неделько, который спал на ее коленях с такой спокойной совестью, будто и не он был причиной всех ночных недоразумений.

В экипаже появился новый пассажир. Низкорослый, коренастый господин, с узкими глазами, седыми усами и необычайно болтливый. Он сказал Эльзе, что служит в таможне и едет в Белград. Он слышал, что его хотят перевести в другое место, и решил воспротивиться этому. «Не хочу,— сказал он,— уезжать из того места, с которым свыкся и где обзавелся крепкими семейными и дружескими связями».

— Государству тоже нет расчета то и дело переводить нас с места на место,— пояснил таможенник.— Торговцы привыкли ко мне, а я к ним. Контрабандисты привыкли ко мне, и я привык к ним. Я знаю контрабандиста, а он — меня. Я знаю, что думает он, и он знает, что думаю я. Только все устроишь так, чтобы дело шло как по маслу и без забот, а государство тебя хлоп!.. и переведет.

Говорливый спутник не умолкал ни на минуту. Когда Неделько захныкал, таможенник обратил внимание и на него, смерил младенца с головы до пяток и спросил:

— Килограммов десять?

Эльза изумилась,— она еще не знала способности таможенников на глаз прикидывать вес любого свертка.

— Вам не мешает его плач? — спросила Эльза.

— Нет, я люблю, когда дети плачут. У меня даже есть иголка, которую мне дала жена, и как только какая-нибудь женщина переходит границу с ребенком на руках, я кольну его, и ребенок орет как резаный.

— Ой! — вскрикнула Эльза, с удивлением глядя на странного человека, который колет детей.

— Подумаешь! — оправдывался он.— Пусть лучше плачет он, чем государство!

Так как Эльзе непонятно было, почему государство будет плакать, если этот человек не кольнет ребенка иголкой, он тут же объяснил:

— Однажды границу перешли три женщины с младенцами на руках. Я осматриваю их вещи, а они сели себе в уголок, расстегнули блузы и кормят детей. В каждом ребенке самое меньшее кило десять. А после слышу я, никакие это были не младенцы, каждая завернула в пеленки по десять кило табака! Ах так, говорю, и завел иголку. С той поры у меня появилось обыкновение всякого младенца укалывать. Своими глазами вижу: ребенок, не табак, но не плачет. Я подхожу к нему вроде по-отечески, говорю всякие ласковые слова, а сам иголкой его... Нечего ему молчать. Дал бог горло, пусть орет.

А раз зашла речь о детях, спутник заговорил и на эту тему.

— Первенец? — спросил таможенник Эльзу.

— Да,— ответила она.

— И без операции рожали?

Эльза опять удивилась странному вопросу, но таможенник, который не всегда ждал ответов на свои вопросы, продолжал:

— Моя жена всегда рождает с операцией!

Это иностранное слово он произнес с какой-то гордостью, словно операция особая привилегия, которой бог отличает лишь избранных женщин.

Эльза не знала, что ей на это сказать, но он и не нуждался в этом.

— Странно, не живут у меня дети. Только первый, сын, слава богу, жив и здоров, вырос хорошо.

И на это Эльза ничего ему не сказала. Немного погодя он спросил ее:

— Чем занимается ваш муж?

— Я не замужем,— смущенно ответила Эльза.

— Вот как! Кто же тогда отец ребенка?

— Это тайна!

— Тайна? — серьезно переспросил таможенник, задумался и после долгого молчания сказал как бы про себя: — Действительно странно, почти каждый третий ребенок — тайна.

Эльза не поняла, что он хотел сказать, но, как обычно, он быстро разрешил ее недоумение.

— Видите ли,— продолжал он,— мой ребенок, тот единственный, что выжил, ведь он тоже — тайна. И не простая тайна, а целый роман.

Он помолчал, размышляя, наверно, стоит ли пове­рять тайну, а потом решился и сказал:

— Я женился немолодым. У меня есть хороший друг, сосед, молодой человек, но уже женатый лет пять или шесть. Он и меня уговорил: «Давай, говори, я тебя женю! Ты, говорит, ни во что не вмешивайся, я сам подберу тебе молодую!» Я ни во что не вмешивался, он нашел мне невесту, просвѣтал ее и женил меня. На свадьбе у меня был старшим шафе­ром, а жену нашел мне молодую и красивую, на два­дцать один год моложе меня.

Мы и раньше дружно жили,— продолжал тамо­женник,— но с тех пор, как женились, совсем стали как родня, наши семьи так сжились, что нас теперь водой не разольешь. Приду к вечеру домой со служ­бы, а мой сосед и старший шафер уж у меня. Гово­рит: «Моей хозяйки нет дома, я и подумал, где ж ей быть, как не у соседа!» Так же и я к нему ходил.

И самое лучшее — через год после моей женитьбы в наших семействах были прибавления. Его жена ро­дила сына, а через три дня родила сына и моя. Того, что без операции и что жив до сих пор. У него это был третий ребенок, но первый мальчик, а у меня сразу мальчик родился. Радости не было конца. То у меня, то у него пьем за здоровье наших сыновей.

Договорились и крестить их вместе, а так как рдна и та же повивальная бабка принимала у его и у моей жены, то на первой же неделе пришла эта бабка, взяла обоих младенцев и в церковь, а за ней

мы, отцы. Его сын получил имя Милосав, а мой — Райко.

В тот день мы как следует напились и все время обнимались да чмокали друг друга.

Но не прошло и четырех месяцев, как его ребенок, Милосав, занемог, все дремал, дремал и помер. Жаль ему, да и мне, конечно, жаль.

А мой Райко здоровый, красивый и растет хорошо. Но стала мне бросаться в глаза одна странность — чем дальше, тем больше становится мой ребенок похож на старшего шафера. А на меня — нисколечко!

Сперва я думал, что мне это только кажется, но, как придет он вечером ко мне, возьмет Райко на колени и начнет играть с ним, я все гляжу, гляжу на него, гляжу на ребенка и сравниваю. Такой же нос, такие же губы, такие же брови и даже уши такие же. Возьму иногда сына, прижму к щеке, стану перед зеркалом и сравниваю. Не похож: у меня губы полные, а у него тонкие; я курносый, а у него нос прямой, острый; у меня брови тонкие, как голодные червяки, а у него широкие, как пиявки; у меня узкие зеленые глаза, а у него большие и черные. Не похожи мы с ним друг на друга, словно и не отец с сыном.

Тут таможенник прервал свой рассказ, потому что Эльза, сперва лишь улыбавшаяся тайком, не могла сдержаться смеха.

— Не смейтесь, — остановил он ее, — это совсем не то, что вы думаете. Когда я вам расскажу все, вы увидите, что ошибаетесь.

Эльза перестала смеяться, и таможенник продолжал рассказывать:

— Я и сам подумал об этом, и сердце мое захолодело, как арбуз, вынутый из колодца. Я ходил по улицам задумавшись, на службе у меня все из рук валилось, и вообще стал такой рассеянный, что контррабандистам в то время было раздолье. Сколько раз ночью лежу я в постели, укрывшись одеялом с головой, и сам с собой разговариваю. Говорю себе: это так; а потом сам себе возражаю: нет, не так! Такое чувство, будто я сам себя на две половины разорвал, и у каждой половины свое «я», и эти два «я» спорят между собой, ссорятся. Вот так примерно:

Первое я: Нет, этого не может быть, он мой друг, почти родственник, старшим шафером был на моей свадьбе.

Второе я: Может быть, все может быть на этом свете. Сегодня друг, а завтра нет, да и старший шафер — не родственник.

Первое я: Но он же меня сам женил!

Второе я: А может, он и женил-то тебя ради самого себя.

Первое я: Но почему моя жена могла пойти на это?

Второе я: Потому что ты уже в возрасте.

Первое я: Моя жена меня любит!

Второе я: Он моложе и красивее.

Первое я: Он порядочный человек.

Второе я: Такое случается и с порядочными людьми!

Первое я: Нет, нет, я в это не верю.

Второе я: Блажен, кто не верит!

Вот так по ночам я спорю сам с собой, а как встану, взгляну на Райко — ну вылитый старший шафер! И чем дальше, тем все больше похож на него и все меньше — на меня. Уже и старший шафер заметил, и жена заметила, что мне нехорошо, что я в дурном настроении, спрашивают они меня, что со мной, а я боюсь сказать им.

А Райко уже попрос, уже ходит, уже бегаёт. Жена моя однажды взяла мои старые брюки и выкроила из них для мальчика длинные брючки, какие мужчины носят. Надел их Райко и бежит ко мне похвастаться, я глянул, передо мной — маленький мужчина, маленький старший шафер. Остается ему только взять свечи, стать позади и повенчать меня. Тут уж я не выдержал, пошел к жене и все ей выложил: так, мол, и так, ребенок вылитый старший шафер.

— Да! Я тоже это заметила, — говорит жена, — и все ждала, не заведешь ли ты сам разговора об этом.

— Ну вот, завел! — говорю.

— Не ты, так я бы завела разговор! — говорит она мне.

— Ладно, и как же ты это объясняешь? — спрашиваю ее я.

Моя жена тяжело вздохнула, из чего я заключил, что ее что-то мучит.

— Сказала бы, да жаль мне тебя.

Я пришел в замешательство. Выходит, мое второе «я» право, моя жена почти призналась и жалеет меня. И хотя я человек хладнокровный, во мне что-то воспламенилось, и в руке моей заплясала та самая иголка, которой я укальываю детей.

— Говори, я хочу знать! — крикнул я строго, так строго, как кричу во время таможенного осмотра: «Открывайте чемоданы, осмотр!»

Моя жена, нисколько не смутившись, ответила совершенно откровенно:

— Я давно хотела сказать, но щадила тебя, знала, что это причинит тебе боль. Но так как твое подозрение причиняет боль мне, то пусть будет больно тебе, а не мне. Вот как я объясняю сходство ребенка со старшим шафером.

И тут жена открыла мне тайну, которая мучит меня и по сей день.

— Мне кажется, — сказала она, — объяснение может быть только одно — бабка во время крещения перепутала детей.

— Как? — изумился я.

— Мне кажется, — повторила жена, — что она перепутала детей и нам дала сына старшего шафера, а ему — нашего.

У меня волосы встали на голове.

— Значит, это наш сын умер?

— Да!

— И Райко — не мой сын?

— Я готова поклясться, — говорит жена, — что это не твой сын.

Я точно обезумел, не знал, что думать, что сказать. Было ясно как день, что жена права, но это значило, что мой сын, которого я любил больше жизни, не был моим сыном и...

— Ладно, — в ужасе говорю я жене, — но это значит, что как только старший шафер догадается об этом, он потребует ребенка обратно?

— И предъявит счет за похороны того, другого ребенка.

— Это пустяки, вот...

Я был не в состоянии о чем-либо думать. Я словно язык проглотил и молчал долго-долго. Наконец я поднял голову и спросил жену:

— Как ты думаешь, что нам делать?

— Я думаю, ничего, — отвечает жена. — Делай вид, что это твой ребенок, и ничем не выдавай старшему шаферу своих подозрений. Будь с ним любезен по-прежнему, даже любезнее, чем прежде, а мы с тобой будем хранить все в тайне, в глубокой тайне!

Так я и поступил, послушался жениного совета. Снова стал веселым, был еще приветливее со старшим шафером, чем прежде, старался ничем не вызвать подозрений. Только изредка, когда он приходил ко мне, сажал ребенка на колени и начинал ласкать, я говорил про себя:

— Господи, он, наверно, и не знает, что ласкает собственного сына.

Таможенник умолк, закончив рассказ о своей семейной тайне. Эльза, внимательно его слушавшая, едва сдерживала смех.

— И впрямь удивительная тайна! — сказала она, сделав серьезный вид.

Слушая рассказ, Эльза и не заметила, как приехали в Белград, и только когда по обе стороны дороги, спускающейся с Торлака, показались дома, она поняла, что путешествие окончилось.

Еще немного, и экипаж поднялся на возвышенность, на которой раскинулась столица.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Урок музыки, в котором принимает участие и Неделько, хотя в предыдущих главах утверждалось, что он совершенно не музыкален

Господин Сима Неделькович знал с точностью, что писарь может рассчитывать на приданое в шесть тысяч динаров, секретарь — в двенадцать, начальник отделения — в двадцать, а заместитель министра — на все пятьдесят тысяч. (Эта последняя сумма привлекала его и сама по себе, и тем положением, которое ее обеспечивало.) Однако сперва ему было невдомек, что при шести тысячах динаров получают только жену; при двенадцати тысячах динаров получают жену и свояченицу, которая «без сестры жить не может», а зять «настолько добр», что выводит свояченицу в общество; при двадцати тысячах получают жену и

тоже свояченицу, которая «без сестры жить не может», а зять «настолько добр», что не только выводит ее в общество, но и заботится о ее воспитании; если же приданое больше двадцати тысяч, то, кроме жены и свояченицы, вместе с ним получают еще и тещу, которая «жить не может без детей» и к которой зять «так внимателен и добр», что «буквально на руках ее носит».

Итак, он женился на приданом, а при нем получил, кроме жены, еще и свояченицу, которую надо было не только выводить в общество, но и заботиться о ее воспитании, а это значило в первую очередь, что надо купить пианино и найти учителя музыки, подписаться на журнал мод и абонироваться в театре на ложу № 8 или 9, лишь бы «посередине».

Господин Сима Неделькович выполнил все эти условия. Он купил пианино, абонировался на ложу № 9 и подписался на журнал мод, нашел, наконец, учителя музыки, который имел не только музыкальное образование, но и музыкальную внешность. Его ноги были похожи на четвертые доли ноты; крупная голова, несколько приплюснутая, напоминала полную ноту, а корпус из-за странных поз, которые принимал учитель, имел сходство со скрипичным ключом. К тому же он был лохмат, и со стороны казалось, прости меня господи, будто у него из головы торчат шестнадцатые доли ноты. Но, кроме всех прочих качеств (не говоря уже о том, что у него была репутация прекрасного учителя музыки), он был еще и влюбчив, как кошка.

После третьего же урока он влюблялся в свою ученицу, и эта любовь кончалась либо тем, что его выгоняли, либо тем, что ученица ничему не выучивалась.

В качестве средства борьбы с этим обыкновением учителя родители придумали дежурства. Один урок дежурила мама, другой — папа, и во время этих дежурств учителю, скромному, как девица, и в голову не приходило объясняться в любви.

Господин Сима Неделькович, женившись, получив приданое и взяв на себя заботу о воспитании свояченицы, принужден был дежурить тоже.

К своему дежурству он относился добросовестно и даже следил за тем, как учитель работает с педалью,

это представлялось ему самым подозрительным. Однажды в очередное свое дежурство он сидел на диване, поодаль от пианино, чтобы было удобнее наблюдать за педалью, а свояченица с учителем сидели за пианино и с пламенным вдохновением разыгрывали гаммы.

Господин Сима Неделькович делал вид, что читает газету, а на самом деле поверх газеты наблюдал то за лицом учителя, то за его ногой, нажимавшей на педаль. Но вдруг его уши уловили какую-то странную ноту, которая не могла иметь никакого отношения к разыгрывавшейся гамме, да и вообще на такую ноту пианино было не способно. Прислушавшись, он отчетливо различил звук, похожий на тот, что издают кошки в феврале месяце. Доносился он из-под двери, выходившей во двор. На какой-то миг он забыл о своей добросовестности и, рискуя тем, что учитель музыки объяснится в любви его свояченице, вышел посмотреть, что там.

Господин Сима вернулся нескоро, и учитель музыки, сообразив, что он остался наедине с ученицей, сбился, а шестнадцатые доли, заменявшие ему волосы, взлохматились еще больше. Он покрылся потом, бурно пробежал пальцами по клавишам и начал фистулой объясняться в любви.

— Господин учитель! — сказала свояченица смущенно. На ее месте смутилась бы любая свояченица, которой стали бы объясняться в любви вот так, внезапно.

Учитель музыки продолжал стучать по клавишам и говорить о любви. Он привык объясняться в любви под музыку, чтобы родители в другой комнате думали, что урок идет своим ходом.

— Господин учитель! — повторила свояченица смущенно. Когда девушке объясняются в любви, ей и положено хотя бы два раза приходиться в смущение.

Учитель уже добрался до высоких нот как в объяснении, так и на клавиатуре, когда неожиданно открылась дверь и на пороге показался господин Сима Неделькович белый как мел.

Учитель музыки соскочил с винтового табурета, будто его пружиной подбросило, и стал перед господином Симой, тоже белый как мел. Оба смущенные,

оба белые как мел, они долго стояли и смотрели друг на друга. Наконец господин Сима разлепил свои побелевшие губы и сказал:

— Будьте любезны, сударь, пройти в мою комнату.

Учитель понял, что в этом доме он отыгрался, и, как ручной голубь, последовал за господином Недельковичем. Когда они оказались в вышеупомянутой комнате, господин Сима тщательно запер дверь, а учителя музыки пронизала тоска, и был он в тот миг сам похож на клавиатуру, на которой через мгновение господин Сима вроде бы готовился исполнить самую фантастическую из мелодий.

Господин Сима приступил к делу, но странным голосом, примерно такой же фистулой, какой учитель музыки только что объяснялся в любви.

— Сударь, у меня к вам будет весьма доверительный разговор...

— Знаю,— ответил учитель с тремоло в голосе,— но... я это сделал... из уважения... Я попросил бы вас не понимать меня превратно.

Господин Сима, по-прежнему белый как мел, продолжал:

— Вы можете оказать мне большую услугу. Скажите мне откровенно, у вас хороший почерк?

Учитель музыки не понял вопроса, и господину Симе пришлось его повторить.

— Вообще-то хороший, совершенно мужской почерк,— ответил бедняга учитель,— но сейчас у меня дрожат руки, и почерк будет женский, совершенно женский.

— Вот и прекрасно!— воскликнул господин Сима.— Садитесь здесь, вот тут, и напишите, пожалуйста, то, что я вам продиктую.

Учитель только теперь уразумел, чего хочет господин Сима. Он желает получить от него письменное признание, а потом избить.

Учитель попытался вывернуться.

— В таком состоянии, сударь, я не смогу написать... Вы понимаете... такое состояние...

— Напишите, пожалуйста, то, что я вам продиктую,— настаивал господин Сима, и бедняга учитель взял перо.

— Возьмите другое перо, это царапает.

— Какая разница,— ответил учитель и макнул перо в чернильницу.

— Пишите: «Я бедная женщина и по своей бедности не могу прокормить ребенка, а потому оставляю его здесь, в надежде, что добрые люди подберут и воспитают его».

— И это все? — спросил удивленный учитель.

— Да, это все! — ответил господин Сима. — Дайте посмотреть, как вы написали.

У учителя камень свалился с сердца, он тотчас порозовел, глаза весело заблестели.

— Откровенно говоря, это не все. Я бы хотел попросить вас еще об одном одолжении, но, разумеется, если вы мне дадите честное слово молчать.

Едва господин Сима произнес последнюю фразу, как из книжного шкафа донесся писк. Учитель смутился, а господин Сима осторожно открыл шкаф, где на книгах беззаботно нежился Неделько.

— Фу! — произнес учитель, заметив, что Неделько не отнесся с должным почтением к книгам, на которые его положили.

Господин Сима выругался, обнаружив, что книги испорчены, но когда оказалось, что испорчен лишь первый том собрания сочинений Стевана Й. Ефтича, с портретом автора, утешился. Он достал Неделько из шкафа и открыл учителю музыки свою тайну.

— Это, сударь, мой ребенок!

— Ваш?

— Да... понимаете, юношеские похождения.

— Юношеские? Но ведь этому младенцу нет и двух месяцев?

— Да, два месяца и девять до рождения, всего одиннадцать месяцев... Одиннадцать месяцев назад я, видите ли, был моложе... то есть, не женат. Другими словами: это мой ребенок. Вы, наверно, и сами видите, что он похож на меня.

Учитель пригляделся и нашел, что ребенок необычайно похож на господина Недельковича.

— Когда я решил жениться, мне пришлось оставить ту, которая родила этого ребенка.

— Разумеется,— сказал учитель, который теперь отдыхал душою.

— Но она хочет мне отомстить, разрушить мою семейную жизнь. И вот что она сделала. Давеча,

когда я ушел с урока, я увидел перед дверьми ребенка и письмо, адресованное моей жене. Несчастливая знала, что в это время я не бываю дома, и подстроила так, чтобы ребенка нашла моя жена. Однако, к счастью, сегодня была как раз моя очередь дежурить, и я остался дома...

— К счастью! — согласился учитель.

— Послушайте, что она пишет моей жене: «Уважаемая сударыня, ваш муж погубил мою жизнь и зашел так далеко, что даже имеет от меня ребенка...»

— Для этого не обязательно заходить слишком далеко! — уже весело заметил учитель.

— Пожалуйста, послушайте только: «Я писала ему и умоляла прислать мне денег на содержание ребенка, но он и слышать не хочет. Это последний негодяй».

— Невероятно! — сказал удивленный учитель.

— Да, сударь, так она и написала. Смотрите сами, но, впрочем, слушайте дальше: «Это последний негодяй, а не отец, раз он не хочет позаботиться о своем ребенке. Я бедная девушка...»

— Какая же она девушка, раз у нее ребенок? — вставил учитель, теперь уже немного злорадно.

— Нет, тут она права, замужем она не была, — возразил господин начальник и продолжал читать: — «Я бедная девушка, и мне не на что содержать его детей; потому я и посылаю его вам, сударыня, воспитывайте его, так как у вас все равно не будет детей...»

— Это оскорбление! — уже совсем злорадно сказал учитель.

— Я прощаю ей это оскорбление, — тихо молвил господин начальник, — она писала в раздражении. Но к вам у меня есть просьба, — продолжал господин Сима уже другим тоном. — Я доверил вам самую свою большую тайну и надеюсь на вашу скромность.

— Пожалуйста, если у вас в шкафу есть еще дети, можете спокойно сообщить мне об этом, — тотчас ответил учитель музыки, думая о свояченице, которой он отныне мог спокойно объясняться в любви в часы дежурства господина Симы.

— Но этим я не исчерпал своего доверия к вам. Вы должны оказать мне еще одну услугу.

— Охотно, очень охотно! — горячо отозвался учитель музыки.

— Записку, которую вы написали, мы сунем в пеленки, а это письмо порвем!

— Прекрасно!

— Затем вы возьмете ребенка и вынесете его отсюда.

— Я?

— Пожалуйста, выслушайте меня до конца. Вынесете и положите, например, перед дверями моего дома.

— Не дальше?

— Боже сохрани, перед дверями, с улицы. Можете это сделать?

— А как я пронесу ребенка? Как спрячу? Пиджачок на мне тесный...

— Возьмите мой старый сюртук, вам он будет широковат, но тем лучше, спрячете под ним ребенка, когда будете проходить через двор. Это чтобы слуги не увидели. А как только выйдете на улицу, тут же положите. Видите ли, я не хочу бросать ребенка, я позабочусь о нем, но было бы удобнее, если бы его нашли таким образом. И лучше было бы, чтобы его нашел не я, а кто-нибудь другой. Лучше кто-нибудь другой!

Так все и устроили. Учитель музыки, ставший доверенным лицом господина начальника, надел его сюртук, под которым уместился бы не один ребенок, взял Неделько осторожно, чтобы не испачкаться, и спустился вниз, а господин начальник облегченно вздохнул.

· ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ,

в которой Неделько сперва играет роль музыкального инструмента, или, попросту говоря, гармоники, а потом своими интригами разбивает одну за другой две любви

В этой главе по замыслу автора, а также по договоренности с господином Недельковичем, изложенной в предыдущей главе, учителю музыки надо было только оставить Неделько перед дверью и идти своей дорогой. И если бы он это сделал, то место двадцать седьмой главы заняла бы двадцать восьмая, а этой

главы вовсе не существовало бы, тем более что ее вообще не было в плане романа.

Но писатель предполагает, а случай располагает. И если бы это был обыкновенный случай, автор мог бы его как-нибудь избежать, чтобы хоть на немного сократить мучения и беды общинного дитяти, так как бедняга уже и так побывал во многих руках.

А случай был вот какой. Собравшись с духом, учитель музыки вышел из калитки и, в согласии с планом, который он сам придумал, проходя по двору, должен был посмотреть сперва направо — нет ли кого на улице; потом с той же целью — налево. И если бы все шло по плану, он просто положил бы Неделько, а сам дунул бы направо или налево, поскольку это не меняло положения вещей. Однако получилось все не так, потому что, посмотрев налево, он увидел в десяти шагах от себя госпожу Софию Янкович, тетушку Анны Субботич, с которой (с племянницей то есть) он занимался три месяца и за это время два с половиной раза объяснился ей в любви, а она при этом краснела, путала гамму и вообще смущалась так, что боялась поднять глаза. Смущение ее он не мог принять за определенный ответ и поэтому собрался повторить свое объяснение в третий раз. Как только они остались одни, он пробежал пальцами по клавишам и сказал:

— Сударыня, мои чувства уже известны вам и...

В тот самый миг, когда он был как раз на середине своего объяснения, в комнату вошла тетушка Анны, госпожа София Янкович, которая после смерти мужа считалась вдовой, что не мешало ей искать утех. Среди прочих утех была и музыка, которую она охотно слушала, что привило ей особый вкус к музыкантам. Вот этот самый вкус чувствовала она и к нашему учителю музыки, из-за чего в душе ее родилась ревность к племяннице. Если учесть, что племянницы всегда ценятся больше теток, что девушка всегда привлекательнее вдовы и, наконец, что молодые всегда предпочтительнее старых, то госпожу Софию нельзя упрекнуть в том, что ее ревность не имела оснований, как нельзя упрекнуть и за обыкновенные стоять во время урока под дверью и подслушивать. Из-за этого своего обыкновения она и услышала вышеизложенное объяснение в любви и прервала

его на середине. Тетушка, естественно, сразу же помчалась к своей сестре, матери племянницы, и заявила, что терпеть такое нельзя.

Этого и в самом деле не потерпели. Учителю музыки отказали, что развило у госпожи Софии еще больший вкус к музыке.

Госпожа София воскликнула первая:

— Вы, вы? Какая неожиданность!

И она грациозно протянула руку.

Учитель музыки, с чужим сюртуком на плечах и Неделько под сюртуком, нисколько, разумеется, не был обрадован этой встречей и не мог грациозно ответить тем же. В ту минуту он почувствовал, как что-то сильно забилось с левой стороны, но не понял, его ли это сердце или Неделькино. В полной растерянности, учитель был не в состоянии произнести ни слова, а не то чтобы поздороваться с госпожой Софией, и размышлял лишь, под каким предлогом бежать от нее. Но, прежде чем он успел придумать предлог, госпожа София сказала:

— Я так рада, что мы встретились! Подумать только, я не видела вас уже два месяца, а мне надо сказать вам очень многое!

— Мне? — произнес учитель музыки.

— Да, многое, причем важное и по секрету, — кокетливо добавила она.

— Это мне льстит, но именно сейчас...

— Что именно сейчас? — перебила она его.

— У меня очень важное... совершенно неотложное дело!

— У вас? Да что вы, какая ерунда! Что же это за дело?

— Личное... — вывертывался учитель. — То есть не столько личное, сколько государственное дело... то есть, это как посмотреть...

— Нет! Оставьте это дело...

— Невозможно! — процедил сквозь зубы учитель.

— Но, — сказала госпожа София и, кокетливо улыбнувшись, склонилась к нему, — ради любви ко мне...

— Любви к вам? Ладно, что же вам угодно?

— Не стойте же здесь, пойдемте и Ломиной улицей выйдем к парку у министерства финансов. Вы

проводите меня, там такая приятная прохлада, людей нет, и мы сможем спокойно поговорить.

Учитель музыки тяжело вздохнул, отер капли пота со лба и пошел, бросив взгляд на окна дома господина Симы Недельковича, который делал отчаянные гримасы.

По дороге его развлекали весьма любезным разговором, из которого бедный учитель улавливал лишь отдельные слова, потому что у него отекала рука. Она совсем одеревенела, и, чувствуя, что Неделько постепенно сползает вниз, учитель обмер от страха.

Представьте себе, каково было ему, когда госпожа София сказала между прочим:

— Этот сюртук плохо сидит на вас.

— Знаю.

— Вы что-то несете?

— Да.

— Почему бы вам не взять носильщика?

— Носильщика?.. Нет, невозможно... этого я не могу доверить никому.

— А что это?

— О чем вы говорите? — сказал испуганно учитель, и на лбу у него выступил холодный пот.

— О том, что вы несете под сюртуком.

— То, что я несу... это... как вам сказать... это музыкальный инструмент.

— Инструмент?

— Да! — решительно сказал учитель, выдумка показалась ему удачной.

— Вы купили его сейчас?

— Да, сейчас.

— И, наверно, идете репетировать?

— Да, иду репетировать... но видите, какая жара? — тотчас добавил учитель, стараясь переменить тему разговора.

Тем временем они пришли в парк и сели на скамью. Учитель мог теперь отдохнуть и размять отекающую руку. И вдруг Неделько, до сих пор на удивление молчаливый, заблеял под сюртуком. Госпожа София вздрогнула, а у несчастного учителя забегали глаза, и он смутился, как мальчишка, которого поймали за нехорошим делом.

— Так это гармоника?

— Да, гармоника,— ответил учитель, потрясенный до глубины души. Предчувствуя, что Неделько на этом не остановится, он решил тотчас бежать, как вор от жандарма, как должник от кредитора. Это было дерзкое, отважное решение, но он еще не знал, как его осуществить.

И вот, точно на середине очень длинной фразы, которой госпожа София начала свое объяснение в любви, он собрался с силами, напряг всю свою волю и, соскочив со скамейки, побежал без оглядки к выходу из парка, к Вознесенской церкви, мимо Высших женских курсов и там только сбавил шаг. Однако, пока он бежал, за ним увязался какой-то господин, кричавший:

— Остановитесь! Остановитесь!

Бедняга учитель, подумавший было, что имеет дело с ревнивым вдовцом пенсионером, каких всегда много сидит в парке у министерства финансов, припустил снова. Но потом он узнал в быстро приближавшемся преследователе портного Йоцу, человека, который весьма скверно кроил костюмы, но имел исключительно красиво скроенную свояченицу (они с учителем объяснились друг другу в любви, и он обещал на ней жениться). Учитель остановился и подождал своего будущего свояка.

— Постойте, вы потеряли записку!

— Записку? — испуганно переспросил учитель музыки.

— Да,— сказал портной.— Вот эту.

— Дайте ее мне, дорогой господин Йоца.

— Что? Дать ее вам? Разумеется, я дам, но прежде я попросил бы вас объясниться, господин будущий зять!

Слова «господин будущий зять» портной произнес решительно, будто отхватил их ножницами. Впрочем, у портного было полное право проявлять решительность. Учитель музыки обещал жениться на его свояченице еще семь месяцев назад; в связи с этим он проводил с ней время весьма приятно и весьма часто приходил к портному ужинать. Портной, разумеется, уже несколько раз требовал от учителя ответить, когда же будет свадьба, но тот увертывался от ответа. Портной решил воспользоваться случаем — подобранная им записка была той самой, которую сунули в

пеленки и которая гласила: «Я бедная женщина и по своей бедности не могу прокормить этого ребенка, а потому оставляю его здесь, в надежде, что добрые люди подберут и воспитают его».

Представьте себе, каково было учителю, когда он увидел в руке портного злополучную записку, начертанную его собственной рукой.

— Итак, что это такое? — спросил портной таким тоном, словно говорил с должником, не заплатившим за зимнее пальто, сшитое в позапрошлую зиму.

— Записочка, — постарался ответить спокойно учитель музыки.

— Написанная вами?

— Нет.

— Как же нет, когда вы тем же почерком пишете любовные письма моей свояченице?

— Ну и ладно, — сказал учитель музыки, не ведая, что говорит.

— А чей это ребенок упоминается в записке и что это за бедная женщина?

— Не знаю.

— Зато знаю я! — воскликнул портной. — Теперь мне ясно, почему вы уклоняетесь от женитьбы на моей свояченице. Забирайте свою записку, и прошу вас никогда больше не переступать порога моего дома. Считайте, что все кончено!

С этими словами портной протянул записку и удалился широкими шагами, словно генерал, объявивший благодарность своим войскам.

Напрасно учитель музыки чистым лирическим тенором дважды прокричал ему вслед: «Господин Йоца, господин Йоца!» Портной даже не оглянулся, продолжая вышагивать гордо и победоносно.

Учитель музыки вздохнул и прижал локтем Неделько, который своими интригами за какие-нибудь полчаса разбил уже вторую любовь. По Балканской улице он вернулся к дому господина Симы Недельковича и, не обращая внимания на идущих по улице кухарок, положил ребенка перед воротами, а сам удалился, не оглядываясь.

Так с трудом осуществился замысел, которым автор романа и господин Сима Неделькович поделились с учителем музыки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ,

в которой господин Сима Неделькович едва не становится коллекционером, а госпожа Босилька, его жена, вместо детей рождает идеи. Тем временем Неделько с порога дома ступает на порог счастья, но не становится счастливым хотя бы потому, что на этом роман закончился бы, а у автора, между прочим, есть материал еще на несколько глав

Казалось, Неделько был посвящен в намерения господина Недельковича и сделал со своей стороны все, чтобы помочь их осуществлению. Оставленный учителем музыки перед воротами, он, молчавший целый час, заревел так, что его было слышно даже на верхнем этаже.

Господин Сима Неделькович впал в отчаяние, когда увидел, что учитель музыки с ребенком под сюртуком вынужден был присоединиться к какой-то женщине, и теперь он озабоченно думал и строил различные предположения, подобно начальнику порта, у которого бурей унесло корабль в открытое море. Но вдруг забот как не бывало — он услышал, как у ворот дома раздался уже знакомый его слуху рев.

Это произошло в ту минуту, когда они со своей молодой женой, госпожой Босилькой, пили чай. Он уронил ложечку, сделал невинное лицо и повернулся к жене.

— Не кажется ли тебе, Босилька, что откуда-то доносится детский плач?

Госпожа Босилька прислушалась, поставила чашку с чаем, подбежала к окну, посмотрела налево, направо и всплеснула руками.

— Боже мой!

— Что там? — вскакивая, спросил господин Сима, по-прежнему прикидываясь невинным, как горлица.

— Иди, иди сюда, посмотри. Подойди к окну, погляди: что это лежит перед нашими дверями?

Господин Сима подошел к окну и изобразил искреннее удивление.

— Какой-то сверток?

— Какой сверток, разве ты не видишь, что он дергает ручками и плачет?

— Вот тебе на! — по-прежнему удивленно сказал господин Сима. — Откуда взялся ребенок перед нашими дверями?

Госпожа Босилька позвонила, а господин Сима приказал слуге выйти на улицу и принести то, что лежит перед дверями. Вскоре слуга принес Неделько, который, оказавшись в комнате, так мило улыбнулся господину Симе, что тот струхнул, как бы Неделько не узнал его и как бы госпожа Босилька не заметила, что они с Неделько обменялись взглядами.

— Посмотри, какой хорошенький и какой большой! — воскликнула госпожа Босилька.

При этих словах господин Сима снова оцепенел от страха — ему пришло в голову, что госпожа Босилька может увидеть, как они с сыном похожи друг на друга.

К счастью, госпожа Босилька, внимательно рассматривавшая ребенка, на это внимания не обратила. Поняв, что опасность миновала, господин Сима быстро запустил руку в пеленки и нашел там записку, которую тут же прочел вслух своей женошке. При чтении записки у него выступили на глазах слезы, и, вытирая их, он сказал извиняющимся голосом:

— Ты не можешь представить себе, как в таких случаях у меня болит сердце. Когда я вижу брошенного ребенка, я просто не могу сдержать слез.

— Я тебе верю, — ласково ответила жена.

— Знаешь что, дорогая, — продолжал господин Сима, словно это только что пришло ему в голову, — как было бы хорошо, если бы мы, оба такие добросердечные, усыновили ребенка? Своих детей у нас нет...

— Придет ночь, так скажем, каков был день.

— Это правда, на свете всякие чудеса бывают, почему бы и мне не иметь ребенка? В бога я камня не бросал, но... — Господин Сима после этого «но» немного смешался, поскольку не знал, как ему закончить так удачно начатую фразу. — Но... при существующем положении вещей ребенка у нас нет.

— Ах, как порой господь бывает немилостив! — сказала со вздохом госпожа Босилька.

— И жесток! — с горечью добавил господин Сима, словно желая сказать, что имеет все основания жаловаться на бога.

— Да! — согласилась госпожа Босилька тоном, в котором чувствовалось, что его беда касается и ее.

— Значит,— продолжал господин Сима,— при существующем положении вещей или, другими словами, учитывая фактическую сторону дела, в данное время детей у нас нет.

— Нет! — решительно подтвердила госпожа Босилька эту простую истину.

— А что, если нам усыновить и вырастить ребенка, которого сам бог положил к нашим дверям?

Госпожа Босилька серьезно задумалась, а потом спросила своего супруга:

— Скажи мне сперва, ты уверен, что у нас не будет детей?

Но вопрос этот она задала таким тоном, каким, скажем, отчаявшийся кредитор спрашивает своего должника: «Неужто вы в самом деле не собираетесь заплатить долг?!»

Господин Сима посмотрел на Неделько, как смотрят на оплаченный вексель, пожал плечами и снова сослался на существующее положение вещей, на бога и его перст.

Поскольку госпоже Босильке от божьего перста толку было немного, она поняла, что решать придется ей самой.

— Хорошо, Сима,— сказала она,— но подумаем об этом серьезно и трезво. Этого ребенка надо выкормить, вырастить, воспитать...

— Конечно! — согласился господин Сима.

— А к чему мучиться, если можно взять ребенка, который уже выкормлен, выращен, воспитан...

— Как это?

— А так. Почему бы тебе, например, не удочерить мою младшую сестру? Ей уже восемнадцать лет, она выкормлена, выращена и воспитана.

Господина Симу это предложение привело в ужас. У него в доме уже была свояченица, та самая, которую он получил вместе с приданым, а теперь, по настоянию жены, надо было взять и другую свояченицу, да еще удочерить ее. Набить дом свояченицами означало бы не что иное, как открыть пансион, в котором бы свояченицы кормились за его счет.

Ему стало поистине страшно. Он уже видел себя в роли директора пансиона; видел в каждой комнате по пианино, а у каждого пианино — по учителю музыки; видел толпу портних, свах и разносчиков пи-

сем; видел столы, диваны, оттоманки, заваленные ногами и журналами мод; видел стены, сплошь залепленные открытками, видел повсюду фотографии, искусственные цветы, веера, альбомы с надписями «Поэзия»; видел свой стол, заваленный счетами от разных модисток, фотографов и кондитеров; и, наконец, как бы в перспективе, он видел в этой свалке всякой всячины свою тещу, которая торчит в доме каждый день под предлогом присмотра за дочерьми и упрекает зятя за то, что он мало выводит их в общество или хотя бы не собирает это общество в своем доме, чтобы девушки были на людях.

Вся эта картина, мелькнувшая перед глазами и заледенившая душу, словно студеным ветром, бросила господина Симу Недельковича в дрожь, и через мгновение решение было принято. Он скорее бы решился ходить днями и ночами по улицам, собирать всех подкидышей и сносить их в свой дом, чем устраивать из своего дома пансион своячениц.

Другие счастливицы собирают коллекции видовых открыток, монет и прочих мелких вещей, а ему предстояло коллекционировать либо подкидышей, либо своячениц. Он предпочел бы скорее первую, чем вторую коллекцию. Но в тот миг, когда он открыл было рот, чтобы объявить свое решение, в голову ему пришла мрачная мысль. Эта мысль ужалила его в самое сердце, а на лице появилось то самое глупое выражение, какое бывает у человека, только что вспомнившего, что вчера истек последний срок уплаты по векселю.

И вот что пришло ему в голову. Если он оставит подкидыша в своем доме, как он по своему мягкосердечию предложил жене, успокоится ли на этом Эльза? Раз у нее ничего не вышло ни с подкидыванием ребенка, ни с письмом, адресованным его жене, не появится ли она в один прекрасный день в доме и не скажет ли его жене: «Сударыня, ваш муж усыновил ребенка не по доброте сердечной, а потому, что он его отец!» Но если даже Эльза не горит мстью, разве она не мать, разве она не такая же родительница ребенка, как и он? А если материнское сердце не выдержит и она пожелает увидеть и обнять свое дитя? И господину Симе уже представлялось, как в недалеком будущем гуляют они с Босилькой в парке у Ка-

лемегдана, а перед ними молодая нянька-словачка везет коляску, в которой агучает приемыш, одетый в белый креп, укрытый шелковым одеяльцем; в руках у него погремушка из панамской соломки, а во рту — резиновый паяц с уже отгрызенной головой. А тем временем навстречу идет по дорожке Эльза с пожарным или музыкантом из седьмого пехотного полка, и в ту самую минуту сердце матери не выдерживает, она вскрикивает, обливаясь слезами, выхватывает ребенка из коляски, прижимает к вышеупомянутому материнскому сердцу и сквозь слезы говорит:

— Ах, господин Сима, спасибо вам! Только теперь я вижу, что вы благородный человек и настоящий отец моему ребенку!

Все это господин Сима увидел и услышал за минуту... нет, за секунду. Ему представилось даже, как его жена, госпожа Босилька, падает в обморок, как свояченица зовет на помощь, как теща прямо в парке лупит зятя зонтиком по голове и, наконец, как пожарный или, быть может, музыкант из седьмого пехотного полка бьет Эльзу кулаком по спине и восклицает: «Теперь я узнал твое грязное прошлое и проклинаю тебя за измену!» (Музыканты из седьмого пехотного полка и пожарные всегда говорят стихами, когда дело касается любви.)

И, услышав, увидев, представив все это, бедный господин Сима так перепугался, что его даже зазнобило. Он устало поник головою, и наступило продолжительное молчание, которое наконец нарушила госпожа Босилька:

— Ты думаешь о моем предложении?

— Да... думаю,— ответил господин Сима и провел рукой по лбу, как бы желая отогнать страшные мысли, гнездившиеся в голове.

— И что же ты придумал?

— Ничего... Зачем нам приемыш, когда нам и без него хорошо. Ну, а раз этот ребенок божьим промыслом оказался перед нашим домом, то мы, как христиане, позаботимся о том, чтобы он не остался на улице. Придумаем, как с ним быть и куда его девать, но в свой дом не возьмем. Как ты полагаешь, Босилька, это разумно?

— А мою сестру?

— Но... мы же в принципе решили не брать приемыша?

— Это ты решил, а я не вижу причины, почему бы тебе не взять мою сестру к себе.

— Причины есть, и очень веские! — упорно защищался господин Сима. — Во-первых, твоей сестры мы не находили. Если бы мы нашли свояченицу на улице, спеленатую, скажем, и с запиской, тогда другое дело. И во-вторых...

Тут господин Сима запнулся, потому что и первая причина была не из удачных, а второй он и вовсе придумать не мог.

Госпожа Босилька сердито отвернулась и выглянула в окно. Он же наклонился над Неделько и дал ему подергать себя за усы, испытывая в душе чувство большой родительской радости, которое ощущает всякий отец, когда ребенок дергает его за усы. Неделько эта невинная детская забава была внове, он взялся за дело с таким варварским пылом, что у господина Симы показались слезы на глазах, не говоря уже о том, что он страшно рассердился, когда заметил, что Неделько вырывает из усов только черные волосы, а седые бережно оставляет, будто хочет как можно сильнее напакастить бедному супругу, который надеялся, что вмешательство божьего перста поможет его жене родить.

Таким образом у господина Симы быстро пропало желание наслаждаться отцовскими радостями, и он обернулся к госпоже Босильке с вопросом:

— А что, по-твоему, нам делать с этим ребенком?

— Почему мне знать! — угрюмо ответила госпожа Босилька.

— Но что-то же надо сделать, мы не можем поступить, как нехристи.

— Ну... — сказала она, — наверно, в Белграде есть какое-нибудь общество призрения подкидышей?

— Общество призрения подкидышей? Нет, такого общества нет, но... погоди, ведь это же прекрасная идея! Да знаешь ли ты, Босилька, какая это прекрасная идея?

— Что за идея?

— Твоя идея, идея создать общество призрения подкидышей.

И, захваченный идеей, господин Сима расплылся в довольной улыбке.

— Откуда ты взял, что это моя идея? — равнодушно спросила госпожа Босилька.

— Идеи только так и рождаются — совершенно случайно, в разговоре, между прочим. И я даю тебе слово, что буду добиваться осуществления этой идеи, и, если мне это удастся, я буду всегда подчеркивать, что она твоя.

Подогреваемый идеей и теми интимными причинами, из-за которых он вцепился в нее обеими руками, господин Неделькович зашагал по комнате, представляя себе идею уже осуществленной, а Неделько питомцем номер один общества призрения подкидышей...

— Вполне осуществимая идея! — убеждал господин Сима жену, но больше самого себя. — У нас есть общество призрения брошенных детей, но это другое, это для больших детей, там их учат ремеслам. Потом у нас есть общество призрения престарелых, и это хорошо, очень хорошо. А почему бы не иметь и общества призрения подкидышей, если у нас уже повелось то и дело находить детей на улицах?

Он задумчиво помолчал и сказал уже совсем решительно:

→ Немедленно же, в воскресенье, приглашу несколько видных горожан и предложу им учредить общество призрения подкидышей.

— А до воскресенья? — спросила госпожа Босилька.

— До воскресенья все обдумаю. Сегодня у нас еще вторник, так что времени достаточно.

— Понятно, — сказала госпожа Босилька, — но как быть с ребенком? Не думаешь же ты, что я буду сидеть с ним?

! — В самом деле! — воскликнул господин Сима, у которого этот вопрос сразу же превратился в новую проблему. — В самом деле, как же быть с ребенком?

Новая проблема так озадачила его, что он снова зашагал по комнате.

— Если бы нашлась какая-нибудь бедная женщина, которая согласилась бы временно подержать его у себя... — предложила госпожа Босилька.

Господин Сима посмотрел на свою жену с восторгом. С той поры он не переставал восхищаться своей женой, которая в браке с ним хоть и не рожала детей, но зато рожала идеи.

— Совершенно верно! Вот это счастливая идея! Я знаю одну бедную женщину, которая возьмет ребенка за небольшое вознаграждение. Иду, сейчас же иду и все устрою!

И господин Сима, не медля ни минуты, вышел из дому.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Третье крещение

Бедная женщина, к которой направился господин Сима, жила где-то в Палилуле, за старым еврейским кладбищем. Это было давнее знакомство господина Симы, завязавшееся еще до его знакомства с Эльзой. В ту пору господин Сима был еще младшим чиновником и страстно мечтал о чинах и богатой женитьбе. Тогда в Белграде пользовалась известностью некая госпожа Мара, умевшая гадать по руке. Любопытствуя, скоро ли он получит очередной чин и на какую женитьбу он может рассчитывать в будущем, господин Сима разузнал, где живет эта знаменитость, и однажды посетил ее. Госпожа Мара прочла на его ладони, что он «большой повеса» и что «женщин к нему тянет». Господин Сима тут же убедился в правильности гадания, потому что здесь же, у госпожи Мары, он познакомился с ее племянницей, которая, в меру пожеманившись, призналась, что ее «к нему тянет».

Господин Сима не ограничился первым посещением и, как только у него снова возникало желание, чтоб ему погадали по руке, отправлялся к госпоже Маре, где всякий раз заставлял новую племянницу.

С тех пор прошло довольно много времени, но господин Сима не порывал знакомства с госпожой Марой. Он не ходил к ней в дни знакомства с Эльзой, но помнил ее и часто передавал поклоны с друзьями, которые продолжали к ней ходить, а однажды, когда она обратилась к нему с просьбой, оказал ей даже небольшую услугу.

После многих лет разлуки господин Сима застал госпожу Мару в том же домишке, и она очень обрадовалась его приходу, думая, что он возвращается к ней, пресыщенный семейной жизнью. В комнатухе,

где все живо напоминало молодость, к господину Симе вернулось прекрасное настроение. И скатерть на столе, и тахта в углу, и картина на стене, и кровать, опрятно застланная кружевным покрывалом, и новая племянница, представившаяся ему, все, все напомнило ему прежние прекрасные деньки, лицо его засияло, а рот раскрылся, как у ребенка, видящего во сне гору пирожных.

Отдав дань воспоминаниям, он вернулся к современности и сообщил госпоже Маре, зачем пришел. Он уговаривал ее временно, самое большее месяца два, пока не образуется общество призрения подкидышей, присмотреть за бедным сироткой, а ей за это хорошо заплатят.

Госпожа Мара сперва отказывалась, говоря, что держать ребенка негде, что он будет ей мешать, и так далее, и тому подобное. Но своей настойчивостью господин Сима сломил сопротивление, и она согласилась сегодня же вечером взять ребенка.

— А большой он? — спросила госпожа Мара.

— Нет, но здоровый, — ответил господин Сима.

— Мальчик?

— Мальчик.

— Как его зовут?

Господин Сима смутился. Ему только сейчас пришло в голову, что этого обстоятельства он не учел. Как зовут ребенка, Эльза в своей записке не написала.

— Он, наверно, не крещен, — неуверенно пробормотал господин Сима.

— В таком случае, господин Сима, — сказала госпожа Мара, — ему нет места в моем доме. Сколько бы вы мне ни заплатили, некрещеное существо я держать не желаю. Окрестите, а потом приносите. Вот и все, что я могу для вас сделать.

— Ладно, мы крестим его, но на это же надо много времени.

— Какого времени! Отнесите его завтра к утрени и крестите. Не собираетесь же вы устраивать торжества по этому поводу!

— Это конечно, — сказал господин Сима, сообразив, что она права.

Госпожа Мара твердо отстаивала свои христианские взгляды, и господин Сима отправился домой по-

нуро. Перед ним встала новая проблема — крещение ребенка.

Дома он застал Неделько на канаве в комнате для музыкальных занятий, а вокруг него целое собрание. К великому удивлению господина Симы, женщины обсуждали то же самое.

— Послушай, Сима, мы не знаем, как зовут этого ребенка,— сказала ему госпожа Босилька.

— Как эта идея пришла тебе в голову? — удивился господин Сима, уверовавший в способность своей жены рожать идеи вместо детей.

Но господин Сима ошибся — на этот раз идею родила теща. Собственно, никакой идеи она не рожала, а просто задала вопрос: «Как зовут ребенка?»

— Ты не знаешь, зять, ребенок крещен? — спросила она.

— Крещен? Не знаю, в записке его имя не указано.

Хотя записку писал учитель музыки под диктовку господина Симы, все же господин Сима сказал правду, так как в письме, которое Эльза написала госпоже Босильке, об имени тоже ничего не говорилось. Эльза забыла спросить о такой незначительной подробности свою мать, мастерицу Юлиану. Впрочем, для Эльзы главным было не имя, а ребенок.

— Ребенку, наверно, месяцев шесть, видишь, какой он большой. Должно быть, крещеный,— предположила госпожа Босилька.

— Возможно, но уверенности в этом нет. В письме... то есть в записке его матери об имени ничего не сказано.

То обстоятельство, что в его доме зашел разговор о том же самом, о чем он думал по дороге, дало ему возможность без всякой особой подготовки приступить к решению проблемы.

— Бедная женщина, у которой я сейчас был,— сказал господин Сима,— оказалась такой порядочной и набожной, что наотрез отказалась взять в дом некрещеное существо. Она предложила крестить его завтра утром, а потом принести ей.

— А до завтра? — спросила госпожа Босилька.

— Что делать до завтра, не знаю,— опечалился господин Сима.

— Здесь ему спать нельзя,— упорствовала госпожа Босилька.— Раз бог не в состоянии дать мне собственного ребенка, я не хочу спать и с чужим.

Господин Сима почувствовал в словах госпожи Босильки упрек, уязвивший его, но, глядя на Неделько — это очевидное опровержение клеветы, он успокоился.

— Хорошо,— сказал господин Сима после длительного раздумья.— А что, если попросить учителя музыки взять ребенка на эту ночь к себе?

— Еще что! — защищая учителя музыки, возразила свояченица.— Во-первых, это может скомпрометировать молодого человека, а во-вторых, он по ночам сочиняет музыку, и вдруг ребенок заплачет в минуту творческого вдохновения. Нет, это не подходит ни в коем случае!

— Не знаю, как быть! — вновь опечалился господин Сима.

— Знаешь что, зять,— вмешалась теща,— помогу-ка я вам. Возьму на одну ночь ребенка к себе.

Господин Сима просиял. Впервые в жизни теща показалась ему женщиной возвышенной и благородной, и он в порыве благодарности поцеловал ей руку. Но при этом он испытывал злорадное чувство: какова ирония судьбы — подбросить теще в постель своего внебрачного ребенка! Лучшей мести нельзя и придумать, ведь все попреки госпожи Босильки по поводу того, что у них нет детей, имели один источник — подстрекательство ее матери.

Когда первый и главный вопрос был решен, пришел черед и второму вопросу: кто будет крестным отцом ребенка?

— Знаешь,— воскликнула госпожа Босилька, когда он поставил этот вопрос,— вот это ты мог бы взять на себя! Это был бы и красивый и христианский поступок.

— О чем ты?

— Крестным отцом ребенка надо, Сима, стать тебе!

— Мне? — удивился Сима и с глупым видом посмотрел на свою жену.

— Да, тебе!

Господин Сима едва не ошибся и не дал согласия, потому что в первую минуту он подумал, что

с его стороны это в самом деле будет красивый жест. Но в тот же миг он опаматовался и содрогнулся. Он станет крестным отцом своего родного сына, а Эльза, его бывшая любовница, будет отныне его кумой! Нет, нет, это невозможно! Да и грех к тому же. Вспомнился ему какой-то роман о том, как турки увели в рабство мальчика, и когда тот, после долголетнего отсутствия, возвратился, то взял себе в жены собственную сестру, так как они не знали друг друга. Ему показалось, что и с ним все происходит, как в том романе. Он становится крестным отцом родного сына.

Потом в голову ему пришла еще более страшная мысль. Вдруг Эльза предусмотрела, что крещение назначат на завтра? Зная его благородство, она, возможно, предвидела и то, что он согласится быть крестным отцом. А вдруг она завтра в церкви спрячется за каким-нибудь столбом, подождет начала обряда и всадит господину Симе нож в сердце или обольет купоросом? Так обычно во всех романах мстят обманутые любовницы.

При этой мысли господина Симу прошиб пот, и он потупил взгляд, не зная, что ответить госпоже Босильке. Казалось, выхода не было, но тут в комнату вошел человек, выручавший, как известно, господина Симу из всех безвыходных положений. Это был учитель музыки.

— Ха! — воспрянул духом господин Сима. — Вот господин учитель и будет крестным отцом!

Учитель смутился, но на помощь господину Симе пришла свояченица, которой эта идея особенно понравилась.

— Знаете, ребенок оказался некрещеным, и мы все хотели бы, чтобы вы стали его крестным отцом.

— Да! — подтвердил господин Сима.

Учитель снова смутился и обернулся к господину Симе.

— Это не совсем удобно. Мне бы не хотелось быть вашим кумом, — сказал он и со значением посмотрел на свояченицу.

— Как это моим кумом? — завопил господин Сима и посмотрел на учителя, как разъяренный лев.

— Да так, — взялся объяснять учитель, — кумов-

ство — это, видите ли, родственная связь, а мне бы не хотелось становиться вашим родственником.

Господин Сима опять содрогнулся и еле удержался от желания протянуть руку и окончательно превратить учителя музыки в скрипичный ключ.

— Но вам же известно, что ребенок найден на улице, перед дверьми! — принялся выводить учителя из заблуждения господин Сима.

— Да, — ответил учитель.

— С кем же вы в таком случае породнитесь?

— Вы правы! — сказал учитель, увидев, что попал впросак.

— Этот ребенок, сударь, первый найденный будущего общества призрания подкидышей. И вы, в сущности, станете кумом этого общества, а я полагаю, что это великая честь — быть кумом целого общества, которое будет состоять из самых видных представителей Белграда. Я даже думаю предложить вашу кандидатуру в постоянные крестные отцы.

— Как это? — удивился учитель.

— А так, сударь! Задачей общества будет давать приют подброшенным детям. Эти дети обычно не крещены, и поэтому обществу потребуется свой постоянный крестный отец. Верно?

Все согласились с этим и вынудили учителя дать согласие стать крестным отцом.

Поскольку второй важный вопрос повестки дня был решен, а с плеч господина Симы сброшена еще одна забота, речь зашла о третьем вопросе, который был не так важен, как первые два, но тем не менее вызвал самую оживленную полемику.

— Мне кажется, — обратившись к супругу, взяла слово госпожа Босилька, — его надо назвать Симой в твою честь, это ты нашел ребенка и ты станешь основателем общества.

Господина Симу снова одолели недавние мысли. Не принято, не принято же в Сербии называть сына именем отца. А если этот мальчик узнает когда-нибудь от матери историю своего рождения и возьмет фамилию отца, то в один прекрасный день появится еще один Сима Неделькович, который вечно будет стоять на дороге господина Симы Недельковича. Гораздо разумнее было бы ничем, а именем тем более, не связывать мальчика с собой. И только господин

Сима открыл рот, чтобы отклонить это предложение, как на помощь дочери пришла мать.

— Совсем как Симеон, найденыш Симеон! — добавила она.

И господин Сима невольно прочел про себя народную песню:

Вышел утром старичок монашек
На Дунай, к воде студеной,
Чтоб набрать воды дунайской,
Чтоб умыться, богу помолиться...

И далее он вспомнил содержание всей песни, в которой найденыш Симеон, когда вырос, нашел свою мать, будимскую королеву. Правда, господин Сима не был будимским королем, но в тот миг ему показалось, что, названный именем найденыша Симеона, мальчик непременно найдет когда-нибудь свою мать или отца. А поскольку такая перспектива пугала господина Симу больше всего, он категорически отклонил предложение назвать ребенка своим именем, сославшись на то, что он из скромности не желает быть удостоенным такой чести. И чтобы раз и навсегда покончить с возражениями, предложил окрестить мальчика Божидаром, так как тот и в самом деле божий дар.

Свояченица не менее категорически воспротивилась этому по той простой причине, что буква «Б» не глядится в монограмме.

— Мальчик может в один прекрасный день стать великим человеком, и у него появится потребность в носовых платках с монограммой, а буква «Б» в монограмме совершенно безобразна!

Со своей стороны свояченица предложила назвать мальчика Ромео или Авраамом, против чего воспротивилась теща.

— Ребенок, — сказала она, — не щенок, чтобы называть его Ромео или Авраамом. Ребенок-то христианский, к чему ж ему давать нехристианские имена!

Со своей стороны учитель предложил назвать мальчика Бетховеном, добавив, что тот благословлял бы своего крестного отца за такое имя.

Тут уж воспротивился господин Сима.

— Какой еще Бетховен! — сказал он. — Это имя страшно мешало бы ему в жизни. Представьте себе:

государственный советник Бетховен, окружной начальник Бетховен. А если он, скажем, будет священником... Вот будет комедия, если его станут звать батюшка Бетховен... Другое дело, если бы человек определенно знал, что будет жуликом... У жуликов такие странные имена: «Пахан», «Затычка», «Бетховен»...

Наконец, поскольку предложение учителя тоже провалилось, снова выступила теща и предложила дать мальчику имя Ненад, потому что его нашли неожиданно¹. С этим согласились все, и дело было решено.

И все же на другой день, вернувшись из церкви, учитель музыки сообщил господину Симе, что дал ребенку имя Сима. На этом категорически настояла госпожа Босилька, сказавшая с глаза на глаз учителю музыки, что тем самым она хочет оказать господину Симе почесть, от которой тот отказался лишь из скромности.

Так дитя общины было крещено в третий раз. Вичо, бог троицу любит.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Первый съезд общества призраения подкидышей

После крещения прошло недели две, которые для господина Симы Недельковича были чем-то вроде отдыха после душевных бурь. А когда прошла и третья неделя, господин Сима снова стал размышлять об идее, которая так растрогала его в одной из предыдущих глав романа. Размышлял он целую неделю, и таким образом прошел месяц со дня крещения, когда господин Неделькович решил окончательно и бесповоротно, что надо приступить к осуществлению пленившей его идеи, то есть к основанию общества призраения подкидышей.

Еще неделю господин Неделькович размышлял о том, каким образом это сделать, и наконец нашел, что все обстоит очень просто. Главное для осуществления идеи — подкидыш — уже имеется в наличии, осталось только написать устав, собрать людей, образовать комитет, и дело сделано. Целую неделю господин Сима

¹ Н е н а д а н — неожиданный (*сербскохорв.*).

Неделькович формулировал, писал и переписывал письмо, в самых изысканных выражениях призывавшее всех благородных людей объединиться на учредительном съезде в общество сколь полезное, столь и гуманное.

Съезд самых видных людей города «имел быть» в Гражданском клубе через неделю. Все оставшееся время господин Сима Неделькович употребил на подготовку речи, главная мысль которой была выражена словами Христа: «Пустите ко мне детей!»

В день съезда точно к десяти часам утра господин Неделькович в сопровождении учителя музыки, также привлеченного к осуществлению знаменитой идеи, отправился в Гражданский клуб. Там они застали несколько знакомых господ, с нетерпением ожидавших остальных. Напрасно господин Неделькович оборачивался при каждом шорохе и поглядывал на двери, напрасно учитель музыки выходил несколько раз даже на улицу, чтобы посмотреть, не идет ли кто. Господину Недельковичу ничего другого не оставалось, как отложить съезд еще на неделю.

Таким образом, со дня крещения Неделько и до дня открытия съезда прошло целых два месяца, по истечении которых это событие все же состоялось.

Кроме одного-двоих, собрались все приглашенные. Пришел архимандрит Григорий, который при входе в зал пожал руку господину Недельковичу и заявил:

— Спасибо вам за то, что вы взялись осуществить этот христианский замысел. Я и сам, когда был молодым, часто задумывался, нельзя ли как-нибудь позаботиться о подкидышах, но, состарившись, перестал думать об этом. Спасибо, поздравляю вас!

— Это идея моей жены, — поблагодарив преподобного отца, скромно добавил господин Неделькович.

Пришел и господин Станое Лекич, преподаватель математики, известный тем, что охотно становился членом любого комитета. Он состоял в руководстве литературного общества, общества по благоустройству Врачара (хотя жил в другом районе Белграда — в Палилуле), кружка верховой езды, городского клуба, певческого общества и пытался даже выдвинуть свою кандидатуру в члены комитета женского общества, но единственно по причине своего пола не был избран.

Пришел и господин Сречко Остоич, окружной начальник в отставке, сразу же заявивший, что он в этих делах, то есть в подкидышах, ничего не смыслит, но господин Сима объяснил ему, что он приглашен потому, что свояченица у него — акушерка.

Пришел и господин Савва Янкович, человек, который постоянно предлагает себя в бухгалтеры любого общества, поскольку считает, что на членские взносы можно жить весьма неплохо. Явился господин Пайя Станоевич, человек очень умный, о котором говорят, что он все свое состояние завещал на благотворительные цели, в то время как его соседка, госпожа Мария, утверждает, что он переписал его на свою жену.

Пришел и господин Тома Петрович, торговец, который через «Сербскую газету» отрекся от своих сыновей. Войдя, он тоже пожал руку господину Симе Недельковичу и сказал: «Я с радостью поддерживаю вашу благородную идею, мы все призваны всерьез позаботиться о чужих брошенных детях!»

Пришел и господин Аксентий Ристич. Он так любит детей, что всегда держит в своем доме двух девочек в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет и содержит их, как родных дочерей, и все это в память о покойной жене.

Пришло еще много видных людей, и едва ли не все сразу же заявляли, что согласны с идеей, а господин Сима всякий раз подчеркивал, что идея принадлежит его жене.

Когда все собрались, господин Сима потряс звонком и произнес речь, которую он одну неделю писал, а вторую — правил.

Учитель музыки, знавший речь наизусть, прерывал господина Симу возгласами: «Правильно, правильно!»

Во второй половине речи господин Сима специально описал «один случай, который произошел с ним». Он обнаружил перед дверями своего дома красивого, здорового, румяного мальчика, а раз ребенок красив, здоров и румян, из него может выйти образцовый гражданин. Но если передать ребенка общине, а та, в свою очередь, отдаст его какой-нибудь женщине, то что из него вырастет? Он не получит никакого воспитания, а следовательно, гражданина из него не выйдет. А между тем с каждым днем ощущается все большая нехватка истинных граждан, и тут не меша-

ло бы проявить тревогу даже самому государству. Поэтому он — господин Сима — считает, что всем нам надо объединиться и прежде всего позаботиться о ребенке, которого подбросили к его дверям, а потом и обо всех других детях, которые оказались бы перед его дверями или где-либо еще. Свою прекрасную речь господин Сима закончил такими словами:

— К этому нас призывают наши человеческие чувства, к этому нас призывают наши родительские чувства, на это благословляют нас слова нашего великого учителя, богочеловека и великомученика: «Пусти-те ко мне детей!»

Учитель музыки, а за ним весь съезд, закричал: «Правильно! Ура!»

Потом взял слово преподобный архимандрит Григорий и говорил о детях от имени церкви. Вкратце его речь свелась к тому, что дети вправе рассчитывать на нашу любовь.

За ним встал профессор математики и очень складно и научно рассказал, каким образом создаются дети, что господин Сима выслушал с особенным вниманием.

Вслед за этим профессор со знанием дела доказал, что в браке, обычном браке, известны две математические величины — отец и мать, и соответственно, из двух известных величин легко извлечь третью, неизвестную, то есть ребенка. Но в жизни есть такие математические формулы, когда известна только одна величина. В результате решения такой формулы и появляется подкидыш. Именно такой случай представлен на рассмотрение данного съезда. Но поскольку подкидыши представляют собой определенную величину и в жизни нашего города, то он считает, что об этой величине следует позаботиться.

Господин Савва Янкович, тот самый, что любит навязывать себя в бухгалтеры разных обществ, тоже попросил слова и предложил, чтобы членские взносы в новом обществе были как можно больше.

Господин Сима объяснил, что говорить об этом еще рано, что съезд сейчас занимается лишь теоретической стороной проблемы.

После еще нескольких выступлений решено было учредить общество призрения подкидышей. Для этого избрали комитет из пяти человек, которому вменили

в обязанность найти за границей уставы подобных обществ, изучить их, а затем созвать второй съезд и сделать на нем доклад.

Окрыленный успехом, господин Сима весело зашагал домой, торопясь сообщить госпоже Босильке, как будет осуществляться ее идея, и еще раз убедить ее в том, что идея прекрасна.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Женщина с темным прошлым

Будь автор романа профессором, он, разумеется, начал бы эту главу так:

Женщины делятся на женщин со светлым прошлым и на женщин с темным прошлым. (На самом деле, правильнее было бы написать: на женщин с темным прошлым и на женщин с темным будущим.)

Женщины со светлым прошлым делятся на несколько классов: на женщин с совершенно светлым прошлым, с полусветлым, со слабо подсвеченным и т. д. Женщины с темным прошлым делятся на женщин, имеющих на прошлом пятнышко, пятно, пятнище.

Госпожа Мара, с которой мы теперь хочешь не хочешь, а должны познакомиться, принадлежит к числу последних, к самому запятнанному классу. В свои ранние годы, в годы, когда любая женщина красива, она жила очень скромно и мало показывалась на людях, но, как бы вознаграждая ее за это, люди сами являлись к ней. Она теперь плохо помнит то далекое прошлое; единственное, но смутное воспоминание тех лет — это три случая, когда о ее голову и плечи ломали зонтики.

И все эти зонтики были расколошмачены замужними женщинами.

Немного позже ее начали часто перемещать из города в город, хотя она и не состояла на государственной службе. Только найдет пристанище в каком-нибудь городке, как через несколько месяцев полиция уведомляет ее, что в силу служебной надобности ее переводят. В то время, очевидно, по причине резких смен климата и воды, с ней стали случаться неприятности, из-за которых ей все чаще приходилось расши-

рять платья в талии. При этом она наловчилась в новом ремесле, которым и продолжала заниматься, поскольку оно приносило немалые доходы.

И хотя ее новое искусство, в сущности, облегчало существование людям, полиция все же нашла какую-то зацепку, которая довела ее до суда. Из суда ее отправили в тюрьму, где она провела целых пять лет. В тюрьме Мара вела себя очень пристойно и покорно и была так покаянно послушна, что рассказала начальнице женского отделения тюрьмы о всех способах облегчения жизни мужчин. Начальница же хотела узнать о них во что бы то ни стало, чтобы иметь представление о глубине вины несчастной, а также потому, что тюремным счетоводом был молодой человек.

Там, в тюрьме, Мара научилась гадать на картах и по руке, а вернувшись после длительного отсутствия в Белград, надумала посвятить себя этому занятию. Но сразу же поняла, что успеха иметь не будет, потому что в этом ремесле главное — не столько уметь угадывать будущее на картах или по руке, сколько получить известность. Итак, сперва надо было прославиться, и для этого Мара решила послужить в нескольких изысканных белградских домах, потому что изысканные дамы быстрее всего разносят слух о хорошей гадалке.

Решившая создать себе репутацию таким способом, Мара поступила прислужгой в один изысканный дом, а через пятнадцать дней, изучив в доме всю подноготную, она погадала своей хозяйке на картах и... попала в самую точку. Мара сказала ей: «Вы несчастливы в браке, вы рождены для большего, но судьба связала вас с человеком, который недостойн вас. По вас вздыхает один молодой человек!»

Хозяйка удивилась искусству Мары и на первом же приеме рассказала о ней.

— Вы не поверите, сударыни,— поведала она собравшимся изысканным дамам,— как эта женщина гадает! Она сказала мне всю правду!

Потом Мара поступила к другой изысканной даме, а спустя несколько дней погадала ей и... попала в самую точку. Мара сказала ей: «У вас много врагов среди женщин, они завидуют вашей красоте, но зато мужской пол сходит по вас с ума».

И эта хозяйка удивилась искусству Мары и на первом же приеме рассказала о ней собравшимся изысканным дамам:

— Это, скажу я вам, удивительная женщина! Она так гадает на картах, будто ей известны все интимные стороны чужой жизни.

Затем Мара поступила к третьей изысканной даме, спустя несколько дней погадала ей и... попала в самую точку. Мара сказала ей: «Вы живете с вашим мужем скучно, а о вас дни и ночи думает один молодой человек, который живет из-за вас скучно и тоскливо. Известие... ближняя дорога... постель. Некая вдова желает завладеть им, но он всеми своими мыслями с вами!»

И эта хозяйка удивилась искусству Мары и на первом же приеме рассказала о ней подругам:

— Это необыкновенная женщина, это просто пророк божий. Она так угадывает мысли и чувства, словно читает по книге!

Трех изысканных дам ей вполне хватило; для Мариной репутации они сделали больше, чем могли бы сделать объявления в двадцати утренних газетах.

Обеспечив себе репутацию, она рассталась со своими хозяйками и сняла отдельную квартиру, чтобы основать там собственную фирму. С той поры ее и стали называть госпожой Марой.

Дело пошло исключительно хорошо, ее посещали дамы и господа из лучших белградских кругов, но одна совершенная ею ошибка вызвала длительный застой в деле и едва не свела на нет репутацию, добытое с таким трудом.

Еще будучи в прислугах у первой из изысканных дам, она познакомилась с кучером хозяйки, который особенно нравился Маре, когда надевал белые перчатки и цилиндр. Знакомство это не прервалось и закончилось тем, что Мара по настоянию кучера согласилась обвенчаться с ним. Но кучер-молодожен потребовал, чтобы Мара бросила гадать. Она согласилась.

За несколько лет уединенной жизни люди совсем забыли Мару. К тому же появились другие, новые знаменитые гадалки. А годы семейной жизни Мары не были самыми светлыми в ее жизни.

Сперва все шло хорошо, в любом браке сперва все идет хорошо. Правда, он по кучерской привычке иной

раз натягивал поводья, но Мара сбавляла шаг, и они снова неплохо тянули брачную повозку, которая тряслась не очень сильно.

Позже, как это бывает в любом браке, все шло уже не так гладко. Кучер-супруг начал пить, как извозчик. Он и прежде это делал, но пил ровно столько, сколько требовалось, чтобы «смазать оси», то есть время от времени и не больше пол-литра. Однако случилась такая лютая зима, что ему, как он говорил в свое оправдание, потребовалось «смазки» в два раза больше. Эта привычка сохранилась и в теплые дни, пока наконец дама, у которой он служил, не выгнала его за пьянство.

Тогда к привычке присоединилось отчаяние, и он с головой погряз в спиртном. Трезвым он не бывал ни вечером, ни с утра, а чтобы иметь возможность пить, уносил из дому вещь за вещь и продавал. Теперь он уже заставлял Мару взяться за гадание, но дело у нее не пошло, потому что ей было трудно восстановить репутацию.

Госпожа Мара, разумеется, пригорюнилась. Пыталась лечить мужа; посоветовала ей одна соседка сварить какую-то траву, от которой появляется отвращение к спиртному. Однако чем больше он пил этот отвар, тем больше потреблял водки и до того наконец дошел, что по целым неделям не мог выговорить слова из двух слогов.

В конце концов Мара, опять же по совету соседа, обратилась к знаменитому врачу, который, по слухам, в свое время сам был не дурак выпить, но потом стал страстным проповедником борьбы с алкоголизмом, уверяя при этом, что пил некогда лишь для того, чтобы изучить действие алкоголя. Когда Мара рассказала ему, в чем дело, он задумался и забарабанил пальцами по столу.

— Эта болезнь, сударыня, в моей многолетней практике не встречалась,— сказал доктор.

— Неужели нельзя помочь, господин доктор? — испуганно спросила Мара.

— Пьет каждый день? — поинтересовался доктор.

— И днем и ночью! — отвечала Мара.

— А умеет ли он напиваться, как свинья? — продолжал расспрашивать доктор.

— Что там свинья! Свинья, когда пьяная, хоть хрюкает, а этот, как напьется, даже голоса не подает. Лежит как мертвый!

— Великолепно, великолепно! — с восхищением сказал доктор и потер руки.

Мара просияла, думая, что доктор сейчас пропишет лекарство, но он ее словно холодной водой окатил.

— Лекарства ему, сударыня, не помогут, но пользу он принести еще может.

— Какая же польза от пьяного человека?

— Видите ли, сударыня, я каждое воскресенье читаю популярную лекцию о вреде алкоголя. Мне бы очень подошел такой человек, как ваш муж, и я бы охотно брал его напрокат, но, разумеется, если бы вы могли гарантировать, что во время лекции он будет пьян, как свинья.

— Это я вам могу гарантировать, но...

— Я буду платить вам по десять динаров за каждую лекцию.

Госпожа Мара быстро подсчитала про себя, сколько это выйдет в месяц, и, увидев, что получается приличная сумма, согласилась, и они с доктором хлопнули по рукам. Так и жила госпожа Мара, сдавая мужа напрокат, а кучер с тех пор каждое воскресенье лежал за тем же столом, за которым доктор читал свои лекции, то и дело тыкая в пьяного пальцем.

Так продолжалось несколько месяцев, пока однажды ночью доходная статья госпожи Мары не была найдена на улице мертвой. Не считаясь с тем, что ему не надо было готовиться в тот день к популярной лекции, кучер напился уже не как свинья, а как две свиньи, и, возвращаясь домой, откинул копыта.

И для доктора и для Мары эта потеря была чувствительной — у Мары сократились доходы, а у доктора — число слушателей.

Вдове без дохода не оставалось ничего другого, как вернуться к старому ремеслу: гаданию на картах и чтению по руке. Снова устроиться прислугой и с помощью изысканных дам обеспечить себе рекламу ей было трудно, и она набрела на счастливую мысль держать в доме для рекламы племянницу. Эта периодически обновляющаяся племянница не помогала ей гадать на картах, а служила больше для украшения.

Она была чем-то вроде канарейки в мастерской сапожника или в парикмахерской. Канарейка не умеет ни брить, ни подбивать каблуки, а просто висит в клетке над дверью, но, когда клиент проходит мимо, поет и обращает внимание прохожего на мастерскую.

И вы убедитесь, что это была неплохая реклама, когда узнаете, что госпожу Мару стали посещать по большей части пожилые господа, а она всякий раз читала по их руке, что они сорвиголовы и большие озорники и что женщин к ним тянет.

Однажды она погадала по руке господину Симе, и с тех пор пошло их знакомство.

Вот в этот дом, находившийся где-то в Палилуле, за старым еврейским кладбищем, и принесли после крещения маленького Симу.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Ребенок напрокат

Однажды утром к госпоже Маре пришла соседка, которую все звали сватьга Стана. Она была известна тем, что знала многие школьные задания наизусть. Долгие годы у нее квартировали ученики, а так как они всегда учили уроки вслух, в ее памяти остались разные определения, склонения и всевозможные цитаты. Мало того, поругавшись с какой-нибудь из соседок и исчерпав весь запас тех слов, которыми так богата языковая область, находящаяся за старым еврейским кладбищем, она в запальчивости начинала выкрикивать:

— Квоускве тандем, Катилина, абутере пациенциа ностра! Квем ад финем сесе туа актабит аудация! Имо веро ин санатум венит!

После этих слов дело обычно доходило до драки, потому что ее очередную противницу латинская фраза допекала гораздо больше, чем если бы Стана помянула ее отца и мать по-сербски, поскольку она думала, что Стана ругает ее по-мадьярски, а уж на этом языке, по уверению сведущих людей, можно было выразить особенно мерзко.

Итак, соседка Стана однажды утром приходит к госпоже Маре, спрашивает приличия ради о вся-

кой всячине, а потом переходит к делу, ради которого пришла.

— Соседка, у тебя есть какой-то ребенок?

— Есть! — отвечает госпожа Мара.

— Тебе его община дала на воспитание?

— Нет, — говорит госпожа Мара. — Какое-то общество для подкинутых детей. Но мне его дали временно, пока это общество не устроится.

— А я пришла, — молвит ей сватья Стана, — попросить тебя дать мне взаймы ребенка завтра до обеда.

— Дать взаймы ребенка? — изумляется госпожа Мара.

— Только до обеда!

— А на что тебе ребенок, соседка? — с любопытством спрашивает госпожа Мара.

— Тебе я скажу. Не люблю, понимаешь, когда соседи языком треплют, но тебе могу сказать. Иду завтра в правление общины просить пособие по бедности, так лучше было бы держать ребенка на руках. У которых дети, те проходят без очереди и больше получают.

— Ах, вот для чего! — говорит госпожа Мара и тотчас вспоминает покойного мужа, которого сдавала напрокат и хорошо на этом зарабатывала. Кто знает, не божья ли это воля — мужа у нее бог отнял, а дитя дал, чтобы она опять могла зарабатывать время от времени.

Подумав немного, госпожа Мара говорит соседке:

— Хорошо, дам тебе ребенка, соседка, только бесплатно такие услуги не оказывают, будешь платить.

— Заплачу, — соглашается соседка, — раз такое дело. Вот тебе динар за полдня.

— Что ты, соседка! — с притворным негодованием восклицает госпожа Мара. — Где же это видано, чтобы такое дитя и уступали за динар? Да в нем килограммов пятнадцать весу.

— Но послушай, госпожа Мара, — начинает торговаться и сватья Стана, — что ты его меряешь на килограммы! Я же не покупаю ребенка, а беру напрокат. Вот тебе динар, и хватит. Больше он не стоит.

— А ты давай роди такого, тогда и увидишь, что почем. Я даю тебе готового ребенка...

— Ладно,— решается сватья Стана,— за полдня я тебе заплачу полтора динара, но ты мне будешь давать ребенка каждую субботу.

На том и поладили, а на другое утро сватья Стана пришла за ребенком. Так Сима в самом раннем возрасте, когда другие дети приносят родителям одни убытки, начал зарабатывать. Сватья Стана приходила каждую субботу и шла с ним в правление общины, а в обед приносила условленную плату.

И конечно же, это дело не осталось тайной для соседок. Но хотя секрет сватьи Станы был раскрыт, это не только не помешало Симе заниматься его промыслом, а, напротив, послужило рекламой.

Не прошло и двух суббот с тех пор, как Сима начал зарабатывать, а к госпоже Маре явилась уже некая тетка Роска. И хотя тетка Роска не соседка Мары и живет где-то на дальней улице за Новым кладбищем, ее знает каждый. Никто лучше нее не делал краски для волос, еще она умела лечить от укуса бешеной собаки, чирьев, почечуя, умела при помощи горшка вправлять грыжу и многое другое. Но знаменита тетка Роска была не этим, а своим замечательным искусством, унаследованным от мужа. Покойник был музыкантом, и Роска научилась играть на трубе. Играла она, как настоящий музыкант, и песни, и танцы, и разные марши, а также военные сигналы: отбой, атака, сбор и многое другое.

Женщины восхищались ею, а дети ее обожали. Сколько раз говаривали ей соседки:

— Чего ж ты, Роска, не пойдешь в военные музыканты?

— Пошла бы,— отвечает Роска,— если б знала, что возьмут фельдфебелем, а в рядовые ни за что не пойду.

— А почему знать, может, тебе и фельдфебеля дали бы, если б услышали, как ты играешь?

— Дали бы, знаю, что дали бы, но тогда бы я потребовала, чтобы мне зачли и выслугу лет, а на это вряд ли согласятся.

— Какую это еще выслугу лет?

— Какую угодно. Пусть зачтут либо те годы, что я провела с покойником в браке, либо мою вдовью жизнь. Какую угодно, мне все равно!

Играла тетка Роска не за деньги, а для души. Вынесет бывало под вечер скамеечку во двор, сядет под тутовое дерево и сыграет на трубе сигнал побудки, а все детишки уже тут как тут, расселись на заборе. Иной раз соберутся женщины и девушки, развеселятся и попросят сыграть им коло, а когда бабы во дворе поссорятся, она вынесет трубу, продудит сигнал атаки, и все, воодушевившись, хватают друг дружку за косы и дерутся под музыку.

Но эту свою трубу она использовала и по-другому. Так, она чуть было не разбила трубой голову судебному исполнителю, когда тот хотел описать у нее вещи. Поскольку во всяком конституционном государстве запрещено разбивать головы властям, судебный исполнитель, естественно, подал на нее в суд, подкрепив жалобу справкой врача. Дело оборачивалось весьма серьезно — запахло несколькими месяцами тюремного заключения, и Роске пришлось нанять адвоката.

Как раз накануне суда Роска и пришла к госпоже Маре.

— Завтра у меня суд,— говорит,— и потому пришла я к тебе, госпожа Мара, чтобы ты дала мне своего ребенка до обеда.

— А на что он тебе? — удивилась госпожа Мара.

— Нужен. Сама понимаешь, когда приходишь в суд с ребенком на руках, совсем другое дело получается. Тогда и судьи жалеют, и прокурор жалеет, и швейцар у входа в суд жалеет, и даже публика жалеет. И потом пусть поломают себе голову — меня в тюрьму, а что с ребенком делать? Вот зачем он мне нужен.

— Не могу,— решительно отвечает госпожа Мара,— завтра он у меня занят.

— Как занят?

— Ему надо в правление общины. Он каждую субботу ходит в общину.

— Что с тобой, сударка,— удивляется Роска,— завтра же пятница!

— Пятница?.. Скажи ты, девичья память!

— Так дашь мне его завтра?

— Оно конечно, можно. Только сама знаешь, кормилец он мой...

— Я заплачу, не думай, что даром. Лишь бы без запроса. Сколько ты хочешь за полдня?

— Как тебе сказать,— колеблется госпожа Мара.— Ведь если подумать, ребенок поможет тебе больше, чем сам адвокат. Вот и посчитай сама, прикинь, сколько ты платишь адвокату...

— Иди-ка ты, сударка, знаешь куда!.. Что ж это ты ребенка равняешь с адвокатом! Завтра в обед дам-ка я тебе три динара. Сватья Стана платит тебе полтора, а я три даю.

— Это правда,— защищается госпожа Мара.— Стана платит мне полтора динара, но она постоянная клиентка, каждую субботу берет. А ты возьмешь завтра, и все... Другое дело, если бы ты каждую неделю разбивала кому-нибудь трубой голову... Тогда бы я тебе уступила.

Поторговавшись, они наконец сошлись на пяти динарах, и маленький Сима отправился в суд первой инстанции. Адвокат тетки Роски, увидев на руках у нее ребенка, встретил ее с восторгом, для него была мучка мученическая найти аргументы в ее пользу.

«Несчастливая мать», «если по закону мы вправе осудить мать, то не вправе — ребенка», «и у вас, господи судьи, есть дети» и т. д.— все это были веские доводы, хоть и не доказывавшие невинность Роски, но украсившие речь адвоката.

И в самом деле, речь получилась блестящая, даже государственный обвинитель, которого сама профессия обязывает иметь каменное сердце, заплакал во время заседания и простил обвиняемую. Так, Сима спас на суде тетку Роску, и она, возвратив ребенка и честно заплатив таксу в пять динаров, вернулась домой, схватила трубу и сыграла: «Бери ложку, бери хлеб!»

Но однажды к госпоже Маре пришла молодая и хорошо одетая дама. Это нисколько не удивило госпожу Мару, так как она все больше с господами работала, и дамы не раз приезжали к ней погадать на картах и по руке.

Молодая дама села и тотчас откровенно сказала:

— Я слышала, сударыня, что у вас есть ребенок, которого вы даете напрокат?

— Кто это вам сказал? — испугалась госпожа Мара.

— Успокойтесь, я не из полиции, не бойтесь. Я пришла попросить у вас ребенка и хорошо бы вам заплатила.

— Я не даю ребенка напрокат,— защищалась госпожа Мара,— но хотела бы знать, что вам угодно?

— Ладно, скажу вам откровенно,— начала свое признание молодая дама.— Видите ли, муж у меня — растяпа. Навязал мне его господь, вот и сидит он у меня на шее. Он чиновник-практикант, но не может удержаться на одном месте больше шести месяцев. Только начнет привыкать к службе, только наладим жизнь в доме, и его тут же выгоняют. Вот сейчас служил он в полицейском участке и выдал кому-то справку о решении суда. И надо же! Пропустил в справке «не», его и уволили. Только из-за «не», из-за двух проклятых букв уволили! Справедливо ли это, скажите, пожалуйста? Но хуже всего то, что вся забота устраивать его на новую службу ложится на мои плечи.

— На ваши? — удивилась Мара.

— На мои,— продолжала практикантша.— Я же сказала вам, что он растяпа, ничего сам не умеет. Он умеет только терять службу, а искать ее приходится мне. Если министр еще молодой человек, это как-то получается. Или, скажем, молодой человек не министр, а заместитель его... Но сейчас, как на грех, и министр, и его заместитель — пожилые люди. Никак не могу понять, что же это за порядок: государство молодое, а министры старые?! Такое может быть только у нас!

— Что верно, то верно,— сказала госпожа Мара,— и все-таки я не возьму в толк, на что вам ребенок.

— Не понимаете? — удивилась практикантша.— Если бы министр был молодой, я бы пошла к нему одна. И не пришлось бы мне плакать, стоило б улыбнуться, как мой растяпа получил бы место. А нынешний министр — старик. Говорят, у него были дети, да он всех потерял. Вот я и пойду к нему с ребеночком на руках, заплачу, он разжалобится, и мой растяпа получит место.

— Все может быть,— согласилась госпожа Мара.— Только как же я вам дам ребенка, если я вас не знаю?

— Господи!— изумилась практикантша. — Может, вы боитесь, что я вам его не верну? Если бы я брала у вас напрокат одежду, или серебряные ложки, или зонтик, тогда другое дело. Да если бы я хотела детей, я бы своих имела, каких хотите, а не брала бы чужих.

— Это понятно, но...

Госпожа Мара с сомнением покачала головой.

— В конце концов, если вы боитесь, я вам дам расписку. Скажу своему растяпе, и он напишет мне расписку по всей форме.

— Хорошо, я согласна, но... Сколько вы думаете мне заплатить?

— Пять динаров.

— Что вы! — воскликнула госпожа Мара. — Ребенок вашему мужу достанет место, а вы ему за это — всего пять динаров...

Поладили на десяти динарах, но с условием, что практикантша заплатит их вперед, когда придет за ребенком и принесет расписку.

РАСПИСКА

На одного ребенка мужского пола, взятого напрокат у госпожи Мары Здравкович, проживающей в Белграде, с обязательством вернуть в исправном состоянии.

Действия своей жены одобряю,

Иеремия Терзич,
быв. практикант.

Все было в порядке, и Сима отправился на аудиенцию к министру, где имел такой успех, что растяпа получил место.

Так постепенно росла Симиная слава. Сперва он работал по соседству, потом все дальше и дальше от дома, пока однажды к госпоже Маре не пришел человек странного вида. Грязный и небритый, в бархатном пиджаке и с удивительно живыми глазами. Он объяснил госпоже Маре, что он фокусник, умеет глотать огонь, превращать вино в воду и воду в вино и совершать другие чудеса. В ответ на недоверчивый взгляд госпожи Мары он достал из кармана серебря-

ную двудиңаровую монету, положил ее Маре на ладонь, сказа́л какое-то слово, и монета вдруг исчезла.

Ловкость незнакомца поразила госпожу Мару, и никакого документа, удостоверяющего его личность, не потребовалось. Снискав ее доверие, он представился и объяснил, за чем пришел.

— Я Илья Божич, первый сербский чародей. Глотаю огонь, превращаю вино в воду, лаю, как собака, мяукаю, как кошка,— перечислял он чудеса, на которые был способен, а закончив перечисление, сказал, что завтра марков день и у церкви святого Марка будет большой праздник, что он соорудил специальный шатер для представления и что ему нужен младенец для совершенно нового номера программы.

— А что вы станете с ним делать? — спросила любопытная и вместе с тем перепуганная госпожа Мара, боявшаяся, как бы фокусник не превратил Симу в козленка или во что-нибудь другое.

— С ребенком ничего не случится. У меня новый сенсационный номер. Я высижу из яйца младенца. Вы будете получать десять динаров в день, и, кроме того, я дам вам один бесплатный билет.

— Ладно, но вы мне напишите на ребенка расписку,— сказала госпожа Мара, которая уже привыкла к новому порядку и не давала ребенка без расписки. Фокусник согласился, и сделка состоялась.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Марков день

Марков день — большой белградский праздник. В этот день господний храм святого Марка в компании с содержателями панорам и балаганов, торговцами слоеными пирогами и бузой, карманниками и музыкантами поднимает такой шум и гам на Ташмаидане, что просто любо-дорого посмотреть и послушать. Другие церкви белградские празднуют свои храмовые праздники куда скромнее и тише. Находясь при кладбище, обители вечного покоя и тишины, храм считает, наверно, что по этой самой причине надо хотя бы

раз в год дать повеселиться и покойникам, и устраивает такое гулянье на кладбище, что мертвецы если и не встают из гробов и не участвуют в хороводах, то переворачиваются в гробах во всяком случае, а для церкви и это большой успех.

Церковный праздник открывается красиво и торжественно. На заре из-за королевского дворца раздается артиллерийский салют такой силы, что кажется, будто, по крайней мере, десять австрийских мониторов бомбардируют город. Столичные жители вскакивают с постелей, вылетают, забыв одеться, на улицу и испуганно спрашивают друг друга, не ворвались ли неприятельские войска, не взорвался ли пороховой завод на Топчидерском холме, не родилось ли в королевском дворце вместо одного престолонаследника сразу два.

Ранние прохожие, молочники, продавцы бузы и ночные патрульные, возвращающиеся в казарму спать, объясняют перепуганным гражданам, что сегодня марков день и что святая церковь скромно возвещает о своем празднике. Успокоенные граждане возвращаются в свои постели, чтобы продолжать прерванный сон.

Священники отправляют службу божью под стрельбу, что очень удобно, так как если господь бог не услышит их молитв, то артиллерийский салют он непременно услышит. После службы начинается народное веселье: пиликают скрипки под шатрами, визжат трубы перед панорамами, стонут шарманки у каруселей, грохочут барабаны в балаганах, а во все это складно вплетаются выкрики продавцов бузы, песни цыган, нытье нищих и причитания тех, у кого уже обчистили карманы. Словом, давка, шум, гам, галдеж, вполне приличествующие божьему храму.

Народ кишмя кишит, толчется, шумит. На краю кладбища вьется коло, за памятниками прогуливаются молодые, уединяются парочками, шепчут любовные слова. Вон за черным мраморным памятником государственного советника, который, судя по надписи на надгробье, был «преданным слугою князю и отечеству, примерным отцом и верным супругом», прячутся усатый чиновник из управления фондов и маленькая вдовушка, на которой под черным вдовьим платьем красная нижняя юбка. Впрочем, почему бы па-

мятнику, воздвигнутому на могиле «верного супруга», и не спрятать от нескромных взоров любовь вдовы?

А там, глядите, фельдфебель с кухаркой господина министра уселись на могиле жандармского капитана и хохочут до тех пор, пока бедному капитану не надоест и он не рывкнет из могилы: «Фельдфебель, смирно!» А вот практикант прислонился к надгробью покойного попа Милии и говорит девчонке такие непристойности, от которых поп Милия и живой покраснел бы, а не то что мертвый. А там, далеко за церковью, среди могил, заросших травой, двое молодых палилулцев сидят на могиле преподавателя гимназии Стаменковича и говорят о любви таким языком, что покойный учитель вырывает последние остатки волос из своего черепа. А надо знать, что покойник был при жизни знаменитым знатоком сербского языка и, когда находил в самом неподходящем месте скомканный кусок газеты, то, прежде чем воспользоваться им, читал его и исправлял все грамматические ошибки. Представьте себе, каково ему теперь в могиле слушать признания в любви на палилулском наречии.

— Выдь-ка завтра на ворота, — говорит молодой палилулец.

— Приду, а ты больше с Мицей делов не имей! — отвечает молодая палилулка.

Учитель дрожит в могиле, переворачивается и бьет себя в грудь.

И пока влюбленные парочки, вдохновленные благодарностью к матери церкви, создающей благоприятные условия для уединения среди могил, грамотно и неграмотно объясняются в любви, остальная, невлюбленная, публика теснится возле палаток пряничников, трактиров, панорам, балаганов, где внимательно слушает приглашения и объяснения бедолаг, что, надев дурацкие колпаки и обсыпав лицо мукой, дерут натруженные глотки.

Перед балаганом, под названием «Первый сербский цирк», бьет в бубен Стевица, бывший поваренок в кофейне «Сербия», а ныне — клоун с жалованьем полтора динара в день. Его клоунский репертуар сводится к тому, что все подряд дают ему в цирке пощечины, и если разделить его дневное жалованье на чис-

ло пощечин, то одна пощечина обойдется не дороже пяти пара. Напрягая голосовые связки, хриплым голосом Стевица приглашает посмотреть за грош Радоицу Симоновича, самого гибкого в мире человека, известного во всех пяти частях света под именем «Человек-резина» и получившего на всемирных состязаниях первый приз. Народ валит в балаган и смотрит на человека-резину, который извивается во все стороны, засовывает голову меж ног, закидывает ногу за шею и между делом дает несколько оплеух поваренку Стевице.

Перед панорамой знаменитый глашатай Пера, надев белый цилиндр (наверное, чтобы походить на иностранца), кричит во всю глотку: «Извольте, господа, посмотреть удивительнейшие вещи. Землетрясение в Мессине, самое страшное событие века. Богатый современный город лежит в развалинах. Вдали виднеется везувий Этна, еще плюющийся огнем. Картина так хорошо сделана, что невооруженным глазом можно увидеть, как трясется земля. Кроме того, вы увидите величайшее изобретение прошлого века — водопад Ниагару. Это настоящее падающее море; даже если шестнадцать Дунаев и сорок три Савы образуют акционерное общество, им не дать столько воды. Затем, братья и сестры, вы увидите смерть Наполеона, и вам станет ясно, что даже самый могучий человек на свете не может избежать смерти. У смертного одра покойника находится святая Елена, покровительница Наполеона!»

Так созывает зрителей глашатай Пера, и народ валом валит в шатер, смотрит сквозь круглые стеклышки на пестрые полотна и уходит, довольный, что видел везувий Этну, святую Елену у постели Наполеона и величайшее изобретение — Ниагару.

Перед третьим шатром долговязый парень дует в пожарный горн и, завладев вниманием публики, приглашает ее посмотреть на девушку-паука. «Чудо природы, голова девушки, а тело и ноги паучьи. Это странное существо поймано в парагвайских джунглях и с большим трудом поддалось дрессировке!» Народ идет смотреть и это чудо, но выходит разочарованный, потому что большинство узнало голову работницы Мицы, а один музыкант даже крикнул из публики: «Мица... твою!.. Я знал, что ты змея, а выходит, ты па-

ук!» На что девушка-паук ответила: «Марш отсюда, свинья музыкантская!»

Но больше всего публика теснилась перед шатром, на котором висела гордая вывеска: «Первый сербский чародей Илья Божич!» Это был старый ярмарочный ловкач, который изучил все трюки на свете, кроме трюка правильно говорить по-сербски. Мы уже познакомились с ним в предыдущей главе романа.

Зрители, выходящие из его шатра, рассказывают о настоящем чуде — новом номере его программы, который он не показывал на прежних ярмарках. Он берет невысокую широкую корзину, на дно кладет вместо соломы ворох телеграфных лент, потом берет яйцо и предварительно даёт его посмотреть публике, чтобы она убедилась, что никакого «мошенства» тут нет, кладет яйцо на ленты и самолично садится на яйцо в корзину. И тотчас начинает играть шарманка, чтобы публика не скучала, пока он высиживает яйцо. Под музыку он, конечно, из своей корзины развлекает публику разными шутками, которые заставляют молодых женщин опускать глаза, а молодых людей восторженно аплодировать. Но вот шарманка замолкает. Илья объявляет, что процесс закончен, встает из корзины, ставит ее на стол, запускает в нее руку и достает оттуда, из телеграфных лент, голого и, скажи на милость, довольно большого младенца. Чтобы сразу же прекратить всякие толки, Илья объясняет, что ребенок такой крупный потому, что на яйце сидел мужчина, а вот если посадить женщину, то младенец вылупился бы поменьше. И его искусству, и его остроумам публика аплодирует долго и с восторгом.

Весть о сенсационном номере разносится по ярмарке, публика валом валит в шатер, и Сима в своей новой роли зарабатывает для Ильи Божича кучу денег.

Естественно, что такая сенсация комментируется публикой по-разному.

— А если бы он положил дюжину яиц, высидел бы он двенадцать детей? — спрашивает продавца лимонада палилулец, переселившийся в Белград из Баната.

— Конечно, раз высидел одного, сможет и двенадцать! — уверенно отвечает продавец лимонада.

— Каждый час по двенадцать?
— Раз он может каждый час по одному, сможет и по двенадцать!
— Значит, если он просидит целый день на яйцах, он высидит сто пятьдесят младенцев?
— Конечно, высидит, если дать ему ночью отдохнуть.

— А сколько же тогда получится за год?

Начинают они подсчитывать, но никак не могут свести концы с концами. То у них получается 14 тысяч младенцев в год, то 40 тысяч. Наконец к ним подходит дежурный жандарм, часто навевывающийся сюда выпить стакан лимонада, и, достав из кармана листок бумаги, берется подсчитать письменно. Он долго потеет, мучается, пишет, стирает и в конце концов подсчитывает, что Илья Божич мог бы за год произвести на свет 50 тысяч детей.

— Вот это да! — восклицает банатчанин.

— И даже если мы отбросим и пасху, и рождество, и еще какой-нибудь большой праздник, — надо же человеку отдохнуть! — опять же он высидит сорок пять тысяч детей в год, а это целая дивизия, — говорит жандарм.

— Какую же мы могли бы иметь большую армию! — восторгается банатчанин.

— Надо, чтобы им занялось военное министерство, — размышляет жандарм.

— Кем? — спрашивает продавец лимонада.

— Этим Илией Божичем! Непременно поговорю об этом с младшим унтер-офицером.

— Нет, пусть военное министерство побольше заплатит ему, чтоб он научил наших своему фокусу, — говорит продавец лимонада.

— Правильно, так будет лучше, — соглашается жандарм, — пусть наши генералы научатся этому фокусу. Хорошо бы еще принять закон, по которому каждый генерал должен год просидеть на яйцах, пока не высидит себе дивизию.

Мужчины продолжают развивать свои мысли в том же духе, в то время, как женщины, собравшиеся у палатки пряничника, никак не могут примириться с тем, что Илья Божич всякий раз высиживает мальчика, а девочку — ни разу.

— Он может и девочку, я спрашивал его, — бросает им продавец пряников.

— Как? — спрашивают любознательные женщины.

— Сядет на индюшечье яйцо, и вылупится девочка, — говорит дядька.

По всей ярмарке идут оживленные разговоры об этой сенсации, слава Сима все ширится. И ушла бы эта слава в безграничную даль, если бы Сима сам одним своим поступком не испортил все дело.

А случилось вот что. Так как он целый день трудился нагишом, то, наверно, простудил себе животик. И когда началось самое торжественное представление, часа в четыре дня, в присутствии самих священников церкви святого Марка, Сима разорался еще до того, как волшебник сел в корзину. Тут же заиграла шарманка, чтобы заглушить плач Сима, но он вопил так неистово, будто нарочно хотел провалить представление на глазах у священников церкви святого Марка.

Но это бы еще ничего, если бы Сима не пошел дальше. Илья Божич сократил время высиживания яйца, лишь бы не услышали плач младенца, который еще не вылупился. Поставив корзину на стол с восклицанием: «Итак, господа, вы сейчас убедитесь, что ребенок из яйца вылупился!», он запустил обе руки в корзину и из телеграфных лент достал Симу. Руки Ильи Божича были точно в яичном желтке. Известные части Симиного тела были того же цвета.

— Разбилось яйцо! — выкрикнул кто-то из публики со смехом.

И публика приняла бы это объяснение, если бы не потянуло таким смрадом, что даже прославленный чародей заткнул нос.

Сперва публика стала ворчать, потом ругаться, и наконец по всей ярмарке разнесся слух о мошенничестве чародея.

Так из-за легкомыслия Сима провалился сенсационный номер в программе первого сербского чародея, и тот возвратил ребенка госпоже Маре с восклицанием:

— Держите его, для дела не годится, совершенно недисциплинированный ребенок!

И все же в тот день Сима деньги заработал, а это главное.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ,

из которой явствует, что пока маленький Сима трудится, большой Сима не сидит сложа руки

Пока Сима, сдаваемый напрокат, ходил по рукам, работа над основанием общества призрения подкидышей не прекращалась ни на минуту и шла своим ходом.

Как уже известно читателям, на первом съезде был избран комитет из пяти человек, которым вменили в обязанность найти за границей уставы подобных обществ, изучить их, а потом созвать съезд в расширенном составе и сделать на нем доклад о своих изысканиях.

Таким образом, все зависело от комитета пяти, который все никак не мог собраться. Ошибка, может быть, заключалась в том, что комитет не организовали как следует, не избрали председателя, который бы и созвал всех на заседание. А так, кивая друг на друга, они бездействовали месяца два-три. Наконец с превеликим трудом состоялось заседание комитета, продолжавшееся недолго. Решено было, что каждый напишет кому-нибудь и раздобудет уставы подобных обществ.

Теперь надо было ждать ответов, на что также ушло еще четыре месяца, после чего снова состоялось заседание комитета пятерых, на котором они избрали из своего состава двоих и обязали их ознакомиться с делом. Эти двое ознакамливались с делом несколько месяцев и несколько раз созывали комитет пятерых, который после месяца уговариваний и уверток с трудом собирался. Дело изучили на двух-трех заседаниях, происходивших раз в месяц, и на последнем заседании пятеро наконец решили созвать новый съезд.

Естественно, что на подготовку съезда ушел еще месяц, и естественно же, что на первое заседание пришло всего несколько человек, так что новое заседание состоялось лишь через месяц.

Дело, кажется, было уже на мази, потому что на этом заседании оставалось на основании доклада пятерых выработать устав и избрать правление, после

чего общество считалось бы основанным. Но кто-то встал и сказал, что вообще, по его мнению, созван слишком малый круг граждан, а идея настолько велика и обширна, что ею заинтересуется и более широкий круг граждан, и потому он предлагает съезд отложить и на будущее заседание пригласить представителей как можно более широких слоев общественности.

Предложение было принято, а господину Симе поручено организовать предстоящий съезд и пригласить на него как можно более широкие слои граждан.

Через два месяца публику с трудом собрали в зале Гражданского клуба, но опять встал тот, что выдвинул предложение на прошлом заседании, и сказал, что съезд неправильно понял его и что господин Сима, созывая широкие слои граждан, претворил в жизнь его мысль, а другими словами, его предложение, только наполовину. Он подразумевал и остается при своем мнении, что в данное общество, а следовательно, и на съезд следовало бы пригласить и женщин. Понятие «родительская любовь», легшая в основу создания общества, не мыслится без матери. Он настаивает на своем предложении еще и потому, что идея общества принадлежит женщине, уважаемой госпоже Босильке Неделькович.

Доводы, которыми он подкрепил свое предложение, были настолько сильны и убедительны, что сам господин Сима Неделькович первый же и воскликнул: «Правильно!» А раз он, главный противник оттяжек, воскликнул: «Правильно!», его возглас подхватили все участники съезда.

Заседание снова отложили, а господину Симе поручили организовать следующее и пригласить на него как можно больше женщин.

Это было трудное дело, и, руководствуясь списком членов женского общества, а также списками других обществ, новый съезд удалось созвать лишь через четыре месяца.

Наступил день нового съезда, который блистал многочисленностью участников вообще и присутствием прекрасного пола в частности.

Среди первых явилась повивальная бабка, свояченица господина Сречко Остоича, окружного начальни-

ка в отставке. Были там: госпожа Янкович, не имеющая потомства, зато воспитывающая щенков; госпожа Петкович, которая ездит с курорта на курорт в надежде родить, но тщетно, потому что всякий раз с ней вместе едет муж; госпожа Яковлевич, имеющая десять детей и одного мужа, а по справедливости богу следовало бы все устроить наоборот; госпожа Стефанович, которая любит брошенных детей, правда, тогда, когда они уже взрослые, тоже пришла, не совадавав с благородными чувствами; госпожа Станкович, у которой нет детей, но есть склонность к материнству, и многие другие, охотно посещающие всякого рода собрания.

Господин Сима таял от радости, видя такой наплыв и предвкушая осуществление своей идеи. Он надеялся, что сегодня тот мерзопакостный придира больше ни к чему не прицепится и не предложит съезду отложить съезд. Не станет же он предлагать, чтобы были приглашены и дети?

И в самом деле, придира ничего больше не предложил, съезд начался, и господин Сима Неделькович был единогласно избран председателем. Прежде всего комитет пятерых сделал доклад об уставах подобных обществ, имеющих в других странах, а потом был избран комитет из одиннадцати человек, который на основе зарубежных уставов должен был выработать проект собственного устава. Таким образом, к великому удовольствию господина Симы Недельковича, съезд успешно завершил свою работу.

Комитет одиннадцати работал каких-нибудь четыре-пять месяцев, но создал устав, какого не было ни у одного общества. Двести семьдесят три статьи следовали одна за другой, и каждая статья определяла все точно и исчерпывающе, ни единая мелочь не была упущена.

Когда все было готово, господин Сима созвал расширенный съезд, тотчас приступивший к обсуждению устава. Дебаты были, разумеется, горячие и продолжительные. Один учитель сербского языка просил слова сорок шесть раз и решительно и страстно требовал, чтобы после того или иного слова была поставлена запятая. Какой-то дьякон требовал заменить «Место пребывания общества — Белград» на «Рези-

денция общества — Белград». Господин Сречко Остоич был против слова «общество» и требовал заменить его словом «союз», против чего выступили один торговец и один сборщик налогов. Они были за «общество». Это разногласие вызвало настоящую свару, выпалились оскорбительные слова, дьякон с учителем музыки едва не подрались, и наконец после часа бурных дебатов было принято слово «союз», из-за чего вышеупомянутые торговец и сборщик налогов, а также еще двадцать их сторонников демонстративно покинули зал заседания.

Заседание началось в девять утра, а к двенадцати ночи было рассмотрено, обсуждено и принято всего четырнадцать статей. Оставалось, выходит, еще двести пятьдесят девять статей, и для обсуждения их через десять дней было назначено новое заседание.

Заседание проходило за заседанием, и после четырех-пяти месяцев работы весь устав наконец был обсужден и принят. Тогда же было назначено заседание, на котором, согласно уставу, полагалось избрать временное правление. Этому временному правлению предстояло провести запись в члены, но на первом же заседании правления вспыхнула ссора, и все временное правление подало в отставку. Тогда снова созвали расширенный съезд, который избрал новое временное правление, а оно уже начало запись в члены. Когда записалось довольно много людей, временное правление передало устав на утверждение властям. На основе утвержденного устава было созвано первое регулярное собрание для избрания правления. Число собравшихся оказалось недостаточным для принятия решения, и потому назначено было другое собрание, которое уполномочили принять решение независимо от числа собравшихся.

На этом собрании фигурировало четыре списка кандидатов в члены правления; начались шушуканье, закулисная возня, наговоры на отдельных кандидатов, вылившиеся в открытый скандал, в результате которого собрание вынуждено было прервать свою работу и назначить новое собрание. На том, на другом, собрании уже было шесть списков кандидатов, но правление с грехом пополам все же избрали. Правление избрало своим председателем господина Симу Недельковича.

Господин Сима Неделькович назначил первое заседание, с тем чтобы общество сразу приступило к работе. Но на первом же заседании, при решении первого же вопроса была замечена непоследовательность в уставе, из-за которой вообще никакого решения принять оказалось невозможно. А именно, статья 27, в которой говорилось об обязанностях председателя, гласила, что денежные расходы не могут производиться председателем без решения правления, а статья 40, в которой говорилось о правах и обязанностях правления, гласила, что финансовые вопросы ни в коем случае не входят в компетенцию правления, и принимать решения оно не имеет права.

Как ни крути, а этого нового препятствия устранить было нельзя, и потому правление решило созвать внеочередное собрание общества для изменения устава.

На внеочередном собрании не было кворума, а потому назначили второе внеочередное собрание, которое уполномочили принять решение независимо от числа собравшихся.

На втором собрании, вместо того чтобы изменить только статьи двадцать седьмую и сороковую, взяли перекраивать весь устав, так как, по словам учителя математики, опыт показал, что многие другие положения тоже не на своем месте. На одном заседании это сделать было невозможно, поэтому провели целый ряд заседаний, а так как в результате получился почти новый устав (тут уж верх одержал тот самый сборщик налогов, что предлагал заменить «союз» «обществом»), то старое правление вышло в отставку, а вновь избранному временному правлению поручили передать устав на утверждение властям. Потом снова было созвано собрание для выборов правления, но число собравшихся оказалось недостаточным для принятия решения, а потому назначено было другое собрание, которое уполномочили принять решение независимо от числа собравшихся.

На этом собрании было уже восемь списков кандидатов, но наибольшее число голосов получил список господина Симы Недельковича, и с грехом пополам было избрано правление, которое на первом заседании снова избрало своим председателем господина Недельковича.

Так господин Сима Неделькович с трудом добился осуществления своей идеи, и теперь ему оставалось лишь назначить первое заседание правления и принять Симу в качестве питомца номер один, что на всю жизнь обеспечило бы мальчику покой и счастье, а господина Недельковича на всю жизнь избавило бы от необходимости заботиться о нем.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ,

*в которой еще раз подтверждается народная пословица:
гора с горой не сходитя, а живые люди нет-нет да
встретятся*

Однажды в дом госпожи Мары нагрянул неожиданный гость. Это был ядреный поп в потрепанной рясе, которую стирал дождь, а сушило солнце, которую рвали тернии и чинила неискusstная рука деревенской попадьи.

Войдя, он огляделся, но, не увидев в комнате никого, кроме госпожи Мары, поздоровался и спросил:

— Вы ли будете та самая госпожа Мара?

— Какая та самая? — удивленно переспросила госпожа Мара.

— Ну, госпожа Мара... Простите, но мне сказали люди, что вы умеете на картах гадать. Так вы будете та самая госпожа Мара?

— Ах, вот вы о чем? Да, это я. Садитесь, пожалуйста.

— Вот хорошо, что я тебя нашел! — сказал усталый батюшка и сел на стул.

— А что бы вам хотелось узнать? — начала разговор госпожа Мара издали, надеясь выудить что-нибудь из него самого.

— У меня, — сказал батюшка, — большие неприятности, и мне хотелось бы... хотелось бы, чтобы вы мне все сказали.

— Может, кто тяжело заболел?

— Нет!

— А может, у вас...

— У меня неприятности, и ничего больше. Я в этом не виноват, а ничего не могу поделать... Знаете,

как бывает, когда на человека возведут ложное обвинение?

— Ну, а теперь посмотрим, что нам скажут карты!

Убрав со стола, госпожа Мара взяла карты, всегда лежавшие у нее под подушкой, села за стол против батюшки и стала мешать карты, но, мешая, продолжала занимать его разговором:

— Вы, верно, вдовец?

— Нет! — отвечал батюшка. — Но лучше б мне быть вдовцом!

— Конечно, — лучше, — подзадорила госпожа Мара, — а то попадья уж больно мешает.

— Еще как мешает! — согласился поп.

— И вы, наверно, приехали в Белград, чтобы немного отдохнуть от попадья?

— Нет, не поэтому, неприятности заставили. Завтра у меня суд, вины на мне нет, вот я и пришел узнать, что скажут карты.

— Мои карты вам всю правду скажут. Потому у меня и слава такая.

— Да, мне люди говорили.

Решив, что ей хватит мешать карты, а также хватит для начала выуженных сведений, госпожа Мара дунула на карты, дала дунуть на них батюшке и начала раскладывать их. Выложила четыре ряда по семь карт и еще четыре взяла в руку, чтобы покрывать.

— Покрыть вашу жену?

— Лучше б ее земля покрыла, прости меня, господин! Что мне до нее, ведь она мне все это и устроила!

— Ну, ладно, тогда покроем эту молодую даму?

— Не надо, из-за нее меня и судят.

— Покроем тогда важного короля?

— А кто он такой, этот важный король?

— Важный король — это генерал, министр или что-то в этом роде.

— А может он быть митрополитом?

— Может, — сказала госпожа Мара.

— Тогда покрывайте митрополита!

Госпожа Мара покрыла митрополита, покрыла молодую даму, покрыла известие, покрыла удар. Потом перевернула карты, которыми покрывала, и с сомнением покачала головой.

Батюшка сидел ни жив ни мертв.

— Карты говорят, батюшка, что вы не очень-то жалуете свою жену.

— Чего с нее начинаешь! Посмотри ты, госпожа Мара, жалует ли меня митрополит?

— Погодите, батюшка, скажу вам все по порядку. Погодите... раз, два, три, четыре...

Госпожа Мара отсчитывала по семь карт, шепча про себя и крутя головой.

А батюшка не спускал с нее глаз, будто книгу какую читал. Наконец госпожа Мара оторвалась от карт и сказала:

— Карты говорят мне, батюшка, что вы совершили что-то нехорошее.

Поп заерзал на стуле и хотел было возразить, но смолчал и стал слушать, что еще говорят карты.

— Жена ваша не на вашей стороне, и все из-за какой-то молодой дамы.

— Точно, из-за нее! — сказал батюшка.

— И вам, скажу я, угрожает какая-то опасность со стороны важного короля.

— Это митрополит! — вскричал батюшка. — Он меня еще вчера обещал расстричь.

— У вас будет суд.

— За тем меня и вызвали.

— Судьи какие-то черные.

— Духовный суд.

— И добром для вас дело не кончится.

— Еще бы! Весь мир против меня!

— Вот что говорят мои карты!

— Угадала ты все, до последнего слова! Но я невиновен...

Госпожа Мара хитро усмехнулась, взяла его руку и всмотрелась в ладонь.

— Простите, батюшка, но здесь вот ясно видно, что вы большой озорник.

— А где это написано? — поразился батюшка.

— Здесь вот, я по руке читаю. И не только озорник, вы мастер обольщать женщин, нет такой женщины, которая бы устояла перед вами!

— Неужто правда? — восхищенно гаркнул батюшка.

Тут вошла племянница с кофе на подносе.

— Прошу! — сказала госпожа Мара. — Моих клиентов я без кофе не отпускаю.

Батюшка протянул руку за чашкой и посмотрел на племянницу, а та мило улыбнулась и вышла.

— Вот, вот, я говорила вам, что вы озорник. Стоило вам взглянуть на девушку, как она уже улыбнулась вам.

— Она не сестра вам?

— Никто она мне, просто живет у меня...

— А вы, это самое, — запетлял батюшка, — может, комнаты сдаете?

— Не сдаю, а так, если заедет добрый знакомый, могу принять на ночь-другую. За хорошую плату, конечно.

— Да, да, — засуетился батюшка, — а я, сказать вам откровенно, как раз собирался в скверную гостиницу. Денег мне не жаль, но хотелось бы вечером поболтать с кем-нибудь. Бывает так, знаете... Когда у человека на душе большая забота, хочется поговорить.

— Ну, что ж, оставайтесь, если нравится у меня.

— Большое спасибо. Неудобно мне, священнику, жить в гостинице. В частном доме-то лучше...

Договорились, что батюшка купит мясо и вино, племянница приготовит ужин, и они посидят вечером, чтобы утешить попа.

Если бы было принято в романах, чтобы автор разговаривал непосредственно с персонажами своего романа, то разговор между автором и этим попом выглядел бы примерно так:

А в т о р. Послушай, батюшка, а я вроде тебя знаю!

Б а т ю ш к а. Может быть, сударь, только я не помню, чтоб мы встречались когда.

А в т о р. Как же это не помнишь, батюшка? Не ты ли тот самый поп, что вертелся возле Аники?

Б а т ю ш к а. Какой Аники?

А в т о р. Аники, вдовы Алемпия.

Б а т ю ш к а. Да, покойного Алемпия я помню.

А в т о р. А как же ты тогда не помнишь Анику?

Б а т ю ш к а. Так это была вдова Алемпия?

А в т о р. Конечно, Алемпия! Итак, я видел тебя, батюшка, в первой главе романа у Аники; видел я те-

бя и в пятой главе романа, когда ты крестил ребенка Аники; видел я тебя, мой распрёкрасный батюшка, в десятой главе романа, когда ты на рассвете вышел из села, неся младенца под рясой; а еще я тебя видел, батюшка, у уездного начальника, где ты извивался, как змея в лешеедке; вспомни-ка, батюшка, что я был свидетелем твоего позора и в двенадцатой главе романа, когда едва не разнесся слух, что ты разродился; потом мы с тобой встретились еще раз в четырнадцатой главе романа, в конторе адвоката Фичи. Это была наша последняя встреча. Ты вернулся в село, а я с ребенком остался на некоторое время в городке, и потом мы тронулись в Белград.

Б а т ю ш к а. Да, теперь я вижу, что мы знакомы. Как поживаете?

А в т о р. Слава богу! А как вы, батюшка?

Вот какой мог быть разговор между автором и батюшкой, потому что поп, который пришел к госпоже Маре узнать про свою судьбу, был не кто иной, как поп Пера из Прелепницы.

А теперь, зная, что это за поп, давайте-ка не спускать с него глаз, такой озорник способен даже убежать от нас, и тогда автор оказался бы в пиковом положении, не ведая, как ему закончить эту главу.

Дело было к вечеру, а батюшка уж тут как тут, переселяется из гостиницы к госпоже Маре. Тащит переметную суму, а в ней, кроме смены белья, есть еще мясо, хлеб, фрукты, вино и всякие закуски. Вечер, можно сказать, прошел в доме госпожи Мары прекрасно, почти по-семейному.

Сперва батюшка немного смущался, но то ли доброе вино, то ли ласковые взгляды племянницы поправили дело, и он растаял, как снег на печи.

Батюшка первым делом рассказал о своей «сорочке» (если у читателей хорошая память, то они должны помнить, что так он называл свою жену). Он сжал пальцы в кулак и, показывая костяшки суставов, сказал: «Вот такая у нее спина». Потом он болтал о том о сем, пока госпожа Мара с племянницей не заставили его откровенно признаться, за что его завтра судят, так как чувствовали, что рассказ будет занятным.

— Ах, это, должно быть, очень интересно! — говорила племянница, умоляя попа Перу поведать, за что его судят.

— Да ни за что, — отпирался батюшка. — Неприятность одна случилась, ничего особенного.

— Ну, расскажите же нам! — настаивали госпожа Мара с племянницей.

— Живет в нашем селе девушка Стара, — начал свой рассказ батюшка. — Выросла стройная, как сосенка, щеки у нее, как две половинки румяного персика, а глаза — как две горящие лампадки, залитые маслом до краев. Пройдет мимо, нельзя не обернуться.

У этой девушки была какая-то тяжба в городе. Осталась она без отца, без матери, а дядя хотел оттягать у нее поле, единственное наследство, доставшееся ей после смерти матери; ее и научили подать на дядю в суд. Она часто ходила в город из-за своей тяжбы и в конце концов тяжбу выиграла, а честь потеряла. Ей бы спокойно жить в селе, но она не спит все ночи напролет из-за дурных снов. Возвращаюсь я как-то с вечерни домой, а она встречает меня и говорит: «Батюшка, как быть мне, покоя нет от дурных снов!» — «Дочь моя, — говорю я ей, — есть ли у тебя какой грех на душе?» — «Есть», — прошептала она, а сама глаза опустила, покраснела и стала еще красивее, так что я чуть было не потрепал ее за щечку, да куда там, на дороге стоим, народ туда-сюда ходит! «Э, говорю, раз сама в грехе признаешься, делу помочь нетрудно. Сегодня у нас среда; попостись три дня до воскресенья, а в воскресенье к вечеру придешь ко мне домой исповедоваться. Я посмотрю: если грех не велик, вымолю у бога прощенье, и он избавит тебя от дурных снов».

Пришел я домой, сделал вид, что расстроен, и говорю попадье, что слышал от одного торговца, который скупает по селам продукты, что сестра ее приболела. А ее сестра — тоже попадья в одном городке, полтора дня хода от нашего села:

Попадья забеспокоилась и на другое утро говорит мне: «Знаешь, Пера, отпусти-ка ты меня к сестре, мне ее болезнь покоя не дает». — «Как не отпустить, — говорю я ей, — сестра ведь, одна она у тебя!» Так я и

спровадил попадью, чтобы в воскресенье остаться в доме одному.

В воскресенье к вечеру Стана тут как тут. Трех дней постилась, глаза ввалились, но от этого она вроде бы только красивее стала. «Садись, дочь, говорю, садись сюда, поближе ко мне! Садись и рассказывай все, исповедуйся!» И она рассказала мне все, как было. А был и адвокат, и полицейский чиновник, который брал у нее показания, и свидетель какой-то, и секретарь суда, а все ради того поля. «Простит мне бог грехи?» — спрашивает она. «Какой же это грех! — утешаю я ее.— Бог никому не запрещает любить. Смотри, вот даже я, служитель божий, не отказываю себе, когда мне встречается молоденькая да хорошенькая!» И я ей наглядно доказал, что это никакой не грех, и она совершенно уверилась в том, что я себе не отказываю, когда мне встречается молоденькая да хорошенькая.

На другой день попадья возвращается от сестры и говорит, что сестра здоровехонька и торговец, видно, соврал. Я согласился с ней, а потом опять встречаю Стану, и та жалуется мне, что все еще видит дурные сны.

«Ничего не поделаешь, придется нам снова встретиться для исповеди, но поститься больше не надо!» Так-то оно так, но вот мука — негде нам встретиться. У меня в доме попадья, а у нее в доме какая-то ее тетка, мученье, и только. Наконец предложила она прийти к ней на рассвете на чердак. Говорю ей, не приличествует мне, священнику, лазить по чердакам, а она стоит на своем.

И все бы ничего, если бы кто-то не заметил, как я лезу на чердак, не побежал и не донес попадье. Есть у нас в селе некий Радое Убогий, я с ним в ссоре, и он меня всегда так вот ловит. Наверно, это он и был. Только я начал исповедовать Стану, как чердак затрясся, и в него ворвалась попадья, злая, как змей, из пасти которого семь языков пламени вырываются. Сперва на меня наскочила, ухватила за бороду и вырвала клоч, а потом на девушку и ну ее месить, как хлеб в квашне. Ни девушка, ни я рта раскрыть не смеем. Я сильнее попадья раз в десять, а стою как замороженный, рукой пошевелить не могу.

И это еще не все. Выглянул я из чердака и вижу — Радое Убогий собрал полсела, и все ждут меня с таким нетерпением, будто я не с чердака слезу, а, прости меня, господи, сойду с Синайской горы и принесу им божьи заповеди!

Вот так, — закончил батюшка, — и довели меня неприятности до духовного суда. Теперь вы и сами видите, что виноват не я, а попадья и Радое Убогий!..

И племянница, и госпожа Мара весело смеялись рассказу батюшки, а тот, видя, что доставляет им удовольствие, хотел было рассказать им что-нибудь еще в этом роде, но тут вдруг заревел Сима, который до той поры спокойно спал на тахте. Он целый день отработывал свои пять динаров, вернулся домой усталый и сразу заснул.

— Нашел время, когда просыпаться! — рассердилась госпожа Мара и взяла Симу на руки.

— Дайте его мне, — сказал батюшка.

— Чего это вы? — спросила племянница.

— Я детишек люблю!

И берет батюшка крещенного-перекрещенного Симу на колени, не подозревая, что это тот самый Милич, которого он крестил в прелепницкой церкви, который задал ему столько хлопот, которого он носил под рысой, которого он, можно сказать, породил. А заподозри батюшка, что он отец, он бы, наверно, почувствовал в ту минуту угрызения родительской совести. Но так как накануне заседания духовного суда угрызения совести только бы усложнили батюшке жизнь, автор решил, что в этом романе угрызения совести вообще не будут иметь места.

А раз автор принял такое решение, то Сима продолжал спокойно сидеть на коленях у попа, который качал его и забавлял всячески.

— Красивый ребенок, — сказал батюшка.

— Видно, мать была красивая.

— А известно, кто его мать?

— Кто ее знает! Ни мать, ни отец неизвестны.

— Господи! — задумчиво сказал батюшка. — Какая судьба! Растет и не знает ни отца, ни матери.

И тут Сима с батюшкой встретились взглядами, но Симе и в голову не пришло, что сидит он на отцовских коленях, а батюшке не приходило в голову,

что он когда-нибудь в жизни встретится с Миличем, с которым расстался навеки.

Когда Сима заснул, небольшое общество продолжило свое приятное времяпрепровождение за столом, и батюшка, только что приобретший привычку держать детей на коленях, привлек к себе племянницу, а госпожа Мара при этом воскликнула:

— Я же говорила, что вы озорник. Меня карты никогда не обманывают!

Веселье продолжалось до тех пор, пока не осталось ни капли вина. А когда улеглись, батюшка заснул нескоро. Но спал, видно, крепко, потому что ему приснился странный сон. Будто сидит он в трамвае и подходит к нему кондуктор. Но кондуктор этот не кто иной, как митрополит. И будто кондуктор спрашивает у него билет, и батюшка дает ему, но, вместо того чтобы пробить дырку в билете, митрополит своим компостером отхватывает у него полбороды.

— Плохое предзнаменование! — сказал со вздохом батюшка, проснувшись поутру с тяжелой головой, и пошел в суд.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ,

в которой мораль торжествует, а зло наказано, как и полагается в конце романа

Обычно, сочиняя роман, автор водит своих читателей по разным местам, показывает разные события, водит их, водит, водит и вдруг новую главу начинает так: «Вернемся на минутку, дорогие читатели, туда-то и туда-то!» А это «туда-то и туда-то» и есть то самое место, где начался роман. Я совсем забыл про это обыкновение сочинителей, но хорошо, что хоть под конец вспомнил, а то бы так и закончил роман, нарушив писательские прописи.

Итак, дорогие читатели, вернемся на минутку в село Прелепницу.

С нашими знакомыми — батюшкой, старостой и лавочником Иовой — мы простились в четырнадцатой главе романа, а именно в конторе адвоката Фичи, которому они передали дитя общины, свалив со своих плеч тяжкую заботу.

Возвращаясь в село пешком, но без груза, который прежде, когда они шли в город, был у них и на руках и на сердце, наши знакомые вели теперь самые беззаботные разговоры.

— Хорошо, что нам попался этот Фича. Умный человек! — сказал лавочник.

— И не только умный, но и ловкий! — добавил староста.

— А что касается уездного начальника, — сказал батюшка, — то скажу вам прямо — не понравился он мне. Он тебе, староста, говорил что-то там про комиссию?

— Да, — ответил староста и почесал загривок. — Но когда он сказал, что перещелкает нас ногтем, как блох, то посмотрел он, батюшка, на тебя!

— Почему на меня? — возразил батюшка. — На нас обоих посмотрел!

— А что он сказал вам перед уходом? — спросил лавочник.

— Сказал, — припоминал батюшка, — «и смотрите же, не смейте, переступив порог, забывать, что я спас вас от больших неприятностей».

— А что бы это значило? — спросил староста.

— Что бы это значило? А вот что: я ему к пасхе пошлю ягненка, ты, Иова, после уборки урожая поцлешь ему два бочонка вина, а ты, староста, к рождеству пригонишь ему откормленного кабана. Вот что это значит, да будет тебе известно!

— Наверно, так оно и есть, — задумчиво сказал староста. — Только что же это ты, батюшка, себе определил послать ягненка, а мне — кабана. Разве это по справедливости?

— А как же еще? — ошетинился батюшка. — Много ли с церковной тарелки дохода! Едва на курицу хватает, а у тебя в кассе и государственные налоги, и местные обложения, тебе дать кабана начальнику ничего не стоит.

— А мне разверстал два бочонка вина, будто у меня свой виноградник! — пробормотал лавочник.

— А ты помолчи! — сказал староста. — Ты на своих весах все окупишь. У тебя весы лучше любого виноградника!

Вот так и разговаривали они, возвращаясь в село, а придя, первым делом рассказали писарю, как и что

было, и писарю понравилось, что все кончилось таким образом.

И настала в селе спокойная и тихая жизнь, каждый занялся своим делом. Один лишь Радое Убогий нет-нет да и сбредет что-нибудь в кабаке о том, что было, а для остальных все быльем поросло.

Староста засел в правлении, лавочник носу не кажет из лавки, стараясь наверстать пропавшие деньки и то, что потратил из-за ребенка, а поп Пера опять вспомнил про церковь и, как прежде, стал по праздникам читать проповеди.

Все шло хорошо, как богу и людям угодно. А живя в благодати и благополучии, человек обычно забывает про заботы, которые сбросил с плеч, и что-то не слышно, чтобы поп Пера, староста и лавочник хоть раз вспомнили о словах уездного начальника: «И смотрите же, не смейте, переступив порог, забывать, что я спас вас от больших неприятностей!» Прошла пасха, а батюшка не послал ягненка; собрали урожай, а лавочник не послал вина; прошло рождество, а староста не пригнал кабана, как договорились они и разверстали все промеж себя, когда еще земля горела под ногами.

Но если батюшка, староста и лавочник забыли, не забыл уездный начальник, и однажды в селе появился чиновник из уезда. Соскочив с коня перед правлением общины, он вошел в дом и приказал посылному позвать старосту и писаря.

— Староста, а ну, подать сюда книги! Посмотрим, сколько собрано государственных налогов и других обложений!

Известно, что староста насчет таких вещей был чувствителен, как пятнадцатилетняя девочка, и, как только чиновник упомянул про налоги и книги, у него тотчас начались колики в желудке. Он сел на стул и в отчаянии поглядел на писаря.

— Поживей, староста, поживей! — настаивал чиновник, а старосте хоть бы дух перевести, дожждаться, пока колики пройдут.

Наконец староста обрел дар речи и говорит:

— К чему это нам, господин чиновник, книги смотреть да маяться? Открою я кассу, и пересчитаем, что там есть, в кассе-то!

— Ну-ну,— говорит чиновник,— подавай-ка мне книги!

Не мог, конечно, староста противостоять настойчивости чиновника, достал из ящика книги и дал их, сказав при этом:

— У тебя, господин чиновник, дел тут много будет, удержишься небось до полудня. Сбегаю-ка я и прикажу, чтоб зарезали молочного поросенка, как раз к полудню и поспеет.

— Ну, ну,— говорит чиновник,— я быстро управлюсь. А ты отсюда чтоб никуда ни шагу!

Это «никуда ни шагу!» совсем не понравилось старосте, он почувствовал, как мурашки пробежали по всему телу, опять у него начались колики в желудке, и он в отчаянии поглядел на писаря.

А писарь голову опустил, не смотрит ни на чиновника, ни на старосту, делает вид, что занят своими бумагами.

Чиновник стал подсчитывать вслух:

— Семь и четыре — одиннадцать, пять и девять — четырнадцать, шесть и одиннадцать — семнадцать...

Староста сидит на стуле и повторяет за ним шепотом: «одиннадцать», «четырнадцать», «семнадцать», а в голове мутно, туман перед глазами, какие-то странные видения. Цифра одиннадцать представилась ему вилами, которые его вот-вот заколют, четырнадцать — громадным камнем, который валится на него, а семнадцать — худой, костлявой рукой, которая схватила его за глотку. А когда при подсчете чиновник сказал: «Четыре тысячи семьсот двадцать один», староста почувствовал, как громадный ноготь придавил его всей своей тяжестью, почувствовал, как он, староста, лопается точно так, как лопается под ногтем насосавшаяся крови блоха.

— Ты слышишь, староста? — заставил очнуться его голос чиновника.

— Слышу, господин чиновник! — вздрогнув, откликнулся он.

— В кассе твоей должно быть четыре тысячи семьсот двадцать один динар.

— Должно быть! — сказал староста.

— Открывай, староста, посчитаем!

— А чего считать,— молвил староста,— столько и

будет, ни на грош больше. Пойдем-ка лучше, господин чиновник, и зарежем поросеночка на обед.

— Пообедаем, староста, когда закончим. Я за десять минут сосчитаю.

— Да что ты говоришь!

— Открывай, староста, кассу,

— Неужто считать будешь?

— Конечно, буду.

— Я же говорю,— медлил староста,— сколько ты сказал, столько там и есть, зачем считать?

— Давай-ка открывай!

Не мог, конечно, староста и на этот раз противостоять настойчивости чиновника, достал из кошелька ключи и отпер кассу. Чиновник выгреб оттуда все деньги на стол и начал считать, а обессилевший вдруг староста опустился на стул и снова ощутил, как поползли мурашки по всему его телу, как начались колики в желудке. Чиновник быстро сосчитал и, подняв голову, сказал:

— Ну, староста, здесь у тебя три тысячи девятьсот сорок один динар.

— Столько и есть,— согласился староста,— ни на грош больше, ни на грош меньше.

— А где у тебя еще семьсот восемьдесят динаров?

— Тут они, все тут! — заворковал староста горлицей.

— Здесь их нет, староста! А ты, писарь, знаешь, где эти деньги?

Писарь поднял голову и чуть было не сказал: «Это в свое время себя окажет!»

— Эх, староста, друг и брат мой,— сказал чиновник,— давай-ка мы составим протокол, и ты дашь показания...

И в тот же миг староста снова представил себе, как лопается блоха под ногтем уездного начальника.

Что было дальше в правлении общины, мы не знаем, только вскоре выбежал оттуда посыльный Срея и позвал Аксентие Джёкича, старейшего члена правления. Чиновник возложил на него обязанности председателя общины, а сам со старостой и какими-то документами отбыл в город.

Вечером писарь в кабаке за графинчиком, заказанным Радое Убогим, рассказывал так:

— Партийные интриги! Человека взяли из партийных соображений. Хотел чиновник и ко мне придрататься, но я ему кулак под нос и говорю: «Знаю я, господин чиновник, законы так же хорошо, как и ты, и даже получше тебя, потому что жил за границей, где власти не смеют так вот безнаказанно притеснять граждан!»

— А много у него не хватило в кассе? — спросил Радое Убогий.

— Семьсот восемьдесят динаров!

— Ого! — воскликнул Радое Убогий и заказал писарю еще графинчик.

— Спрашивает меня чиновник, — продолжал писарь. — «Что это, господин писарь?» — «А это в административном деле, называется дефицит», — говорю я ему. — «Правильно, писарь», — говорит чиновник и записывает все слово в слово, как я сказал.

— А что такое дефицит? — спрашивает Радое Убогий.

— Есть такая штука в административном деле, — говорит писарь, и видно, что ему нравится повторять это иностранное слово. — Дефицит — это вот что: посмотришь в книги, деньги все тут; заглянешь в кассу, а денег нет. Вот это самое и есть дефицит.

Такие разговоры велись и в тот вечер, и на другой день, и много дней спустя, потому как отбыл староста с чиновником, так и не вернулся больше в село. Дали ему из-за партийных интриг два года тюрьмы и увезли в Белград.

Прошло немного времени, и писарь тоже потерял желание оставаться в общине. Он сказал:

— Уеду в Германию, там меня все уважают и ценят!

Подал он в отставку и однажды ушел, не сказав никому куда, но все остались в полной уверенности, что в Германию.

Так и тянулось одно за другим, словно повальная болезнь началась или мор. Только о старосте перестали в селе говорить, только забыли его, как случилось такое, о чем Прелепнице разговоров хватит надолго.

Однажды утром Радое Убогий встал до света и отправился в село, Крманы по какому-то делу. И вдруг

на краю села он заметил попа, который осторожно, озираясь по сторонам, лез по лестнице на чердак. Удивился этому Радое и стал сам с собой размышлять:

— Сказал бы, что хороший хозяин решил заглянуть на чердак, так нет — тогда бы он полез на свой чердак, а не на чужой; сказал бы, что священник пошел служить утреню, опять же нет — до сих пор не бывало такого, чтоб на чердаках утрени служили.

А так как у Радое издавна из-за Аники был зуб на батюшку, то он отложил свои дела в Крманах и поскорее вернулся в село да прямо к попадье, которую застал во дворе, где она уже хлопотала по хозяйству.

— Доброе утро, матушка! — поздоровался из-за плетня Радое.

— Благослови тебя господь, Радое! — откликнулась попадьа.

— Батюшка дома? — спросил Радое.

— Нет его, чуть свет ушел утреню служить.

— Так он на утрене?

— Да, — ответила попадьа.

— А с каких это пор он служит утрени на чердаке?

— На каком чердаке? — удивилась попадьа.

— Я его только что видел, карабкался он на чердак к Живке Здравковой!

— Какой Живке Здравковой?

— Да той, у которой Стана, девка, что таскалась в город из-за надела.

Попадьа зашипела, как гадюка, схватила вилы, что оказались под рукой, и разом выскочила со двора на дорогу.

— А ты своими глазами видел? — спросила она Радое на бегу.

— Своими, — подтвердил он, и попадьа наддала еще.

Смотрят на нее крестьяне, оборачиваются ей вслед и удивляются, но недолго, потому что тут же подоспевает Радое и всем объясняет:

— Айда, люди, за мной, увидите чудо невиданное. Поп служит утреню на чердаке, а попадьа бежит за жечь ему кадильницу.

— Что ты говоришь, человек! — изумлялись мужики, но все же их тянет узнать, что случилось, и они даже дела бросают и идут следом за Радое.

А как соберутся трое-четверо, то уж дальше толпа сама собой собирается. Не только мужики, но и бабы сбились в кучу, и все двинулись туда, где назревала беда.

Толпа остановилась у дома, глаза на чердак, а сверху доносился такой грохот, будто целое войско баталию разыгрывало. Ничего не видно, и иногда только раздается визг. Порой был слышен мужской голос: «Полегче, побойся бога!», а порой женский: «Проклятая сучка, вот я тебе, вот!»

Потом вроде бы потише стало, и на лестнице появился поп, но вид у батюшки — не дай боже! Ряса разорвана, вся в лохмотьях, камилавка в лепешку превратилась, а борода с одной стороны вырвана, и на щеке кровавая ссадина.

Немного погода показалась на лестнице и попадья с переломанными вилами, а третья, Стана, та не захотела слезать с чердака, осталась там, зарылась с головой в сено, проклиная тот день и час, когда ей пришлось в голову исповедоваться, но утешаясь хоть тем, что после трепки ее непременно перестанут мучить дурные сны.

Батюшка, разумеется, даже доброго утра не пожелал тем, что собрались под лестницей, а глянул искоса и пропустил так, словно его ветер понес.

— Кто бы мог подумать, — сказал Спасое Томич, — что батюшка у нас такой резвый!

— А что ж тут такого, Спасое, — добавил другой. — Был бы и ты резвый, если б о твою спину вилы переломили. А видали, как он там, на чердаке, побрился без мыла?

— Пошли, мужики, в кабак, плачу за выпивку! — предложил Радое Убогий, предвкушая приятные разговоры.

Они еще не дошли до кабака, а там уже собрались другие и тоже толкуют о происшествии. Весть о нем разнеслась по селу так быстро, будто ее глашатай с барабаном объявил. Люди встали пораньше, собрались на работу, а теперь и не думают идти. Одни

столпились тут, на дороге, другие там, у ворот, а третьи засели в кабаке, и все громко говорили о том, что произошло, и громко смеялись. И конца-краю не было разговорам ни в тот день, ни в следующие. Говорили и в кабаке, и на дороге, и в правлении общины, и в поле... Где двое встретятся, там и разговор, и все об одном и том же.

А батюшка с половиной бороды заперся в комнате и никуда не выходит, даже в церкви не служит.

И надо же так случиться, что в это время возьми и помри Рая Янич. Батюшке некуда деваться, обязан он отпеть покойника, нельзя же человека без отпевания хоронить. А теперь представьте себе, что это были за похороны! Пришли все, от мала до велика, но не для того, чтобы почтить покойника, который был человеком склочным и не в ладах со многими; люди пришли, чтобы собственными глазами посмотреть на попа, до тех пор не казавшего носу из дому.

Похороны получились, разумеется, совсем не такие, какие приличествовали бы доброму христианину. Смех один, а не похороны, и оттого каждый чувствовал на душе грех и трижды крестился у могилы, шепча про себя: «Прости меня, господи!»

А отец Пера, несмотря на то, что припекало солнце, закрутил шею шалью и с одной стороны поднял ее до самого уха (с той самой, где не было бороды). Он пел за упокой души Раи, но не так громко, как прежде, а больше шипел, как гусак. И шел робко, как невеста под венец, и смотрел несмело, как девушка, в первый раз глядящая в глаза парню.

Батюшкин позор не остался, разумеется, в пределах села Прелепницы, молва пошла по всем селам, а Радое, конечно уж, постарался, чтобы о нем узнали и в округе, а из окружного управления весть о позоре была послана в белградский духовный суд. Отца Перу вызывали несколько раз к окружному протопопу — допрашивали, расследовали и наконец вызвали в Белград на суд.

Так вот однажды и оказался батюшка в Белграде.

С лысой стороны выросла у него небольшая борода, другую сторону он чуть подкромсал и опять обрел приличный вид. С собой он взял смену белья и трех зарезанных и хорошо очищенных, обсмоленных поросят для членов духовного суда. Прибыл дня за четыре

до суда, чтобы обойти судей, познакомиться с обстановкой и постараться облегчить свою участь по мере возможности.

Так как до суда еще оставалось время, однажды утром батюшка решил исполнить тот свой долг, к которому обязывала его и дружба, и пастырское сознание. Помня обычай приносить подарки арестантам и больным, батюшка купил три пачки табака и пошел в верхний город навестить старосту.

Встреча была трогательной и весьма живописной. Крепко обнялись батюшка в черной рясе, разодранной на чердаке, и староста в белой арестантской одежде, которая, впрочем, сидела на нем весьма недурно. Объятия были долгими. Кто знает, не вспомнили ли оба в ту минуту свою давнюю ссору и слова старосты:

«Ну и ну, поп, дай нам бог обоим долгой жизни, авось увижу, как тебя расстригать будут!»

На что ему батюшка тогда же ответил:

«На свете всякое бывает, но что я увижу тебя в кандалах, вот это я знаю твердо, как «Отче наш»!»

И вот они обнимаются, староста в арестантской одежде и батюшка в канун того дня, когда его будут расстригать.

Батюшка пробыл у старосты долго, потому что тот подробно расспрашивал о селе, о людях и жизни тамошней, а потом рассказал о своих планах на будущее:

— Как только вернусь из тюрьмы, выставлю свою кандидатуру в депутаты скупщины.

Простившись, батюшка пошел навестить одного из членов духовного суда. Сел он в трамвай у самого Калемегдана, и вы можете представить себе, как он изумился, когда к нему подошел кондуктор. Вместо того чтобы купить билет, батюшка вскочил с места и обнял кондуктора.

— Неужто это ты? — воскликнул пораженный батюшка.

— Понимаешь, поехал я было в Германию, — сказал ему писарь, — а здешняя электростанция пристала ко мне и говорит: «Погоди, оставайся здесь, ты нам нужен!» Я говорю электростанции: «Мне за границу

надо!» А электростанция пристала, как банный лист, шагу ступить не дает, вот я и остался!

Батюшка дважды проехался до Дорчола и обратно, все разговаривал с писарем, который и направил его к гадалке госпоже Маре, чтобы она ему все, как есть, сказала — и что будет, и чем суд кончится.

Вот с чем к концу романа пришли батюшка, староста и писарь; недаром же в народе говорят, что бог ни у кого в долгу не остается.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ,

которую читатель прочтет с особым удовольствием, потому что это глава последняя

Раз это последняя глава романа, то по прописям, по которым сочиняются романы, в конце этой главы «героя и героиню» полагалось бы обвенчать. Гм, а кого же мне венчать, если события сложились так, что выполнить это важное, главное, так сказать, правило почти невозможно? Не могу же я поженить Анику с батюшкой Перой! Во-первых, и по сей день неизвестно, где Аника, а во-вторых, батюшка — это батюшка, да к тому же при живой жене его не женишь. Не могу я женить и господина полицейского Ристу на госпоже Ленке Петрович, той самой, что подала ему ключ в окно, так как муж у госпожи Ленки тоже еще живой. Не могу я поженить господина Васу Джюрича, чиновника отделения по делам наследства, и вдовушку госпожу Милеву, потому что госпожа Милева, которая так искусно спрятала башмак господина Васы, все еще не вышла из Пожаревацкой тюрьмы. Не могу я женить и семинариста Тому, обладателя столь сильных чувств, на Марии Магдалине, потому что Тома оставил всякую мысль об артистической карьере, и вон он, взгляните, служит теперь на левом клиросе в палилулской церкви, кончает четвертый курс семинарии и приискивает приход. Не могут пожениться Пера-Отелло с Персой-Дездемоной, потому что после той жуткой трагедии, которая разыгралась между ними, они расстались навеки и больше никогда не встречались. Не могут пожениться и Эльза, дочь

мастерицы Юлианы, с пожарным или музыкантом из седьмого пехотного полка, потому что из-за события, известного нам по картине, нарисованной господином Симой в своем воображении, эта любовь закончилась тем, что Эльзу огрели кулаком по спине. Не могут пожениться даже учитель музыки со свояченицей портного Иовы, потому что между ними стала та самая фатальная записочка.

Но кто же все-таки мог бы пожениться в конце этой главы? Никто, никто! И автор выражает глубокое сожаление по поводу того, что в этом отношении удовлетворить запросы своих дорогих читателей он оказался не в состоянии.

Значит, остается одно — завершить роман судьбой обычного дитя, обладателя сразу трех имен.

Милич, Неделько или Сима, на выбор, все еще живет у госпожи Мары, которой его отдали на месяц, пока не образуется общество призрения подкидышей. Но пока продолжались съезды, заседания, собрания, пока комитеты в узком составе делали доклады комитетам в расширенном составе, пока подбирались материалы, пока продолжались обстоятельные, долгие и горячие дебаты из-за той или иной запятой, пока назначенные заседания не собирали кворума и назначались другие собрания, которые могли принимать решения независимо от числа присутствовавших, пока меняли устав и избирали временные и постоянные правления, время шло, проходили дни, проходили месяцы и даже годы.

Госпожа Мара не протестовала против того, что дело затянулось; господин Сима регулярно оплачивал ей из своего кармана содержание ребенка, да и маленький Сима прилично зарабатывал, потому что она продолжала давать его напрокат.

За это время Сима, разумеется, подрос, вырос и влился в ряды палилулских сорванцов. Если еще принять во внимание, что в Палилуле как девочки, так и мальчики созревают гораздо раньше, чем в прочих районах столицы, то станет ясно, почему случилось то, что случится на последней странице романа.

Итак, однажды, после того как была закончена подготовительная работа и устранены все препятствия, господин Сима назначил первое заседание правления. На этом заседании господин председатель;

кроме прочих пунктов повестки дня, поставил вопрос об одном ребенке, который уже несколько лет с нетерпением ждет основания данного общества. Правление единогласно решило как можно быстрее пойти навстречу нетерпеливому ребенку и принять его в качестве питомца номер один общества призрения подкидышей. Господин Сима Неделькович и еще один член правления взяли на себя приятный долг лично сообщить это решение кандидату и отправились после заседания домой к госпоже Маре.

А теперь представьте себе изумление господина председателя общества призрения подкидышей и господина члена правления, когда они услышали от госпожи Мары поразительную весть о том, что дитя общины сбежало.

— Что вы говорите! — воскликнул господин Сима и всплеснул руками. На лбу его выступил пот, а родительское сердце облилось кровью.

— Так уж получилось, сударь, — сказала госпожа Мара. — Ребенок был такой беспокойный, такой озорной. Будь у меня сто глаз, я б за ним не усмотрела.

— Может, он где-нибудь прячется?

В глазах господина Симы блеснул луч последней надежды, и в своей родительской тревоге он готов был искать ребенка в подвале, на чердаке, в курятнике и в прочих местах, где прячутся озорные дети.

— Нет, убежал он. Он и прежде говорил мне несколько раз, что убежит.

— А вы его искали? — взволнованно спросил председатель общества призрения подкидышей.

— Как не искать, искала, — оправдывалась госпожа Мара, — и дома искала, и по соседству. И за город ходила, и в полицию заявила. Вот уже четвертый день глаз из-за него не смыкаю.

* * *

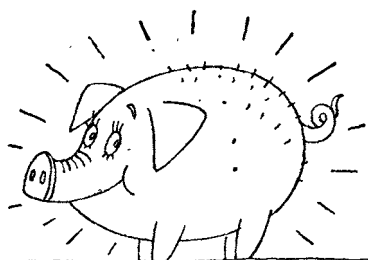
Так вот и сбежало дитя общины!

Сбежало от госпожи Мары, которая воспитывала его, как родная мать; сбежало от своего благодетеля господина Симы Недельковича; сбежало от общества

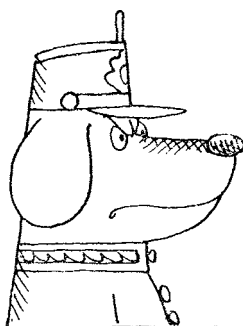
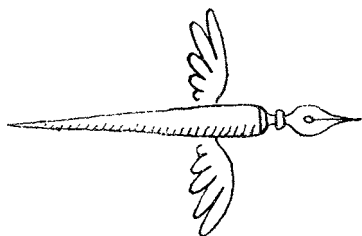
признания подкидышей, которое ради него и было образовано; сбегало от вас, дорогие читатели, с такой любовью следивших за его приключениями; сбегало и от меня, сочинителя, после того, как дало мне материал для целого романа.

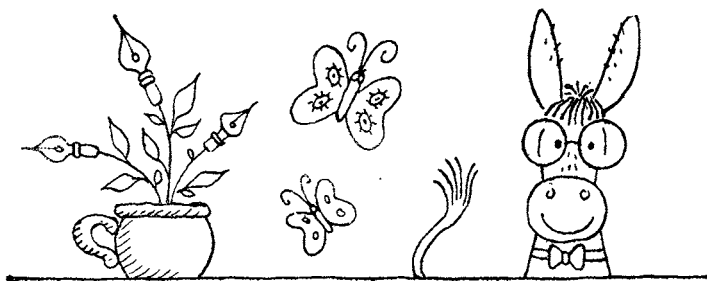
И что теперь делать без него?

Остается одно, дорогие мои читатели,— дать вам честное слово, что я устрою погоню за этим озорником и, если найду его, обещаю написать продолжение романа.




Пасканы
и
фрэманы





ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТИВНИК

 то было в те времена, когда у нас, людей образованных, появилось благородное стремление пойти в народ и разбудить его. Тогда и я в городке С. предпринял издание одной газеты, прославившей себя тем, что она была первой и вместе с тем последней газетой в этом городке. Эта газета была и останется на века единственным проявлением культуры в С.

И если бы вы знали, какая это была газета! Она была поделена на рубрики, в ней были заголовки и подзаголовки. В ней помещались литературные новости, сенсации, телеграммы и все прочее, что полагается иметь серьезной газете. В самой редакции газеты разделение труда было следующее: я писал передовицы, телеграммы составлял я; я же заполнял литературную страничку, «Юмор», «Торговлю и оборот» и, наконец, «Объявления». Одним словом, я был самым главным своим сотрудником.

Передовые статьи я начинал обычно в высоком стиле — например, словами: «*Sine ira et studio*»¹, или: «*Jacta est alea*»², или: «*Vitam comprehendere vero*»³ и так далее. Затем я пространно писал о городской пыли, общинных фонарях и многих других вещах. И обычно эти статьи заканчивал фразами, вроде: «Твердый орешек не сразу раскусишь!», или: «Ни богу свечка, ни черту кочерга», или: «И мы не лыком шиты!»

¹ Без гнева и пристрастия (лат.).

² Жребий брошен (лат.).

³ Вонстину познать жизнь (лат.).

С обзором международных событий дело обстоит просто. Упомяну две-три политические личности, два-три курорта, где встречаются государственные деятели, вставлю два-три иностранных слова — вот и готов политический обзор. Из международного словаря я чаще всего употреблял слова: Бисмарк, Гирс, Гладстон, Бад-Ишль, Гастингс, Баден-Баден и, наконец, «инициатива», «компромисс» и «солидарность».

В рубрике «Новости дня» я обычно отмечал явления местного значения, например: «Сегодня в наш город прибыли четыре человека, что дает возможность сделать глубокие выводы о развитии нашего города». Или: «Освещение нашего города быстро прогрессирует. Вчера городская община решила на свои средства поставить еще один фонарь. Это уже девятый фонарь за последние двадцать четыре года, и, если городская община не ослабит своего рвения, наш город станет одним из самых освещенных городов провинции».

Политические телеграммы я перепечатывал из подшивки старых газет: «Бисмарк отбыл в...», «Эрцгерцог пребывает в Бад-Ишле...» — и с телеграммами покончено. Впрочем, такие телеграммы можно перепечатывать из года в год.

Для литературной странички я купил одну книгу. В ней была изложена очень занимательная любовная история. Помнится мне, что там дело касалось двоих, которые полюбили друг друга, а родители их, враждовавшие между собой, не хотели и слышать об этой любви. Так как они не могли пожениться, один из них в конце книги покончил жизнь самоубийством. И эта длинная история отлично перепечатывалась и заполняла литературную страничку.

Для раздела «Юмор» материал был не всегда, но я ловко выходил из этого затруднения, составляя «мудрые изречения», которые извлекал из Священного писания, катехизиса и других хороших книг.

С рубрикой «Торговля и оборот» я и сейчас, черт меня поberi, не знаю, как выкручивался. Эта рубрика приносила мне самые большие мучения, и над ней мне приходилось больше всего грызть перо. В один день напишу: «На будапештском рынке падают цены из-за малого числа покупателей»; на другой день: «Из-за малого числа покупателей на будапешт-

ском рынке падают цены...» А что писать на третий день?

Объявления если кто принес, хорошо, а нет, так сам объявляю, что продаю «старое стекло», «500 литров красного вина», «дубовый и еловый лесоматериал», «1000 штук черепицы», снова «старые, но лакированные хомуты», — один бог знает, чего только я там не объявлял!

И таким образом, как видите, я один «одевал» свою газету с головы до пят.

Редакция моя находилась в центре базара; правда, помещение было низковато, но я высоко и не метил. В углу у окошка стоял большой ларь и на нем — шкалик с чернилами и перо, которым я писал и передовицы, и объявления, и мудрые изречения. Сейчас никто не поверил бы, что все это можно было написать одним-единственным пером.

На ларе всегда наготове лежали длинные листы бумаги для передовых статей, и на них уже за месяц вперед были написаны заголовки. На стене висели две-три иностранные газеты, чтобы всякий, кто бы ни зашел в редакцию, их видел, а рядом с ними висели мои праздничные брюки.

Так приблизительно выглядела моя редакция.

Ближайшим моим соседом был Йоца Бочарский, парикмахер, воспитанный и учтивый человек, известный в городе тем, что его уже семь раз судили за драки, в которых он всегда пускал в ход свою домру, да так, что два эксперта заявили на суде, что считают ее смертоносным оружием. Я ему бесплатно давал газету, так как он всегда приходил мне на помощь, когда кто-либо из подписчиков являлся бить меня за то, что ему, несмотря на внесенную плату, не доставляется газета.

Мой разносчик газет не отличался усердием, но и он был весьма почтенным человеком. Он имел обыкновение злиться на самого себя и, чтобы долго не мучиться, ложился спать. Случалось и такое: только выйдет номер, а он разозлится, изругает сам себя и залезет в тот ларь, что служит мне столом, подложит под голову старые номера газеты и мирно захрапит. Я ему ласково говорю:

— Яков, прошу вас, встаньте и разнесите номер!

А он зло на меня посмотрит из ларя, будто желая

сказать: «Как мне платишь, так я тебе и разношу»,— повернется на другой бок и продолжает спать. Разумеется, в этом случае я прячу номера под пальто и сам их разношу, а по возвращении докладываю ему, что дело сделано.

Однажды в базарный день ему потребовались деньги, а у меня случайно их не оказалось. Он сначала разозлился на себя, затем на меня, схватил меня за горло и притиснул к стене. Тут, как всегда, на помощь прибежал сосед Бочарский; он растащил нас и уговорил простить все друг другу и помириться.

Так шли дела. Иногда у меня были деньги, и я обедал в кофейне. Там я обычно вел важные разговоры с людьми, которые считали меня очень умным человеком; с теми же, которые считали меня равным себе по уму, я обычно не разговаривал.

А бывало, иной раз особенно удастся передовица. По этому случаю я обычно надвигаю шляпу на глаза и прохожу по всем улицам, на которых живут мои подпсичики. Целый день хожу по тем местам, где собираются люди, стою по часу и по два на рыночной площади да все из-под шляпы посматриваю, какое впечатление я произвожу на этих людей; удивляются ли мне, указывает ли кто-нибудь пальцем на меня...

В политику я не вмешивался, но однажды попал в очень неприятную историю. Мне нужно было написать передовую статью, и я сделал такой заголовок: «*Quisque suorum verborum optimus interpres*»¹. И черт его знает, что со мной случилось, но втемяшилось мне в голову, что под таким заголовком нельзя писать ни о чем другом, кроме как о нашем городском голове. Я попытался изгнать эти опасные мысли и начал писать о том, что нашему городу необходимо иметь два рынка, как в столице... Но увы! Разве «*Quisque suorum...*» подходит к рынкам? Такой заголовок годен только для городского головы.

О городском голове можно много кое-чего написать, но мне казалось,— не знаю почему,— что под таким заголовком его можно только изругать, и больше ничего. Тем более что я вбил себе в голову закончить статью восклицанием: «Око за око, зуб за зуб».

¹ Каждый человек самый лучший толкователь собственных слов (лат.).

Итак, против воли, буквально подталкиваемый какой-то внутренней силой, я изругал безвинного городского голову — и все из-за латицкого заголовка и кровожадной концовки.

Как бы то ни было, но это событие совершило в городе чудо. Люди просто не могли удержаться и со слезами на глазах поздравляли меня с храбрым поступком. Куда бы я ни пошел, на меня показывали пальцем.

В этот день я целых три часа простоял на рыночной площади, а затем прошел даже по тем улицам, где у меня не было подписчиков. Я заглянул в несколько кофеен и пошел к вечерне в церковь. Как только я замечал, что собиралось двое-трое людей, я тотчас же проходил возле них, и повсюду на меня взирали с восхищением.

Разумеется, были и такие (особенно общинные чиновники), которые обливали меня презрением. В душе я чувствовал, что вместе с приверженцами я заполучил и большое число противников.

И действительно, после этой статьи все пошло не так гладко, как вначале.

Через два-три дня после этого события сижу я утром в редакции и, стелая, сочиняю «Торговлю и оборот». Яков в этот день проснулся рано, надел мои праздничные брюки и куда-то ушел, а я остался один. Мучился я, мучился, как вдруг в редакцию вошел неизвестный человек странной наружности. Он широко шагал, лицо у него было хмурое, а за пазухой что-то оттопыривалось.

Только он вошел в редакцию, как я вообразил, что сейчас меня будут бить и все такое прочее. Мне тотчас пришло в голову, что это один из моих политических противников, посланный, может быть, самим городским головой, который заставит меня держать ответ за мои писания. Я посмотрел направо, налево, но, кроме шкалика, служившего мне чернильницей, никакого другого оборонительного оружия поблизости не увидел.

Когда странный человек подошел к моему столу, я поджал ноги под стул и с отчаянием посмотрел на дверь, которая в тот миг показалась мне страшно далекой.

— Добрый день! — говорит неизвестный и садится на кипу газет.

— Добрый день! — выдавливаю я, глотая слюну.

— Вы редактор этой газеты? — хмуро осведомляется он.

У меня сдавило горло, я охрип, и поэтому мое: «Да, я» — прозвучало так тихо и неясно, как будто я говорил сквозь камышовую дудочку.

В тот же миг я увидел, что он вынимает руку из-за оттопыренной пазухи; меня охватила дрожь.

И — о ужас! — он достает... Что бы вы думали?.. Громадный револьвер!.. Перо выпало у меня из руки.

— Видите этот револьвер? — решительно спросил он.

Я, жалкая редакционная крыса, хотел было ему что-то сказать, но в это мгновение у меня из верхней челюсти выпал зуб, который шатался уже целый год.

— Как вам нравится этот револьвер? — прогремел зловещий человек и поднес револьвер к моему носу.

Я закричал хриплым голосом и, откуда только сила взялась, перескочил через ларь и выбил стекло. Весь израненный, я выскочил без шапки и пальто на улицу, шепча, не знаю сам почему, концовку моей предпоследней статьи: «И мы не лыком шиты!»

В тот отчаянный миг я заметил вывеску своего соседа Йоцы Бочарского, и тотчас же в моей памяти всплыла его смертоносная домра. Я ворвался к нему в парикмахерскую, крича, как овца перед закланием:

— Убивают!.. Политический противник! Ой! Караул!

Йоца Бочарский, бривший клиента, вздрогнул и порезал мирного гражданина, который не вмешивался в политику. Мне до сих пор жаль, что этот человек пострадал ни за что.

— Где? Кто? Что? — закричал во весь голос Йоца и побежал снимать со стены домру, а мирный гражданин в страхе кинулся бежать по улице как был — с салфеткой на шее и мылом на физиономии.

— Иди скорей, поддержи дверь редакции, чтобы он не убежал, пока я не приведу жандармов! — ответил я ему, выбежал на улицу и помчался по ней без шапки, весь окровавленный, изрезанный стеклом.

Когда я вернулся с жандармами и тысячей ребятишек и зевак, Йоца стоял у дверей редакции и подпирал их плечами, а его подмастерье Стева Данин, взяв широкую доску, на которой месят тесто, и закрыв ею разбитое окно, крепко подпер ее спиной.

Жандармы остановились на мгновение, как бы собираясь с духом, переглянулись значительно, и наконец обладатель больших усов, жандарм Вуча, который всегда хвастался тем, что был гайдуком и ограбил два государственных дилижанса (за что был особенно почитаем горожанами), поднял свою большую палку, важно произнес: «Пст!», а затем скомандовал: «Отпускай!»

Йоца Бочарский отскочил от двери, и жандармы, вежливо уступая друг другу дорогу, вошли в редакцию, а за ними хлынул народ.

Политический противник спокойно сидел у ларя, а на ларе лежал злополучный револьвер.

Прошло много времени, пока мы наконец объяснились. А дело, между прочим, было очень простое. Этот человек оказался вовсе не политическим противником, а всего-навсего торговым агентом, который продавал револьверы. Он пришел поместить объявление в газете и хотел спросить меня, как мне нравятся его револьверы. А то, что я понял его превратно, это уже мой грех!

Как бы то ни было, но с тех пор я больше никогда не употреблял заголовка «*Quisque suorum verbosum*» и вообще возненавидел латинский язык.

ТРИНАДЦАТЫЙ

У него отобрали колокольчик! Говорят, господина уездного начальника рассердило, что Петроние Евремович каждую минуту звонит. Говорят также, что господин начальник при этом заметил:

— Ну, сударь мой, если у него, у регистратора, есть колокольчик, то мне, начальнику уезда, целую колокольню на столе заводить надо!

Петроние неправильно понял господина начальника. Когда у него отобрали колокольчик, он подумал, что колокольчик понадобился кому-нибудь из началь-

ства. А раз это нужно начальству, чиновник спрятался, как черепаха, в панцирь своей покорности и замолчал. Он думал, что будет откладывать понемногу из своего жалованья и сам себе купит колокольчик. Но господин начальник, «в принципе» запретивший ему звонить, сказал:

— Вы можете, если хотите, купить себе хоть бубенчики, но отнесите их домой и звоните сколько душе угодно. В канцелярии могут звонить только начальник и секретарь!

* * *

А когда-то Петроние Евремович трезвонил вовсю. Это было в то время, когда у него была еще пышная шевелюра. Тогда он носил пробор на голове, тесные, лихо поскрипывавшие ботинки, пеструю рубашку с развевающимся галстуком и зеркальце в кармане. Тогда он водил коло на вечеринках, пел в хоре, фотографировался в разных позах, носил розу в петлице пальто и объяснялся в любви направо и налево. Ах, молодость, молодость, а теперь от всего этого остались только приятные воспоминания да огромные мозоли на ногах.

Нынешний Петроние Евремович совсем другой человек. Теперь Петроние Евремович — вечный маленький чиновник, с подстриженными усами, в бесформенных ботинках и пальто цвета багряно-желтого листа акации, с гладкой лысиной, которую он заботливо прикрывает остатками волос с затылка. У этого-то Петроние Евремовича господин начальник и отобрал колокольчик.

Но дело не в колокольчике; колокольчик, можно сказать, мелочь, господин начальник вообще относится к нему не как к чиновнику, прослужившему уже много лет. Другим его коллегам, например, разрешается курить в канцелярии, а Петроние — нет, потому что, как говорят, у него привычка плевать во время курения, и он устраивает вокруг себя целое озеро. Как-то один чиновник громко пел в канцелярии, и ему это сошло с рук; а Петроние, который хотел было «со вкусом» чихнуть и затянул стариковское: «а!..», столь гармонично сливающееся с чиханием, начальник выгнал из канцелярии, оборвав на самой высокой ноте

и бросив ему вслед, что «впредь, когда ему захочется чихнуть, пусть выходит на улицу».

— Ясно вам? — еще строже добавил начальник.

— Ясно! — ответил Петроние.

Да разве один уездный начальник допекал Петроние! Но Петроние терпеливо сносил все издевательства и обиды. В уездной канцелярии, где работал Петроние, было еще два чиновника, которые по сравнению с ним не заслуживали этого звания и могли бы называться просто «перогрызы». Один из них — бывший актер какого-то бродячего театра, а другой — разжалованный капрал. Они так донимали его своими глупостями, что уже не было никаких сил выносить все это. Они смеялись Петроние в лицо и подстраивали ему всякие каверзы. Воткнул, например, ему в стул иголку, ни в чем не повинный Петроние садится и издает такой душераздирающий вопль, что все стражники сбегаются. Или спрячут документы, или будто бы нечаянно зальют чернилами бумагу, на переписку которой он потратил столько труда, или пристроят громоздкую папку с бумагами на край шкафа над его головой, и только Петроние прислонится к шкафу, как папка срывается и с грохотом валит его на пол. Однажды они вымазали его сажей, когда он по слабости человеческой немного вздремнул после обеда, а потом пустили его в таком виде снимать дознание с одной молодой вдовушки; в другой раз они будто бы нечаянно заперли его во время перерыва в канцелярии, а ключ унесли с собою, и Петроние остался без обеда.

Но все это Петроние сносил терпеливо, он только пожимал плечами, а иногда даже сам смеялся. Одно только постоянно грызло и мучило его: двадцать один год прослужил он в уездной канцелярии, а указа о производстве его в штатные чиновники все не было и не было. А у него было одно-единственное желание в жизни: получить чин и гордо пройти по центральной улице, здороваясь со всеми встречными:

— Здравствуй, газда Миялко, как дела? Доброе утро, газда Трифун, как поживаешь?

А газда Миялко, газда Трифун и все остальные чтобы ему отвечали:

— Слава богу, господин Петроние, а как вы? Поздравляем, поздравляем!

Вот и все, о чем мечтал Петроние Евремович. После этого он мог прийти домой и... умереть. Так умереть ему было совсем не жалко. Однако все мечты его были напрасны.

* * *

И вот чем можно объяснить такую судьбу Петроние Евремовича.

Прежде всего Петроние Евремович был тринадцатым ребенком у своей матери. Оно, конечно, не всегда счастье быть и первым ребенком, но быть тринадцатым — это значит наверняка быть лишним. Мать его проклинала, и, хотя все другие дети умерли, в доме его никогда не любили. С тех пор он всегда чувствовал, что его не любят ни люди, ни судьба, одним словом, он был тринадцатым и в жизни.

Пошел он, например, в школу. Учитель составляет список и записывает учеников в алфавитном порядке — Петроние оказывается тринадцатым, и это определяет весь его школьный путь. Если в классе поднимается шум, учитель приходит в ярость, примеряется, с кого начать, — и давай лупить Петроние длинной линейкой по ушам да по пальцам.

— Петроние, негодяй, я тебя в бочку посажу, я из тебя квашеную капусту сделаю!

Петроние заморгает глазами, заплачет, задрожит, чувствуя, как у него начинает шипать тело, словно он уже сидит в рассоле.

Это еще ничего, то ли бывает, когда наступает экзамен. Петроние вызывают тринадцатым.

— Петроние, дорогой, — разливается учитель перед отцами города и попечителями, — скажи мне, где находится Валево?

Петроние в ужасе.

— Валево... Валево... Валево...

— Ну, где находится Валево?

— Валево... лево... Валево... находится на карте.

— Петроние, осел чертов! Петроние, ничтожество вонючее! — начинает учитель, забыв о присутствии отцов города и попечителей. — Какая тебе карта, какое Валево, щенок! Отвечай, что тебя спрашивают! Отвечай, отвечай, я тебе говорю!..

А Петроние глотает слюну, грустно поднимает глаза к потолку и старательно рассматривает муху.

Так ребенок и проваливается на экзамене. И ведь не потому, что ничего не учил. Боже сохрани! Учил, готовился... и все напрасно. Не дается наука тринадцатому ученику, сколько бы он ни старался.

Бросил он школу и поступил в лавку. И хорошо начал работать, обрел было свое призвание в жизни, да хозяин выгнал. Выгнал; говорит, что Петроние глуп, не умеет принять покупателей, не умеет проводить их, не умеет сдачу отсчитать, ничего не умеет. Ладно, поступил он к другому хозяину. Поработал немного, но и этот его выгнал. Переменил он третьего, четвертого, пятого хозяина... Один выгнал его за глупость, другой за неспособность, третий за то, что ничего не знает, и так за пять лет он переменял тринадцать хозяев, причем тринадцатый, перед тем как выгнать, хорошенько его отлупил. После этого случая никто в городе уже не хотел брать его.

Двоюродная сестра Петроние была замужем за старшим канцелярии. Она сказала о Петроние младшему писарю, тот старшему писарю, старший писарь начальнику, и с большим трудом удалось устроить так, что Петроние приняли в уездную канцелярию переписчиком без жалованья.

Так он поступил на службу, где служит и поныне и где вот уже двадцать один год ожидает указа о производстве в штатные чиновники.

А однажды он даже помышлял о женитьбе, но дьявол направил его помыслы ни больше ни меньше как на лучшую девушку в городе. Девушка была из хорошего дома, и у нее было богатое приданое — двести дукатов, тепелук, расшитый жемчугом, шесть ковров, четыре медных таза и шуба. Многие сватались к ней, но получили отказ. Тогда Петроние сказал себе:

— Лучше меня ей не найти. Я чиновник и, как говорится, неглуп. С этого места я не уйду, и даже, может, не сегодня-завтра с божьей помощью получу повышение, а там мало-помалу медленно, но верно добьюсь и прибавки к жалованью. Чего же ей еще нужно?

Петроние уже представлял себе, как бы он жил, если бы получал большое жалованье и был женат. Имея двести дукатов, он найдет дом, красивый ма-

ленький домик, «но с садом». А какой порядок он наведет в домике, кругом будет чистота, и даже каждую иголку в любой момент можно будет найти на своем месте. Да и не только в домике: он наведет порядок и в самой жизни. Наступит, например, воскресенье, когда на службу идти не надо, он проснется рано утром и пройдетя по комнате: кругом ковры, негде ного на голый пол ступить; пройдет через коридор и гордо посмотрит на четыре медных таза, которые висят на стене, начищенные до золотого блеска; пойдет к парикмахеру, побреется, подстрижет усы, потом пойдет в церковь и станет с правой стороны, где стоят чиновники. Закончится служба, он возьмет две просфоры — одну для себя, другую для жены. Придет домой, а она ждет его у ворот. Попьют вместе кофе, потом она наденет тепелук и шубу, и они пойдут с визитом к господину начальнику. По дороге все, кто встретится, будут им говорить:

— Добрый день! Добрый день! Как поживаете? Что же вы, господин Петроние, к нам с супругой не заходите?

— Придем как-нибудь. Думали как раз сегодня зайти, но, видите ли, госпожа начальница сердится, что мы к ней редко ходим. Мы к вам придем, обязательно придем!

— Милости просим!

Вот каким прекрасным было будущее в мечтах Петроние Евремовича, и оно действительно было бы таким, если бы он женился. Сваха говорила с самой девушкой, и вот что та ей ответила:

— Господин Петроние прекрасный человек, и мне он очень нравится. Столько человек просило моей руки, и ни один мне не нравился так, как господин Петроние. Но только я почему-то не могу решиться: мне кажется, что мы будем плохо жить. Понимаете, так получилось, что он сватается ко мне как раз тринадцатым, и поэтому я не могу согласиться стать его женой!

Сваха клянется, что девушка ей так и сказала, слово в слово, ну а если она лжет, то пусть ее накажет бог и постигнет та же участь, что, как известно, уготована и всем другим свахам, живущим на этом свете. С той поры Петроние никогда больше не думал о женитьбе, но зато постоянно думал об указе.

Что он только не делал, и все напрасно. Писал прошения, получал рекомендации, просил сам, просили за него другие, но все безуспешно. Однажды, казалось, все уже было на мази. Ехала из города депутация в Белград, помнится, подавать прошение о выплате уезду компенсации за произведенную реквизицию. Петроние обошел всех членов депутации и каждого просил, чтобы тот «между делом» замолвил за него словечко перед министром. Все дали ему слово и действительно сдержали его. На другой день вместе с другими Петроние вышел далеко за город, чтобы проводить депутацию. Видит Петроние четыре повозки. В первой коляске — трое, во второй — четверо, в третьей — трое и в четвертой — трое. Сложил Петроние, и получилось у него тринадцать. Тринадцать человек было, значит, в депутации. Печально покачал головой Петроние и сказал:

— Эх, ничего не получится, ничего, ничего, ничего!

И действительно, министр всей депутации дал слово и опять не сдержал его. Так Петроние и остался без указа.

А однажды дело зашло совсем далеко. Поп обещал написать своей сестре, которая была замужем за одним учителем, а этот учитель жил в Белграде как раз по соседству с госпожой Елкой, а у сына ее, унтер-офицера, был друг в академии, тоже унтер-офицер, который был шафером невесты на свадьбе у одного почтальона, а этот почтальон женился на некоей Мице, а мать этой Мицы, госпожа Сара, выкормила первого ребенка господина министра и сейчас еще вхожа в его дом. И так все гладко получилось; началось дело с попа, дошло до госпожи Сары, а госпожа Сара сказала госпоже министерше, госпожа министерша — господину министру, господин министр просьбу записал и, конечно... забыл. Снова садится поп и пишет сестре, которая замужем за учителем, тот говорит госпоже Елке, госпожа Елка сыну, унтер-офицер своему другу, друг говорит почтальонше Мице, Мица говорит матери, госпоже Саре, которая выкормила первого ребенка господина министра, госпожа Сара снова сказала госпоже министерше, а та господину министру, и господин министр записал просьбу во второй раз. И что же, в первый же указ господин

министр вписал наряду с другими и Петроние Евремовича. Итак, дело было почти сделано. На совещании у министра указ прошел, так что все было в порядке. Вечером служитель принес домой к господину министру красиво переписанный указ на подпись. В этот вечер у господина министра ужинала его тетка. Господин министр за столом еще раз просмотрел указ и между прочим сказал:

— Завтра обрадую тринадцать бедняков. Сделаю доброе дело.

Тут тетка господина министра всплеснула руками, а за ней и жена господина министра:

— Неужели тринадцать? И почему именно тринадцать? Умрет один из них в этом году. Впиши ты, бога ради, еще одного, пусть будет четырнадцать. А тринадцать не смей подписывать.

Господин министр сначала был в недоумении. Не хотел и слышать женских глупостей, но женщины так пристали к нему, что ему ничего другого не оставалось, как уступить им.

— Но мне некого больше вписывать.

— Тогда вычеркни кого-нибудь, пусть будет двенадцать.

— О, мать божия, так и быть, послушаюсь вас,— сказал господин министр, взял перо и примерился к одному, к другому, поднес перо к одной фамилии, затем к другой, к третьей, и только потом опустил перо на бумагу и — чирк! — начертил длинную линию. И вычеркнул не кого-либо другого, а несчастного Петроние Евремовича, который даже в указе имел несчастье оказаться тринадцатым!

Все надежды рухнули. Целый год Петроние не мог придумать ничего нового, но через год жизнь его снова была озарена надеждой, снова появились радужные мечты, и Петроние трижды перекрестился перед иконой святой Марии и сказал:

— Мать божия, богородица пресвятая, сейчас или никогда!

В уезд приехал новый окружной начальник. Он в первый раз объезжал свой округ, и было известно, что слово его много значит для господина министра. Уездный начальник уже за неделю до его приезда потерял покой; госпожа начальница была еще больше взволнованна. А вовсе не следовало приходить в вол-

нение за целую неделю до приезда окружного начальника, так как из-за этого госпожа начальница разбила три тарелки и одну голову арестанта, который был прислан из тюрьмы, чтобы помогать госпоже начальнице на кухне. Начальник стал из-за пустяков бросаться линейками в чиновников, в то время как до сих пор он прибегал к подобной мере только в исключительных случаях.

Канцелярские папки были приведены в ослепительный порядок; стражники вычистили револьверы до блеска, и уже за три дня до приезда окружного начальства им было приказано каждый день чистить сапоги, а одному мелкому чиновнику (тому, что был актером) даже причесываться ежедневно. Комната, предназначавшаяся для окружного начальника, была украшена большим зеркалом, которое позаимствовали у газды Миялко. Туда же была поставлена кровать госпожи начальницы, покрытая одеялом, украшенным широкими кружевами, а под ними виднелся розовый шелк. Это было то самое знаменитое одеяло, под которым госпожа начальница рожала и о котором в городе говорили как о чем-то выдающемся.

И вообще все было устроено так, что, если бы господин окружной начальник захотел, он мог бы приехать на три дня раньше. Но он приехал в тот день, когда и предполагалось.

В этот день Петроние тщательно побрился и подстриг усы, надел черное пальто; где-то на дне сундука нашел старую помаду и так на помадил и расчесал усы, что они, казалось, побывали в растопленном воске. Он пришил все пуговицы, вывел пятна с брюк, выстриг волосы, торчавшие у него из ушей, и прочел некоторые статьи из полицейского устава на случай, если, боже сохрани, зайдет разговор о служебных делах.

Окружной начальник, как и всякий начальник, любит, чтобы его хорошо принимали в уезде, а начальник уезда, как и подобные ему, стремится к тому, чтобы угодить начальнику, и поэтому он, кроме прочих церемоний, устроил ужин и пригласил на него нескольких видных граждан города, из тех, кого называют в газетах «цветом общества», а также своих чиновников, то есть двух писарей и Петроние Евремовича, как самого старого своего служащего. Петроние таял от небывалого счастья, хотя его и одолевали за-

боты. Его все время мучила мысль: как он будет ужинать с господином начальником, вдруг он уронит вилку, или опрокинет стул, или, может быть, нужно будет что-нибудь сказать, а он будет молчать, или, наоборот, нужно будет молчать, а он что-нибудь ляпнет.

Ну, будь что будет! По дороге к начальнику Петроние, сделав вид, что кого-то ищет, зашел в две-три кофейни, где было много народу.

— Прошу вас, садитесь, выпьем стаканчик, — предложил ему газда Васа в первой кофейне.

— Спасибо, не могу, боюсь опоздать. Ты же знаешь, сегодня торжественный ужин... там будут господин окружной начальник и другие... И я приглашен, сам понимаешь...

• — Как поживаете, господин Петроние? — спросил его газда Мика в другой кофейне.

— Извини, пожалуйста, — ответил господин Петроние. — Некогда мне, поговорил бы с тобой, да сегодня приглашен на ужин в честь господина окружного начальника и боюсь опоздать, извини...

За столом разместились следующим образом: в центре — окружной начальник, слева и справа от него — уездный начальник и его супруга, рядом с супругой — «цвет общества», рядом с уездным начальником — чиновники, так что Петроние оказался в дальнем конце стола и был очень доволен тем обстоятельством, что лампа стоит посреди стола и что он не сидит напротив господина начальника.

Петроние был очень осторожен, руки он держал подальше от ножа и вилки и пользовался ими только в случае крайней нужды. Он больше смотрел в тарелку, чем ел. А на столе было много вкусных яств. Например, заяц. Петроние мог один съесть целого зайца, но он, бедняга, был вынужден сказать, что не ест зайчатины, ибо был уверен, что обязательно уронит либо нож, либо вилку, если ему придется управлять с зайцем. А ему только этого не хватало!

После второго блюда встал один из «цветов общества» и провозгласил тост, в котором было семьдесят четыре слова. (Петроние считал слово за словом.) Из этих семидесяти четырех слов тридцать семь приходилось на слово «народ», шесть на «от имени», восемь на «такого начальника», четыре на «мы, пред-

ставители», девятнадцать на «отечество», три на «да здравствует». Господин начальник говорил дольше и сказал гораздо больше слов, но Петроние не отважилась смотреть начальнику в глаза во время тоста и потому не все понял. А понял он всего четыре слова: «просвещенный народ» и «сельское хозяйство».

Потом господин начальник подобрел; если до сих пор он говорил только с «цветом», то теперь он обернулся к чиновникам и стал спрашивать старшего писаря, сколько тот служил, где служил раньше и так далее. Потом он обратился ко второму и третьему. У Петроние дрожало все: и душа, и сердце, и ноги под столом, и руки, которые он положил на колени. Сейчас очередь дойдет и до него. Дрожит он, но вместе с тем и радуется до слез: вот он, случай, какого не было никогда раньше, вот он, случай сказать о себе все, что нужно, так как каждое слово этого начальника имеет вес у министра. Достаточно будет сказать, что он уже двадцать один год служит, а права на пенсию не заслужил. Поистине достаточно, если у господина начальника есть хоть чуточка души.

И вот начальник закончил разговор с младшим писарем, обернулся к Петроние и любезно спросил:

— А вас зовут Петроние Евремович?

У Петроние задрожала челюсть, перед глазами пошли круги, он сначала зажмурился, потом открыл глаза и только было открыл рот, чтобы ответить, как... открыла рот супруга уездного начальника, открыла и, всплеснув руками, перебила Петроние:

— О! Неужели никто не заметил, что нас за столом тринадцать. Боже ты мой!

Все обернулись направо, налево, пересчитали сидевших за столом и... верно, тринадцать!

— Боже, как это никто не заметил! — продолжала супруга уездного начальника. — Милый господин Петроние, вы человек добрый, вы не рассердитесь. Некрасиво, конечно, просить вас так, среди ужина, но, умоляю, перейдите в другую комнату, мы там накроем вам. Я сама вам накрою стол, только, прошу вас, не сердитесь!

— О, пожалуйста, пожалуйста, — смущенно ответил покрасневший как рак Петроние, на глаза его набежали две крупные слезы, а горло сразу пересохло, словно он целый год не пил воды.

Что только не пережил, не почувствовал бедняга Петроние, сидя в другой комнате! Он почти дошел до цели и снова оказался... тринадцатым!

Все пропало! И что ему оставалось делать? Ничего другого, кроме как, скажем, дожидаться тринадцатого февраля и умереть в этот день.

Но прежде чем окончательно потерять волю к жизни, он решил на то, на что при других обстоятельствах никогда бы не решился. Это был последний отчаянный шаг.

— Или — или! — решительно воскликнул он в своей комнате, вернувшись с ужина, и так ударил кулаком по столу, что со стола упала на пол кофейная мельница, сапожная щетка и глицериновое мыло, которым он умывался по воскресеньям и праздникам.

Прежде всего он спокойно подобрал эти вещи, положил каждую на свое место, а потом сел и написал очень вежливое прошение об отпуске.

Итак, в Белград, к министру! Да, к нему, встретиться с ним с глазу на глаз и сказать ему все: «Так, мол, и так, такое, мол, дело!» Нет, нельзя больше идти обходными путями, прямо к министру и... или — или!

Представьте себе, что он почувствовал, когда прошение получило официальный номер, и он написал под резолюцией: «С благодарностью принимаю к сведению, что отпуск разрешен». Потом он пошел домой, заново вывел пятна на брюках и отнес портному черное пальто, чтобы тот поставил ему новый бархатный воротник и вообще привел его в порядок.

— Я скажу,— говорит вслух Петроние Евремович в своей комнате, складывая вещи в маленький чемоданчик,— я скажу: господин министр, двадцать один год, подумайте сами, разве это справедливо? За двадцать один год у меня было всего одно взыскание, да и то удержали жалованье за полмесяца. Пустяк, совершенный пустяк! И за что меня наказали? Ни за что, просто ни за что! При допросе одного свидетеля я между прочим помянул его отца и мать. И вовсе не потому, что хотел оскорбить его родителей, а просто так, я хотел только задать ему вопрос, ну, и не мог сразу сообразить какой. Свидетель молчит, и я молчу, тут я и сказал, так, между прочим, чтобы не молчать, а начальник понял это, я уж не знаю как, и на тебе...

пятнадцатидневное жалованье. Но это было давно. Кто старое помянет, тому глаз вон...

Он умолкает, берет вещь за вещь из тех, которые надо положить в чемодан, разглядывает их со всех сторон, складывает не спеша, раздумывает и снова говорит себе:

— Говорят, министр — хороший человек. Оно и понятно, как бы он стал министром, если бы не был хорошим человеком! Да в конце концов с меня довольно, если у него есть душа; это главное!

Потом он снова задумывается и начинает считать: а вдруг это тринадцатый министр с тех пор, как он начал службу. Пересчитал... нет, слава богу, не тринадцатый!

Потом он вдел нитку в иголку и стал пришивать рукав, который уже порядком отделился от пиджака, и насвистывать песенку «Прощай, моя ветреница!». Вообще, пока он не очень волновался; может быть, потому, что верил — на этот раз сбудется его сокровенное желание, а может быть, и потому, что был далеко от Белграда и от министра и страх еще не овладел им.

Петроние обошел всех знакомых и попрощался с ними, словно собирался в святые места на богомолье. Все пожелали ему удачи, так как уже весь город знал о его путешествии, на которое он отважился впервые в жизни.

Утром он проснулся на два часа раньше, чем обычно, и с нетерпением ожидал во дворе коляску, время от времени выбегая к воротам. Наконец коляска подъехала. Петроние взял чемоданчик, запер свою комнату, перекрестился и сел в коляску.

Дорогой ему не хотелось думать о министре, чтобы заранее не нагонять на себя страху. Он думал о другом, обо всем, что приходило в голову: например, о поднятом верхе коляски, о пыли, о газде Миялко, о столбе, стоявшем во дворе уездной канцелярии, в который был вбит один... два... три гвоздя. Три — это точно, но ему все кажется, что их четыре. Так он думал о всякой всячине, пока перед глазами его не появился министр и строго не спросил его:

— Ваше имя?

— Петроние Евремович, ваш покорный слуга.

Петроние поскорее прогоняет это видение и заводит разговор с кучером.

— А ты женат, приятель?

— Да, сударь.

— Хорошо, хорошо! А дети, дай бог им здоровья, у тебя есть?

— Нет, сударь, все померли.

— Хорошо, хорошо,— рассеянно отвечает Петроние, так как в эту минуту у него перед глазами появляется господин министр, и он уже не слышит, что говорит кучер.

Кучер недовольно оборачивается к нему, хлещет кнутом лошадей, и они ускоряют бег.

— Эта, левая твоя, стара! — опять заводит разговор Петроние.

— Стара, сударь, а тянет получше многих молодых.

— Сколько ей?

— Вы мне не поверите, но ей, должно быть, двадцать один год. Не знаю точно, но столько ей, пожалуй, будет.

— Двадцать один?.. Так, так, и тянет получше многих молодых... тянет... да.

Замолчал тут Петроние и стал думать об этой лошади: о том, что ей двадцать один год и что она «тянет получше многих молодых». Долго он думал об этом, и вдруг опять перед глазами его появился господин министр, громадный человек с бородой, страшный и строгий, и спросил его:

— Ваше имя?

— Петроние Евремович, ваш покорный слуга.

Когда Петроние Евремович увидел, что министр не даст ему спокойно ехать, он твердо решил прислонить голову к верху коляски и заснуть, чтобы избежать новых встреч с министром.

Петроние Евремович очень крепко спал, но когда повозка поздно ночью загремела по белградской мостовой, он проснулся от сильной тряски, открыл глаза и увидел, что он уже совсем близко от министра. В одном городе!

В эту ночь в трактире Петроние на диво крепко и сладко спал. Даже во сне ничего не видел. А утром он проснулся раньше прислуги и едва дождался, когда отпрут двери. Потом пошел к парикмахеру, под-

стригся, побрил бороду и шею, подстриг усы, надел черное пальто с новым бархатным воротником и направился по главной улице в министерство. По дороге он все время считал каштаны и насчитал тридцать два дерева.

Дойдя до министерства, он почувствовал, что шаги его становятся все короче и короче, и ему показалось, что кто-то тянет его за пальто назад. Он даже обернулся, чтобы посмотреть, кто это. Только он переступил порог, как ему пришло в голову, что надо вспомнить, какое сегодня число... вдруг тринадцатое. Было первое апреля, слава богу. Он облегченно вздохнул и вошел в приемную.

Еще по пути к парикмахеру он купил немного хороших сигарет и положил их в карман. Петроние знал, что к чему. Прежде всего он угостил сигаретой служителя, что стоит перед дверями кабинета министра, дал ему прикурить и затануться несколько раз и только тогда спросил:

— Скажи, а господин министр уже пришел?

Служитель затанулся, выпустил дым сквозь ноздри и, глядя, как он поднимается вверх, равнодушно ответил:

— Сегодня его не будет.

— Не будет, значит.

У Петроние словно гора с плеч свалилась. Ему даже было приятно, что министр сегодня не придет в министерство. Он угостил служителя еще одной сигаретой и вышел в прекрасном настроении.

Целый день он бродил по Белграду и, где бы ни встречал человека в цилиндре, снимал перед ним шляпу. Кто его знает, а вдруг среди них окажется его министр.

На другой день министр был в министерстве, но сразу ушел.

На третий день министр был в министерстве, но не принимал.

На четвертый день у министра было «важное совещание» с двумя другими министрами (об этом Петроние доверительно сказал служитель), и потому никто не знал, будет ли он принимать.

На пятый день министр сказал, что примет только тех, у кого очень срочные дела, не терпящие отлагательства.

На шестой день Петроние Евремовичу снова пришлось побрить бороду и шею и подстричь усы. Но в этот день господин министр опять не приходил в министерство.

На седьмой день было заседание кабинета, и потому министр никого не принимал.

На восьмой день министр не принимал.

На девятый день господин министр был в министерстве, но сразу ушел.

На десятый день господин министр принимал, но принял только семерых, а остальным служитель сказал, чтобы пришли на другой день.

На тринадцатый день Петроние снова пришлось побрить бороду и шею и вообще привести себя в порядок. Но только он переступил порог, как вспомнил, что сегодня тринадцатое апреля. Господи боже, вразуми господина министра, чтобы он сегодня не принимал или совсем не приходил в министерство. Или, может быть, было бы лучше Петроние уйти и прийти завтра. Да, но он вчера передал свою визитную карточку и записал на листке бумаги свое имя и фамилию, и министр сказал, чтобы те, кого он не успел принять вчера, пришли сегодня.

Он был подавлен, все тело пробирала мелкая противная дрожь, на лбу, под мышками и под коленками выступил пот. Растерявшись, он дал служителю министра сразу три сигареты вместо одной. Потом он сел на скамью и стал глядеть на служителя, который все время входил к министру. Входил и выходил. Петроние смотрел на него и завидовал.

«Боже, этот служитель,— думал он,— слуга как слуга, только он... так сказать...»

Мысль осталась неоконченной.

Потом он посмотрел на вешалку, на которой висело пальто министра на шелковой подкладке. Глядел он, глядел и глубоко задумался.

Какое хорошее пальто, и как близко оно висит от него... Судя по пальто, министр — человек среднего роста. Зимой, должно быть, он носит зимнее пальто!..

Размышляя таким образом, он, однако, не переставал считать тех, кто входил к министру. Уже вошел седьмой, а его все не зовут. Может быть, министр не примет его. Ему бы хотелось, чтобы его не приняли, а

сказали, чтобы он приходил завтра, четырнадцатого апреля.

Седьмой вышел довольный, веселый. Вошел восьмой.

Девятой вошла какая-то женщина, но она была там недолго. Потом вошел десятый, пробыл у министра очень долго и вышел красный и злой. Одиннадцатый вышел скоро и очень довольный. Он дал служителю на чай.

«Вот счастливый! — подумал Петроние. — Нет ли у меня мелочи, чтобы тоже дать, если понадобится?»

И начал ощупывать карманы. Вошел двенадцатый. Петроние стал считать, сколько тот будет находиться у министра. Считает: раз, два, три, четыре, доходит до ста сорока шести и вдруг бросает считать — ему приходит в голову, что у министра двенадцатый и что тот, кого сейчас вызовут, будет тринадцатый.

Это поражает его, и он, сам не ведая почему, начинает шептать про себя: «Отче наш, иже еси на небесех...» и только дошел до «хлеб наш насущный...», как вышел двенадцатый, а служитель крикнул:

— Петроние Евремович!

У Петроние, шептавшего «хлеб наш...», перехватило дыхание... За одну секунду он дважды вспотел и высох. Он обернулся, чтобы найти место, где оставить трость. Поставив ее, он совсем растерялся, не зная, куда деть шляпу. А служитель крикнул еще раз:

— Петроние Евремович!

Он в третий раз вспотел, высох и неверными шагами двинулся к двери. Только он переступил порог кабинета министра, как ему пришла в голову нелепейшая мысль: «А вдруг у меня где-нибудь пуговица отстегнулась?» Он чувствовал себя так, словно летел стремглав в пропасть, и мысль о пуговице только усилила это ощущение. Попав в кабинет министра, он и в самом деле почувствовал, что находится на дне пропасти.

Хотя Петроние был уже в кабинете, он не видел министра. Одну руку он держал на груди, а другой ощупывал себя: не расстегнулась ли какая-нибудь пуговица.

Вокруг него темнота, только виднеются два больших, очень больших окна. Вдруг из темноты послышался голос:

— Что вы хотите?

Но Петроние не мог сообразить, откуда раздаётся этот голос. Ему показалось, что первое слово «что» произнесено прямо перед ним, второе слово «вы» донеслось слева, а третье слово «хотите» — справа.

Он ничего не ответил.

— Вы Петроние Евремович? — сказал тот же голос, но сейчас ему показалось, что он донесся сверху, с потолка.

Петроние зажмурился, сказал про себя: «~~Но~~ избави нас от лукавого», потом проглотил слюну, которая заполнила его рот, и наконец сказал:

— Петроние Евремович, ваш покорный слуга.

— И что вы хотите? — раздался тот же голос, но уже снизу.

— Двадцать один год... безупречной службы... лошадь, которая меня везла, столько же... я покорнейше прошу... я, господин министр, и... покорнейше прошу... я, господин министр...

— Хорошо,— сказал тот же голос, но уже прямо перед ним,— если у вас есть просьба, подайте письменное прошение своему начальнику, а не приходите с этим к министру. Возвращайтесь к себе на службу.

Как он вышел, как дошел до трактира, как лег, Петроние не помнит. Четыре часа спустя он проснулся и увидел, что, во-первых, забыл в приемной министра свою трость и, во-вторых, вот уже более четырех часов он в черном костюме и в ботинках спит на кровати, с головой укрывшись одеялом.

* * *

Домой Петроние Евремович вернулся больным, серьезно больным.

Я знаю, что вас, читателей, не столько волнует вопрос, умер ли он, сколько число, когда это случилось. Но он не умер, а, напротив, выздоровел и долго-долго еще тянул ляжку. В том-то и заключается его злая судьба, что умрет он не скоро.

ПОКОЙНЫЙ СЕРАФИМ ПОПОВИЧ

Вчера мы проводили в последний путь Серафима Поповича. На похоронах были: я, казначей господин Андрей, капитан Яков, инженер Еша и многие другие. После похорон зашли в трактир и очень долго говорили о покойном господине Серафиме. Каждый счел своим долгом что-нибудь рассказать. Инженер Еша вспоминал даже такие случаи, в которые трудно поверить, но мы не принимали это близко к сердцу, так как привыкли к тому, что Еша всегда немного перебарщивает.

Между тем все, что являлось истиной, причем истиной вполне достоверной, можно изложить в нескольких словах. Покойный Серафим был сорок шесть лет чиновником. Кем был до этого и как стал чиновником, наверное, он и сам уже не помнил. Тридцать два года он служил архивариусом в окружном управлении, вел протоколы, работал регистратором и одно время был даже кассиром. Дважды его хотели назначить референтом, но убедились, что у него нет к этому никаких способностей. Он был чиновником до мозга костей. Каждый волосок на его голове был чиновником. Когда он шел, то был озабочен тем, чтобы идти по-чиновничьи; если ел, то старался есть по-чиновничьи, и даже когда был один в комнате, любую мысль, которая казалась ему недостойной чиновника, решительно отгонял от себя.

На его могиле со спокойной совестью можно было бы написать: «Настоящий чиновник».

Бедняга разучился даже разговаривать по-человечески с людьми и говорил только языком официальных документов. Он позабыл все фразы обычного разговора и настолько сжился с канцелярским языком, что над ним из-за этого часто подсмеивались.

Встретишь его, бывало, на улице и спросишь:

— Ну как, господин Серафим, поживаете?

А он поднимет брови, сдвинет очки на лоб и отвечает:

— В ответ на ваш вопрос — благодарю, здоров.

Потом немного подумает и продолжит:

— В связи с предыдущим моим ответом на ваш вопрос могу вам сообщить, что меня несколько беспокоит насморк.

Купит, например, что-нибудь на рынке, отдаст мальчику, чтобы тот отнес домой, и обязательно скажет:

— Поручаю тебе доставить эти покупки моей жене с тем, чтобы она по получении их надлежащим образом известила меня об этом.

Так примерно рассказывал инженер Еша, и, хотя он немного преувеличивал, все, в общем, соответствовало действительности. В этом я и сам имел случай убедиться.

Я бывал в доме покойного. Он давно уже похоронил жену и жил вместе со своим сыном, практикантом уездной канцелярии, жил тихо и мирно, как живут пенсионеры.

Когда его перевели на пенсию, о чем он и сам просил, он все же очень опечалился. Ничего не было для него тяжелее, чем расстаться с канцелярией. Он настолько полюбил делопроизводство, что попросил господина начальника подарить ему на память линейку, которой пользовался ровно шестнадцать лет.

Первые дни жизни на пенсии господин Серафим был очень удручен: вставал рано, как и прежде, одевался и с беспокойством поглядывал на часы, боясь опоздать на работу, а когда выходил на улицу и вспоминал, что ему уже некуда идти и нечего делать, со слезами на глазах возвращался домой, вставал у окна и смотрел — смотрел, как идут в канцелярию чиновники, и думал: «Счастливые!»

Наконец, когда тоска по канцелярии совсем извела его, он нашел лекарство: завел канцелярию у себя дома и стал управлять своим хозяйством совершенно по-чиновничьи.

В его спальне, кроме кровати, шкафа, вешалки и клетки с птицей между окнами, стояла длинная скамья, на которой лежали теперь три открытых конторских книги. На большом столе в комнате всегда лежали бумага, чернильница, перья, линейки и тут же уже известная «шестнадцатилетняя» линейка. За столом сидел он, сухощавый, с зеленоватыми глазами, мерцающими сквозь толстые стекла очков, всегда гладко выбритый, в чистом белом жилете.

В этой странной канцелярии каждому прежде всего бросался в глаза висящий на стене большой лист бумаги, на котором крупными буквами было написа-

но: «Правила внутреннего распорядка». А вот несколько статей из этих правил:

«Ст. 1. В доме постоянно должны поддерживаться чистота и порядок.

Ст. 2. В любой части дома плевать на пол запрещается.

Ст. 3. Слуги не должны ссориться в доме и вступать в пререкания, если я делаю замечание.

Ст. 4. Ворота надлежит закрывать каждый вечер в восемь часов, а открывать утром только по моему приказу.

Ст. 5. Мой сын должен приходить домой не позже девяти часов вечера.

Ст. 6. Служанка Ката должна представлять отчет о расходах на рынке каждый день в девять часов утра.

Ст. 7. Каждую субботу до полудня в доме должно быть все вымыто и убрано. Двор убирается так же, как и помещения».

В этих правилах, насчитывавших тридцать две статьи, было много других указаний, а самим правилам был присвоен «входящий номер 19», и скреплены они были подписью: «Глава дома *Серафим Попович*».

Помимо этих правил, господин Серафим ежедневно издавал особые приказы, требовал объяснений, составлял проекты, вел записи в журналах входящих и исходящих бумаг, так что всегда был занят по горло.

Так, например, приходит служанка Ката и говорит:

— Сударь, намедни ветром в кухне два окна разбило.

— Хорошо, знаю, видел! — отвечает Серафим, берет лист бумаги и пишет следующее:

«Сегодня пришла Ката и заявила, что на кухне ветром разбиты два окна. Так как я лично удостоверился в этом непосредственно на месте, как и в том, что здесь нет никакой вины Каты, и так как действительно необходимо застеклить эти два окна, ибо в противном случае Ката очень быстро схватит простуду, принимаю решение: сегодня же позвать стекольщика Мату, чтобы он в срок от двух до трех часов вставил на кухне стекла и представил мне счет к оплате. Решение сообщить Кате для исполнения».

Затем открывает журнал входящих бумаг, записывает решение под номером 114, вносит в регистрацию, дает распоряжение о выполнении решения.

Или, например, приходит Ката и говорит:

— Капуста сейчас дешевая, надо бы купить сразу сто кочанов и заготовить на зиму.

Он, разумеется, тут же берет бумагу, принимает решение приобрести капусту и «засолить, как положено», присваивает номер бумаге и вносит ее в регистр.

Любопытно ознакомиться с этим регистром. Он выглядит примерно так:

«Капуста — см. Припасы на зиму.

*Маринованный перец — см. Припасы на зиму. **

Окна, ремонт — 114.

Припасы на зиму — 74, 92, 109, 126, 127, 128.

Замка ремонт — 12.

Кутежи моего сына — 7, 9, 21, 43, 52, 62, 69, 71, 72, 73, 84, 102, 111, 129, 131.

Окорок купленный — 32.

Лук репчатый — см. Припасы на зиму.

Горшок — см. Ката.

Жалованье Каты — 49.

Ката разбила горшок — 37.

Мыло — см. Марица.

Марица-прачка — см. Стирка СВ № 63.

Долги моего сына — см. Кутежи».

Из всех этих бумаг давайте рассмотрим дело под номером 131, зарегистрированное под рубрикой *«Кутежи моего сына»*. Постараемся проанализировать эти документы так же, как анализирует адвокат судебные протоколы: уж если мы вошли в канцелярию покойного Серафима, следует и нам вести себя по-канцелярски.

Из акта № 7 узнаем: 5 ноября Ката доложила господину Серафиму, что его сын Никола 3 ноября пришел домой в 2 часа ночи. На полях этого документа наложена резолюция: «Вызвать Николу и мягко, потечески убедить его впредь так не поступать, а затем все положить в дело».

Из протокола № 9 видно, что Никола через три дня после мягкого отцовского внушения «пришел домой в 3 часа ночи». На полях написано следующее: «В связи с этим я так отчитал Николу, что ему больше и в голову не придет шататься по ночам».

В справке № 21 читаем, что 17 ноября Ката доложила Серафиму: Никола около трех часов ночи прошел мимо дома в сопровождении музыкантов и лишь к четверем часам вернулся домой. На полях написано решение: «Снова попытаться отечески внушить вышепоименованному Николе, моему сыну, что подобный образ жизни опасен для здоровья. Одновременно отобрать у него ключ от ворот!»

Из № 43 становится известно, что 24 ноября к Серафиму явился кабатчик Янко и потребовал уплатить за одиннадцать литров вина, выпитых его сыном в разное время, так как тот не платил и платить отказывается. На полях читаем: «Просителю Янко отказано на основании совершеннолетия моего сына. В то же время просителю рекомендовано не давать вина упомянутому в документе Николе, моему сыну».

В документе № 52 записано дословно следующее:

«Утром Ката сообщила, что мой сын Никола пришел домой ночью в 3 часа 40 минут и, не имея ключа от ворот, перелез через оные и таким образом проник в дом! Учítывая, что: а) мой сын нарушил отцовские наставления, данные ему мною ранее, о чем свидетельствуют документы за № 7 и 21; б) на него не оказало воздействия мое строгое внушение (смотри № 9), в связи с чем он моим распоряжением лишен ключа от ворот; в) его новое преступление — проникновение в дом посредством перелезания через ворота — является доказательством того, что он продолжает кутить,— принимаю решение: произвести тщательное расследование его поведения».

Запись под № 62 подтверждает, что господин Серафим действительно побывал на месте преступления: лично осмотрел ворота и удостоверился, что «вышепоименованный Никола, перелезая через ворота, сломал верхнюю перекладину».

Ниже целиком приводим протокол допроса «вышепоименованного Николы» о «перелезании через ворота», значащийся в деле под № 69:

«По специальному вызову явился сегодня мой сын Никола и в ответ на мои вопросы подтвердил, что зовут его Никола Попович, что он нигде не работает, так как недавно уволен со службы. Установлено также, что ему 24 года, холост и детей не имеет.

На вопрос, действительно ли ночью 7 декабря он кутил и находился вне дома, сознался в этом, но утверждал, что все делал без злого со своей стороны умысла.

На вопрос, действительно ли в ту ночь он возвратился домой в 3 часа 40 минут и, не имея при себе ключа от ворот, которого он лишен согласно моему приказу за № 21, перелез через ворота и, как установлено актом осмотра за № 62, сломал верхнюю перекладину, Никола заявил, что вынужден был избрать такой способ проникновения в дом, так как иного выхода не было.

На предложение скрепить настоящий протокол собственноручной подписью Никола не только ответил отказом, но и долго смеялся.

Вот что было записано в протоколе.

В записке № 71 излагается история ремонта ворот, и в регистре значится: «*Ворота, ремонт — см. Кутежи моего сына*». А в докладе за № 72 указано, что «вышепоименованный Никола, не имея ключа от ворот, продолжал и дальше перелезать через ворота».

Под № 73 зафиксировано решение Серафима попросить у соседа, портного Миты, на несколько ночей его суку, самую злую в городе. Кате вменялось в обязанность предупредить Николу, что сука Миты будет во дворе и что ему плохо придется, если он впредь по ночам станет перелезать через ворота.

Акт № 84 свидетельствует о том, что Никола продолжал перелезать через ворота, а сука очень спокойно отнеслась к этому и, «более того, сдружилась с ним и тем самым в некоторой степени стала соучастницей преступления». В связи с этим Серафим принимает решение вернуть портному его суку за ненужностью.

В бумаге № 102 рассказывается, что кабатчик Янко снова явился к Серафиму и жаловался на Николу, который не только пил в кредит, но и стрелял в кабаке из револьвера, разбил лампу, три стакана, одну тарелку и изрезал на столе скатерть. На полях резолюция: «Отказано по причинам, изложенным в моей резолюции № 43 от 24 ноября. Просителю рекомендовано обратиться с жалобой к надлежащим властям».

Под № 111 говорится: «Сегодня пришла Ката и заявила, что вчера после полудня, пока она мыла окна, мой сын Никола зашел в кухню, вытащил стоявший под кроватью ее сундук, взломал его, изъял лотерейный билет, приобретенный Катой на свои сбережения, и продал его владельцу табачной лавки Авраму за восемь динаров». На полях начертано следующее: «Так как Ката не должна нести убытки из-за испорченности моего сына, выкупить лотерейный билет у владельца табачной лавки Аврама, с тем чтобы она передала его мне на хранение, а не прятала в сундуке, который так легко открыть».

Из записи № 129 явствует, что «вышепоименованный Никола» украл с чердака шубу Серафима, продал ее, а деньги пропил.

Под № 131 зафиксировано сразу несколько преступлений «вышепоименованного Николы», и на полях протокола, последнего по этому делу, написано: «Отступить навсегда от собственного сына и передать все документы в архив, так как предпринимать что-либо еще по сему делу не имеет смысла».

Вот так выглядит пачка бумаг, самая большая в архиве покойного Серафима Поповича.

— Последний номер, который он успел внести перед смертью в журнал входящих документов, — № 196. Видно, что последние десять — пятнадцать номеров заносились в журнал все с большими и большими промежутками. Так, № 191 занесен 4 марта, № 192 — 11 марта, № 193 — 27 марта, № 194 — 3 апреля, № 195 — 16 апреля, а № 196 — 2 мая.

№ 193 гласит: «Утром явилась Ката и сообщила мне, что околела канарейка. Прости, господи, ее душу». На полях документа стоит решение: «Кате приказано не бросать мертвую канарейку на съедение кошкам, а зарыть в саду».

Под № 194 отмечено: «Так как сегодня я чувствую себя очень плохо, а все лекарства, которые до сих пор готовила Ката, не помогают, то по совету самой Каты я решил пригласить врача». На полях — резолюция: «Приобрести лекарство по рецепту врача и точно исполнять все его предписания».

Под № 195 — следующая запись: «Так как сегодня исполнилось ровно семь лет с тех пор, как умерла моя дорогая жена Мария, выдать Кате семь грошей, чтобы

она зажгла свечку на ее могиле и пригласила священника отслужить панихиду». На полях написано: «Исполнено. В архив».

А под № 196 можно прочесть следующее: «Сегодня пришла Ката и сообщила, что моя болезнь ей не нравится, что надо позвать консилиум. Я против этого, но доводы Каты до некоторой степени основательны, поэтому принял решение в четыре часа позвать консилиум».

Это последняя запись, сделанная Серафимом Поповичем. № 196 является последним и в журнале входящих документов.

МИНИСТЕРСКИЙ ПОРОСЕНОК

Все вы, разумеется, ели на рождество поросенка. А знаете, что ел я? В первый день рождества я ел суп и вареную говядину, и во второй день рождества я ел также суп и вареную говядину, и лишь на третий день на обед у меня были отбивные, чтобы за столом хоть пахло свининой.

Я остался без поросенка. И это, представьте себе, случилось уже после того, как я купил его, после того, как он побывал в моих руках.

Я купил хорошего поросенка и, как всякий добрый хозяин, сделал это в пятницу, когда поросята были еще дешевы. Я принес его домой, и все мы по очереди щупали его и восклицали: «Ого!» Первым пощупал его я сам и воскликнул: «Ого!», — потом жена, теща, свояченица, дети, кухарка. Все подряд щупали его и восклицали: «Ого!»

Мало этого, по совету тещи я позвал попа освятить поросенка перед закланием. И вот, когда все было готово, мы со спокойной душой занялись своими обычными делами.

Жена вымыла детей и навертела им на головы безобразные чалмы; теща, прилепив на шею горчичник, чтобы сбить давление, завернулась в плед и села у печки; свояченица кроила и примеряла бальное платье; жена, естественно, приложила к вискам два ломтика картофеля (от головной боли), повязала голову и натянула на руки белые перчатки, намереваясь

почистить их бензином; кухарка надела мои старые сапоги и пошла вытрясать ковры на снегу, а я брился.

И вот в эту идиллию, где каждый был занят своим делом, ворвалась кухарка и, потрясая метлой, завопила:

— Поросенок убежал!

Эта весть произвела впечатление разорвавшейся бомбы.

В один голос мы издали какой-то нечленораздельный звук и ринулись за поросенком. Впереди я, без шапки, с намыленной щекой и с полотенцем на шее; за мной моя жена с картофелем на голове и в белых перчатках, следом завернутая в плед теща с горчишником на шее, за тещей свояченица в бальном платье, за свояченицей вооруженная метлой кухарка в моих сапогах, а за кухаркой два моих несмышлениша с чалмами на головах.

Я лично принял на себя командование этим войском. Противник безостановочно отступал, а мы упорно продвигались вперед, не неся никаких потерь. Только теща по пути потеряла горчишник, а жена — картофель. Моральный дух моего войска был крепок, и оно отважно летело вперед, к победе.

Мы пробежали таким образом две-три белградские улицы, пока противник не скрылся в чьем-то дворе. Не теряя ни минуты, я решительно перестраиваю боевой порядок. Тяжелую артиллерию, то есть тещу, ставлю у ворот, горную артиллерию — жену и свояченицу — расставляю по двору так, чтобы господствовать над всей местностью, кухарку оставляю в тылу — у нужника, стрелков — ребят в чалмах — рассыпаю в цепь, а сам отправляюсь на разведку.

Мы были уверены в своей победе, однако в боевых операциях любая мелочь может роковым образом повлиять на исход борьбы. В заборе была дыра, поросенок протиснулся сквозь нее и скрылся в неизвестном направлении. Это означало, что дальнейшее продолжение боевых действий нецелесообразно.

Мы возвращались с поля боя, как войско Наполеона из Москвы. Падал снег и засыпал дорожки. Я понуро шел впереди, а за мной брело мое войско, сломленное и павшее духом. Снег все сыпал, сыпал, сыпал... а кто-то там, в чужом квартале, уже щупал моего поросенка и восклицал: «Oго!»

И вот, пока я с тоской ожидал рождества, пронесся слух, что и у господина министра внутренних дел тоже убежал поросенок. Представьте себе, такое несчастье — и у господина министра убежал поросенок, и господин министр остался на рождество без поросенка; стало быть, в судьбе господина министра и в моей появилось нечто общее. Это меня утешало.

А вдруг — и такое можно себе представить — поросенок господина министра и мой сговорились и, таким образом, создали известную общность между нашими домами?

Но господин министр, разумеется, не стал собирать войско для погони за поросенком, как это сделал я. Он просто позвонил в управление белградской полиции.

— Алло!

— Алло!

— У меня убежал поросенок.

А теперь представьте себе начальников полицейских участков, представьте себе полицейских чиновников, представьте себе, что все это происходит на рождество, а к Новому году кое-кого обычно повышают в чине. И вы уже догадываетесь, что подумал обо всем этом каждый чиновник.

«Гм, за этого поросенка можно и чин получить».

И тогда все принялись за дело. Смотришь, уже идет чиновник из Центрального городского участка, а за ним жандарм несет поросенка. Направляются они прямо к дому господина министра.

— Господин министр, имею честь доложить, что я лично приложил все усилия к тому, чтобы незамедлительно найти вашего поросенка.

Немного погодя, смотришь, отправляется в путь чиновник из Врачарского полицейского участка, а за ним жандарм несет другого поросенка.

— Господин министр, имею честь...

Не проходит и двадцати минут, как идет чиновник из Савамалского участка, а за ним жандарм несет третьего поросенка.

— Господин министр, имею честь...

Уже три поросенка хрюкают во дворе господина министра, и уже три чиновника мечтают о повышении в чине, но вот идет и четвертый чиновник, из Дорчол-

ского участка, а за ним жандарм с поросенком на руках.

— Господин министр, имею честь доложить, что я лично нашел убежавшего поросенка.

Проходит немного времени, к дому господина министра подкатывает повозка, и из нее вылезает комиссар топчидерской полиции и за ним жандарм с поросенком в руках.

— Вы подумайте, господин министр, ваш поросенок убежал в самый Топчидер! Но я его сразу узнал, от меня не убежишь!

Прибывает и чиновник из Палилулского участка, а за ним жандарм несет... индюка. Не нашел поросенка, ну да все равно, нашел индюка, ведь не может же он из-за такой ерунды отставать от своих товарищей.

— Но у меня не убежал индюк! — восклицает господин министр.

— А вы уверены, господин министр, что это был не индюк?

И вот, в то время как я остался без поросенка, в доме господина министра хрюкает по одному поросенку от каждого участка, и по одному чиновнику в каждом участке ожидает повышения к Новому году.

Будь я министром полиции и убеги у меня поросенок, я бы оповестил об этом и все окружные управления полиции.

КУРОРТНЫЕ БРЮКИ

В нынешнем году я опять собираюсь на курорт, только на сей раз я поеду без брюк. То есть (не поймите меня плохо) я поеду в брюках, но особого курортного костюма заказывать не буду. Один раз я ошибся и больше не хочу...

Расскажу вам, как все это произошло.

В прошлом году я решил поехать на курорт, а потому пошел к портному и заказал легкий летний костюм. Я выбрал материал и попросил портного снять мерку. Портной презрительно посмотрел на меня.

— Я шью на вас пятнадцать лет. К чему мне снимать с вас мерку заново?

Его довод меня успокоил, и я разрешил шить костюм, не снимая мерки. Однако, зная обыкновение на-

ших портных и сапожников выполнять заказ с трехдневным опозданием, подчеркнул, что до пятницы костюм должен быть готов.

— Пожалуйста. Я уезжаю в пятницу вечерним поездом.

— Не беспокойтесь.

— Нужно ли мне приходиться на примерку?

Портной опять презрительно посмотрел на меня.

— Примерка не нужна, — ответил он решительно.

В пятницу в восемь часов вечера посылаю за костюмом — костюм не готов. Посылаю в девять часов — костюм не готов. Посылаю в половине десятого — не готов. Костюм принесли только в 10.20, а в 10.44 я отправился в путь.

Я приехал на курорт в субботу, отдохнул, показался врачу, уплатил за лечение, познакомился с несколькими дамами, которые приехали без мужей, и решил, что завтра утром, в воскресенье, я появлюсь в курортном костюме.

Багаж мой состоял из жены, тещи, клетки с канарейкой, кухарки, четырех подушек, трех матрацев и всей кухонной посуды, за исключением плиты, хотя теща предлагала и ее взять с собой.

А завтра — воскресенье. Играет музыка, публика прогуливается. И большинство в курортных костюмах, женщины — в светлых, мужчины — в темных.

Должен тут же уведомить вас, что я вынужден был, даже если бы и не хотел, надеть свой новый курортный костюм, так как на старых брюках неизвестно каким образом появилась дыра на самом неудобном месте.

Достаю я с огромным удовольствием свой новый костюм из чемодана и натягиваю в первую очередь брюки. Я и сейчас не знаю, как меня в тот момент не хватил удар. Вообразите, брюки пяди на две длиннее, чем нужно, и волочатся по земле. Я рвал на себе волосы, проклинал портного и давал зарок никогда больше не брать костюм от портного без примерки... Я был в таком отчаянии, что поклялся не платить портному не только за этот костюм, но и за все то, что шил у него прежде.

Но, увы, эти клятвы не принесли мне облегчения. Воскресенье, на улице играет музыка, публика прогуливается, а я ни старых, ни новых брюк надеть не могу.

Что делать?

И не то чтобы голый, но непристойно одетый, я беру новые брюки в руки и обращаюсь приятным голосом к жене:

— Послушай, душенька, возьми, пожалуйста, брюки, отрежь от каждой штанины по две пяди и подруби.

— Да что ты, разве я сумею? — отвечает жена с таким злорадством, довольная, что мне придется сидеть дома.

— А почему не сумеешь?

— Да это же дело портного!

— Я знаю, но здесь, на курорте, нет портного, надо посылать брюки аж во Вране. Да и если пошлю, сегодня воскресенье — никто не работает. Ну почему бы тебе не сделать?

— Не говори глупостей. Буду я портить новые брюки!

— Да что тут такого? Просто отрежь да подруби.

— Нет, я не сумею. Потом сам меня ругать будешь.

И что мне, бедному, остается делать? Я беру брюки, иду к теще и прошу ее укоротить брюки на две пяди.

— Что ты, сынок, сохрани меня господь от такого греха! Сегодня ведь святое воскресенье. Ни за какие блага в мире я не взялась бы в такой день за иглу.

Осталась последняя надежда — кухарка. Пошел к ней. А она, как только увидела мое непристойное одеяние и брюки в руках, отвернулась к стене и накрылась передником.

— Послушайте, Катя, будьте так добры...

И я, горемычный, рассказываю ей свою печальную зельсть.

— Я этого не умею, я никогда в жизни не имела дела с мужскими брюками. Разве только вот несколько раз пришивала к ним пуговицы.

— Но, Катя, как же вы не умеете? Я не требую от вас мастерской работы. Просто возьмите ножницы, отрежьте от каждой штанины по две пяди и подрубите. Это ведь так просто.

— Не могу я. Уходите, прошу вас, а не то заметит госпожа, что вы неодетый в кухню вошли.

Что мне оставалось делать? Выругался я отчаянно, влетел в комнату, бросил штаны на пол, опустил шторы и улегся на кровать, пытаюсь найти забвение во сне.

Однако пока я спал, случилось следующее. Сжалилась надо мной моя жена. Видит, все гуляют, а я прикован к постели,— это-то, по-видимому, и тронуло ее. Вошла на цыпочках в комнату, взяла ножницы, укоротила каждую штанину на две пяди, подрубила и повесила брюки на спинку кровати: проснусь, мол, и удивлюсь.

И если бы сжалилась надо мной только моя жена, это бы еще ничего, но сжалилась также и моя теща. Уж такая жестокосердная, и то сжалилась. Перекрестилась сначала перед иконой и вошла потихонечку на цыпочках в комнату. Взяла брюки, укоротила каждую штанину на две пяди, подрубила их и повесила на спинку кровати: проснусь, мол, и удивлюсь.

С одной стороны, приятно, конечно, что моя жена сжалилась надо мной, еще приятнее, что сжалилась надо мной теща. Но на мое несчастье, и Кати сжалилась надо мной.

Представьте, Кати тоже сжалилась... После того, как моя жена, отрезав от каждой штанины две пяди, ушла делать визиты, после того, как теща, отрезав от каждой штанины еще две пяди, отправилась на прогулку, в комнату вошла Кати. Вошла неслышно, на цыпочках, взяла брюки, укоротила их на две пяди, подрубила и повесила на спинку кровати: проснусь, мол, и удивлюсь.

И я воистину удивился. Вижу — брюки переделаны, хватаю их и радостно натягиваю, но — о господи, боже мой, до сих пор меня охватывает ужас всякий раз, когда я вспоминаю то мгновение! — на мне... купальные трусики. В сущности, это были самые настоящие курортные брюки, и в ту трагическую минуту мне ничего другого не оставалось, как, подобно ветру, промчатся сквозь толпу курортников, влететь в купальню и прыгнуть в бассейн.

Вот почему в нынешнем году я собираюсь ехать на курорт без брюк.

ОСЛИНАЯ СКАМЬЯ

Помните ослиную скамью? Это самая последняя скамья в каждом классе начальной школы. На ней обыкновенно сидят горемыки, на которых срывает свою злость учитель, получивший в тот день неприятное распоряжение из министерства или поссорившийся с женой. На эту скамью сажают плохих учеников, а в каждом классе уже заранее известно, кто будет плохим учеником. Им обязательно окажется сын мусорщика, сын фонарщика или рыбака Проки, сын рассыльного Миты или Симы-жестянщика, или сын ночного сторожа Йоцы. Ну и довольно, потому что на одной скамье больше и не поместится.

На первой и второй скамьях сидят лучшие ученики, на третьей и четвертой — хорошие, на пятой и шестой — средние, ну а на последней, ослиной, — плохие.

Зайдите в любую школу, подойдите к первому попавшемуся на глаза ребенку, положите ему на голову руку и спросите:

— Ты, малыш, чей?

Ребенок ответит, и вы сразу же поймете, почему он сидит именно на этой, а не на другой скамье. На первой сидит, конечно, сын господина министра, а рядом с ним сын подполковника Джёкича. Затем идет сын господина Перы, торговца с главного базара, далее сын господина Тома, учителя, которого министр частенько назначает ревизором, рядом сын окружного кассира и тут же, в виде исключения, на первую скамью забрался какой-то оборвыш, но он сын журналиста. У его отца острое перо, и он иногда пописывает о школьных делах.

Известно, кто сидит и на второй, и на третьей скамьях: это сын протоиерея, сын начальника податного управления, сын Миты-трактирщика, сын коллеги учителя, сын господина Розенфельда, агента страхового общества. Этот мальчик учится довольно плохо, но из уважения к отцу-иностранцу посажен на хорошую скамью, чтобы не подумали, будто мы, сербы, невоспитанны и грубы.

Все сословия распределены по скамьям в строгом порядке: сын хозяина бакалейной лавки, сын мясни-

ка, сын члена управления общины, сын одной вдовы, сын другой вдовы, и так — до ослиной скамьи.

Стоит войти в школу и положить руку на голову первому попавшемуся ребенку и спросить его: «Ты, малыш, чей?» — и по его ответу тут же можно определить, на какой скамье он сидит.

А разве в жизни не так? Вникните в нашу жизнь, подойдите к кому-нибудь и спросите его: «Чей ты?» И, выслушав ответ, вы будете точно знать, на какой он скамье. Этому учили нас с детства в школе, с этой привычкой мы входим в жизнь. В жизни тоже есть первая, вторая, третья и четвертая скамьи. Есть, конечно, и скамья ослиная.

Не надо спрашивать, кто сидит на ослиной скамье. Там сидят те, на которых срывает свою злость учитель. Истощился, скажем, бюджет, израсходованы деньги на разные приемы и угощения, на интриги и их распутывание. Как же поступит учитель? Он ударит по тем, которые сидят на ослиной скамье:

— Снизить им жалованье на сорок пять процентов!

А сидящим на первой и второй скамьях? Э, это хорошие ученики, их надо наградить.

— Пиши указ — повысить по службе на два чина!

Вникните, только вникните в жизнь, положите руку на голову какого-нибудь мальчугана, который сидит на первой скамье, и спросите его:

— Чей ты, малыш?

— Я сын Симо Янковича, депутата. — И мальчик поцелует вам руку.

— А ты, малыш, чей?

— Я сын Тома Петровича, судьи, а мой дядя — министр.

— А ты, малыш?

— Моя мать вдова, но я зять господина министра.

Пройдите дальше, пройдите и не поленитесь выслушать ответы. Подойдите и к ослиной скамье, спросите первого с краю, и он вам ответит:

— У меня отца нет, он погиб на войне.

Подойдите к другому, спросите его. Он скажет вам:

— Мой отец умер. Он боролся за свободу своей страны, его посадили в тюрьму, били, пытали и в конце концов добились. Он умер, а я остался.

Спросите третьего, вон того с ослиной скамьи, он ответит вам:

— Я плохой ученик, вот меня и посадили на ослиную скамью. Все говорят, что в этой стране для меня нет места.

— Почему же ты плохо учишься? Чем у тебя забита голова? Чем ты так занят, что не думаешь о школе?

— Я пишу стихи! — ответит вам третий и тяжело вздохнет.

Ах, эти горемыки с ослиной скамьи, я всегда жалел их в школе. Мне жаль их и в жизни!

ЗАБАСТОВКА ПОЧТОВИКОВ

В Париже, да и во всей Франции, уже несколько дней бушует забастовка почтово-телеграфных служащих.

Все почтовые служащие и почтальоны, все телефонистки собрались однажды на Марсовом поле, подняли три пальца вверх и поклялись:

— Пусть нас бог накажет, если мы лизнем еще хоть одну марку, пока нам не повысят жалованье! — воскликнули почтовые служащие.

Телефонистки, естественно, не клялись ничего не лизать. Они поклялись, что больше ухом не поведут, а это значит, что они отказываются пользоваться ушами на государственной службе до тех пор, пока им не повысят жалованье.

Почтальоны тоже поклялись, что к людям они больше ни ногой, ни одного письма не доставят.

Точно в условленный час почтовые служащие стерли с языка клей и побросали штемпеля; телефонистки сняли наушники и поправили прически, а почтальоны пошли в баню, помылись и занялись срезанием мозолей на ногах.

И теперь во Франции мука мученическая. Бросили солдат и офицеров налаживать почтово-телеграфную службу, но у них, дай им бог здоровья, дело не идет, и все тут.

Легко можно себе представить, что делается на центральной телефонной станции, занятой офицерами. Ни одна, простите, порядочная женщина не осмеливается соединиться через центральную телефонную станцию. Счастье еще, что в Париже процент порядочных женщин сравнительно мал. А то бы дело было швах.

С доставкой писем еще хуже. Возьмет письма какой-нибудь унтер и в первой же квартире застревает на целый час, не в силах оторваться от кухарки.

А теперь представьте себе, пожалуйста, как это было бы у нас, если бы, например, почтовые служащие, телеграфисты, телефонистки и почтальоны объявили забастовку. Впрочем, если бы такое случилось у нас, то забастовки никто даже и не заметил бы. Я все думаю, думаю и никак не могу придумать, каким образом у нас могли бы заметить забастовку.

Посылка, которую вы отправляете, например, в Горни Милановац, возвращается к вам через месяц из Лозницы, и на ней написано, что адресат неизвестен... Ну, чем не отлично организованная забастовка?

Или, например, вы телеграфируете из Ягодины в Белград сегодня, а депешу вашу доставят только послезавтра. Скажите, положи руку на сердце, способны ли французы организовать такую забастовку?

Или захотите вы поговорить по телефону, скажем, с Джёкой Димитриевичем, содержателем кофейни «Коларац», а вас свяжут с Милутином Прокичем, секретарем митрополита, или вы просите Народный театр, а вам дают Духовную семинарию имени святого Саввы.

А теперь скажите с открытой душой, могли бы французские телефонистки, как они ни живы и ни остроумны, организовать подобную забастовку?

Вот потому мне и кажется, что французские забастовщики не добьются своих требований. Чтобы победить, им надо послать к нам своих представителей и изучить организацию забастовки у нас. Только тогда они будут в состоянии досадить французскому государству. В противном случае в успех их забастовки я не верю.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПСЫ

Так же, как у человека есть некоторые черты сходства с животными, так и некоторые животные чем-то похожи на людей. Я не буду приводить в пример серну, которая плачет, как вдова, или сома, который, как дипломат, умеет напускать на себя серьезность. Но каждое животное обладает какой-нибудь особенностью, которая напоминает нам людей определенного сорта, определенного рода занятий. Так, например, у собаки полицейские склонности, она любит вынюхивать и выслеживать; сорока похожа на попа — она хватает и прячет все, что блестит. Петух похож на франта, любит щегольнуть перед курицами; голубь напоминает молодую девушку, осел — профессора (я имею в виду его настойчивость и терпение) и так далее.

И люди, принимая во внимание склонности животных, используют их, ставят себе на службу. Так, например, собаки уже давно используются в Европе на полицейской службе, и даже есть целые отряды обученных псов, которые выслеживают и ловят воров.

Сейчас и у нас хотят совершить подобную же попытку, даже были проведены многочисленные опыты, и, по сообщениям, результаты оказались необыкновенными.

Первой собачьей станцией в Сербии утверждена Топчидер, точнее — Топчидерский полицейский комиссариат. Комиссариат уже приобрел несколько сторожевых собак и каждый день выпускает их для обучения на публике, приезжающей в Топчидер на прогулку.

Идете вы, например, по аллее, предаетесь размышлениям о жизни. И вдруг сзади раздается рычание собаки, и она хватает вас за штаны.

Хоть это и сторожевая собака, вы, понятно, не должны пугаться, ведь это же только опыты! И даже если вам разорвут рукав или брюки, расстраиваться не стоит, так как должны же быть жертвы, пока собаки учатся!

Понятно, что как и во всяких опытах, здесь могут быть комические ситуации. Так, например, отправляетесь вы с детьми в Топчидер, и вдруг несутся поли-

цейские собаки Топчидерского комиссариата. У детей от страха начинаются судороги.

Или идет по тропинке дама в новеньком платье, и вдруг на нее бросается собака, рвет на ней одежду, валит ее на землю, и у женщины начинается сильное сердцебиение. Ну, что вы хотите, это же только начало, а все знают, что всякое начало — трудно.

Сейчас с этими топчидерскими псами начали проводить опыты более широкого масштаба. Так, например, нередко из Топчидерской тюрьмы убегают заключенные. Когда не было собак, преступники сразу же, при первой попытке к бегству, бывали пойманы. Но сейчас эта поимка несколько затруднена, ведь псы еще окончательно не выдрессированы.

Вообще-то, конечно, все было бы иначе, если бы заключенные ставили в известность тюремное начальство, когда они собираются бежать. Но они всегда совершают побеги как-то неожиданно. Ну и, разумеется, собаки от неожиданности начинают волноваться и хватают за штаны первого попавшегося человека. Рассказывают, что во время позавчерашнего бегства двух осужденных собаки по ошибке вцепились в охранника и сорвали погоню.

Но будем терпеливы. Мы, граждане, уже привыкли к тому, что ходим в рваных штанах во имя высших государственных интересов, что разные собаки грызут нас опять-таки во имя высших государственных интересов. Так почему бы нам не проявить терпения и в этом случае?

БЕЛГРАДСКАЯ АРИФМЕТИКА

I

Вопрос: У рабочего Стояна Николича жена и двое детей. Непосильным трудом он зарабатывает девятьсот динаров в месяц, что составляет примерно десять тысяч динаров в год на содержание всей семьи. Из этих денег он платит за сырую комнатушку, на эти деньги он кормит, одевает, учит своих детей и поддерживает свои силы, чтобы работать дальше.

У госпожи Зорки Славкович есть весенний туалет. В него входит: нижняя юбка из тяжелого шелка —

1000 динаров, модные туфли — 650 динаров, костюм — 3700 динаров, шляпа — 1200 динаров и зонтик — 1600 динаров. Все это составляет более 8000 динаров.

А если только весенний туалет госпожи Зорки Славкович стоит столько, сколько обходится содержание целой семьи, то сколько бедных семей могло бы прожить на деньги, которые госпожа тратит ежегодно на свои туалеты?

О т в е т: На деньги, которые госпожа тратит ежегодно на свои туалеты, могли бы прожить четыре бедные семьи в течение года.

В о п р о с: Как это получается?

О т в е т: Если весенний туалет стоит 8150 динаров, то осенний должен стоить 12 000 динаров, а зимний — 16 000 динаров. Таким образом, стоимость туалетов госпожи равна стоимости содержания четырех семей, то есть шестнадцати человек, считая, что семья состоит из четырех человек.

II

В о п р о с: Несчастную вдову с тремя беспомощными детьми бездушный хозяин выгнал из квартиры вместе с ее пожитками, потому что у нее нет ста динаров, чтобы отдать ему двухмесячную плату за комнату. Наступает ночь, и мать с изголодавшимися детьми остается под открытым небом.

Госпожа Зорка Славкович трижды давала объявление в газету, обещая награду в 200 динаров тому, кто найдет ее пуделя, косматого, с черной меткой на левой ноге, которого она потеряла в прошлую среду на Калимегдане.

Сколько же месяцев могла бы несчастная вдова с тремя детьми иметь кров над головой, если бы была такой же счастливой, как пудель, или если бы госпожа Зорка Славкович так же заботилась о людях, как о собаке?

О т в е т: Четыре месяца.

В о п р о с: У кухарки Ержи есть дружок. Весь день она работает, а вечером, перебив посуду и вытерев фартуком руки, она обнимает натруженными руками своего милого, отдавая дань молодости. И ее

парень, приходя в дом, не прячется, хлопает дверями и громко кашляет в подвальной комнатке у Ержи.

Госпожа Зорка Славкович не очень довольна своим мужем, господином Владой. А если бы даже и была довольна, то не может же она жить так однообразно и не иметь развлечений. И у нее есть друг, только это великая тайна. Знает о ней всего человек десять — пятнадцать, потому что он проникает в дом незаметно, крадучись, когда господина Влады нет дома.

Отсюда в о п р о с: Может ли госпожа Зорка терпеть в доме аморальное поведение своей кухарки, а если и может, то что начнут говорить в обществе, если увидят, как поздно вечером кто-то приходит в дом?

О т в е т: Надо немедленно уволить Ержу, ибо нельзя, чтобы в таком уважаемом доме совершались аморальные поступки.

ДВА ВАЖНЫХ ШАГА

Господин поручик Пера совершил в нынешнем году два решительных и важных шага. Купил коня и женился. Некоторые скажут, что сперва он женился и уже на приданое купил коня, но у меня есть достоверные сведения, что сперва он купил коня и, воскликнув: «Теперь я на коне!» — женился. Впрочем, это совершенно естественный ход событий, не мог же он жениться и воскликнуть: «Теперь я на коне!»

Впрочем, ход событий мне известен потому, что я случайно присутствовал и при покупке коня, и при сватовстве, и именно об этих двух важных шагах хочу написать.

Итак, один знакомый поручика предложил ему купить коня и назначил смотрины. Господин Пера отправился на конюшню знакомиться с лошадью. Он смотрел слева, справа, потянул за уши, потянул за хвост, поднимал поочередно ноги и осматривал копыта, махал руками перед глазами лошади, измерял ширину ее груди, заставлял коня есть при себе. Целый час он измерял и перемерял коня, гладил его и рассматривал.

— Ну, как он тебе нравится? — спрашивает его продавец.

— Ты сам понимаешь, ответить тебе сразу я не могу. Купить коня не шутка! Ты мне должен дать его, хочу проехаться.

— Конечно, завтра же пришлю его к тебе.

На другой день господин Пера сел на коня верхом. Пускал его и рысью, и шагом, и галопом, оставивал, брал барьер, перескакивал лужи, засовывал руку под потник. Потом снова щупал глаза и уши, рассматривал копыта, тянул за хвост и наконец отвел лошадь обратно в конюшню, где его нетерпеливо ожидал продавец.

— Ну как?.. Решился?

— Лошадь мне нравится, но, сам знаешь, сгоряча такие вещи не делаются.

Через три дня господин Пера привел двух своих друзей, и те осмотрели лошадь. Они заглядывали ей в зубы, тянули за уши, махали перед ее глазами, измеряли грудь, делали все то же самое, что и господин Пера несколько дней назад. Нетерпеливый продавец, переминаясь с ноги на ногу, спрашивает:

— Ну как, понравилась лошадь?

— Да,— отвечают все трое в один голос,— хорошая лошадь, хорошая.

— Тогда давайте кончать с этим делом.

— Не сразу, брат, подумать надо.

Дней через пять-шесть господин Пера привел ветеринарного врача, и тот снова осмотрел лошадь, заглядывая и туда, куда обычно заглядывают, и туда, куда обычно не заглядывают. И опять господин Пера рассматривал зубы, язык, тянул за хвост, поднимал копыта, тер уши, а уходя, сказал нетерпеливому продавцу:

— Дам ответ дня через два.

Эти два дня господин Пера употребил на совещания с друзьями.

— Как думаете, братья мне эту лошадь? — спрашивал он всех подряд.

Одни были за, другие — против, одни говорили одно, другие — другое; после долгих раздумий господин Пера наконец решился, пошел к продавцу, они ударили по рукам, и сделка была заключена.

Вот так наконец господин Пера купил коня.

А теперь посмотрим, как он женился. Познакомился он с ней на одном вечере в Офицерском доме. Ее на этот вечер пригласили как, не знаю уж чью, свояченицу. Пленила она его быстро. Уж после второй кадрили он пялил на нее глаза, как кот на сало. Еще в тот же вечер он узнал у одного отставного майора, что у нее восемьдесят тысяч приданого, и разочарованно надул губы.

«В конце концов шестьдесят четыре тысячи пойдут на уплату моих долгов, а шестнадцати тысяч хватит, чтобы сшить новый мундир и покрыть свадебные расходы!» — подумал он.

Через четыре дня он уже шел на свидание, но ей он в зубы не заглядывал, язык не рассматривал, за хвост не тянул, руками перед глазами не размахивал, уши не тер. Поговорил полчаса и понял, что жить без нее не может.

На другой день сделал предложение.

Вот так господин Пера совершил два жизненно важных шага. Впрочем, так на его месте поступил бы всякий, потому что нельзя не признать, что жениться легче, чем купить коня.

ЧЕЛОВЕК С ХВОСТОМ

Он родился без хвоста. Хвост прицепился к нему на дорогах жизни, как цепляется репей к человеку, продирающемуся сквозь бурьян.

Пытаясь расстаться с хвостом, он даже подвергся операции, но это ему не помогло. Говоря точнее, он не лег на операционный стол, он встал перед покрытым зеленым сукном столом судьбы, и это было все равно, что лечь под нож хирурга. Операция прошла успешно, он был объявлен невиновным, но, видно, хвост вырезали не с корнем, и он продолжал его ощущать.

Хвост не мешал ему ни есть, ни пить, не мешал спать, он мешал сесть на стул, например, на чиновничий и вообще на стул, представляющий собой выражение доверия.

И что только он не делал, чтобы скрыть хвост, который ему не могли простить. Он советовался с кем

только мог и охотно следовал советам. Один из его друзей как-то сказал:

— Стань набожным, предайся молитвам и тихой жизни.

И он регулярно посещал церковь, крестился после каждого «Аминь» и «Господи, помилуй!», выучил всю литургию на память и даже часто пел на левом клиросе. Однако всякий раз, выходя из церкви со службы божьей, он хоть и не щупал своего хвоста, но по взглядам других прихожан отчетливо чувствовал, что хвост еще волочится за ним.

В отчаянии он пошел к друзьям, с которыми уже советовался, и рассказал им о своей беде. Они повесили головы, задумались и дали ему тогда новый совет:

— Будь весел и собирай вокруг себя веселых друзей. Веселье высушит хвост, и он отпадет.

И он ударился в разгул. Не расставался с вином, песнями и веселыми друзьями. Ему не хватало ночей, чтобы удовлетворить свою жажду развлечений, и он убивал на это и дни. Однако всякий раз, возвращаясь с гулянок домой, он хоть и не щупал своего хвоста, но по взглядам своих собутыльников отчетливо чувствовал, что хвост еще волочится за ним.

Он пошел к друзьям, с которыми уже советовался, и рассказал им о своей беде. Они повесили головы, задумались и дали ему тогда новый совет:

— Проявляй благородство, делай хорошие дела. Это верное лекарство, избавляющее человека от любого хвоста.

И он занялся благотворительностью. Он не был богат, но тратил на хорошие дела больше половины своих достатков. Помогал каждому, кому требовалась помощь, делился с бедняками, вносил пожертвования, когда слышал, что нужны деньги для какой-нибудь гуманной цели. Однако всякий раз, сделав доброе дело, он хоть и не щупал своего хвоста, но по взглядам тех, кому делал добро, отчетливо чувствовал, что хвост еще волочится за ним.

В отчаянии он пошел к друзьям, с которыми уже советовался, и рассказал им о своей беде. Они повесили головы и дали ему тогда новый совет:

— Будь богатым. Богатство прикрывает любой хвост, который тянется за человеком в жизни.

И он берется за дело. Трудится до пота, пускает деньги в оборот. Из динара делает два, из двух — шесть, из шести — пятьдесят, из пятидесяти — сотню, две, три... Карманы его раздуваются от банкнотов, касса не вмещает денежных пачек, он принят деловыми кругами и, смотри-ка, начинает чувствовать, что хвост его понемногу усыхает. Хоть он и не щупал своего хвоста, но по взглядам своих деловых друзей отчетливо понял, что распрощался с хвостом навеки.

Мало того, он уже почувствовал, что теперь может усесться на те самые стулья, на которые прежде ему не давал сесть хвост. Так в один прекрасный день он становится членом наблюдательного совета одного из банков, потом членом партийного комитета, а потом и кандидатом в совет общины. И кто знает, не пересядет ли он с обыкновенных стульев в кресло.

И всякий раз по вечерам, довольный тем, что распрощался с напастью, он ложится спать и шепчет под одеялом сам себе тот совет, который ему дали друзья:

— Будь богатым. Богатство прикрывает любой хвост, который тянется за человеком в жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые проза Бранислава Нушича в русских переводах была опубликована в сборнике «Сербские рассказы. Из провинциальной жизни», СПб., 1903 г. Наиболее полно она представлена в советских изданиях 1950—1970 гг. Произведения настоящего сборника воспроизводятся по изданиям «Художественной литературы»:

Бранислав Нушич. Избранное, М., 1958.

Бранислав Нушич. Дитя общины, М., 1975.

Голова сахара. Сербская классическая сатира и юмор, М., 1985.

АВТОБИОГРАФИЯ

Это произведение, нередко называемое «юмористической повестью-пародией», было впервые опубликовано в Белграде в 1924 году в виде специального юбилейного издания Комитета чествования Нушича, которому исполнилось тогда шестьдесят лет. Издание содержит и четырнадцать карикатурных портретов Нушича, нарисованных виднейшими югославскими художниками.

Замысел юмористической автобиографии возник у Нушича задолго до юбилея. Наброски ее появлялись в календаре «Всезнайка» (1903) и в газете «Политика» (1907). В сборнике «Листики» (1920) напечатан «Образцовый урок в школе. Немецкий язык». Отдельные эпизоды публиковались в «Юморе» (1921) и других периодических изданиях. Однако в окончательном виде произведение сложилось и было написано в течение нескольких месяцев после февраля 1924 года, когда состоялись выборы в Сербскую Академию наук и искусств. Пародирование традиции престарелых академиков писать мемуары определило и настрой «Автобиографии» (см. предисловие).

Стр. 24. ...в позе спартанской королевы Леды, а художника в позе лебедя...— В греческой мифологии Зевс, плененный красотой Леды, супруги спартанского царя Тиндарея, овладел ею, обратившись в лебедя.

Стр. 31. *Караджич* Вук Стефанович (1787—1864) — сербский филолог, историк, фольклорист, деятель национального Возрождения, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1851). Опубликовал исторические и этнографические материалы, осуществил реформу сербско-хорватского языка на основе народной речи, составив его грамматику и словарь. Был хромым.

Стр. 45. *Сантер* Антуан Жозеф (1752—1809) — деятель французской буржуазной революции, владелец пивоваренного завода, якобинец. В качестве командира батальона национальной гвардии принимал участие в штурме Бастилии и других событиях. *Колло д'Эрбуа* Жан Мари (1751—1796) — деятель Французской буржуазной революции, актер и драматург, якобинец. Избранный в конвент, предложил отменить королевскую власть и установить республику, позже подал голос за смерть короля. Нушич имеет в виду революционный террор, массовые казни гильотинированием, расстрелы картечью, особенно в Лионе, куда Колло д'Эрбуа был послан как член комитета общественного спасения.

Стр. 60. *Парки* — в римской мифологии богини судьбы.

Стр. 61. ...надел форму.. с двадцатой буквой алфавита на спине...— То есть надел арестантскую одежду. В сербском алфавите двадцатая буква «р» (по-сербски «робняш» — каторжник).

Стр. 79. ...в сербском алфавите было тридцать две буквы, но вскоре после этого две буквы исчезли...— Осуществляя в первой половине XIX века реформу правописания и придерживаясь принципа «как слышишь, так и пишешь», Вук Караджич составил сербскую азбуку из 32 букв («вуковицу», которую обычно называют «кириллицей»). Азбука учитывала все фонемы и даже оказалась избыточной уже во времена учения Нушича. Буквы «ъ» и «ь», употреблявшиеся редко и только в формах слов, отпали за ненадобностью. Хорваты пользуются латинскими буквами — «латинницей» (придерживаясь реформы Караджича) с надстрочными знаками по образцу чешского письма. В их алфавите 27 букв.

Стр. 87. *Пятый падеж* в сербском языке — звательный. Был когда-то и в русском (сохранившиеся остатки — отче, боже...),

Стр. 89. *Фреголи* Леопольдо (1867—1936) — итальянский актер, выступал в театрах типа варьете в самых разнообразных жанрах.

«Юс» — составная часть названий двух букв в старой славянской азбуке. В русском алфавите эти буквы упразднены реформой 1711 года. «Он» — название буквы «о», «еры» — «ы», «ерь» — «ь».

Стр. 94. *Бифуркация* (лат.) — разделение. Нушич пародирует наукообразие.

Стр. 96. Перевод этой сербской скороговорки на русский: «Турчонок бочку катит, турчанка турчонка толкает, ни турчонок бочку не катит, ни турчанка турчонка не толкает».

Стр. 101. *Неманичи* — княжеско-королевская династия в Сербии XII—XIV вв. Основатель — Стефан Неманя (1169—1196).

Душан — сербский король (1331—1355).

Первое сербское восстание против турецкого владычества проходило в 1804—1813 гг. под руководством *Карагеоргия* — Георгия Петровича (1768—1817), основателя династии Карагеоргиевичей.

Стр. 102. *Десетерац* — десятисложник, традиционный размер сербских народных эпических песен.

Стр. 103. *Лазаревич* Лука (1744—1852) — воевода Карагеоргия в период первого сербского восстания.

Милутин — сербский король (1282—1321).

Вукашин — сербский король (1366—1371).

Стефан Дечанский — сербский король (1321—1331). *Стефан Первовенчаный* — сербский король (1196—1228).

Урош — последний король из династии Неманичей (1355—1371). Умер через два месяца после гибели короля Вукашина. По версии, встречающейся в народных песнях, умерщвлен по приказу Вукашина.

ДИТЯ ОБЩИНЫ

Впервые роман опубликован частично в белградской еженедельной художественно-литературной газете «Звезда» в 1901 году. Публикация не завершена в связи с тем, что газета перестала выходить. В 1902 году роман печатался в газете «Дело» и одновременно вышел отдельным изданием в Белграде. В качестве

куръеза можно указать на первое издание романа на русском языке в 1925 году, где автором вместо Нушича был обозначен переводчик романа на немецкий язык.

Сведения о времени написания романа крайне скудны. Повидимому, он начат в середине девяностых годов прошлого века, когда Нушич служил консулом в Приштине, а закончен в 1900 году в Белграде, куда Нушич вернулся, оставив дипломатическую службу. Об этом говорят и некоторые реалии белградской жизни в последней части романа.

Стр. 241. *...о гибели сербского царства на Косовом поле из-за несогласия вельмож...*— Косово поле — межгорная котловина в южной части Югославии. Здесь 15 июня (день св. Витта, или, по-сербски, «Видов дан») 1389 года произошло решающее сражение между объединенными войсками сербов и боснийцев во главе с князем Лазарем и армией турецкого султана Мурада I. Войска Лазаря были разбиты, а сам он попал в плен и казнен. Погиб и Мурад I. Под именем Баязета I ему наследовал старший сын, захвативший впоследствии обширные территории на Балканском полуострове. Сербия превратилась в вассала Османской империи. Косовская битва стала для сербов не только символом утраты былого могущества и независимости, но и породила великое множество сказаний и песен-«лазариц», вошедших в сербский народный эпос. В них оплакана гибель Лазаря, его тестя Юга Богдана с девятью сыновьями-богатырями, его зятя Милоша Обилича, оклеветанного перед князем, а потом совершившего много подвигов и заколовшего султана Мурада, а также других героев. Вина за поражение возлагается на «исконный славянский порок — разлад и несогласия среди воевод», как выразился один из исследователей сербского эпоса. Олицетворением зла в нем стал Вук Бранкович, другой зять Лазаря, интриган и предатель, который проклиняется как главный виновник поражения. Нушич так глубоко почитал народный эпос, что назвал своих детей именами его героев: дочь — Маргитой (Гитой), а сына — Страхиной Баном.

РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ

Политический противник

Впервые опубликовано в календаре «Шумадинац» за 1887 год с подзаголовком «Рассказ из жизни редактора в маленьком городке».

Стр. 420. ...*Бад-Ишль, Гастингс Баден-Баден*... — модные курорты, где собирались для совещаний государственные деятели разных европейских стран.

Тринадцатый

Впервые рассказ появился в еженедельнике «Дело» в 1895 году.

Покойный Серафим Попович

Рассказ опубликован в журнале «Коло» в 1902 году.

Министерский поросенок

Фельетон впервые опубликован в белградской газете «Политика» в 1906 году.

Курортные брюки

Впервые — в «Политике» в 1906 году.

Ослиная скамья

Напечатан впервые в «Политике» в 1907 году.

Забастовка почтовиков

Впервые опубликован в «Политике» в 1909 году.

Полицейские псы

Впервые опубликован в «Политике» в 1909 году.
Стр. 461. *Топчидер* — район Белграда.

Белградская арифметика

Впервые опубликован в «Политике» в 1909 году.

Два важных шага

Впервые — в «Политике» в 1910 году.

Человек с хвостом

Впервые — в журнале «Нови живот» в 1920 году.

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Газда — хозяин, уважительное обращение к торговцам и ремесленникам.

Гайдук — народный мститель во времена турецкого ига; позже — разбойник.

Грош — пятая часть динара.

Динар — основная денежная единица в старой Сербии и нынешней Югославии. В динаре — сто пара.

Коло — южнославянский массовый народный танец.

Нахия — область (турецк.).

Оро — см. *коло*.

Практикант — мелкий чиновник в старой Сербии, который принимался на службу с неопределенным испытательным сроком, не числился в штатах учреждения и получал мизерное произвольное жалованье.

Ракия — сливовая водка.

Слава — праздник святого покровителя семьи у православных сербов.

Тепелук — богато расшитый головной убор замужней женщины.

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Жуков. Мастер смеха 3

АВТОБИОГРАФИЯ. Перевод В. Токарева

Предисловие автора	21
От рождения до первого зуба	30
От первого зуба до брюк	37
Человек в брюках	50
Парки	60
Учеба	68
Начальная школа	76
Закон божий	83
Сербский язык	86
История	95
География	104
Естествознание	110
Иностранные языки	115
Математика	120
Физика и химия	132
Мертвые языки	139
Первая любовь	147
Первые и последние стихи	152
Вторая любовь	162
От третьей до последней, двенадцатой, любви	167
Q. V. F. F. S.	178
Тюрьма	187
Армия	195
Брак	205
Ненаписанная глава	212
Послесловие	212

ДИТЯ ОБЩИНЫ. Роман. Перевод Д. Жукова 223

РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ

Политический противник. Перевод Д. Жукова	419
Тринадцатый. Перевод Д. Жукова	425
Покойный Серафим Попович. Перевод П. Дмитриева и Г. Сафронова	443
Министерский поросенок. Перевод Д. Жукова	450
Курортные брюки. Перевод Д. Жукова	453
Ослиная скамья. Перевод А. Хватова	457
Забастовка почтовиков. Перевод Д. Жукова	459
Полицейские псы. Перевод Н. Кондрашиной	461
Белградская арифметика. Перевод Н. Кондрашиной	462
Два важных шага. Перевод Д. Жукова	464
Человек с хвостом. Перевод Д. Жукова	466
<i>Примечания</i>	469
<i>Пояснительный словарь</i>	474

Нушич Бранислав

Н 87 Сатира и юмор / Сост., вступ. ст. и прим.
Д. А. Жукова.— М.: Правда, 1987.— 480 с.

В настоящий сборник произведений классика югославской литературы Бранислава Нушича (1864—1938) включены «Автобиография» — остроумная и злая пародия на академические мемуары, роман «Дитя общины», названный современниками автора «сумасшедшей симфонией смеха», а также отдельные рассказы и фельетоны.

Н $\frac{4703000000 - 1267}{080(02) - 87}$ 1267 — 87

84. 4 Ю

Бранислав НУШИЧ

САТИРА И ЮМОР

Составитель
Дмитрий Анатольевич Жуков

Редактор
В. Т. Башкирова

Оформление художника
В. Д. Сергеева

Художественный редактор
Г. О. Барбашинова

Технический редактор
Т. Б. Слизун

ИБ 1267

Сдано в набор 13.02.86. Подписано к печати 10.06.86.
Формат 84×108^{1/2}. Бумага типографская № 3.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,41 Уч.-изд. л. 24,38.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1—100 000 экз.).
Заказ № 1805. Цена 2 руб.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
«Восточно-Сибирская правда», 664009, Иркутск,
ул. Советская, 109.

